КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

88



Но спасовав
пред челюстью
будьдожьей,
Талант
и в поражении
талант,
И по-иному
прячется художник,
Чем алиментщик
или спекулянт.

Марина Кудимова



Потом он вернулся и стал ждать. Он думал, что если спрячется сам, возьмут жену и шестерых детей... Он ждал и молился, чтобы за ним пришли, а мы уцелели...

Сара Кофман



Как во сне жалко Ту. Как наяву не жалко Эту. Как просто не любить — только разреши себе... Все королева Маб. За ночью ночь катается в мозгу любовников — и снится им любовь...

Юрий Малецкий



Иногда я вижу его во сне и объясняю ему, как еще все хорошо устроится. И он со мной соглашается... И там же, во сне, я просыпаюсь и вспоминаю, что его больше нет...

Марк Харитонов



Я стоял над больным уже помытый, весь в стерильном и раздумывал, как бы разумнее и поизящнее привести орган этот в первозданное, от Бога полученное состояние...

Юлий Крелин



На них сошло озарение, что скоро приближается конец света... Они взяли с собой мешочки с крестиками, чтобы крестить толпы паникующих людей...

о.Александр Мень

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ РОССИИ

Первые чтения памяти
ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА
Париж, 24—25 марта 1996
«От диссидентства — к демократии»

Лев Аннинский
Алексис Берелович
Жорж Нива
Мишель Окутюрье
Юрий Покальчук

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:

Новые стихи:

Владимира Леоновича
Анатолия Наймана
Владимира Салимона
Владимира Соколова
Евгения Рейна
Олега Чухонцева

Повесть **Евгения Федорова** «Смена вех»
Повесть **Марианны Веховой** «Бумажные маки»
Новые повести **Сергея Бабаяна, Сергея Каледина, Михаила Кураева**

Новые рассказы:

Василия Аксенова
Ольги Бутенко
Теодора Вульфовича
Владимира Маканина
Евгения Попова
Юлиу Эдлиса

В разделе «РОССИЯ»

«Интервью с самим собой» **Сергея Аверинцева**
Материалы Первых Чтений памяти Владимира Максимова «Прошлое, настоящее, будущее России» (Париж, март 1996)
Новые статьи **Ю.Н. Давыдова, Л. Пияшевой** и **М. Харитонова**
Материалы конференции «Россия на путях правопреемства» (Москва, май 1996)

В разделе «ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ»

Публикации из архива «Континента» («парижского» — 1974—1992)
Материалы из архива Н.А. Бердяева

В разделе «РЕЛИГИЯ»

Антоний, митрополит Сурожский. Церковь и мир с православной точки зрения
Статьи **Якова Кротова и Зиновия Фаликова** о проблемах межконфессионального диалога

(Далее см. с. 3 обложки)





Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

88

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Ассоциация друзей журнала «Континент» (Париж)
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

Редакция пользуется автомобилем «Москвич»,
предоставленным АО «МОСКВИЧ»

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Виктор СПАРРЕ
Витторио СТРАДА
Карл-Густав ШТРЕМ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via Olmetto, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
Канада	Ольга Бутенко 1221, Boul. Rene Levesque SILLERY QC G1S1V8, CANADA ☎ /fax (418) 688-1221
США	Эдуард Лозанский 1800 Connecticut ave., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 USA ☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
Франция	Татьяна Максимова 5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария	Жан-Филипп Жаккар 104 rue de Carouge 1205 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
	Нелли Биуль-Зедгинидзе 25 Malagnou 1208 GENEVE, SUISSE ☎ (22) 736-40-69

СОДЕРЖАНИЕ

Марина КУДИМОВА
Диктор. *Радиокомпозиция* 9

Юрий МАЛЕЦКИЙ
Любью. *Повесть* 22

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ
На остром сквозняке воспоминаний. *Стихи* 153

Михаил ВОЗДВИЖЕНСКИЙ
Собачьи унты. *Из недавнего* 161

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Край судьбы ощутив... *Стихи* 176

Юлий КРЕЛИН
Из цикла «Иссакские саги». *Рассказы* 181

РОССИЯ

Прошлое, настоящее, будущее России
Первые Чтения памяти Владимира Максимова
«От диссидентства — к демократии» 213
Лев АННИНСКИЙ (*Москва*)
Необрывающийся диалог 217
Мишель ОКУТЮРЬЕ (*Париж*)
Диссидентство, или Реванш литературы 223
Юрий ПОКАЛЬЧУК (*Киев*)
Эволюция диссидентства: национальные особенности 226
Алексис БЕРЕЛОВИЧ (*Париж*)
Демократия, власть, интеллигенция 230
Жорж НИВА (*Женева*)
Нужно ли плакать по диссидентству? 234

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

о. Александр МЕНЬ
Воспоминания 239

РЕЛИГИЯ

Зоя МАСЛЕНИКОВА
Неизвестные речения Иисуса 294

ГНОЗИС

Сара КОФМАН
Улица Орденэ — улица Лаба́. *Эссе* 320

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Марк ХАРИТОНОВ
Участь. *Очерк* 341

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 374

ДИКТОР

Радиокомпозиция

То распрямившись,
то ползком, как полоз,
иду на голос.
Мне ложь связала рот.
Не мяты, не шалфея —
ищу Орфея.
Суть в том, что все наоборот:
цветы не никнут,
и зверье не млеет,
но речь
неизреченная
гниет,
смердит и тлеет.
Внутри хоккейных шлемов и скуфеек
ищу Орфея.
Зуд, будто горло порохом кололось, —
иду на голос!
И тот — поэт сегодняшнего дня,
кто в принципе походит на меня.

Марина КУДИМОВА — родилась в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Подборки стихов, эссеистика, литературно-критические статьи публиковались в центральной периодике, в том числе в журнале «Континент». Автор стихотворных сборников «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1988), «Стихотворения» (1988), «Арысь-поле» (1989), «Область» (1989). Живет в Москве.

* * *

Не в будних грехах,
не в любовном замоте,
завистливом чтенье и мерке людской,
не в праздности адской, не в гордой работе
себя я унизила этой тоской.
Нет, — я разуверилась в силе искусства,
которому Бог, как горбу, обрекал,
когда, добиваясь ответного чувства,
меня опекал молодой радикал.
Я лоб закрывала ладонью, как челкой,
а он подозреньями по носу щелкал.
Как пьющий солист, телефон дребезжал, —
я трубку брала, он меня обижал.
И длинный реестр: в чем я виновата,
мне слух углушал, как компрессная вата.
Я в контраргументах была не сильна...
Но в чем же моя заключалась вина?
Я не сочиняла зубастых листовок,
цианом моя не богата слюна,
я не выходила под дула винтовок
с толпой, уточняющей: — Это — она!
Я предоставляла заботу о славе
поэту, рожденному в год Петуха,
держась вдалеке от такого греха,
чтоб не опознали в базарной облаве.
И если вам надо такое искусство,
которое злит, как забористый брёх...
Мне скушно!
Суди меня Бог...
И я телевизор клейменый включаю,
над свежей газетой, зависнув, парю.
Я — чаю,
я ведаю, что я творю.
С экрана мне кажут язык, будто лыжу,
в газете — дискуссия: «Лаком ли кал?»
Я — вижу!
Я вне подозрений, мой друг радикал.

А если и купят, а если и словят
(да много ли надо в моей нищете!),
спасибо на добром бессмысленном слове
скажу...
Да и полно об этой тщете!

* * *

Утро провинциала...
Пэтэушник в дешевых джинсах
и в рубахе с гортензиями...
Это — жизненно,
но с претензиями.
Очередь за молоком?
Нет, за пивом!
...Но — в глотке ком.
Утро провинциала —
опохмел без фиала...
Трудно выбрать, о чем и о ком,
когда все уже написала,
когда тянешь порожняком.
Стонут легкие
от плохих сигарет.
(На хорошие — денег нет.)
Перспективы мои далекие —
привет!
Макароны на завтрак вредно,
масло делают из воды.
Одеваться бы в «ретро»,
да куды!
Репродуктор висит заскорузлый, —
руки жирные или мучные.
Магомаев, или Карузо,
иль иные
м у ж ч и н ы —
кто их слушает!

Потребителю наплевать:
что дадут, то и кушает.
Пусть лепечут поэт и прозаик, —
кроме домохозяек,
на кого уповать?!
Фон обыденный, тон обеденный, —
а кому он мешает?
Тем народ и богат, что беден:
подают — и вкушает.
Да еще зачастую
диктор кухню пустую
оглашает
и певцы в пустоту завывают:
не утюг — уходя, выключать забывают.
Стоп!
Точнее вердикта
не принять в продолжение лет:
Д И К Т О Р !
— Диктора!..
Ибо автора — нет.

* * *

Не оглядываясь, не вглядеться:
За спиною — радиодетство.
Отрастая в брянских лесах,
Где три года житья под фрицем
Выраженье придали лицам
И осели на голосах,
Я внимала во весь напряг
Передачам первой программы.
В васнецовских богатырях
Проступали прямо без рамы,
С репродукции «Огонька»,
Моргунов, Никулин и Вицин.
(За три года житья под фрицем
Сколько слов ушло в облака!)

И когда находили дни,
Оккупированные хлябью,
Подпиралася я по-бабьи
(Кто искусен — передразни),
И во мне в плохую погоду
Воспитали любовь к народу
Не витрина и не корова,
А Литвинов и Бокарева.

* * *

— Ты из рабочих, служащих?
— Я — из последних слушающих!

Не знала телевизора
Я лет до десяти.
Деревня зад зализывала,
Искала блох в шерсти.
Ух, солона испарина
Под палкой трудодней!
И ей ли до Гагарина,
До Кеннеди ли ей?
И, в битве упоительной
Лавиною стремительной
Оттиснут и подмят,
Мой дед домостроительный
Там зиждил комбинат.
(Советские последышки,
Семей напрасный труд,
У бабушки — у дедушки,
Как правило, растут.)
С Никитою Сергеичем
Живали веселей.
(Молва к нему добрее, чем
К плодам его полей.)
Где провирался с центнерами,
Там добирал концертами:
То бенефис у Зыкиной,
То Райкин хохму выкинул...

Народ, как ни питай его,
Запущенный цветник...
Меж тем взошла Цветаева
И Мандельштам возник.
Ура, шестидесятые,
С эстрадною надсадою!
За плечи их витий
Держалась — и не падаю
Ни в Лену, ни в Витим.
А за плечами этими
Скелеты лихолетия
Приобретали плоть
И, ободрав оплетия,
Подстраивались спроть.
Ура, борзая братия
На Всесоюзном радио,
За классные финты!
По мере искажения
Росло воображение —
Я с ним поднесь на «ты».
Спасибо за внимание!
Опасность телемании —
Какая суета!
Я все прознала ранее —
Наелась досыта,
И кажутся мне дикими
Беседы с невидимками —
Дыра на месте рта.
Что изменилось в методе?
Раздень пиджак — и нетути,
Сугуба пустота.
Вот почему, как ктитора,
Я выбираю Д И К Т О Р А
Из ряда мозгосушащих
Кастрированных выдержек:
Я из последних — слушающих,
Но я из первых — видящих.

* * *

Можно было взять актера,
Гвоздодера, полотера,
Вора и конферансье, —
Все промыканы по тестам,
По готовым шпарят текстам —
ВСЕ!
...Инспектор и корректор,
Гинеколог, боцман, лектор
(Лектор — тоже персонаж!),
Агроном в степи ковыльной, —
Всем вчинили мягковыйный
Гуттаперчевый тренаж!
Но алкаш...
Лишь алкаш сказал: — Поди-к ты!..
На язык попался Д И К Т О Р —
Тип, козьмапрутковский флюс,
Я к нему не подступлюсь.
Гонит он, не заикаясь,
Не брыкаясь и не каясь,
Гладко, бойко и с душой,
Как не дернутый вожжой.
Тут, пожалуй, не обяжешь,
Не понудишь, не прикажешь, —
Что, как Д И К Т О Р — сам-большой?!
Ближе к делу! Что-то вроде
Буффонадистых пародий,
Актуальный камуфляж,
Юмор с окисью сатиры.
Вышлешь в чуждые эфиры
Иль Хазанову продашь...
Не проходит этот нумер!
Что-то дешев нынче юмор —
Социальный импотент.
Что-то он легко дается
В мизансцене идиотства.
Знать, придется попотеть.
Ежеутренних яичен

Поглотитель и адепт,
Мой герой почти античен
По параметрам судеб.
Потому что, потому что
Мир — первичное сырье.
Коемуждо, коемуждо —
Каждому — свое.

* * *

Пророки рога мочили —
Почили... Хорош дурить!
Сошли Бухенвальд и Чили...
Учили его, учили
И выучили — говорить.
Слова — эфемера и фикция,
Была бы поставлена дикция
И вызубрен код.
А выйдешь из студии —
Садись за этюды, прелюдии,
Забудь и столетье, и год,
Количество, качество...
Но форма повсюду найдет,
Заставит корячиться
До вытяжки жил
Того, кто ей раз послужил.

* * *

Город колотит об угол
Нити запутавших кукол.
Только окстишься в лесу:
Господи, что я несу?
Хлипкие «или» да «либо»,
Сладкая липкая липа...
Вчувствуйся, идол пробирный,

Экспортный и сувенирный,
Что напорол:
Нищая мелочь, оболос...
Слушай подменный свой голос!
Мы позабыли пароль,
Но издевается отзыв,
Он абсолютно во всем,
Наго и десенно розов:
Что мы несем!

* * *

Искусство смертно.
Жалок, кто осудит,
Что от толпы, скупой на похвалы,
Полезли допевать в бутылки студий
Перед концом великие битлы.
Но, спасовав пред челюстью бульдожьей,
Талант и в поражении талант,
И по-иному прячется художник,
Чем алиментщик или спекулянт.
И, даже открывая филиалы
И убивая, словно никотин,
Художник воплощает идеалы ...
О, если б это знали радикалы,
Мрачнея в изголовье гильотин!
Когда меня дитя заутра будит
(А без него бы долго я спала!),
Мне кажется, я выхожу из студий,
И смерти нет, и жизнь — не кабала.
И только, наподобие реликта,
В душе осадок: дескать, ты живешь,
А в студии остался некий ДИКТОР,
И он тобою обречен на ложь.
Есть у тебя судьбина и отдушник,
А у него — бобина и наушник
И звукоизолированный дом.

Над ним горит магическое «ЗАПИСЬ!»,
К ветхозаветным письменам подкрапясь,
Так что они читаются с трудом.
Есть у тебя цитата из Декарта,
А у него — зеленый индикатор,
Который все безумнее горит,
Все неопределенней, все опасней,
Но враз парализующе погаснет,
Когда он о т с е б я заговорит.
Свободен Д И К Т О Р с ног до головы весь,
Но мертв и обездвижен, как горжет,
И, чтоб его размуровать и вывесть,
Мне надобны интрига и сюжет.
Поскольку ж, от скандала до скандала
Садясь в аналогичную тюрьму,
Я не жила — я писем дожидала,
К чему прибегнуть мне, как не к письму?
Обезоружить суеверье лестно,
Но даже в Академии наук
Доподлинно известно:
Письмо приносит утренний паук.
Вот первое письмо, за ним — второе
На волю выпускаю из руки.
Они — мои любимые герои,
Хоть предали меня все пауки.
Я знаю: ч а с т н ы х писем не бывает, —
Им по́ сердцу на душу доносить,
Писанье их мозоли набивает,
А рвать их — то же, что цветы косить.
Не рви письма, гурман родимой речи!
Слова бастуют, и безгласно вече, —
Молчи, постись,
Но не теряй намеренья спастись!
И все, что души-скареды прижали,
Восстанови — с начала до конца,
Как Моисей восстановил скрижали,
Разбитые о голову тельца.

Письмо на радио

...За комодом тетрадку нашла:
«Дорогой наш концерт по заявкам!..»
Свет включила (но лучше: зажгла),
Тут под дверью котенок замявкал —
Поднялась, молочка налила.
Отвлеклась...
Цепью действий простых
Утомляется плавная старость.
Вдоль окошек проехал «Икарус»...
«Сын мой в жизни не много достиг.
В институте учился. Ушел.
А когда попеняешь — смеется,
Говорит: «Что искал — то нашел,
И довольно с меня идиотства».
Не женился. Работы менял.
В ночь по пачке искуривал «Шипки».
Вы тогда извините меня,
Если в грамоте будут ошибки.
Запивает старик-инвалид,
У самой поясница болит,
Но я слушаю вести о БАМе.
А для мира мне нечего дать,
И я в этом винюсь перед вами:
Дочь одна — в заключении зять.
Мне известно, какая нужда
В Кампучии, а также в Бенине,
Переполнены биржи труда,
А душа изболелась о сыне.
Все соседи живут по-людски,
А его не умнее, наверно.
Я вяжу на продажу носки —
И раздумаюсь: что же он нервный?
Видно, кровь передалась от мужа —
Он поранен и дважды контужен.
Но ведь этот — совсем молодой!
Вот и ходит, и ходит кругами,
На колонку пошлешь за водой —

Как не видит земли под ногами —
Всю расплещет. Плохой аппетит.
Вот и крутит, и крутит приемник —
Только скажет: «Все к черту летит!»
Он и сызмала был неуемник:
Так кричит — чуть пупок не развяжет,
А спроси — ничего не расскажет
И внимания не обратит.
То долдонит: «Протест — Вечный жид!»,
То бормочет: «Чому ж я не Герцен?»,
То заляжет ничком — и лежит...
Не могу — разрывается сердце...»
Ревматическая рука
Над листочком двойным задрожала,
Так что вниз побежала строка.
Слезы вытерла — и продолжала:
«Я в газете прочла, как парторг
Собирал со вступающих взятки,
Как попался весь горпищеторг
И какие в полях неполадки.
Может, сына я в чем не пойму,
Но болеет он не за медали.
Я пишу вам сейчас потому,
Чтобы песню ему передали.
И хотя он не передовик,
Но зато не нахал, не хапуга
И на все откликаться привык,
Только нет настоящего друга.
Я прошу вас возможность найти
И письмо не отдать на проверку
И вниманием не обойти
Неученую пенсионерку».

* * *

Интрига и сюжет,
В материю сошед,
Уже не вяжут лыка...
Ой, лишенько, ой, лихо!
Какая там интрига...
О Родина моя...
(Но это тихо-тихо...)
Романы без вранья —
Шипучая шутиха.
И у своих корыт
Или уткнувшись в ясли,
Златим пилюлю, маслим
Опилки, ржем навзрыд,
А Д И К Т О Р говорит....

1982 — 1995

Юрий МАЛЕЦКИЙ

ЛЮБЬЮ

Fugue in fusion[1]

...И падшесть к милым призывал.

Оговорка моей жены Любы, которой и посвящается все нижеследующее, имеющее к семейной жизни автора еще более далекое отношение, чем можно себе представить...

И будет яко древо, насажденное при исходищих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, его же вземетает ветр от лица земли...

Тьма во тьме темнит, и свет не победит ее. Сердце тьмы — кто? где? Я, слева. Пусти мне сердце. Переместиться вовне. Из кро— на кухню —вати чрез коридор. Колидор-валидор. Вали в дол! Не тяни, пусти мне сердце. Ну! Не спи мне сердце. Проснись мне.

Юрий МАЛЕЦКИЙ — родился в 1952 году в г.Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского университета. Дебютировал в «Континенте» в 1986 году (№№47 и 48) повестью «На очереди» (под псевдонимом Юрий Лапидус). Печатался в «Знамени», «Новом мире», «Согласии», «Золотом веке», «Дружбе народов», — повести «Привет из Калифорнии», «Ониксовая чаша», «Потихоньку-понемножку» и др. В «Континенте» № 81 опубликован роман «Убежище».

[1] Фуга в стиле фьюжн (*англ.*). Стиль фьюжн (от англ. «сплавление», «слияние») — направление в современной музыке, характеризуемое синтезом различных музыкальных стилей (джаза, рока и др.).

Встать, прейти чрез дверь, чрез колидор — куда? на кухню. Назад, в тот сон-париш; купи мне ван-вэй-тикет в париж з большой буквы. С-н, сОн истык-кай-ет, ис парижа на кухню. Назад в сон-париш, в сон-париш! Пусти, б.

— Тошнит. Прости. Тошнит.

Не вышло назад. Бы не ткнуться в дверь. Не зажигай, неси сон в. Иди-во-сне. Есть время спать и время просыпать сон. Только лбом не в дверь. Бы не синяк. Тьма, я твое сердце. влажное сердце сухой ть...

За дверь и прямо. И налево вот тут еще ступай мимо тьмы налево. Свет-окно. Открытое кухни окно. Ок-но: око ночи. Так стремился в центр: москву з большой буквы — и из москвы в центр-центр-москву. Здесь, у окна в центр центра стою и не могу иначе.

Все. Разгулялся. Разгуляй у раздолбая неприличное отгрыз.

(Весна больно входила в тесный кишечник самого центра, размораживая запахи бензина, CO_2, шашлыка из углового ресторана. Ядовитые всходы весны. Цветы зла. Души прекрасные позывы. Душит мутное под-утро Москвы.)

Здесь, на холо — церукал и эта— дильнике — перазин. То или то? Сначала церу. Еще из ГДР. Цээру из гэдээр. Штази. Штази в экстазе. Пусти, не тяни душу. Назад, ис сна-самары ф тот сон-париж. Удрать из сна в другой. Поздно. Тогда вообще проснись. Все лучше чем. Как во сне жалко Ту. Как наяву не жалко Эту. Как просто не любить — только разреши. А может, и уснешь. Не расплесни в себе. На всякий — вдруг еще? Есть время. Пошел! не зажигая света. Все королева Маб. За ночью ночь катается в мозгу любовников — и снится им любовь...

— Все. Уж не спать от жизни ничего мне.

— Прости. Я не нарочно.

— Кто, я? Тебя? Попрекаю? Какая разница, нарочно или нет. Важно, что я спал два с половиной часа, мне ехать два часа электричкой 6.15 и час по полю зайцем. А мог бы поспать еще целых три — два с половиной плюс три! — если бы не. Теперь фига с два-с (*голос так и звенит,*

как комар, налился кровью. Брось, ты что? не есть достойно).

— Прости. Ну прости, пожалуйста, — готова заплакать. (*При чем тут ты? Это Та меня разбудила, прищемила сердце. А я жульничаю, раз уж ты меня тоже будишь. Но не дам понять.*)

— Замнем для ясности. Снявши волосы, по головам не ходят (*свалил-таки с больной головы на здоровую, снял-таки ей голову, тварь бесстыжая*).

— Что это значит? Ты в чем-то меня винишь? — взлетевший голос понесся, развернулся лавой (*шашки наголо! ты ее все время недооцениваешь, думаешь, теперь-то она смирилась до конца, самое время заушать; не тут-то было! Не так надо: оставить ей молчанием место виноватить саму себя, а ты молчи, воздействуй только на ее совестливость, а не на... не дожимай.*

Однако уж не спать всерьез и надолго. Как ни болела, а умерла. До чего ж мясом-шашлыком. Идоложертвенные мяса. Демоноговейные. А ехать натощак — служба. С добрым утром, тетя Хая).

Господи, что ся умножиша стужающие ми? Мнози востают на мя, мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Аз усних и спах, востах яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя.

Время. В ночи. Round midnight[1]*. Добро бы midnight, а то полтретьего. Время. Каплет струйно или по капле; оптом, в розницу и на экспорт. Довлеет минуте злоба ее. Sic transit всякое время. A way of the all flesh*[2]*. Путь всякой секунды: вот она была — и нету. Была — и нету? есть, но во вчера: Вчера-бытие. Жалко их, все до одной секундочки истекают кровью, стекающей со вчера; вот последняя кап — и ты вместе с ней? А то нет. А вот: попробуй каждую на зуб (не рви мне сердце, аминь, аминь, рассыпься!), определили своим*

[1] «Около полуночи» — известная джазовая тема Т. Монка. — *Ред.*

[2] Путь всякой плоти (*англ.*) — *Ред.*

словом эту пробу — и время не остановится, так растянется. Подольше с тобой побудет, ф-севодня-бытии.

Начни с этой.

Эта минута пуста. Кругло пуста, как поэзия Вознесенского. Чудище обло, озорно, стозевно. И лояльно.

Как я стремился, лез вот в этот в центр На перекресток двух вот этих улиц Сюда — и вот я здесь, чтоб сдохнуть От выхлопа да выброса плюс блева лопнувшей трубы Навеки. — А там, в Измайловском лесу, уж лось поди завыл, Весной на небо глядя. Брось, лось не воет, а кричит весенним брачным криком. Брось, не кричит он, а молчит, молчком весенним счастлив Навеки. Там, в лесу, токует и курлычет и бурлит Ручей, оставшийся от речки Серебрянки Навек. Там дед и баба только и живут, И с ними сразу внук — без папы и без мамы заведенный: Там взрослых нет, лишь старики и дети, — Да велосипедист лихой навек. Как я туда хочу, в тот дивный лес, но я... Я, чтобы сдохнуть, здесь — и не могу иначе.

Едва ядовитые зубы памяти-змеи вонзились в душу, как уже вошел туда, в давнее прошлое, в Измайлово, и оказался тогдашним собой, тем, кто, изнемогая, переживал тогдашнее близкое прошлое — драматическую рокировку или размен фигур: разрыв с Той и уход к Этой, и одновременно — вторую жгучую боль: измену Той в давнем, давно-давно прошедшем, черную измену, о коей не подозревал, живя с Той во время измены ее, в Самаре — ах, главное в Той была ее программная верность-преданность-любовь до-гроббба, — а узнал только здесь (в Измайловском прошлом), глухой ночкой, от самого наглого и жалкого — так наглого или жалкого? — от самого жаглого из самарских приятелей (а сейчас, говорят, процвел, забурел, размордел), упившись с ним в лоскуты, в дупель, в дым, вдребадан, в дребезину, до соплей, в зюзьку — и так ненужно, так смешно и ненужно услышав вдруг его расколовшуюся безо всякой надобности, тяньбы за язык бормотцу: «Хочешь, я тебя насмешу? У меня с Той было дело. Ну когда там у вас что-то произошло, я не знаю, и она собиралась от тебя уйти. Ну, я, ты не переживай, я как мужчина оказался не на высоте... Ты чё, ты чё? Смешные вы оба, в наше время таким пустякам значение придавать, ёкорный бабай»).

...исцели, Господи, яко смятошася кости моя. И душа моя смятеся зело: и Ты, Господи, доколе? Обратися, Господи, избави душу мою: спаси мя ради милости Твоея. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу.

Такайя бол-ль, тк-кайя. Почему? Только же прошлое. Я здесь. Уже не с Той, а с Этой. А то, что тогда узнал — еще в более дальнем «тогда». В еще более долгом ящике. Прошлом прошлого. Plusquamperfect. Тень тени. Откуда эта боль — здесь? Сечет, как кнут, свистя. Душу на дыбу вздерг: ви́ска, — и сразу— сразу —кнутом: встряска! То и есть: н а д ы б а л... А забудь! А как, когда таккайя болль... Вскачь, наотмашь и навзничь. Душу надвое, и еще выворачивает, и тянет, и скребет. И передергивает, и все, что хочешь. Пусти!.. когда ее бросал, казалось: все в порядке — новая страсть, а в любви закон — тайга, кто смел, тот и бросил, будь здорова и не кашляй; а когда откликнулось — больно до-не-могу? Терпи, браток, за дело, на небесах невиновных не наказывают, а Эту не трогай, не мучь, не дай понять, это твой срок, а она тут — чистый ангел. А это еще как сказать. Брось, не вывертывайся. Но чтоб так-кайя болль. Ууу... Но я ей честно сказал, в упор: ухожу, теперь впервые, наконец ухожу без бэ, раз и навсегда, я — честно, а она мне — в спину из прошлого, когда я думал: я князь Мышкин навыворот, любовь-страсть к одной и любовь-жалость к другой, но я ухожу к Аглае, это драма, но еще не трагедия, быльем порастет, и пусть я мерзавец, но не она, в настоящем все мутота, но в прошлом все чисто-цельно-высоко з большой буквы (кроме как с моей стороны, но не с ее!), а это главное: тыл, я родом издетства и всякая штука — и вдруг оттуда, с тыла, спустя три года (или четыре?) кнутом шаррах, и я в говне, а прошлое неизменяемо, вся прожитая жизнь в говне навеки. Все, о чем ты с умилением: покинутый город, восемь вместе прожитых лет первой молодости, ее домик, честная бедность, ее карий взгляд, гульба до рассвета, Волга, ваш детский чистый бред о фу-ты-ну-ты Мастере, чтоб его намочило, и Маргарите, ежь ее двадцать, Модильяни и Жанне Эбютерн, пес их заешь, Ланселоте и королеве Джиневре, я

вас умоляю, Тристане и Изольде, сладкая парочка — все в карем говне. Да, когда взрывается настоящее — это только пол-столько. Потому что есть надежда-незнание-завтра. Но когда динамитится прошлое — вот это траги-квази-комедия. Квазимодия. Потому что тогдашнее завтра уже случилось и ушло навеки в неприступное проклятое прошлое. Пусти, б. Все королева Маб в упряжке из мельчайших мошек катается у спящих по носам. На колесах со спицами из паучьих лапок.

Рече бо в сердце своем: не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста его полна суть, и горести и лести, под языком его труд и болезнь.

— Послушай... я знаю, как тебе это важно, — из тьмы засветился голос в 16 свечей. — Но... не езди сегодня.

— Пусти-и (*кому из двух?*) — что? *(опомнился)* Прости, что ты сказала *(прости-пусти пусти-прости: простипустия)*?

— Не езди сегодня. Пожалуйста.

— То есть как? Ты же знаешь, — *голос сжался, разжимаясь затем толчками, забирая в фальцет (сам себе неприятен)*, — это уже третье воскресенье, что я не был в храме! Меня по не помню номер канону Пято-Шестого Вселенского собора, иже в Трулле царских палат, пора отлучать на десять лет!!

— Брось. Канон не подразумевал, что в приход придется ездить за 100 верст. Канон создавался тогда, когда приходской храм был за углом. Всему своя мера.

— Это ты так думаешь. А я готовился, читал каноны и чинопоследование, вспоминал и записывал свои грехи, и ждал, что наконец очищусь за долгое время... Это как три недели не мыться... Да я по-хорошему должен был уехать накануне с ночевой, быть на всенощной, но я остался, чтобы тебе не было страшно ночью и тревожно вечером, я опять должен буду оправдываться, как маленький, что-де я больше не буду — и... и после всего этого еще и не езди!!!

— Пожалуйста, не кричи, пожалуйста. Начинается приступ.

Похолодеть, услышав эти слова, этот матовый голос, квазибезразличный полушепот, выдающий смертный страх кролика перед удавом (а за этим слинявшим голосом — ее безвидное, упрятанное во тьму, но наверняка посеревшее лицо). Похолодевшее сердце внезапно и в то же время замедленно покатилось вниз: опа. Против лома нет приема. Сама ничего не может против приступа, уже побелела, скрутило страхом, а потом совсем, до неподвижности, обвяжет своим приступом, и тогда... шприц? Теперь не уедешь, по техническим причинам, куда ты денешься, не бросишь же человека в таком состоянии. Мало того, может, придется везти в больницу, как тогда. Но тогда — это было когда? когда просто по блату. А теперь плати деньги за хорошее место, не в Ганнушкина же, не в Кащенко, там здоровый с ума сойдет. Хорошие деньги за хорошее место, а их нет и не будет. Сколько собирался, наконец сфокусировался, три дня картошки на вонючем постном с осадком, свеклы и капусты при больном брюхе — на три дня долой все послабки по здоровью в великий пост, — читки, читки и читки — и вот все коту под хвост. Уже горе́ имел сердце — и вот. По техническим причинам...

А если?.. Попытка — не пыт... Что она говорит?

— ...меня не оставишь? Одну? — *вплелось робко-тускло. Плохо ей. Не тускли меня. Не боячь.*

— Конечно, нет. Не оставлю. Что значит оставлю? Не грусти, не плачь, жена. В конце концов, штурмовать не столь уж далеко море отправляет нас страна.

— Если ты уедешь, а у меня начнется настоящий приступ, меня заложат в больницу (*заложат мое словцо, я научил, ну, и чему хорошему научил, даже пить не выучил*).

— Заложат? Кто?

— Они.

— Послушай, но они о тебе не узнают, пока ты им не позвонишь. А ведь ты им не позвонишь?

— Нет.

— Тогда чего ты боишься?

— Приступа. И больницы.

(*Вот тебе здрасьте. Пошла по кругу. Уже не соображает. Уже забрало. Брать не отдавать — ее уж нет, а ты далече. Собрался далече. Приехали. С добрым утром, тетя Хая.*)

— Послушай, — *раздраженно-терпеливо,* — с больницей мы ведь только что разобрались.

— Нет.

— Нет?

— Да. Потому что если ты уедешь, а о н начнется, я сама позвоню. Лучше больница, чем о н.

— А если я не уеду?

— Тогда ты что-нибудь придумаешь. Что-нибудь. Придумаешь?

(*Брось, что я могу, когда... когда э т о. Что я могу. Как помогу.*)

— Хорошо. Давай проведем психоаналитическую работу (*самое время; как же трещит башка; недосып хуже похмелья*). Давай разбираться. И с больницей, и с приступом.

— Давай (*без надежды, но с ней — а то бы не согласилась*).

— Почему ты так боишься больницы? Подчеркиваю — хорошей больницы.

— Лучше смерть.

— Лучше смерть, чем больница, и лучше больница, чем приступ?

— Да.

— Хорошо. Эту цепь уяснили. Но что же тогда — в двести пятьдесят пятый с четвертью раз — что же тогда есть твой знаменитый приступ?

Суетная глаголя кійждо ко искреннему своему: устне льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая. Потребит Господь вся устны льстивыя, язык велеречивый. Словеса Господня, словеса чиста, сребро ражжено, искушено земли, очищено седмерицею.

(*А эта минута быстра; обрывается в небо, где заходит солнце и заходится сердце, как гитара Сантаны, сходя на нет в запределыи или сгущаясь из него, из положительного ничто, как сказал один, из нуля форм, как называл другой; Сантана, надо же такую санскритскую фамилию не сочи-*

нить, а родиться с ней, что остается, как с такой не податься к гуру: Девадип Карлос Сантана и Турия Элис Колтрейн. А вот высший класс: Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Свами с вами. А Стас с нами. И Бог с ними.)

Там, за окном, не видно их, «Чикит», Кожурков от банан-
чиков, но зрю Сквозь мглу немалу кучу их. Там на углу, у
урны, ими со́рят — И все не уберут. Вот почему всегда Так:
взял бананов килограмм-другой — И сразу съел-пожрал,
не доходя до дома, И все стоят и жрут — вот в этом самом
месте, А как могли бы есть на кухне, дома: Помыв, отслоив
кожуру счастливо, И дальше — с чувством, с толком, с
расстановкой, Кус за куском, читая «Монте-Кристо», Но
нет, спешат и жрут здесь, на углу — шлеп Отбросы их —
а смысл? Да в том и смысл, быть может, что — не странно
ль? — создан Для счастья человек, что птица для полета —
И лишь услышит где иль подглядит, Как жить уже без счастия
не может, А жизнь идет, а счастья нет и нет — и вдруг тебе ба-
нанчики «Чикита»: Жри, пылкий московит, зажрися счастием,
пришедшим с Эквадора Иль с Гонолулу — глядь, душа счаст-
лится, Под небом чистым места хватит всем Счастливцам...

Таккая болль. Почему? Изменила — и что? Я не с Той, а с Этой. Прошлое замарано — плюнь: нигил. Нуль форм. Цепляйся за здесь и теперь. Не выходит; почему? Не молчи, спрашивай о приступе, о больнице. Спрашивай пристально; слышал двести двадцать раз, но спрашивай: то и есть «психоанализ»: не анализ, но — серия серьезов: психическая атака вниманием. Ты не есть, но лишь — она. Внимай. Серьез и серьез. Ей тоже плохо, вот и займись, отвлечешься. Как трещит с недосыпа. Подлечишь ее — отпустит. Уедешь. Настрой голос — выговорится, ее отпустит — и тебя отпустят. Давай.

— Послушай... что ты молчишь? О чем думаешь?

(*Не успел. Поймала-таки. Говорил же: включайся быстрее. Работай по системе «бекицер». Но не скажи о чем, проговоришься — убьешь. Поймала. Раздели и стали пытать, Но девичьи губы шептали: «Не выдам я... сто двадцать пять». Но и врать не хочу. А ты подсунь другую мысль, о чем*

ты т о ж е думал. Зачем объяснять, что расслоение мыслей у тебя — обычное дело, как у больного грибком — расслоение ногтей.)

— О том, что мечты юности сбываются в старости, как говорил Киркегор. Примером чему приводил Свифта, который, по его словам, в юности придумал сумасшедший дом, а в старости сам туда попал. Так и я. Когда меня в 10 лет впервые привезли в Москву — и привели сюда, на вот этот перекресток, в магазин «Восточные сладости», и купили невиданной вкусноты, сказочной, понимаешь: козинаков трех сортов, и нугу, и сливочное полено, и вышли на этот самый перекресток ловить такси, а был вечер, летний вечер в Москве 62-го года, холера ясна! — я тогда подумал: счастливее московских детей нет никого — жить в сказочном городе, огромном, чистом, кататься на лестнице-чудеснице, смотреть картину «Три богатыря», есть всякие такие штуки... да, там были еще миндальные пирожные, помнишь, они были только в Москве, тогда еще такие клейкие, чисто ореховые, почти без муки или овса... да, вот это настоящее счастье. И с тех пор я заболел Москвой, да. И не просто «в Москву», а вот именно сюда, на этот перекресток, где я однажды задохнулся от чужого счастья. И вот теперь я здесь, именно на этом самом месте, в ста метрах от него, и проклинаю эту несусветную вонь, этот дикий шум 24 часа в сутки, эту центровую грязь, мышекрыс, лопнувшие навеки допотопные трубы — и думаю: куда я рвался? что потерял? Сидел бы себе... ну, не в Самаре, зачем дурака валять, но в Измайлове, в лесу, кто мешал? Нет, обмен! Какое счастье, с нами меняются из самого центра, центр-центра! Вот она дурь — родом из детства... Да, и так же я сейчас хочу в Париж, а окажусь там — взвою.

— Это уж можешь не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь. Но ведь и здесь больше нельзя... Да, но так и что же все-таки есть твой приступ?

— Я пыталась объяснить тебе тысячу раз.

— Попробуй в тысячу первый. Может быть, получится?

— Мне плохо. Я не могу объяснить. Мне плохо.

— Вот и отвлекись. Это единственный способ. Попробуй описать — полегчает.

— Хорошо (*не верит, но все-таки*).

— Понимаешь, от твоих описаний у меня в глазах двоится. То ты говорила, что это как в самолете при воздушной яме...

— Только сильнее.

— То — что это душевное, но физическое. Прости, это как?

— Ты не понимаешь. О н о меняется. О н о — о н — только одинаково ужасный, но у него разные формы. Чтобы я не могла с ним бороться. Сначала — помнишь, когда э т о началось — это были воздушные ямы, когда душа ухает и падает, и нет сил перенести. Потом, когда я было подобрала лекарства — или меня просто задолбили капельницами в Институте — о н изменился, понимаешь, спустя несколько лет от начала, и тогда уже пошло вот это.

— Душевное, но физическое?

— Да.

— Все же как тебя понять? Что это — страх, тревога, тоска?

— Нет... То есть может быть и страх, и сердцебиение, и тоска, и очень сильные... но они всегда только сопутствуют, а о н — отдельно, он вычленяется... Ну, как я тебе объясню, когда все эти светила смотрели на меня как баран на новые ворота?.. ну, понимаешь, из тебя канатом тянут душу, и все — понимаешь? Физически тянут, со страшной силой.

— Не понял. Душу — физически?

— Да.

— Как это? Не въезжаю.

— Ну... что тут не... ну, хорошо. Тогда еще так...

Доколе, Господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице Твое от мене? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и нощь? Призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой: укрепихся на него.

— ...а потом и это изменилось: что-то осталось, но еще добавилась какая-то раскоординация движений: когда о н приходит, у меня внутри каждая поджилочка, каждый

нервик трясется — и все по-разному, понимаешь, и руки, и ноги каждая по-разному управляются, а то не управляются совсем: одна рука сгибается, а другая за ней не поспевает, а только потом, отдельно, и с усилием. Ну, это я так, по-простому, чтобы ты хоть как-то понял, вот как я им объясняла: упрощенно, дальше они не въезжают, да дальше словами и рассказать нельзя...

— А что, есть и «дальше»?

— Еще как; и дальше, и глубже, и хуже. Понимаешь, я это все называю одним словом «приступ», потому что не знаю, как назвать в нем самое главное, всегда одинаковое, как бы он ни менялся — а он еще десять раз изменится, потому что он живой: когда он приходит, я — жить-не-могу. Вот кто-то входит в меня, и я собой не владею, и жить с этим нельзя, до смертного страха, до кровавого пота, понимаешь?!

— Приблизительно... Но почему бы все-таки не лечь? Ведь тогда же тебя задолбили, ты же сама признаешь? На год хватило. Помнишь, как тот: «В лице Вашей жены отечественная психиатрия сегодня празднует триумф»?

— А ты помнишь, что со мной было на следующий день после этого «триумфа»? Как меня выводили из «зубчатки»? Уже на свободе?

— Да... И все-таки, если нет другого пути. Я не говорю — в психушку, а в Институт. Первое отделение — это же санаторий.

(*Сто пятидесятый раз. Каков вопрос — таков ответ. А что остается? Заученно, как в школе: «Обещаешь исправиться? Обещаю».*)

— Кто говорит, что это санаторий, пусть полежит с недельку... По существу. Первое: не могу не спать. А там как везде. В десять загружают таблетками. В шесть подъем. Якобы восемь часов сна. Но, во-первых: если ты на ночь принял то, что там дают, тебе нужно не восемь, а больше. Во-вторых, о каком сне можно вести речь, когда соседи говорят чуть не до утра. Медсестры орут у себя и из конца в конец. О какой гадости они между собой говорят, ты представить себе не можешь.

— Почему. Я когда-то видел датское порно.

— Ну разве что. Я не видела, но наверно. И всегда на полной громкости. Не то что Генри Миллер, Лимонов бы покраснел, если такое вообще возможно. Затем — трудотерапия. Это отечественное ноу-хау. Бьешь человека с утра до вечера колесами и капельницами — а с утречка пораньше посылаешь его мыть полы и ведрами чистить картошку. Это, по-вашему, санаторий? Я понимаю: некому работать, но это, по-вашему, санаторий? Третье: соседи. Одна все время молчит, другая тихо плачет, просто промокает от слез, так, что сердце от жалости надрывается — но тоже ни гу-гу. Третья, наоборот, трещит без умолку, то есть пер-манент-но — обо всех своих любовниках, у кого какого размера и сколько он может за ночь, думаю, все больные фантазии, а она вообще девушка. Четвертая хочет покачаться на люстре, да все до нее не достанет, ростом не вышла, но беспрестанно прыгает.

— Ну и пусть прыгает.

— Это тебе пусть. А я ко всему этому подключаюсь с ходу.

— К чему к этому? К разговору о любовниках?

— Не валяй дурака. Не к их разговорам. А к ним самим. К тому, что от них исходит... Там старушка старенькая была, смирная, в сером платке, смирно ходила по коридору, как тихая, неделями смирно ходила — и вдруг однажды как шарахнет кулаком по подоконнику, как заорет — все сбегутся... Пойми, они все разные, но от них исходит о д н о. Оно живое и страшное. И я его всегда слышу, как оно от них в меня входит, и оно... оно очень тяжелое, поверь мне. Оно непереносимо тяжелое. И вообще, сколько я могу тебе рассказывать одно и то же!

(*Четко излагает. Вообще всегда четко излагает. Слишком четко, как ее профиль. Как ее холодный голос. Никакая болезнь не в силах. Как легко не любить — только отпусти себя. Да, четко. А не скажи — все же в конце голос потух, матовой лампочкой вспыхнул — и потух, как... как воспламеневает, вздыбливается, взрывается гитара Хендрикса в «House burning down»*[1] *— и облом, обрыв — об-рухх: «Тяжолое. Не-пе-рее-носи-мо». Да. Достало ее.*)

---

[1] «Сожжение дома» (догорающего, спаленного дотла) (*англ.*) — *Ред.*

— И третье — врачи. Ты помнишь Мулевича?

— Я помню Мулевича (*что это? А-а: «Вы знаете тетю Хану? — Я знаю тетю Хану. Дальше»*).

— Помнишь: «И не бойтесь увеличивать дозу. Дайте ей одиннадцать таблеток хлорпротиксена»? А это: «А еще, профессор, — это мой лечащий врач, — она верит в Бога. Она верит в Иисуса Христа». — «Да что вы? Это как же, голубушка? Что же это Вы?»

— Ну, это уже времена архаики и героики: вера тире религиозный бред тире шизофрения. Теперь наоборот. Теперь нужно иметь безумие сказать: я атеист.

— Неважно, это все неважно. По существу ничего не изменилось. А ведь Мулевич еще из лучших. У них он считается как-бы-бог. А если я на этот раз попаду к не-до-богу?

Таккайя болль. Как — что? как... крышка от консервной банки, жестянка с рваными краями, проворачивается по оси грудины. Все там рвет. Все трещит. За что? Ты знаешь. Но почему так долго? И: ч т о мучит? В чем ядро муки? Разберем. Сколько можно, тысяча разборок — и все без застежек. Незапно задул какой-то Аквилон — и снова ржавая крышка с зазубринами вертится по оси. И все равно — что остается? Снова и снова разбирай. Если точно определить причину, назвать словом — на время, но утихнет. Если последовательно, не отвлекаясь, разобрать, врубиться, уже невротически следить тему до конца, не съезжая — утихнет. На время. Выиграть время, и снова, и снова — а там все время пройдет: земля, черви. Почвенники думают ли, что такое чистяком их почва, их мать-сыра земля? Могила. Та рождает — эта хоронит, та разверзает ложесна — эта втягивает в пещеру. Те когда еще до наших жили, а уже были куда умней: их почва, их Гея что еще и породить могла, когда не кошмарных титанов, киклопов и сторуких, жуткого стоглавого Тифона да седых старух эриний с песьими башками? Да, вот тебе и родная почва: не terra firma[1]*, но сыра земля, черви, глина, грунтовые воды. Сырая смерть, грибная. Ну, давай.*

[1] Твердая почва (*лат.*) — *Ред.*

Однажды вечером, увы, Упал он посреди травы, Немного сбоку от мордвы, Но в целом к югу от Тувы, — Упал и больше не дышал: Вот так он крупно оплошал.

Ну, давай. Больно. В ту же рану. Ну. Отчетливо, с усилием, мысля в словах, чтобы не было недобора до дна, не оставляй там ничего, как учил нечестивец Джиду Кришнамурти. Ну. Но и ее слушай, а то нечестно. Двоись, как умеешь.

— Ты понимаешь, — *голос окреп, как цепкие руки, схватил за горло, сейчас вытрясет душу: сама с собою говорит, сама себя трясет, не удержать — больное место, больная мозоль,* — ты понимаешь, что все психиатры, самые лучшие — костоломы-душегубы-медвежатники? Потому что их сейчас могли и приучить допускать, что Бог есть, но все они по выучке давнишней и по истинной склонности — материалисты. Для них душа — ящик, сейф, к которому только нужно подобрать фомку. Для них, правильней сказать, вообще нет души, а есть якобы понятная «психика», а ее нужно бомбить, как фраеров. Лепонекс-эглонил-амитал-мажептил. Ты прошел сквозь 26 капельниц? (*Двадцать шесть их было, двадцать шесть!*) Тебя — амиталили? У нас один азербайджанец кричал: «Дай еще амитал-натрий, пажалста! Лучше бутылки водки — и бесплатно!» А я водки не переношу, тем более без закуски. Ты представь: тебе колют водку в вену, а? А ты знаешь, что такое улететь всего от четвертушки лепонекса в черную дыру и там превратиться в жгут, а потом разорваться на обрывки? Это вам смешно, когда вы слышите: «Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца», — а ему было не до смеха.

— Да и мне, в общем.

— Ну и зря. Может, он-то хотел, чтобы тебе как раз стало смешно, он это уже переварил, чтобы тебя рассмешить. А может быть, чтобы с е б я рассмешить.

— Хорошо, мне смешно.

— Устал?

— Что ты, и не думал. Устают после трудового дня. А у нас ночь. Я отдыхаю. Мой лоб приятно прохладен.

— Устал от меня.

— Что ты, любимая. Разве от тебя можно устать?! Я от тебя отдыхаю. Я с тобой отдыхаю. Отдыхаю с тобой от тебя.

— Я ведь уже просила прощения. Зачем издеваться?

Не с начала. С того места, которое уже. До которого докопал. Напрягся? Да. Вероятно, этот привкус особой, остро-дурной боли оттого, что, представляя э т о, я все время раздваиваюсь, смотрю на Ту своими — и одновременно е г о глазами. Конечно, в глазах двоится, тошнотно, и между двумя полюсами взглядов высоковольтный ток бежит по душе: пытка, виска и встряска. Что же вижу (видел) я — и что видит (видел) он?

Я — одушевленное существо-вещество, свое «ты», вообще с в о е, лучшую часть себя, переливчатое душетело, душело, где изъяны формы (местами повторяющие мои и потому интимно дорогие мне, как и некрасивые, но похожие на них дети дороги родителям) как-то криволинейно подходят к миндалинам глаз и излучине улыбки, придавая всему живительно-неправильный «изгиб».

Он — только внешнюю вещь, предмет, лишь «это», которое при раздевании лишается всей своей недоступности, а значит, как и каждый предмет, теряет интерес, понижается в цене. К тому же: неправильное тело было скроено так удачно неправильно, что его недостатки: слишком худая и узкая верхняя половина при широком тазе, неразвитая и вместе с тем высоко расположенная грудь, несколько странно, параллельно поставленные ступни — в платье делали ее горделиво-стройной, чему способствовала доморощенная прическа а ля Ренессанс, с пробором посредине и узлом на затылке, и длинные платья, шившиеся ею самой Бог весть из чего, из старых, вынимаемых из каких-то допотопных рундуков, кусков тафты, шелка, креп-жоржета, а то и простого ситца или из старой скатерти, ворсом и зеленовато-бутылочным глубоким цветом отсылающей к старому венецианскому бархату-оксамиту; но при раздевании обнажалось ее излишне худое, слабое, голубовато-белое (я, сволочь, не разрешал ей загорать, страдая от ее публичного раздевания, выявляемых тайных изъянов сокровища, выставляемого напоказ), в чем-то жалкое тело... И эти перепады между тем,

какова она была одетой — и нагой, эта горделивость, мгновенно скатывающаяся в убогость, стыдобу, — это все должно было быть известно только мне. Потому что для меня ее телесное — и было мне лишь одному открытое и тем символически значимое, некий пропуск-пароль в столь же неправильную и столь же прелестную бесконечность ее души А для него, моего другана-врагана — существовала лишь ее телесная конечность, обнаженный, очищенный, как яйцо от скорлупы, от ореола Прекрасной Дамы, созданного вокруг Той мною же, — и тем уцененный кусок живого мяса не самого высшего сорта... Тут — лишь душа, осененная лунной улыбкой, в прозрачной рубашке тела; там — лишь тело, по случайности имеющее еще и душу, твердое непроницаемое тело, добраться до которого, со всеми его некрасивыми подробностями, пупырышками и волосками, добраться, налечь и ужраться и значит для постороннего, внешнего (кромешного) — обладать. Разве м н о й можно обладать, моим безграничным «я», которым не обладаю до конца я сам? Бред. А ею, ее «я», зримо уместившимся в ограниченном теле, — можно? А как же. Вполне. Весомо, грубо, зримо. Другой-другая — весь на стыке глаза и точки, куда смотрит глаз, на кончиках осязающих пальцев, острие вонзающегося конца. «Я» — всегда внутри: бесконечность, выходящая за пределы всякого воспринимающего меня д р у г о г о. «Она» — всегда извне, небольшая голая частица, целиком умещающаяся в бесповоротно захватившем, раз навсегда зафиксировавшем ее сознании другого, необратимом сознании снисходительно-рассеянного, а то и презрительного владельца, хозяина своего воспоминания. Добраться бы до е г о души, стереть бы! Хрен тебе. Это — до гроба, это — всегда не в твоей, но в его власти: вспомнить по случаю — и приятно ухмыльнуться. Но тогда твоя боль — это просто гордыня. Все ясно с тобой: смиряйся и будь спок. Да, диагноз ясен, но и что? Попробуй вылечись. А ты попробуй. По крайней мере теперь ты знаешь, ты не как когда впервые услышал, ты с тех пор не первый год в Церкви. Знаешь что? Иди ты в баню. Без тебя тошно. Смири гордыню. Легко сказать. Антоний Великий не достиг помысла александрийского сапожника, а ты туда же? А что тебе еще остается. Не сможешь вылечиться — будешь

бредить во снах до могилы. Tertium non datur. Во-во. Отлично. Скажи еще: dum spiro, spero. Этому тебя и учили. Sic transit — и вся недолга, а венец образованности просто — sic! Дешево и сердито. Меньше пены. Отнесись к себе cum grano salis. Во-во.

Одержаша мя болезни смертныя, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертныя. И внегда скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах, услыша от храма Святого Своего глас мой, и вопль мой пред ним внидет во уши Его.

(*Что она говорит? Точно уже не догнать, по тону — возмущена невниманием. Что нужно — сказать? протянуть руку? учти еще, на чем кончил слу-: «Не издевайся!» — Говори. Же. Ну. Безотказное, неотразимое для нее: забота. Заботаестьзаботаестьзабота. И о чем? О том-о чем-надо. Ну. Ну!*)

— Подожди-подожди. Тебя мутит (*это всегда, это сто процентов*) от перепада давления. Ты видишь, что там делается (*стоя у окна*)?

— Как я могу видеть (*чуть оттеплело, верной дорогой идете, товарисч; дави ж!*)?

— Жуткая мокротень, сечет то ли дождь, то ли снег (*через два, если отпустит, идти до метро, перестанет течь-сечь?*) Смерить давление (*e2—e4: всегда готова мерить*)?

— Давай.

Еще теплее: внимание украшает мужчину. Как трещит. Внимай. Всем сердцем. Ее сердцу? Ей-сердцу.

Взять черную кожаную сумочку с приборчиком из шкафа наощупь, навскидку, и там же фонендоскопчик, обернуть черную липучую ленту вокруг вялого со сна округлого — а ты еще и чувственный, думаешь про Ту, а тянет к Этой, и как тебя хватает с недосыпа, парень, брось, какое тянет, брось — предплечья, и закрепить на липучке, и качать грушу (а тем временем мысль, которой приказали: отлипни от Той и думай сюда, — капризно, своевольно воспротивилась грубому нажиму приказа и пуще прилепилась к предмету мышления, так, что не было внимания отслеживать пульс по туканью в ушах и оставалось лишь глазами следить за стрелкой прибора,

когда она задергается толчками от верхнего до нижнего порога).

— Твое классическое.

— 80 на 60?

— Да.

— Естественно (*удовлетворение: кого, как не меня, краше в гроб кладут?*), так я и знала.

***Эта** минута похожа на предыдущую, но и отличается; так водка в бутылке подобна воде, но отличается: прозрачна, но сверкает: другая густота — другое преломление света. И это блистание обещает рай, а ведет в ад. И всякий раз это знаешь доподлинно, и всякий раз покупаешься на знакомый обман; и всякий раз приманочный рай все раешнее, и всякий раз ад все страшнее, все подлиннее, ergo: обещание земного рая — обман по определению, зато ад земной и преисподний связаны неподменной связью. Сатана — лжец и отец лжи, но его ад не обманчив. Странная штука.*

...Но ведь и впрямь еще — я любил в Той не ее... не столько ее саму, сколько ее причастность — может быть, мнимую — к потустороннему, высшему, тот отпечаток, оттиск — наверное, кажущийся — Логоса в его женской ипостаси — Софии (тоже софианец доморощенный, еретик-баловник!) — Девы Марии (Осторожнее! игра с огнем!.. нет, но он-то как не побоялся, как посмел это вывести, ведь православный священник, понятно же, что так нельзя, что это умножение ипостасей; нельзя, но изящно, прелестно, нехороший, но красивый, это кто глядит на нас? это кто ударил в таз и вскричал: «Карабарас», получив промежду глаз?), зримо оттиснутый на ней, напечатлевшийся на ней, как сказал бы еще один... Да, мнимый, да, прелесть, соблазн, как скоромимоходящая красота, как нос Клеопатры и всякая штука: случайность улыбки, выражения глаз, плюс-минус полмиллиметра конфигурации, величины и сочетания бровей, век, губ, переносицы и крыльев носа, — ты принимаешь случайные величины подробностей, наплывов и затеков затвердевшей слепой материи за намек, отсыл, подсказку, вещий шепот. Чуть глуше и ниже тембр голоса (случайные особенности гортани) — слышится что-то глубокое, чудится некий подтекст; чуть

темнее зрачки — и взгляд обретает пристальность, впитывает, приклеивает к себе, обещает что-то, рожденное в года глухие, испепеляющие годы... Но ведь — видится же, чудится же, мнится же! Случайна ли эта случайность? Или и в самом деле любовь к женщине — лишь подлунная ступенька лестницы подлинного Эроса, этап восхождения к Вечной Женственности, рифма, ожидающая разрешения в появлении перворифмы Прекрасной Дамы (все же ты православный или католик? или платоник? а если я по убеждению один, по данной интуиции другой, а по вкусу третий? тогда что — если я мученик душевного расс-трой-ства?! Я же не нарочно, я нечаянно. — А за нечаянно бьют отчаянно!), а все эти случайности — знаки, буквы для умеющих читать не слова, написанные буквами, но сами буквы (так; ты еще и каббалист)? И не такой ли знак уже сама похожесть, удивительная несуразная похожесть самарской девочки на Симонетту Веспуччи (похожесть, запакованная, закулёманная во что-то степное, волжско-калмыцкое, косо- и широкоскулое, невеликоглазое, чуть раззявленно большеротое, но выглядывающая из фирменной местной упаковки так, что непонятно было, она ли, местная степь, дышащая близкой Азией, пытается, как может, — но до конца не получается — загримировать, замазать, растворить в себе невесть откуда взявшуюся Флоренцию или, напротив, волжско-калмыцкое это начало — никакая не упаковка, а самое что ни на есть ее естество, лишь случайно и лишь для чьего-то личного взгляда выказавшее сходство с Фиоренцей, подобно тому, как облако кому-то может показаться совершенно похожим на слона или человеческий профиль, а кому-то — самым обыкновенным, ничего кроме облака не напоминающим облаком), ее очевидно-невероятная пристегнутость к боттичелли-пусто-модильяниевской парадигме (как тогда в Питере, кажется, в 69-м, кто-то — тому глуховатому продавцу в буке на Герцена: «У вас Боттичелли есть?», а тот: «Модильяни? Давно не было», ха, это не просто общее место), ее небольшие, но увеличенные темными зрачками миндалевидные глаза, всегда склоненная набок голова на изогнутой длинной шее, удлиненный нос, скользящий к чуть великоватым мягким губам?.. Но ведь сам Боттичелли отталкивался от местной

теории, уж читал он там Марсилио Фичино или просто ловил со слуха, что в воздухе, что-то такое вот: «Тело и красота различны», что-то как-его-там: «В ангеле и в душе божественная сила произвела совершенную конфигурацию создаваемого человека; но в материи мира, как наиболее удаленной от Творца, строение человека отклонилось от его чистой формы». Во! Ведь если материальное и красота различны, то как еще изобразить высшую красоту в низшем мире телесности, когда рас-телесниванием, не искажением очертаний искаженных материей мира форм? Минус на минус = плюс. Во-плотить через рас-плотнение. Деформация среднетипической формы тела как уродливой, неправильной есть восстановление первородной формы. Отклонение от отклонения — только так. И через эти вьющиеся слишком-шеи, эти бескостные ноги, горгонье змеенье волос, ассиметричные лица, полые тела, блекло-белесые краски, лишенные сочности, цветовой плотности мира, тел, a priori имеющих вес — туда, ввысь, в умопостигаемый, нуменальный мир красоты з большой буквы, той красоты, что не спешит спасать мир, будто ей больше делать нечего. Но то, что Боттичелли-Модильяни (потому что последний — аватара первого, да? так, ты еще и это приплел? ты хоть от чего-нибудь откажешься? хоть какую-то духовную диету соблюдать будешь?) делал на холсте сознательно, здесь случилось во плоти, от случайного зачатия, от случки двух случайных русских (значит, еще и татарских) кровей, — но ужели от этого менее существенно? Да пусть Та сама потом сто раз оказывалась не такой, ниже, обычнее, сто раз уклонялась, изменяла тому, что знаменовано было на ней, знакам, на ней начертанным — но что с того: знаки эти б ы л и! Возможно, даже очень, сейчас это раздобревшая, отрожавшая свое моложавая тетя, но я-то имею дело с Той тогда, когда они — были! Что с того, что евреи неизменно уклонялись от Закона, — Закон был им дан, и Закон был дан и м! Возможно, ей самой было и тогда, и по сию пору неведомо, что было через нее поведано мне — умеющему читать. Это значит только, что она субъективно неповинна в измене своему образу, доверенному ей посланию-для-меня. Но это не значит — неподсудна: незнание законов не освобождает от ответственности.

Так кто же, спросим теперь, имел право эксклюзивного соития с софийственно-прекраснодамно-боттичеллиево-модильяниевым существом (слушай, парень, серьезно, кончай ты со вторым неоплатонизмом, с гемистплифонщиной, бляха-муха, Гемист Плифоныч с Иван Италычем их всех невесть куда завели, ну как ты, церковный чудак-человек, вдругорядь тебе говорю, хочешь, ни от чего не отказываясь, наворотить на полный обед еще сверху кусок-другой, духовный ты чрево-угодник да еще прелюбодействуешь помаленьку в помыслах, скребешь втихаря по сусекам — и где ищешь себе оправдание — у Марсилио Фичино, елки-моталки! А ты проконсультируйся у Игнатия Брянчанинова: сдался нам этот Фичино? ну его к лешему, этого Фичино!). Только я. Только. Достойный. Умеющий читать. А тот, мой приятель-враг, что он мог понимать в письменах? Что свинья в апельсинах. Но зато он знал: она — чужое сокровище и моя тайна, я поднял ей цену в их глазах — и вот удача: и чужое сокровище — цап-царап, и тайны никакой: под одеждой все бабы как бабы.

*(**Эта** минута бесконечна, зане состоит не из шестидесяти условных, а из тьмы — тьма во тьме = тьма — действительных минимигов, и каждая составляющая в свою очередь огранена пятидесятишестикратно, как черный бриллиант на бархате ночи, и каждая грань микровремени, как звук Паркера, то ли летит, то ли тянется кантиленно, то ли врезан в миг и в нем застыл навсегда, но — е с т ь, пребывает, вышел из условного «времени» в реальность, где трехминутная композиция никогда не кончается, потому что не имела начала; так вышел из условного «пространства» в реальность и там пребывает (сказал бы — навеки, если бы мог бросаться словами, смысл которых таким, как ты, еще и не приоткрыт) пейзаж Сезанна, его земля и гора, отсылающие к словам мудрого Шломо о том, что нет ничего нового под солнцем, словам, в которых старый царь Израиля, занятый своими делами, сам того не зная, впервые, то есть как раз п о — н о в о м у, вопреки своему опыту, поставил проблему новаторства, над которой будут биться всю первую половину далекого XX века, и проблему прямого высказывания, над которой будут биться всю вторую его половину.)*

— Накапай мне валокордина, пожалуйста. 50 капель.

— Стучит?

— Просто вываливается. Только сильно не разбавляй. Чуть-чуть.

Валокордин! Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. А паче — цитрамон. Чистая антика. Амон, играющий на цитре. А почему нет? Тоже солнечный бог, как и тот. Фармацевтический эллинизм. Тахикардия у нее. Сердце выскакивает, мучается. А мы в двадцать лет пили кофеин из ампул и кодеинили, именно чтоб сердце выскакивало, а мы чтобы от этого кайф ловили. И чифирят для того же, а она мучается. Поди разбери; что одному здорово, другому — смерть. Какие все разные — а всё едино: никто-не умеет-быть-хорошо...

Полный свет: по звуку не отсчитаешь пятьдесят. И сразу жидкий неон за окном померк: это тебе не Бродвей. Запах густой до тошноты. Мята — от тошноты. А от этого сгустка ментола наоборот. Все дело в мере. Десять, одиннадцать. Гуще, чем запах, нет ничего. Даже вкус. Неслучайно и Василий Великий, и Василий Розанов каждый по-своему, типа того: запах есть посредник между землей и Небом, единственное земное, как-то потребляемое Богом — значит, какой-то особый род материи, напрямую связанный с Духом. Собственно, запах и есть дух: дух, угодный или неугодный Духу. Ладан восходит к небесам. Табачище смердит преисподней — буквально так. Здесь какая-то возгонка вещества в тонкое вещество. В мире, но не от мира (да-да: вонь выхлопных газов, конечно, неотмирна, ха-ха). Потому-то духи́ так дорого стоят: концентрат тайны. Тайна номер пять. Или номер девятнадцать. Рассел: как пахнет роза, когда ее никто не нюхает? Думает, нет ответа. Парадоксалист-самоучка. Его же соотечественник за триста лет до него его отбрил: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». И, перефразируя Августина, скажем: «Роза пахнет таково, каковой обоняет ее Бог». Он ее насадил. Он и обоняет. Он не ест, не пьет, не спит, не осязает, но Он — обоняет. Может ли быть? Credui, quia absurdum est — одна из самых умно-безумных, самых глубоких фраз, когда-либо обвиненных в глупости.

...Интересно, что прустовский Сван не отдал себе отчета, почему на него так, до желания укусить, подействовало сходство Одетты с героиней боттичеллевой фрески: что он не просто увидел прежде обычную женщину в преображающем, удорожающем свете искусства, но, думаю, ощутил, пусть бессознательно, что отсыл к Боттичелли ведет к дальнейшим отсылам по восходящей, делает живую плотскую женщину держательницей высшего смысла, доверенным лицом тайны, которую бесконечно интересно и мучительно разгадывать — а потом поймешь ненароком, что мухи отдельно, а котлеты отдельно, что доверенность была фиктивной, сходство побочным, а сама-то женщина вовсе и не в твоем вкусе, но и потом не отделаешься просто так от уже въевшегося за многие годы в душу морока, приржавевшей к ней привычке разгадывать, соотносить, видеть в возвышающем свете. Интересно, даже моя мать понимала, далеко-далекая от тонких материй — насчет духа она всегда была не в духе — даже она понимала, что в Той было что-такое, говорила: «Она похожа на святую». Что-то такое угадал, схватил, воплотил этот хренов Боттичелли, что-то общее, присущее коллективному бессознательному не только западного человека, но и нашего, общее представление о высоком, о святом, свойственное человеку, далекому, так скажем... от практической духовности (не говорю — от духовной практики): такие вот салонные картинки среднезападной и среднероссийской руки, восходящие к той же неоплатонической парадигме: тонко-неправильные черты, изогнутые линии, тихая грация, обаятельная задумчивость (почему вдруг вмиг — двадцатилетней давности: трамвай с дачи в город, между Солнечной и 6-й просекой на полном ходу — и тут мужик, сидящий сзади, жене или не-жене: «Смотри, вон баба в кустах села, штаны спустила, юбку задрала!» — «Да где? я не вижу». — «Все, проехали! Эх ты, вечно ты так — самого главного никогда не сечешь!») ...Тогда как представления людей, ходящих в церковь, т.е. как-то укорененных в духовной традиции, едва ли не программно проще: среди людей, причисленных к лику святых (взять хотя бы святых XIX столетия, хорошо запортретированных или сфотографированных), или почитаемых близкими к святости среди живущих, или вообще

духовно авторитетных, почти не встретишь лиц с тонкими чертами. Что далеко ходить: та баба, именно деревенская баба лет 45, словно сработанная топором, весьма почиталась большинством прихожан Никольского храма, куда я тогда похаживал; ее имиджу грубая внешность не только не препятствовала, но пожалуй что и содействовала — хотя зиждился этот имидж прежде всего на прозорливости, высказываемой опять же самым грубым (русский, в особенности московский вкус, стиль православия) способом: вбегала в храм посреди службы и громко обличала первую попавшуюся: «Стоишь на литургии верных, а сама — неверная! изменяешь мужу-то!» или: «Евангелие читают, а ты о чем думаешь? Как будешь огурчики с помидорчиками солить». Видимо, она попадала в цель — молва приписывала ей безошибочное чтение мыслей, ни разу не раздавалось ни одного возражающего голоса. А интересно, что лукавый и в самом деле ловит тебя в главные моменты долженствующего сосредоточения духа чаще всего не на каком-то выдающемся падении в помыслах, нет, но на так-себе-паденьице, именно на каких-нибудь огурчиках-помидорчиках, на чем-нибудь таком ладно-уютном, на закатывании банок или там приготовлении плова, такое долгое хорошее дело, сначала прокаливаешь масло, тем временем режешь лук-морковь-мясо: зирвак, запускаешь в кипящий жир, потом соль, зиру, барбарис, красный перец, можно изюм или курагу, еще спустя засыпаешь промытый рис, лучше длинный, тихо, ненасильственно льешь воду, чтобы покрыла пальца на полтора, досаливаешь, убавляешь огонь, ближе к концу втыкаешь головки чеснока, а то еще азербайджанский плов — каурма, рис совсем сухой, повозиться, сделать двухцветный — окрасить половину риса шафраном, да потушить мясо в гранатовом соусе с каштанами, стой, куда тебя повело, еле пой- и так всегда -мал, уплываешь на какой-то ерунде, дряблые ментальные мышцы, где уж тебе вдогон за подвижниками благочестия, и все равно нужно — что? — нужно пытаться подвизаться, ну, пытайся, кто мешает, базаров нет...

Боже, Боже мой, вонми ми, вскую оставил мя еси? Далече от спасения моего словеса грехопадений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышиши, и в нощи, и не в безумие мне. Аз же

есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Да не отступиши от мене, яко скорбь близ, несть помогаяй ми.

— Твои капли.
— Спасибо. Убери, пожалуйста, прибор на место.

Теперь приборчик в темноте на место. Навскидку не ошибусь. У всякой вещи есть свое место. Так она меня учит уже столько лет — и чему-то —таки выучила же: навскидку не ошибусь. Положь. Сюда. Вот. Клал я с прибором. На полку сюда вот. Тут пластиночки-сиротинушки. Забвенные. Сколь вас не слушал я. С как перекрестился — с тогда, да. От Букстехуде до позднего Колтрейна, от Палестрины до «Оркестра Махавишну»: все сплошная ересь и ересью погоняет. Положим, оно и духовно, но это д р у г и е духовности или другие модусы духовности, а музыка сверхпитательна — и все то же: если идешь по одному пути, можно ли питать себя тем, что — от другого? Все мне позволительно, но не все полезно. Конечно, при серьезе: если и впрямь куда-то и д е ш ь, а не болтаешься, как дерьмо в проруби. Не вернее ли — отсечь? Отказ всегда — жертва, жертва всегда хороша: убивает самость. Верное дело — путем зерна: не умрешь себя — не воскреснешь. З Божьей помощью. Но — так ли? Отказываться от всей мировой культуры — верное дело? Только так и угодно Богу? А? Сто пятьдесят дисков тут или двести. Сколько еще есть музыки. Сколько ж добра эти ереси породили. Или зла? Сами они ведь — зло. Латинская ересь, лютеранская и так далее, чем далее — тем хуже, до сюр-экуменического беспредела, до самого вуду и его дитяти, твоего самого любимца[1].

По плодам их узнаете их. Лютеранство — зло. Но плод его — бах з большой буквы. А плод латинства — моцарт и шопен. Злонравия достойные плоды. Каково? Так, ты определенно со-чувствуешь ереси. Беги ж. Уклонися зла и сотвори благо. Не слушай. А я и не слушаю. Упругий винил. Неком-

[1] «Voodoo Child» («Колдовское дитя» или «Дитя вуду») — программное произведение Джимми Хендрикса. — *Ред.*

пактный растопыра винил. Потерянное поколение любящих пластмассу и картинную обложку. Любящих си-би-эс, полидор, ар-си-эй, айлэнд, импульс, эппл, крисалис[1]! Даешь. Это все денежки, между прочим. Сколько ж я скопил зря-дорогого винила на копеечную зарплату в года глухие. Не грустися, все путем. Совлекай ветхого человека. Сестра, морфину[2]! Забудь о них, симпатизирующих дьяволу[3]. Даром, что их надо понимать наоборот.

Скосить глаза. Налево. Там она, а дальше за-окно. Подутро Москвы. Светит недобитая звезда. В том напротив справа всегда свет. Какая-то богема недоделанная вроде меня, остальные спят. Коммуналка у них. Коммунальщики — дети коммунаров.

А евреи — дети Европы? Или отцы? Но уж кто скурвился — тот и курвуазен? Безусловно. Тот и пьет «Курвуазье». С недосыпа сипит в мозгах. То есть в горле. То есть в мозгах, попрошу без поправок. Что хуже недосыпа? Перепой. А хуже перепоя? Перепой с недосыпа с последующим недосыпом.

Темнота темнот — все темнота. От времени глаз привыкает к темноте или проникает в темноту как в особый вид света? Осваиваясь или осваивая, в любом из двух начинаешь полувидеть. Ее профиль, изъятый некогда наставшей темнотою, появляется в тонком виде: свечение контура. Правильный греческий профиль. Слишком правильный, медально чистый. Таково же и тело: слишком пропорционально, без прельстительных отклонений. Такова же и речь: без грамматической ошибки. Четкая, отчетливая. Таким должен быть человек прежде всего — чтобы не заплевать всего вокруг. Все остальное потом, но это — прежде всего. То, чего я так хочу от своего народа. То, что мне не по плечу в собственной жене. Не по плечу, не по зубам, не по карману — значит, и не по вкусу. Я человек нечеткий, что скрывать. Как Розанов: «Нет хорошего лица, в котором не было бы чего-то некрасивого». Остался в чем-то я одной ногою. Не по вкусу? Но не это ли лицо, не это ли тело потянули тогда

---

[1] Известные фирмы грамзаписей. — *Ред.*

[2] Искажающая первоначальный смысл аллюзия на песню «Sister Morfine» группы «Роллинг Стоунс». — *Ред.*

[3] «Simpathy for Devil» — песня «Роллинг Стоунс». — *Ред.*

магнитом? Тогда — были по вкусу? Не тяготился их правильностью? не считал их — слишком? Розанову розаново, а Богу Божье. В сущности, правильная красота Этой была таким же положительным искажением падшей человеческой нормы, таким же отсылом к норме истинной, такой же идеализацией материи, как и неправильная красота Той. Тот же Фичино ничуть не противоречил себе, когда писал: «Вид и форма стройно сложенного человека лучше всего соответствуют понятию человеческого рода, которое наша душа воспринимает от Творца всех вещей и удерживает в себе». Он понимал, что совершенно правильное самой своей редкостью уже перестает быть пресным и приобретает символический акцент, не менее явственный, чем харизматическая неправильность. Поликлет столь же символичен, как и Боттичелли, и фаланга пальца его канона так же отсылает к высшему началу, если и к Афродите (это уж, правда, по части Праксителя, но не будем цепляться к именам, не в той же точности дело), то Урании, не Пандемос. Почему же оживший, раз-бронзовленный греческий канон, живым дыханием согретый и увлажненный смугловатый паросский мрамор, инкрустированный лазуритом зрачков, так безвозвратно и непреоборимо утянувший когда-то от Той, теперь кажется с л и ш к о м правильным, не препятствует больше обратной тяге? Потому, что Эту, сообразно начертанному на ней же, люблю канонически, как должно (ой ли?), а от Той — щемит. Пусти мне сердце. Потому что греческая красота равна себе, тело равно духу, а там — вывих, тайна. Бойтесь женщины с тайной. И тайна-то у нее будет ерундовая, не Божья, а то даже и не лукашкина, с в о я, мелкая, по пояс, а утянет по шею! Потому что Эта была — здоровье, а Та — болезнь. Человек идет за солнцем. Волк воет на луну. И ты захотел быть человеком, а не степным Гарри Галлером (сколько же в XX веке героев Г.Г., выдуманных и реальных, мать честная?) Ты захотел ожить, а не замереть, и побежал за греческим солнцем-здоровьем от болезни Той. Но болезнь была в тебе самом, и ты забрал ее у Той и принес Этой. Теперь Та, по слухам, исцелилась аб-со-лют-но, а Эта абсолютно больна. Все повернулось вокруг тебя-оси, все строго симметрично. Кроме одного, вот это-то и есть

смех и грех, шурум и бурум, шум и ярость, бред без брода, незнаемый Гог и совсем уже гадательный Магог: ты по-прежнему жалеешь Ту, исцелившуюся, не нуждающуюся более в твоей жалости, и глух к болезни собственной жены, любимой жены, тщетно к твоей жалости взывающей. И так ты, бедняга, и живешь, только успевай поворачиваться семо и овамо...

Нейтронной бомбой предрассвета Очищен город от людей, И жизнь его, свинцом одета, Идет-бредет сама собой. Из темноты темно-мышиной Неброско продолжая путь, Как медленная пуля, крыса Пересекает Тишину. Тяжелая, как пуля, крыса, вовсю живет на мостовой — Над нею кот идет по крыше, Не ведая о крысе той. Запела птица — неужели, О, нет, не здесь, в юдоли сей Лоскутного асфальта, хлюпу Воды с мочою вопреки... Чу, птица бодрая, лети, лети, Слепая ласточка, в чертог теней вернешься? Так улетай же, чем скорей, тем лучше, Встречай меня в долине Глен зеленой (*Вариант:* ...в долине Дагестана)... Какая ночь, седые стогна града Пусты, но чу! ща будет дождь, Ща громния ударит — хрустнут хляби Разверстые...

— Так ты не едешь? — *жалобно, пленительно, как: «Не правда ли, ты не любишь Мэри? Ты не женишься на ней?». Пленительно, если бы не тембр и тон. Как такие пустяки меняют все; уже и жалобность не жалобна, и ни одна звезда не говорит. Органы чувств — убийцы чувства: какой-то слух застит молчаливую музыку ее души. Какая-то случайная напряженная или просто холодноватая интонация мгновенно отключает ток любви и жалости. Свинство, но что поделаешь. Да, она режет слух. Но никогда — обоняние. Вся постель мокрая от испарины, и ни малейшего запаха пота. Такое устройство, понял. Худшее, что бывает — горьковатый, слегка луковый запах, и то если совсем зарыться носом в подмышку. Даже приятно. Родное, теплое. Луковый запах подмышек. Я думал, мое наблюдение. Как же! Кажется, Набоков или еще до него, забыл. А думал мое. Жалко. Хорошее. Но надо быть честным хоть в чем-то.*

— Зачем сразу «не поедешь»? Это брутально. Поставь вопрос по-женски, обиняком.

— А я не хочу обиняком. Я давно хочу спросить тебя, если на то пошло — зачем тебе туда ездить? Зачем туда продолжают ездить все, я понимаю. Но ты, кажется, отдаешь себе отчет в своих действиях.

— Не понял. Тебя интересует, зачем я хожу в церковь?

— Почему ты так любишь прикидываться дураком?

— Добавь — с недосыпа. Я понимаю: я должен быть предельно серьезен, когда меня будят среди ночи и подвергают допросу третьей степени, чтобы узнать, почему рано утром я собираюсь поехать туда, куда собирался накануне.

— Ну, это уже нечестно. Ты передергиваешь почище любой женщины. Ты же понимаешь, о чем я.

— Представь себе, нет.

— Да? Хорошо, я тебе объясню... Зачем... зачем вы продолжаете, во главе с батюшкой, мотаться по невесть каким весям, делая вид, что не прошли еще славные времена катакомбной Церкви? Что — вас продолжают преследовать? Не дают жить? Собираются припаять статью 70 или хотя бы 190′? Вам трудно освятить домовый храм в чьей-то удобной для всех квартире, если уж...

— Продолжай. Что — если уж?

— Если уж мы не хотим жить по-людски, вернуться в нормальную Церковь...

— А, прости пожалуйста, «нормальная» — это..?

— Ну да, да, Церковь московской Патриархии. Нормальная московская Церковь.

— Ага. Московская особая.

— Однако...

— Согласен, перебор. Впрочем, я погрешен только в том же... условном благоговении, что и «нормальные». Стоит что-то или кого-то вывести за воображаемые узкие скобки сакрального — например, нас, заклятых «карловатов», отщепенцев — и чего только они не наговорят! и владыки наши — не владыки, а люди с песьими головами, и вообще чего тут выбирать выражения... Это, видимо, общее свойство тривиальной челове...

— Извини, я не об общем. Ты мне ответь, почему мы не можем вернуться, молиться со всеми вместе, у намоленных икон, в чудесных намоленных стенах? Нет, хорошо,

раньше это имело смысл, но сейчас... Почему вы цепляетесь за вчерашний смысл? Ну ладно они, но ты, повторяю, в состоянии отдать себе отчет, что вы цепляетесь за вчера, что все уже изменилось, что... ну, я не знаю. Но я чувствую. Вам хочется чувствовать свою избранность, свою выделенность? Не на что опереться в себе самих, так опираетесь на «правильную» Церковь?

— Кто-то, может быть, да, я — нет.

— Или ты по-прежнему считаешь, что Московская Церковь возглавляется христопродавцами?

— Положим, так и ты считаешь. Бывшие чекисты, до сих пор даже не признали, что они чекисты, а туда же — призывают к некоему «всенародному покаянию». Кстати, ты не знаешь, что оно такое — «всенародное покаяние»? Как должно совершаться? По каким дням? По какому чину? Какие епитимьи будут на всех налагать?.. Ладно.

— И тебе мешает их бывший чекизм?

— Пожалуй, уже нет. По большому счету я должен думать, что молясь и причащаясь из единой чаши с еретиком, я сам становлюсь еретиком; по той же логике, если додумывать до конца, поминая на Великом входе христопродавца-архиерея, я сполна разделяю с ним грех христопродавчества. Теоретически это неоспоримо, елки-палки, смотри правило номер не помню собора не помню какого, но помню, что оно есть. Но практически, если мыслить прецедентами, надо признать, что при последовательном следовании букве канона и так далее — русской Церкви, может быть, вообще нет, она, может быть, безблагодатна или есть лже-Церковь после согласия при Феофане Прокоповиче под нажимом Петра в некоторых случаях разглашать тайну исповеди. Но тогда наши претензии к московскому Патриархату следует отнести и к более ранним временам, и в московскую Церковь нельзя ходить не с 1927-го, с Декларации Сергия, а с 1720-го, с Духовного Регламента Феофана, пункты, если правильно помню, 55, 11 и 12. А то и с 1589, с не совсем каноничного, очень мягко говря, учреждения патриаршества на Руси. Однако это соображение еще никому — мне в том числе — не мешало. Значит, и сейчас вполне можно быть снисходи-

тельнее и к себе, и к Церкви, и сопрягать, как учил великий еретик. Проще надо быть и не надмеваться, умствуя. И, конечно, надо согласиться, что нечестие в «нормальной» опустилось ниже уровня головы, той отпетости уже нет, в смысле — Брежневых не отпевают, бороться за мир не зовут, далее — сама. В принципе ты права, можно позволить себе послабку ради церковного единства. Вообще я себе не враг, а в Илье Обыденном так хорошо стоялось...

— Тогда что же? Чего ради...

На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, наставн мя на стезн правды, имене ради Своего. Аще бо и пойду посреде сене смертныя, не убоюся зла, яко Ты со мною еси, жезл Твой и палица Твоя, та мя утешиста.

— Ну, если хочешь знать (*если я хочу знать, я ведь сам не додумывал это до конца, надо же, как трещит голова; так самое время думать, когда она трещит, зато от нее никто ничего не ждет, никто ей не заказывает: напрягись и думай, тут-то мысли и слова какие сами текут от изнеможения, такие — самые правильные и есть*)... если хочешь знать, у меня сейчас больше тяжелых вопросов к Церкви, чем было тогда. Тогда все было просто, я сам мало что понимал, и единственное, что меня волновало — честная это Церковь или в ней все то же, что я ненавижу за ее стенами: подлость и вранье. Ладно. Теперь — допустим — теперь она честная, допустим, никто не мешает ей свободно говорить. И что она свободно изрекает? В основном: даешь монархию и симфонию, инославных запретить, все беды с Запада, долой цивилизацию, в этом смысле — уйти от мира (но деньги от братвы на ремонт брать, вообще деньги за все и от всех брать не мешает), конец света, думать только о спасении, ни секунды без спасения, а где оно — известно, поэтому ни шагу за ограду, а все прочее, все сверх необходимого, то есть монастыря в миру по существу, с необходимыми добавками для продолжения рода et cetera, продолжи сама (*как трещит! темнота темнот и свет не одолеет ее; раскавычено, но не растаможено*). И это еще лучшие, это серьезные люди, о других не говорю, которые

либо воздвигают брань противу масонства среди шароварных казаков, прибывших прямиком со свадьбы в Малиновке на Даниловский рынок черных масонов-продавцов пороть, либо, наоборот, благословляют на святое дело эстрадных певичек взять свои три аккорда без греха, чтоб в тексте было, по крайней мере, про Русь и Андреевский флаг, чтоб если тренькали, то на электробалалайке, а если дринкали, то рашн стронг водку, едритская сила... А уж выступают-то они, словно павы, и те, и другие, и говорят-то, с амвона и по телевихору, специальным голосом, «вторым», «в чине», слышимо-благодатным; это тебе не какой-нибудь Билли там Грэхэм, «человек, который говорит с людьми» — якобы от полноты своей души; нет,эти говорят не от себя, а якобы от полноты Церкви; а что там, за фасадом профессионального бесстрастия — есть ли там что кроме того, что в Моссельпроме? что вот он, лично он, может сказать — не о «народе русском», не об «Отечестве православном», а о Христе? по-простому то есть, без положенных инверсий, без этого вот: «Вчера паломническая делегация в полном составе вылетела на Афон»... Как же надоело-то, а?

— Но ты так жил. Много лет ты о конце света слышал и в нашей Церкви, и обо всем прочем, и это тебе не мешало.

— А теперь мешает. То есть оно мне мешало и раньше. Но раньше я в себе это глушил. Я думал, я хотел думать, что так вполне можно: исповедовать уход от мира и чтение исключительно «Добротолюбия» и писем Феофана Затворника, а частным образом слушать Колтрейна и Дэвиса и читать Джойса. Водку же вот пить можно при проповеди ухода от мира, а если нельзя, то исповедуешь как грех — и ладушки. Главное — не возникай, не нарушай программного послушания. Вкус, батюшка, отменная манера. И так и жил. Но ты же сама говоришь, я способен к самоотчету. Я даже склонен к нему. И это меня погубило. Чем больше я его глушил, тем больше внутри меня оно стучалось, копилось. И вот сейчас пошел разворот — я выпал в осадок. Ты понимаешь?

— Может быть. Не знаю. Говори.

— Ладно, попробую... Или так... Ну, так... Скажем, средневековье создало единую цивилизацию. В смысле — все отправлялось от одного начала. И этим началом было даже не Евангелие, а Церковь. Это была та часть целого, которая не то что регулировала и регламентировала все остальное — нет, она даже разрешала чему-то выйти за ее пределы, она могла на что-то закрыть глаза, что-то потерпеть — но она всему давала смысл, она была солью мира, а соль солит в с ё блюдо, и сверху и на дне. Были явления, автономные от Церкви, но не было с м ы с л о в, автономных от нее. И потому она не соотносила себя с цивилизацией, могла не соотносить, но и не убегала от нее — она и была — цивилизация, цивилизирующая сила. Впрочем, это банально. То, что я говорю, банально. Небанально одно — как жить с этой банальностью. Слушай дальше. Современная цивилизация секулярна. Это факт. Но она — цивилизация. Это тоже факт. Она ушла от Церкви, пусть вообще от Бога (что уже менее ясно), но она смогла себя наладить, осознать свою секулярность, пережить это и жить дальше. Она у ж е в состоянии обойтись без Церкви, а если будет не в состоянии, она что-то придумает. Сама! У нее есть свой собственный смысл — или она так думает; мы можем обличать неподлинность этого смысла, но это уже — наша проблема, понимаешь? Она нас слушать не собирается, ей на жизнь — хватает. Ей вообще на многое хватает, больше, чем мы думали.

Словом, мир без нас обходится. В этой ситуации — Церкви что делать? Можно окончательно уйти от мира: «Не хотите нас слушать, туда вам и дорога». Тут ты: Христос же не уходил, наоборот — посылал учеников в мир проповедовать. А тебе на это: так, но — блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. А мир нечестив. И опять же апостол Павел учит: «Что общего между Христом и Велиаром?» Словом, есть возможность маневра. Можно уйти, а можно искать пути разговора с миром, присутствия в нем, меру соотнесенности с ним. То есть как минимум понять, что проблема — есть. Поставить ее хотя бы и пытаться решить. И дать возможность решать ее разными способами У нас по второму пути не шли никогда. При комми Церковь

шла по первому — отвергала мир пассивно. Но теперь она имеет возможность действовать — и что она предлагает? А все то же, только вывернутое наизнанку: монастырь как а к т и в н а я сила. Сила, ненавидящая мир, организованная иначе, чем современный свет организован. Не просто авторитарная, но: абсолютное послушание, отсечение самости поголовное, по-поступочное и по-помышленное. И вот эта сила отныне не уходит от мира, но приходит в мир. Ненавидя и не понимая его. Приходит не чтобы его одухотворить исподволь, не для того, чтобы «для всех быть всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Монастырь приходит со своим уставом в чужой анти-монастырь. Организованный по своим пусть не всегда хорошим, высоким, но сложным, тонким, а главное — давно работающим законам, основанным отнюдь не на послушании, а на свободе, не на бескорыстии, а на разумном своекорыстии, не на приказном благословении, а собственном деловом доверии... Понимаешь, некоторые люди умеют мыслить только по аналогии, но это бы полбеды, хуже, что аналогичны, по их мнению, килограммы и километры. Монах, уходя от мира, упрощает, хотя и утяжеляет во многом свою жизнь: принимает логику солдата: отсекает от себя всякую собственную мысль как греховную, всякое сомнение как искушение, всякую заботу о житейском как ненужную, хотя бы уже потому, что состоит на довольстве монастыря. Упрощая собственную жизнь, если он делает это по призванию, он поступает правильно — в отношении себя. Но когда он экстаполирует упрощение на весь окружающий мир, желая упростить и его до логики монастырского уклада, он не просто берет на себя то, на что его никто не уполномачивал, он совершает колоссальную ошибку против самого устройства мира — Богом, пусть из самой пламенной любви к Богу же. Ведь это, казалось бы, самоочевидное, что мир устроен не принципиально просто, а принципиально сложно — и не в силу отягощающего мир греха, а изначально: все, от атома, клетки, устройства человеческого организма, совсем не похожего на организм червя, хотя, кажется, кто мешал создать червя в человеческий рост, поместив в нем свободный бессмертный дух? —

до законов движения планет, устройства-обустройства целых галактик — все это необычайно, на мой вкус, избыточно сложно и тонко. Мне хватило бы одного сердца, чтобы оно болело — нет же, есть еще печень зачем-то, две — две! — почки, пять метров кишок! куды? трахеи, бронхи, какой-то вообще ненужный аппендикс, какое-то еще «дугласово пространство» — и все это имеет способность болеть, зачем? а крыльев, как у птички малой, нет; почему? а пальцев почему-то пять, а не четыре, и не шесть; с какой стати? Но на мир природы они не замахиваются, принимают как Божью данность, зато — в устройстве общества они собаку съели, в культуре они все понимают, какая наша, какая нет, им только дай — они устроят Святую Русь, живи не трусь... Тут я, допустим, вру, я, понятное дело, только и делаю, что вру в словах, но ты не слова слушай, а между слов... да, вру, это все т а м, развитая цивилизация, а монастырь пришел по н а ш у душу, сюда, где нет цивилизации, а есть только ерунда с художеством, и все еще больше запуталось-заквасилось, и вместо внятно расставленных акцентов, вместо точных слов об о т н о с и т е л ь н о й правде монастыря и относительной хорошести цивилизации, о важности этих относительностей и относительности этих важностей мы имеем... ах ты, Боже мой, какие пустяки мы имеем!.. Но все равно — свет, мир есть и у нас — и существует небеззаконно, то есть беззаконно-законно, то есть по-русски, то есть совсем грубо, но и совсем тонко, и вот сюда приходит монастырь, сюда приходят... лаврствующие и печорствующие, чтобы этот мир — воцерковить, как они понимают, то есть — во-монастырить, то есть обезмирить, то есть — разрушить.

— А ты не допускаешь, что в процессе разрушения этого плохого мира — ты же согласен с ними, что он погряз во зле — они создадут новую христианскую цивилизацию на новом витке?

Эта такая правильная, а Та нет; и что же? это хорошо? не хорошо и не плохо, а — как сказать?.. Не умела пить, то есть совсем, то есть после третьей рюмки все просилось наружу; но пила, уже опытно боясь, что я, тяпнув, опять

решу, что меня не понимают, стрезва-стервозно отказывают в том, чего я именно сейчас изволю: слушать с всепоглощающим интересом, или немедленно лечь в постель, или насладиться совместным прослушиванием на полной громкости какого-нибудь Фрэнка Заппы, вызывающего у нее зубную боль — и брала разгон со мною вровень, строго беззаветно, без учета и контроля, чтобы хотя бы до времени совпасть в общем захлебе мнимого взаимопонимания, мнимой душевной и сексуальной сим-фонии, со-гласия при помощи спиритуальной энергии спирта, И надо признать, она методически работая над собой, со временем приобрела некоторый навык, но тогда, в первые годы, на ранних поездах, тогда... Это когда в темноте у того, куда набилась в 15 метров вся честна компания, битком, по метру на рыло, что это было, кажется, первое прослушивание Эмерсона «Картинки с выставки» безнадежно устарело, а ведь в каком благоговении слушали, рок-Мусоргского, мое вам почтение, это да, но все в конце концов напились, одно слово Мусоргский — и тут ее возьми и вырви, да как, большая часть попала на распущенные волосы, сетью свалившиеся со склоненной головы и облепившие лицо, в том числе, разумеется рот, хорошо она сидела в самом углу за дверью, а свет вырубили, да и слышать никто не мог из-за музыки, пущенной ватт минимум на 5, но в любую минуту кто-то мог подойти, могли врубить свет... надо было немедленно линять, но она не давала себя увести, по неспособности встать, да и просто понять, чего от нее хотят; она не то чтобы противилась: но как-то тянулась, зависала, ниспускалась долу, растекаясь меж пальцами, как тяжелая вода; уйти, стало быть, не получалось, и я с пьяно-протрезвевшего отчаяния, от большого ума принялся руками счищать рвоту с ее спутанных волос, собирать пальцами, стряхивать на пол, собирать и стряхивать, секунда за секундой, и этому не было конца, бег на месте, и от напряженного отчаянного вглядывания тьма для меня стала полутьмой, и я различал остатки рвотной массы на ее волосах, от долгого моего старания скатавшиеся в мелкие шарики-шарушки, и казалось, что это не тьма сама собой просветлела от приглядки, а что это ее исподволь освещают белесые шарики, елочной гирляндой висящие на ее волосах, светляки в темной

спутанной траве, злоуханные блевотные жемчужины... Но вот что было дальше? как я ее увел? ведь как-то же я ее увел, я помню, что все обошлось, но как именно обошлось? убей Бог, не помню; почему? Помню навсегда: это была одна из десятка-полутора вершинных, пиковых точек нормального житейского ужаса моей жизни: ужаса позора, унижения, или когда бьют ногами, или еще перед операцией, это должно было остаться на крупном плане памяти — а осталось где-то в потемках ее, иногда выходя на свет, но без важнейшего: финала, концовки, выхода, и только светятся в темноте перловые рвотные светляки — а почему? а всякая шелуха помнится де-таль-но — почему? по кочану! Сколько житейской материи пошло на эту память, дешевой и дорогой — а всплывает на поверхность на 90% то, что обычно всплывает на поверхность.

Да; а Эта не пьет, хоть ты ее озолоти (впрочем, этого не пробовал, врать не буду). Сама не пьет и за мной следит, зная, что я этого не выношу, что я сам знаю, что все мне позволительно, да не все полезно, что я сам должен назначить, что́ суть лишнее, а что — необходимое и достаточное. Ей чихать на то, что худой мир лучше доброй ссоры. Ей лучше умереть стоя, но меня поставить на колени... Вернемся. Не тяни, пока не забыл вопрос. Отвечай.

— Допускаю, я все допускаю, даже и новое средневековье. Но одно дело допускать, а другое видеть, что реально делается, слышать, что говорится. Если могут, пусть построят. Пока что я слышу либо обскурантов, говорящих, что Толстой — не есть великий русский писатель, потому что он неправославный, либо углубленных фундаменталистов, подавляющих своей эрудицией и логикой своего дискурса, роющих в направлении «сакральных обществ», противопоставляемых «мондиализму» и «атлантизму», т.е. льющих те же щи да погуще и не вмещающих то, что мысль XX века уже давно уяснила в физике, логике, философии: целое вообще принципиально не умещается в единую логическую систему, единый дискурс, взгляд на целое должен определяться принципом дополнительности или антиномичности мышления — и поэтому прекрасно может

сочетаться духовная вертикаль и социально-политическая горизонталь, церковность и демократия, отсечение самости в одном измерении духовной практики и свобода воли в другом, и тому подобное, и вовсе не обязательно пронизывать все одним сверху донизу, и если на небе — Бог, на земле вовсе не обязательно — Царь и так далее, вера в Творца может быть неуклонна, но это не имеет прямым следствием кодекс шариата, и это не страшно, это — прямое следствие почитания образа Божия в ближнем и самом себе, что... что приведет ли в конце концов хоть когда-нибудь — или если это «когда-нибудь» не наступило после Треблинки и Колымы, Энтеббы и Деир-Ясины, оно уже не наступит никогда?! — к трепетности, тонкости, нелинейности мысли и интуиции — или нет? Поймем ли мы, наконец, что такое бережность? что значит — прикоснуться, а не надавить? что надо научиться логике алогизма не меньше дзэнистов, не теряя при этом из вида, что есть истина? Или останемся до морковкина заговенья угрюмы и человекоубийственно последовательны — от невежества или параноидального сверхвежества?! А?!!

— Не кричи так. Что ты кричишь?

(*Действительно. Что это я? Полегче. Take it easy. Лив супер ин «Ли Купер». Истерик.)*

Здоров ты только ханку жрать, Здоров ты только глотку драть. Суров ты был ты в молодые годы. Ты молодец против овец, Жнец, швец, да и в дуду игрец. Но и тебе придет конец: закон природы.

— Прости. Словом... словом, я понял, что московская Церковь и наша бывшая катакомбная тут, а Зарубежная там — близнецы-братья. Только та себя не запятнала коллаборационизмом. Хотя о себестоимости тамошней невинности и здешней запятнанности можно долго говорить, но факт есть факт. Во всем же прочем — один в один: Русь державная — Русь православная со всеми составляющими и вытекающими плюс неустанная борьба с масонством и экуменизмом, под коий подводится любая попытка поговорить-обсудить-устаканить хоть что-то с инославными, признание того, что у них хоть чему-то стоит поучиться. Ну, и конечно, венец венцов — антисемитизьм. А мне,

понимаешь, мало антисемитизьма. Антисемитизьм — это всегда хорошо, понимаешь, это никогда не помешает, но антисемитизьм, понимаешь, еще не исчерпывающий ответ на мои вопросы, как это раньше важнецки выражались, на последние запросы моего духа.

— Поняла. Ты недоволен и теми, и другими. Но признаешь и тех, и других.

— Да, я не дерзаю. Я на всякий случай в последних выводах смиренен, а не дерзновенен. На всякий случай. Мало ли что. Мало ли кто меня обуял. Кто я такой, чтобы различать духов?

— И я о том же. Раз тебе, стало быть, все равно куда ходить, за неимением лучшего, то не вернуться ли пока чего — домой?

— Не знаю... Именно потому, что я недоволен, я хочу зацепиться хоть за что-нибудь. Здесь община, с которой я пол-России по-пластунски пропахал. Конечно, они дуют в ту же дуду — последние времена, уйдем от мира, будем плести корзины, а дети чтоб «Трех мушкетеров» не читали, но тебе легче, ты все это время проболе... то есть прости, пожалуйста, опять же не цепляйся к словам, я в другом смысле... но я-то с ними в каких только деревнях, в каких — буквально — подпольях только не сидел. Я с ними породнился, хотя мысленно не с ними. Наконец, там батюшка, и хотя мне все труднее находить с ним общий язык, но с ним я по крайней мере съел пуд соли, он меня знает как облупленного, и искать другого духовника, ждать, пока он тебя не узнает так, чтобы с полуслова, с четверть-греха... или вообще переходить на духовное самообслуживание, жить своим умом, а в храме только исповедоваться и причащаться... Я к этому не готов. Может быть, потом... но сейчас меня еще что-то гонит в спину: езжай, пора. Ну пойми ты меня — гонит!

— Я... понимаю. Я больше не буду. Но сегодня... сегодня ты можешь не поехать? Последний раз.

Надо что-то придумать. Нельзя ехать надо. Вкус сосульки во рту, прекрасно-пресный, как дао, единственный предикат льда-во-рту: льдистый. Когда я впервые вложил лед в

рот, в четыре, в пять? Чистый вкус льда, до-большой-химии-в-воздухе, волжский круговорот воды ф природе. Экологически чистый фкус. Чистое жжение памяти во рту. Кай, где твоя Герда? Вдруг приступ пройдет? Еще есть время. Но и ты не лежи сложа руки. Ты давай ее люби: единственное что от тебя. Говорит, от этого много зависит. Умей любить изволь. Должен соответствовать без дураков. Ars amandi — это тебе не девок охмурять по язычнику Овидию, это дело серьезное. Сумей включить любовь по команде, активизируй пассивный запас, актуализируй потенциальное, вытащи ее из приступа — и она отпустит твою душу на покаяние. Что у тебя есть? Голос, слова, прикосновение. Со-кровенное, при-кровенное и от-кровенное прикосновение: коснуться крови вен? По Библии — в крови душа. Тогда да...

— Там видно будет (*дать надежду*). Там видно будет, родная.

— Когда?

— Что когда?

— Когда будет видно?

— Есть еще время, родная. Целых полтора часа. Или даже два.

Эх, зря. Все равно что сказать: еще пройдет твой приступ. За полтора часа. В смысле (так она поймет) — приступ твой пустяковый. А это оскорбление. Теперь она упрется бессознательно в: нет, не пройдет! не пройдет ни за что! Хоть чем-нибудь сними, что можно: прикоснись. Вруби всю нежность. Рука горяча, суха. Прикосновение в ночи. В простоволосых жалобах ночных. Наука расставанья, одолеешь — отпустит расстаться на время. Температура субфебрильная: рука горяча. Почему у нее держится температура, если из дома не выходит? Нуль иммунитета, род СПИДа — немотивированный. Жалко ее. Вот за это и держись, это усиль: посыл-в-нежность. Проведи по руке до ямочки. Тут узел вен. Мягкое, женское. Проникай, ведь ты же любишь? А то. Так проникай, нежность проникно-венна. Это когда твое-ее-смешение по краям, до почти перестанешь различать. Это нежность. Вторичное упрощающее смешение. Это не о том.

Скинь ментальный шум и работай. В тебе есть нежность, и она должна быть на кончиках пальцев. Почувствуй, какое родное рядом. Едина плоть. Слабая беспомощная прекрасная плоть духа. Возгревай. Ее не проведешь. Они все настоящую нежность не спутают ни с чем, и она тиха. Понял, тиха. Не говори ничего. Сбрось ментальный шум и вложись весь. До пронзительности чтобы — надо просто. Просто, но неслыханно. Впади, как в ересь. И это скинь. Сними с э т о г о слова — тогда сделаешь э т о.

— Приятно?

— Да... О н не пройдет за полтора часа. Не надейся. Хочешь ехать — езжай, но не надейся, что он пройдет. Езжай т а к спасаться.

(*Ну уж нет. На свободу с чистой совестью. Зачем так? Зачем обострять, зачем обнажать чужую совесть? Это уже навязчиво. Не чини претительных докук. Никто из нас другим не пластилин*[1]*. Хотя поползновения, смею заметить, зловещи.*)

— Если не пройдет, я не поеду, родная. Договорились?

(*Тихо. Знак согласия? Родная — как-то не звучит. А что лучше? Родная, милая, любимая — какие есть лучше слова? Но они маркированные. Родная — это уже «родная», а не родная, и милая — не милая, а «милая». Оу, дарлинг. Что ж тогда — солнышко, заинька, рыбонька? Фонетически ближе всего — лапушка. По смыслу все же — родная. Родненькая. Ближе, чем русского роду-племени, не мужского-не женского-не среднего, какого-то совсем-совсем-только-моего-рода. Но как сказать «родная», чтоб так и было, чтоб дошло, вспыхнуло: р о д н а я?*)

— Ну, улыбнись, родная, ну, поцелуй, родная...

— Что?

---

[1] Здесь и далее по тексту — вариации известной строки Бродского, принадлежащие ленинградцу И. Константинову, в середине 70-х поставившему цель доказать таким образом, что настоящая поэтическая строка суть сверхсловесное единство, где от замены слова на фонетически и ритмически сходное с ним ничего не изменится. Вариаций этой строчки у него было, кажется, около 15-ти; привожу лишь те, которые запомнил — а то и (кто сейчас разберет?) добавил сам. — *Авт.*

(*Не дошло, не вспыхнуло; а ты что думал, ты будешь шутки шутить, а она ловить каждое твое слово?*)

— Это я так. Ну, договорились?

— Да.

— Не боишься больше?

— Нет. Поговори со мной Пока ты говоришь, мне не так плохо.

— О чем?

— О чем хочешь. Все равно.

— Ну да, телевизор еще не работает, кто-то же должен фонить (*но-но, обижаться — это роскошь, много себе позволяешь; просто раздражен, вот то-то и оно, потому и не могу полюбить в нужную силу: непробиваемый щит раздражения, его тыком не взять, а только в обход, оно само должно истаять-отпустить*).

— Нет-нет (*торопливо-извинительно*), я хотела сказать, мне все одинаково интересно, что ты говоришь. Ты же знаешь, я люблю, когда ты говоришь серьезно. Только говори серьезно.

Помилуй мя, Господи, яко скорблю; смятеся яростию око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в воздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. Забвен бых, яко мерта от сердца, бых яко сосуд погублен.

— Серьезно... Пожалуйста. Поговорим серьезно о серьезности говорения. Именно же... Ну, так... или так... словом, вот это я и имею в виду: стоит что-то сказать, как в тот же самый момент — тут же! — догоняю, что сказал не то, что нужно другое слово... Понимаешь, и вправду чувствую, что мысль изреченная вправду всегда-всегда! — есть ложь! Я без конца сам себя догоняю, но никогда не догоню — ибо я сам свой предел, — не успеваю предотвратить, а если бы и успел, то сказал бы только д р у г у ю ложь, понимаешь? и могу только внутренне морщиться и совать голову под мышку от стеснения за фальшь, как когда я в 7 лет видел поцелуй на экране или когда поэты с выражением вслух читают стихи — потому что стихи нельзя

читать вслух, нельзя их немую полноту звучания искривлять одним только с в о и м озвучиванием! — и я понимаю, что времена Толстого прошли, что ничего почему-то, не знаю почему, но — нельзя, уже нельзя сказать прямо — и чтоб тебя так прямо же и поняли, на полном серьезе, что нельзя сказать вообще что-то, не сказав при этом чего-то совсем другого, что настоящее слово с каких-то пор, хочешь-не хочешь должно стать каким-то боковым, обходным, должно как-то непонятно-ладно возникать из тишины, не разрушая тишину, и так же уходить в нее, тихо сходя на нет, как Гамлет; но так мог только Мандельштам, да — не всегда — Пастернак, в стихах, но в жизни и они лепили, что под руку попадется, не те, д р у г и е слова, жизнь в отличие от искусства — как будто она уж и совсем не важна — загажена-запружена-засклижена д р у г и м и словами; оно и понятно, мы привыкли, что в жизни нельзя же ежесекундно напрягаться, как за листом бумаги, ища каждое слово в простом разговоре, но... ты вспарываешь тишину, чтобы слово произ-неслось, с-неслось, ты пускаешь ракету в темноту, чтобы догнать реальность, родить веще-слово, вещество слова, ствол слова, а оно-то пустое, оно — мимо вещи, а тогда — на хрена оно? и ты? ты зачем взял на себя плюнуть в мир лишним пустым словом, не из пламя и света, а дурно пахнущим мертвым словом? Свалка слов и без тебя переполнена, мир загрязнен ими более, чем песок Крымского побережья — фекальными массами, и тут еще — ты, затем-то ты и явился, голуба... И вот когда я узнал православие — не там, где византийство риторики, где витии многовещанныя и плетение словес, а там, где тоска по молчанию, по тишине, этому б е л о м у з в у к у — с его целомудрием слова и боязнью говорить умно и красиво — ты вспомни хоть какое-нибудь высказывание преподобного Серафима, или оптинских старцев, или Феофана Затворника, которое было бы небезыскусным по форме, а ведь тот же Феофан и с греческого переводил, то есть если бы захотел, вполне был бы в состоянии словесно попиршествовать, — вот тогда я сразу понял: оно! моё! вот где собака зарыта! Но это такое м о ё, которое моим никогда не будет, которое мной овладеть может, а я им —

нет, к которому я могу только тянуться, понеже при всей ненависти к словам, я неистовый болтун, я алкаш слов, я — говоритель!.. Но тогда уж — говорить прямо и просто, как Толстой, быть может, не угадывая тайну существа вещей, но, по крайней мере, называя их по и х именам, не плодя ложных сущностей, не блуждая по миражным пространствам изобретенных «реальностей», не плодя виртуальных духовных смыслов, как очередной Гребенщиков, — хотя бы, х о т я б ы так, как Толстой, ха-ха, но мы уже не можем, засранцы, и не только по недостатку таланта, но: мы мутанты культуры: не имея вчерашнего классического образования, не зная толком ни одного языка, не учась толком логике, риторике, истории, литературе и философии, то есть, попросту говоря, не водворив в себе строй, порядок, сложный, многоступенчатый и традиционно организованный, не подготовив себя к постижению, дисциплинированному пусть не совершенно, но хотя бы так, как научилось дисциплинировать себя европейское человечество, — растя и развиваясь самоломанно, как подзаборная трава, как беспородная дворняжка, мы безбоязненно, на свой страх и риск проглотили такое количество разнородной и разноуровневой культурной пищи, текстов, звучаний, шумов, которое и не снилось нашим мудрецам...

В добавление к старым Платонам, Шекспирам, Бахам, которых хоть не энциклопедически, но как-то и мы освоили, добавим необъятный модернизм и постмодерн, добавим сотни мелодий от «Битлс» до каких-нибудь «Блюр» и «Дип Форест», тьму джазовых тем и импровизаций от старухи Ма Рэйни до Арчи Шепа, от Кинга Оливера и Бикса Бейдербека до Билла Эванса и Ахмада Джамала, да тьму песен Высоцкого и К°, автоматически западающих в память, тысячи фильмов — если бы эрудит времен Владимира Соловьева должен был прибавить в свою копилку труд по освоению необъятной фильмотеки от Гриффита и Дрейера до Тарантино и Гринауэя! — сотни имен всяческого фигуратива и нонфигуратива, концепций, инсталляций, объектов, перформанса, поп-арта, панк- и постпанк-арта и тэпэ, неисчислимые и непроходимые тексты — философские, культурологические, семиотические, практических и

теоретических мистиков Востока и Запада... Не освоив «Логику» Милля, не прочтя хотя бы учебник Горского, беремся читать Витгенштейна и Делёза, Фуко и Бодрийяра! И тут же всякая дешевка, попса и кич, но и от них не отмахнешься, они сами лезут в тебя, как вирус гриппа, заполняют тебя, шумят в тебе, но и тут своя «от кутюр» и свой ширпотреб, и тут куча всяких социокультурных смысликов, да, кстати, и сама культура моды, видимости, человекообложки, вытесняющая даже человекоактера, какого-никакого, а все ж г о в о р я щ е г о человека... и вот все, все это валовым продуктом входит в кишки, лишенные отлаженного аппарата упорядочивания, сортировки, сепарации, лишенные многовеково-отточенного инструментария, единых, а не множественных критериев оценки! То есть мы должны либо просто валить все в кучу, на дно, либо на ходу отбирать и укладывать по штабелям, приводя в некий новый ценностный порядок, а тем временем, обгоняя наши усилия, все тяжелее напор культурного хаоса — культурного хаоса, вдумайся в этот парадокс, это как мертвые души! — все сильнее гул всмятку утрамбовываемой, трещащей по швам Психеи, и в этом компосте совсем исчезает ясная иерархия смыслов и ценностей, они просто стискивают друг друга, и начинается несварение души. Какой уж тут серьез! Со старой культурой мы разделались еще Джойсом и Стравинским, уже с тех пор не разберешь, где кончается высокая культура и начинается низовая, где кончается полиция и начинается Беня, а потом пошло форменное раздвоение личности, когда мое этическое подсказывает, что смысл фильма «Броненосец Потемкин» лжив и примитивен, а мое эстетическое — что таких кадров и такого монтажа днем с огнем не сыщешь, какой уж тут серьез, и не случайно один еще раньше предчувствительно истекал клюквенным соком, а другой на трагические разговоры научился молчать и шутить, но... но так же нельзя сто лет, надо найти какой-то выход, чтоб опять говорить прямо: «Мне больно», — а слушатель в этот момент, чтобы не скучал и не прикалывался, а со-чувствовал. Но как?.. Понимаешь, я болен несварением души, я уже не знаю, нужно ли в просвещении быть с веком наравне или на

самом деле фиг с ним, с этим «веком», какая мне нужда быть с кем-то там наравне, когда я сам по себе, ведь не только он, но и никто никогда ничей не был современник, а все прочее — литература...

Вот вопрос, но кто ответит? Церковь? Вот, я прихожу в нее и говорю: «Помимо грехов, нуждающихся в покаянном плаче, в моей душевно-головной емкости — еще сто тонн всякой-разной культуры и контркультуры. Что это — цветы добра или злонравия достойные плоды? Разбираться скопом или поименно? Если это зло — может быть, это зло неизбежное, нечто вроде лжи во спасение, и тогда я уж его как-нибудь контрабандой протащу с собой в Церковь, а вы закроете глаза, верно? а я молчком пристрою в уголке свою private property — или вообще никак нельзя? Или все же тут есть какие-то тонкие корреляции, между церковным и культурным, и они уловимы лишь на личный вкус и ощупь, и надо самому учиться, на то и свобода? Или еще как-нибудь?» И что, ты думаешь, она отвечает? А? Вот то-то. Либо вообще ничего не отвечает, только ножками качает, либо — «отсекай самость и читай только отцов». И опять же — к а к непререкаемо говорят-то! Ведь это только в старые добрые докатастрофные времена типичный, дюжинный батюшка был потомственный, духовного сословия, он в своем звании так же честно зарабатывал кусок хлеба, как честный человек купеческого или иного звания-сословия: выполнял все требы, какие были потребны, на что и был рукоположен, и тем по совести служил Богу; а желаете большего — пожалуйте в Оптину к отцу Амвросию. Такой и не помышлял о том, что поставлен рассудить, спасался ли Пушкин своими стихами — или только молитвами митрополита Филарета о нем, как мне давеча сказал один неофит из бывших поэтов. Вот они-то, бывшие поэты, художники, артисты и люди непрофильных, но творческих амбиций, и валят сейчас валом в священники или состоят при священниках в ближнем круге и выступают где могут. Эти не согласны быть дюжинными. У них так не получилось, в искусстве-то, вот была му́ка творчества — и тут им показали выход: отсечь это все как самость! наступить на горло греху — и своему, и чужому! и это и

есть на самом деле высшее творчество; художество всех художеств! Притом же этот запрет на вольную мысль и творчество, выходящее за пределы церковного агитпропа, совершается и в самом деле творческим путем, только материалом уже не слово или краска, а живые души паствы, из которых лепишь — и как же славно, округло выходит-то. Тут как, говоря вслух: «Аз, недостойный иерей...», про себя не подумать: «Я, в достоинстве иерея...»? Тут станешь непререкаемым, от такой удачной творческой самореализации... И востребован на все сто! если бы еще гнилая интеллигенция палки в колеса не втыкала, всякие, сменившие окраску евреи... Вот им и забабахаем по чану «непогрешимостью соборного разума Церкви», какового мы и есть аутентичные репрезентаторы, — чтобы одна дурная овца не портила все стадо!.. Вполне понимаю. Еще неизвестно, как я сам повел бы себя на их месте... И знать больше ничего не хотят — и я их понимаю. Но ведь и секулярно-культурный мир знать ничего не желает — лишь производит и потребляет все новые культурные ценности, производит и потребляет! То есть и там, и там кто-то есть, но — их мало, их, может быть, трое...

Вот почему я выпадаю в осадок, опять и опять, я тону. (*Говорил и говорил, все крепче сжимая ее сухо-горячую руку, с наслаждением чувствуя, как по мере выговаривания покидают не только душевные шлаки, но и сухой иссушающий распор раздражения, и головная боль, которым нужно было только одно: чтоб о них забыли, оставили в покое, пустили на самотек, и тогда они, оставшись без контроля, незаметно слиняли бы почти без остатка. Просто в силу подвижности всего живого. Так всегда с недосыпа, на сломную голову, когда изнеможение не давало напрячься, и говорилось, как пилось с похмелья: дурно, но само собой, с той лишь разницей, что в одном случае ты вдыхал обманчиво-ясный огонь, а в другом выдыхал его).* — Тону, потому что успел нажить столько ума, чтобы серьезно отнестись и к пустякам, и столько глупости, чтобы перестать всерьез воспринимать серьезное, все перепуталось, в натуре, и только сладко повторять, повторять, повторять...

— Как же ты можешь верить? Ты еще можешь верить? Как?

(*Вот именно. Как? Вот именно. Зрячая женщина. Зрячих пальцев стыд. И выпуклая радость узнаванья. Нет, горечь узнавания: себя. Где твоя вера? Был ли мальчик? Или — очередное отрезвление после очередного увлечения? Нет. Уверен? Не обгоняй.*)

— Как? А по памяти. По памяти, понимаешь? Память сердца-то есть или нет? Она сильней рассудка памяти? Сильней. Ты помнишь, как было, когда я поверил? Как вспыхнуло — и сколько горело? И, видимо, я набрал такой запас веры, что и теперь, когда все временно перегорело, и я... да, я Его перестал чувствовать... отсиженной душой, понимаешь? — и теперь я вычерпываю запас: вспоминаю то, что з н а л тогда до мозга костей, и говорю: спокойно, все так как есть, веди себя прилично, главное — дожить до весны, как говорил знакомый психотерапевт из самарских Юнгов, доживи — и все оживет.

— А ты уверен, что все так, как есть?

— А ты нет?

— Смотря в чем.

— Ты не веришь, что Иисус есть Христос? И что в Нем истина? Даже не в Его учении, а в Нем самом?

— Нет, этому я верю. Я это знаю. Только это я, пожалуй, и знаю. И еще я почему-то точно знаю, что будет Суд.

— Ну вот видишь, я тоже.

— Да, но...

— Что?

— А ты веришь, что когда мы говорим — «знаю», то на самом деле знаем?

— Это не разговор. Или будем так говорить... Ты заметила, кстати, как это косолапое «будем так говорить» тихой сапой заместило прежнее косолапое «так сказать»? — Так вот, будем так говорить: твой вопрос нерелевантен. Если, говоря о знании, ты имеешь в виду некую процентовку, то в плоском смысле стопроцентности нельзя знать даже, что дважды два — четыре. Евклида, чтоб был скромнее, потеснил же Лобачевский, вот и арифметику потеснит другая арифметика — и дважды два окажется минус два или

квадратным корнем категорического императива. Это, кажется, Юм говорил, что если до сих пор каждый день заканчивался закатом, то это совершенно не указ верить, что завтра непременно произойдет то же самое. А может, и не Юм, может, еще кто или даже я сам такой умный, но я с этим согласен совершенно, это и Орнетт Колмэн понимал безо всякого Юма: Tomorrow is a question[1]. Но есть другое знание, не стопроцентное, но само себя удостоверяющее, и его единственный критерий — несомненность, ведь когда любишь, знаешь: тот, кого любишь — вот он, это он и только он. Так много девушек хороших, знаешь, но почему-то лишь одна из них тревожит, ничего не попишешь. А? Почему? Унося покой и сон? Потому что на каждого человека есть свой ловец человеков. Который говорит с ним не о смысле жизни и прочих неинтересных вещах, а — голосом с а м о й жизни. Потому что все пророки всех религий могут только учить религии, их можно слушать, а можно и нет, потому как всяк выпьет, да не всяк крякнет, им можно верить, но их любить нельзя, а Он есть сама жизнь, — и я еще не успел Его понять как следует, а уже полюбил, уже внутри жизни, внутри Него, у Него за пазухой, — а сейчас Его нет, жизнь покинула меня — но я помню, я помню ее вкус.

— И о чем же тебе говорит — говорила — сама жизнь?

— О чем, о чем. О чем говорит жизнь? О смерти. И о другой жизни.

— Да. Значит, твой любимый — Христос... А кто твоя любимая?

(*Не ждали. Всегда неожиданно. Но мы знаем, что такое «всегда» может настичь всегда. И мы всегда наготове к всегда-неожиданности.*)

— Конечно, ты.

(*Ни доли секунды на промедление, ночью разбуди — слетит с языка; тем более, если ты как следует разбужен. Но как она угадывает? Не все же время, даже и не так уж часто я вспоминаю о Той, если бы она просто в с е г д а подозревала,*

---

[1] «Завтра — это вопрос» — тема и одноименный альбом выдающегося авангардиста О. Колмэна. — *Ред.*

то наобум бы и: бабах! а то ведь нет, всегда в яюлочко, что это, истончившаяся интуиция, компенсирующая болезнь или безошибочное чутье, когда любишь и ревнуешь? Женщина, одно слово. Тем более. Любят ушами. И давай. И вперед. И повторяй не ленись. Я ее люблю? Люблю. Это истина. Истина не тускнеет от повторений.)

— Конечно, ты. Ты моя любимая. Благословенна будь, моя благоверная. То есть благоверна будь, моя благонадежная... Словом, благонадежна будь, моя благословенная — ты и есть моя любимая...

А как она все-таки поймала-подсекла. Так и ёкнуло — и сразу опять заплохело. Чем дольше тянется эта минута, тем более она ровно невыносима, как проза Варлама Шаламова; с нее содрана кожа, как с голоса Роберта Планта образца 1971 года. Immigrant song[1]*. Когда тут жить невозможно, а там невыносимо, что остается? Уйти высоковольтным электротоком в провода, натянутые меж невыносимо-своей и невозможно-чужой землей, и нигде не — быть, а только течь, и виться, и выть в проводах. Куда бы ты хотел? Во Францию? В Германию? Почему? А? Почему бы не в Германию? Ничем не хуже чем. Все перепуталось. Ничем не хуже чем. Есть все шансы быть полноценно несчастным. А кто тебя примет? Дураков нет. Бог даст, найдутся. Россия. Лета. Лотерея...*

Два вида шумов во тьме: внешний, сильнейший, содроганье во чреве и сокрушение костей от гула за окном в четыре полосы текущих машин, — не позавидуешь чертям, прописанным в преисподней в районе центр-центр-москва — этот шум словно вынесен за скобки, точнее, он и есть эти скобки: есть и нет, дает жить, спать, вершить или влачить свою судьбу тому, кто внутри него; и шум внутренний, негромкий, скрип кровати жены, храп приехавшего гостя за стенкой в другой комнате, шуршанье мыши в углу, щелчок отсохших, отставших от стенки в незримой точке обоев, — этот шум всегда отчетлив, всегда п р и с у т с т в у е т, выдавливает из сна или из непрерывности сосредоточенного раздумья, царапает канифолью нитку души. Внутренний шум в раме

[1] Песня группы «Лед Зеппелин». — *Ред.*

внешнего; бывает, однако, они странным образом, как странно разнимаются, казалось бы, сплошные кольца в руках фокусника, меняются местами, и тогда внутренний нарушитель тишины: отчетливое тиканье часов — совершенно не отмечается во мне, а внешний, даже совершенно безобидный: чиханье или шарканье соседа вверху — вторгается в душу колючим напряжением угрозы... Шум. Шумер Аккад, деревья гнулись. Какая буква сравнится с Ща, какой звук — с шершавым шаркающим Ш? От бога воздуха Шу, от божественной Шехины — формы присутствия Господа в мире, от Шамбалы до преисподней-шеола, от шахиншахов до швали, шоблы и шелупони в воровском шалмане, от острого штыка до тупой швабры, от шороха-шепота-шелеста до шрапнели, от первой молитвы «Шма, Исроел» до «Ша!» и «Шухер!» — какая амплитуда выразительности от занозисто-гортанного выкрика семита до милого шуршания осеннего листа, какая ширина воронки! Шумерки истории.

В урочьях Ура и Урука. Наречья мертвые Двуречья. Шмеркалось; мастера заплечья, Уже отужинав урюком, Мне станут наносить увечья, Начнут выламывать мне руки. Я не хочу в глухую глину Месопотамии унылой, В моей Московии постылой Я не хочу горбатить спину И над отеческой могилой бездомную дубасить псину. Но я хочу, как по канату, Между Уралом и Шумером (*Вариант:* Между провалом и промером) Пройти, меж ГУМом и Гомером, Меж Арафатом и Сократом — Скитания исполнив меру, Как Ной, достигший Арарата...

Стало тихо. Шум умер. Но сейчас будет новый, это уж будь благонадежен. Великий Шу умер — да здравствует Шу...

— А ты уверен?
— В чем, прости?
— Уверен, что твоя любимая — именно я?

Нет, смотри, не отстает. Взяла след верхним чутьем. Верной дорогой идете, товарищ. Почему я знаю, что она смотрит на меня внимательно? ведь я не гляжу в ее сторону, а если б и глядел, почти не увидел бы. А она видит. Она

увидит, если я в темноте покраснею. Не красней, понял? Видит, как кошка.

Нет, не она. Это Та была — кошка! И вечно держала кота-другого в своем тыковкином домике, где можно было ходить лишь пригнувшись (как она тогда выхватила хрустевшего голубя прямо из кошачьей пасти и хрясь по морде своему воспитаннику! свирепо. Изрядно), и глаза ее карие с кошачьей прижелтью, и взгляд пристальный с тревожащим прищуром, и тихая полуулыбка-с-тайной (тайна как раз и достигалась неполнотой, невыявленностью смысла улыбки: что в ней — робость, девственная застенчивость или искус, соблазн? как у кота — пугается или пугает?), и говорила мало, из тишины, как мяукала, глуховато-осторожно, и любила одиночество, и была равнодушна к комфорту, нужно было только тепло, и есть любила всякую полупомоечную дешевку, кильку, желтые подванивающие соленые огурцы из овощного магазина, и по-кошачьи умела бродить сама по себе, умело скрывая, как стало известно задним числом... интересно, что она не любила фотографироваться на документы типа паспорта, как преступник, как увиливающий в темноту кот (впрочем, Эта тоже терпеть не может официальных снимков, обе донельзя немилосердны, неснисходительны к своим фотоизображениям, просто из себя готовы всегда выйти: «Это не я! это ужасно! уродина! не смотри! не хочу э т о предъявлять!» Да, по крайней мере в этом они похожи, в знании того, что красивы, и красота их, столь правильная у одной и неправильная у другой, не ловится и ускользает из кадра, всегда, без исключений, нефотогеничная красота, и этот-то минус-фотогеничный элемент, это ускользающее и есть главное... Да, но Этой не занимать стать гневаться, а Та была тиха, и вдруг... поистине, как говаривал один самарский знакомый, логист и пьяница, «если вещь в себе разозлить, то она станет вещью вне себя»)... А то вместо кошачьего появлялся сонный, подслеповато-распахнутый взгляд ребенка, увлекательно сопровождаемый контрастно взрослой, искушенно-порочной большегубой гримасой — тот же, что и с полуулыбкой, нехитрый, но безотказный бессознательный прием, профессионально используемый позже Аллой Пугачевой (и, кажется, еще той актрисой, что похожа была в молодости на молодую Пуга-

чеву, у нее еще сначала была еврейская, а потом русская фамилия... кажется, все с вот такими слегка лисьими лицами и кошкиными ухватками эксплуатируют этот прием; да, лисьими, вот именно, и у Той... — foxy Lady[1]!)... (да, кильки, пельмени с дурным фаршем из самого дешевого мяса и огромного количества жира и еще собственноручно замаринованный в кислейшем уксусе лук, та прозорливица права, стоит о важном — всплывут огурчики-помидорчики, да, а если делать из них салат по-болгарски, то посыпать тертой брынзой, но натереть ее можно только если не вымачивать, а тогда она соленая вусмерть, поэтому симпатичнее польский салат: добавляешь еще к свежим соленые огурцы и крутые яйца и майонез, странный симбиоз летнего овощного салата и зимнего оливье, а то еще испанский гаспаччо: к тем же огур-дорчикам подстругиваешь перец и крошеный хлеб и, натурально, ливануть уксусу — это уж будь здоров и без язвы, ды отцепись ты от ед, заруби себе на носу: где стол был яств — там гроб стоит, буквально. Да. Вернемся.)

И вот это-то существо с подмесом высшего (так можно, не кощунственно? кажется, нет; как сказал, так сказал, не переговаривать же), эту Прекрасную Даму средневолжского извода, эту нищую королеву не-в-изгнании, коронованную тобой же самим, добившимся в конце концов молчаливого признания легитимности этого неписаного титула — пусть в узком, но своем, серьезном для самосознания кругу друзей-приятелей, — вот это-то существо, вряд ли (как казалось тебе при вашем знакомстве в твои дурацки-восторженные 19 лет, настоянные на «Одиссее капитана Блада», «Трех товарищах», «Коте Мурре»), имеющее тело под одеждой (и какой? — валенки, за неимением денег на сапоги, и некое п о л ь т о-самострок, что может быть романтичней!) — вот это-то, это существо ты один властен был низвести с небес на землю, понудить к соитию, унизить — и затем опять возвести и возвысить — и так и вести тему, так и жить на интересном контрасте!.. Увидеть в женщине что-то от богини, проникнуться этим, настроиться до мозга костей на это видение — а затем разбудить в богине животное, видеть,

[1] Песня Д. Хендрикса. — *Ред.*

как она не в силах противиться тебе, унизить ее — а на самом деле созданный тобою ее образ, под который ты ее небезуспешно и не без ее помощи подгоняешь — до себя невыдуманного и тем самым возвысить себя до «нее» (тобою же придуманной, вознесенной на несуществующий престол — и ты это сознавал-таки в глубине души, но твоей серьезной игре с самим собой это не мешало: значит, сознавал только в малую, безопасную для самолюбия толику) — и наслаждаться контрастом ее самодеятельной, но ощутимой небесности (ведь и капустник в какой-то степени театр, и он как-то по-театральному будоражит, слегка жжет глаголом) и земной нечистоты происходящего, неизбежной обычной слизисто-склизкой прозы близости, в которую небесность шлепалась с размаха; наслаждаться и своим возвышением, и ее униженностью и одновременно высотой, проглядывающей, не смывающейся без остатка никаким бесстыдством — всем сразу... Сие есть высший сиентический градус Соломоновых тайных наук.

Только ты. Странная ее удобосклонность к тебе, странное влеченье — род недуга, при-страстие («у тебя какая-то улыбка особенная, что-то не знаю что, но оно е с т ь»), завороженность тобою, невозможность тебе противиться — это... это больше чем льстило. Это наполняло тебя — т о б о й, это тебя д е л а л о, не меньше, чем ты д е л а л ее — «ею». Ты нес в себе с е б я з б о л ь ш о й б у к в ы и потому так и воспринимался окружающими, если не на сто, так на много процентов, и это, в свою очередь, подпитывало тебя дополнительно. И вот, когда твои-ее акции двуедино поднялись до потолка, появляется друган-враган, простой советский парень, каких у нас в Союзе миллионы — и спроста показывает, что э т о может любой, стало быть, и удобосклонна она не к тебе-единственному, Укротителю небес, а к кому хошь, если он чем-то ей симпатичен, а значит, и ты — не Ты, а голый король, да и она некоторым образом неглиже, да и оба вы — нормальный обманутый муж и обычная разочарованная, обманутая мужем и сразу разрешившая себе все тяжкие баба... Ужасно гадко, да, а в сущности и на этом витке — простая гордыня, как все примитивно, ибо оно верно; вот тут и помоги себе, прочув-

ствуй разницу — сегодня, сейчас, вот, рядом с тобой — женщина, у которой ты был и есть единственный мужчина, у нее нет кошачьей тайны, пусть, стало быть, нет и того интереса, нет «изгиба», есть только правильность, норма, но это и прекрасно, это залог того, что тебя не обманут и ты не помешаешься на вскрытом внезапно прошлом еще раз. Прочувствуй контраст, пойми, что добродетель не скучна, а насущна, проникай, проникайся, сжимай ее руку, чувствуешь, как она приятно горяча — в отличие от твоей злой горячки? хотя горяча от болезни, как и ты! представь ее прекрасную руку в темноте, как косу, сплетенную из вен, нет, как реку, где притоки-вены так и не сливаются, а неслиянно текут в нераздельной реке к дельте кисти, представь ее руку как Нил; значит, где кисть, там дельта, Танис, Саис, Элефантина, там храм Исиды на острове Филе, и ты следуешь туда указательным и большим, и тут, на острове Филе, тут тукает темно-живой пульс, тупой клюв пульса. Тук. Тук. Тук.

— Почему ты так говоришь?

— Да. Почему мы так говорим?

— Нет, подожди. Разве я давал тебе повод сомневаться, что именно ты — моя любимая?

— Еще как давал (*незримым электрическим разрядом незримую от привычки тьму незримо, но отчетливо высвечивает сардоническая усмешка*).

— Как тебе не стыдно? За столько лет я тебе ни разу не изменил, больше того, ни разу даже спьяну никаких поползновений хотя бы на легкий флирт. Назови жену, которая могла бы этим похвастаться. Мне один знакомый: «Ты что, старик, ни разу жене не изменял?» А я набрался мужества и говорю честно: «Нет». А он смотрит на меня, как на идиота или последнего вруна. Как на последнюю падлу.

— Я не понимаю, чем тут гордиться или чего стыдиться. Это просто норма.

— Да не горжусь я и не стыжусь. Я констатирую факт: тебе не в чем меня упрекнуть.

— Брось. Это не по любви. А по долгу службы. Ты просто н а с т о л ь к о богобоязнен, вернее, был, когда крестился,

а потом уже по инерции богобоязненности... Когда человек бросит курить, лет пять не покурит, ему все равно хочется, но он уже продвинулся, помнит, сколько потратил сил — и не хочет просто так все перечеркнуть, за фу-фу, правильно?

— Нет. Но в любом случае факт есть факт. А это уже кое-что, так?

— Конечно. Но только кое-что. Не говоря уже о том, что ты неустанно прелюбодействовал в помыслах.

— Что, со всеми подряд? С каждой прошмандовкой?

— Ой, ну. Не придуряйся. Ты знаешь с кем.

— Когда?

— Всегда.

— А ты меня за руку ловила?

— Тебя не надо было ловить, ты забыл. Ты сам мне все время исповедовался. Как тебе плохо, как жалко ее, какая она плохая, но хорошая... И так годами!

Почему бы и не в Германию? Будет нойе либер Фатерлянд. И прекрасно. Германские дубы подубовитее будут. Пройтись по Вестфалии бузинной, а найлепше по Баварии хмельной. Уж это первое дело. В компании Маттиаса Нитхарта-Готтхарта, Тильмана Рименшнайдера, Ангелуса Силезиуса. О, цэ ж гарна компанія! Этим ребятам есть чему тебя поучить. А то вот есть еще город Ганновер. И у Грина, что интересно, есть герой по имени Ганновер. Так сочинять можно. А что? что ты, интересно, имеешь против фамилии Ростов? Почему лебедей танцевать — классика, а лошадей — бардак? Что плохого: Дэйв Любек. Эдуард Киль. А лучше герр Дортмунд Дюссельдорф. Нет, Германия — это я вам скажу. Кто любит, чтобы трава была зеленой, солнце желтым, а небо синим, а крыши красными, тот... А кто же этого не любит? Да, но экологическая ниша? Аллес меглих. Но вряд ли. В нише Ницше — ни шагу ниц! Рифма — Лейбни́ц. Бред без брода. Буттер-бред. Вилькоммен, герр. Но нужно арбайтен, герр. А кто будет есть арбайтен нихт, герр, того мы будем есть немножко паф-паф. Прошу паньство до газу[1]*. Нет уж, ну его*

[1] Название рассказа Т. Боровского, переведенное у нас: «Пожалуйте в газовую камеру». — *Ред.*

на фиг. Как этот, у этого, в этом фильме:«Польская пехота хорошо марширует, когда ею командуют польские офицеры». Вот именно. А святые хорошо маршируют, когда ими командует Господь Бог. А я и вообще годен разве что к нестроевой, и то если... Ахтунг! Не молчать! Говорить быстро!

— Что было — сплыло. Теперь у нас другой эон. Другая плерома. И в этой плероме ее не значится.

— Ой ли?

— Да (*кого ты хочешь убедить: ее или себя?*) Да. Да. У нас венчанный брак. Мы много лет в венчанном браке. Теперь все другое. Другие небеса и другая земля.

— Ты это так повторяешь, будто хочешь себя убедить. Пропилить борозду в душе.

— Зачем? Я и так знаю, что таинство брака — объективный мистический факт. Не зависящий от наших чувств.

— Неплохо сказано. Но хотелось бы, чтобы что-то все-таки зависело от наших чувств. От т в о и х чувств ко мне.

— Так тебе повезло! Они просто превосходны. Превосходны в превосходной степени. Как уже не раз говорилось, по счастливой случайности, предопределенной Божиим промыслом, я люблю именно тебя, родная. Почему же ты не хочешь поверить именно в то, во что хочешь поверить — и что, по счастью, есть на самом деле?

(*Уйди, наконец, от темы! кончай арапа заправлять! — я вру? — Я вправду ее люблю. — Но ведь и Ту тоже. А Эта этого не поймет и не примет никогда. Молчи в тряпочку. — Это не главная правда, что я люблю обеих сразу. Главная — что я люблю Эту, а Та только послевкусие прошлого, только лукашкины ловушки. Но как ни силен лукашка, Бог сильнее. Уйдет, куда денется. Дотерплю, сил хватит дотерпеть. А пока надо все отрицать. Это не ложь: есть правда факта и правда явления. И я сделаю так, что правда явления зачеркнет правду факта. И сие есть высший сиентический градус соломоновых наук. — Но она видит тебя насквозь, она распарывает тебя до подкладки! — А я в молчанку, не колюсь и в сознанку не иду. А пока — ухожу, снимаюсь с темы.*)

— Пошли ты этот свой мазохизм к тете Моте и перестань подозревать меня в двойной игре. Не такой я простой, каким кажусь, но до адмирала Канариса — как до неба пешком. Лучше обними.

— А если я тебе скажу, что есть время обнимать и есть время уклоняться от объятий?

— Тогда я тебе отвечу, что цитировать — это моя прерогатива, это наши вялотекущие приоритеты, ёкорный бабай, то есть это такая позорная болезнь вроде шизоолигофрении, японский перец, но я не думал, что она еще и заразная...

Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, рех: исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего. За то помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно: обаче в потопе вод многих к нему не приближатся.

— ...вот, а твое женское дело — обнять и согреть, и самой согреться.

— А твое мужское?

— То есть?

— Ну, не цитировать же. Это твое хобби. Или невроз. А твое мужское дело? Жена должна тебя обнять. А ты ей что-нибудь должен?

— Ну... Ну, да... Ну, это... Любить?

— Какой ты умный. Угадал с трех попыток. Если учесть, что ответ ты знаешь наизусть, то... Нет, я в более общем смысле. Считаешь ли ты, что ты вообще — как мужчина, муж, человек, я не знаю — что-то д о л ж е н?

— Должен, наверное (*«виноват, исправлюсь»*)...

— Я имею в виду: вот ты чувствуешь нутром, что д о л ж е н ехать за тридевять земель в храм, или что д о л ж е н что-то написать, или высказать, а если бы был архитектор — д о л ж е н построить, ну, ясно?.. Там, где ты чувствуешь, что — д о л ж е н, к этому ты относишься по-мужски, по-вашенски всерьез. Вот я о чем. А мне, жене, семье — ты, по-твоему, что-нибудь д о л ж е н? Или только жена должна тебе, а ты там — только своему там искус-

ству-делу-религии? Она — я — должна тебе отдавать любовную там энергию, а ты ее должен только брать и подпитываться ею для какого-нибудь там дела? Это в общем тоже теория, тоже серьезная модель жизни. Нет, скажи. Только честно.

(*Так я тебе и сказал. Как в детстве: скажи честно, признайся — мы тебя не накажем. А сознаешься — как же ты мог? как смел? да после этого!.. Опять дошла до чувства долга. Отдавать, а не брать. Она — сама совесть. Развитая совесть человечества. Достала. Дурак, это же знак того, что мы вылезаем из приступа. Раз уж она в силах пойти на принцип, напрячься, начать серьезную тему, поставить вопрос ребром — это выздоровление. Порадуемся на своем боку. Не рано ли? Но так я ей и сказал. Но и наоборот тоже неправдоподобно, если кто меня знает. Придется опять ваньку валять. И опять она, что я ваньку валяю. А я чем виноват?*)

— Теперь понял. Ты это в том смысле, что я тебя плохо одеваю-обуваю?

— Ваньку валяешь? Зря. Ты прекрасно знаешь, я не... А почему, собственно? И об этом тоже. Почему я должна оправдываться и делать вид, что это неважно?

— Вот именно, почему?

— Да, вот именно. Ты знаешь, что у меня нет ни одного приличного бюстгальтера? Что я уже год хожу в дырявых?

— Извини, не обратил внимания. А еще чего у тебя нет?

— Ничего. Ни костюма, ни приличных зимних сапог, ни... нечего носить.

— Угу. Всегда что-то покупаем из никаких денег, и всегда тебе нечего носить.

— Объясняю: покупаем по очереди, пока одно купишь, другое сносится. И так всегда.

— А ты хочешь, чтобы я вынул деньги из тумбочки, и мы сразу закупили одежонки на все четыре времени года, и еще обновили мебель, пока она не рассыпалась, и еще кухонную сменили на не проеденную злым жучком, и еще, может быть, машину? Тебе «Ягуар» или «Феррари»?

— Достаточно «шестерки». Тебя все это смешит?

— Меня это ужасает.

— Да, представь себе, мне этого иногда хочется. Представь себе, я нахожу, что носить из всего, что украшает женщину, только челку а ля Марина и горделиво таскать вечную ложноклассическую шаль а ля Анна — это такая же интеллигентская пошлость, как есть бандитская пошлость или мещанская пошлость. Я иногда еще женщина. Иногда еще молодая. Раньше считалось, что красивая. И мне иногда хочется хорошо выглядеть, и чтобы не скрипела продавленная кровать, и чтобы светлая кухня, пусть польская, только светлая, и чтобы... чтобы не счит... И мне (*о, слезы на глазах, плач гнева и любви к себе, к себе-любви, к скоромимоходящей красоте, своей, своей!*) иногда до смерти не хочется ездить в этом свинском метро, тереться об эти спины и зады, быть частью усталого на сто лет стада! После тридцати иногда хочется сесть в свой, изолированный от всех, пусть инвалидный, но частный драндулет.

— Хочется?

— Представь себе.

— Хочется — пере... Шучу. Извини, родная. Извини, что не могу тебе всего этого дать. Я же не жалею на тебя денег, у меня их просто нет. Дал бы, да не могу, ты же знаешь не хуже меня.

— Я знаю другое. Не то плохо, что ты не можешь. И не, что у меня нет, чего я хочу. Хочется — перехочется, совершенно справедливо. Но плохо, что это не я, а т ы так говоришь. Ты и не х о ч е ш ь мне ничего дать. Тебе до этого дела нет. Ты не тряпок выше, а — меня, вот что обидно. Я тебе неважна, вот что важно. Ты хоть такую простую вещь понимаешь умной своей головой, что копеечные цветы или норковая шуба для пожившей женщины — одно и то же: любовь, прости за скучное слово! А ты мне нарциссика по весне не принес ни разу грошового — и не из-за денег, которых тебе на пиво дурное всегда хватало, а из-за того, что ты сам Нарциссик, понимаешь?

— Я понимаю, что тебе нужен другой муж.

— Мне нужен д р у г о й т ы. И больше никто. Но если ты будешь... все время будешь со мной т а к, то добьешься своего: я уйду от тебя.

(*Это уже серьезно. Разговор приобретает нешуточный накал. На предпоследнем дыхании. Лучший его фильм — или все-таки тот? Но с тем же. Взрывчатка на голове — это ломово. Шибает и 25 лет спустя. Уйдет она. Как страшно. Куда ты денешься? Куда ты денешься от судьбы и от сумы? и куда я денусь от тебя? Ты не уйдешь, а я так и буду сколько угодно, потому что я садохист. Кто-то же должен быть хуже другого, кто-то в семье должен быть грешником, чтобы их призвал Господь. Ага, и рассчитывать, что другой будет праведником. Отменно. Со всеми удобствами. Однажды ты уже рассчитывал на праведника для геополитического равновесия — чтобы грешить со вкусом — и накололся. Рассчитывать — вредная привычка. Но надеяться-то я могу? Кто мешает? Надежда — мой комплекс земной. На обострение не иду. Смотри. Осторожно. Выходи из штопора тихомирно, полудуриком. Не то ее опять сорвешь в приступ. Даже просто ссора — крайне нежелательна. Как ехать причащаться, не примирившись? А примириться с ней — трудней, чем не поссориться.*)

— Ладно, я больше не буду. Тем более, что наши желания совпадают. Ты хочешь другого меня, я тоже.

(*Удар. Или щелчок? Стэп. Там в ночи. Известно где.*)

— А-а!! — ...

(*Убили одну — визжит другая. Как всегда: «Муму» написал Тургенев, а памятник — Чехову. Что достойнее — умереть молча или жить визжа? Короткая смерть — короткий визг. Долгие проводы — наоборот...*

Всякий раз, когда проявляется мышь, даже в прошедшем, в послесмертии, не может не взвизгнуть-вздрогнуть, а меня от внезапного женского визга так и зарубает, сердце вниз-вверх. Дом такой, что впереди сотни внезапных визгов. Умру от инфаркта. Незримая смерть в ночи. Безвидна, но слышна. Нет, слышна не смерть, а убийство. Смерть молчалива. Слишком быстра. А та свинья под окнами нашего класса, как верещала! Когда резали. Все к окнам, а я у доски, что решал? нет, показывал химический опыт: смешал алюминиевые опилки с порошком йода — и пошли клубы фиолетового дыма; настоящее чудо, обалдеть какая красота, все и обалдели, но тут заверещала свинья и все кинулись к окнам, один я, как

дурак, смерть увлекательнее всех земных красот и дивес, да. Что-нибудь успела перестрадать за этот миг гильотинирования-гарротинирования? Меньше, чем та, пока кололи-резали. Меньше жизненного вещества и скоротечней смерть — меньше и страдания? А вдруг больше? Вдруг тут один миг — как тысяча лет? Ладно, меньше пены. Мышь сдохла — прибавь ее к своему счету, возьми на прикус серебристую мышь. Ты же мышебой. Профессионал.)

— Пожалуйста, в-выбр-рось ее раньше, чем я встану. Чем зайду на кухню.

— Не волнуйся, хоть сейчас.

— С-сейч-час не н-надо. Не уходи.

— Все, выбросили из головы. Проехали. Так я говорю, наши желания совпадают. Ты хочешь другого меня, я тоже. Я тебе честно скажу, как на духу: я-хочу-чтобы-меня-звали — Монтгомери. А еще лучше — Макартур.

— Конечно, схохмить всегда удобнее, чем... Стоит мне действительно заговорить серьез...

— Какие хохмы? Я во всю жизнь не был серьезнее! Монтгомери или Макартур, или Макнамара — это тебе не наш Незовибатько. Уж Маккартни завсегда будет не меньше как сенатор, уж Макдональд жену накормит, так Биг-Маком, не меньше, А Маккинтош оденет в макинтош. Вот бы тебе на ком жениться, на Мак-Магоне!

— Не жениться, а выйти замуж, сколько говорить.

— Один хрен, хоть замуж, уж Макнамара жену без лифчика не оставит, уж он ее защитит всею мощью 6-го американского флота, уж Маклюэн принесет ей в клюве, уж Маклафлин даст ей и лайф и лав, уж Маккартни обеспечит фунтами стерлингов и славой на двести лет вперед, да и сам двести лет проживет юношей, чтоб его намочило... Пусть не жениться, а замуж, я и на это согласен, но я не хочу быть Фердыщенко, когда любой негр, если его фамилия Мак-Кой Тайнер, может жить — и жена, и детки его — будь здоров и не кашлять! Не хочу быть Фердыщенко, хочу изменить фамилию на Макдоуэлл или Маккинрой — и все пойдет как по маслу, увидишь!

— Не тушуйся. Ты и сейчас не простой Фердыщенко, а — член русской православной Церкви. Это звучит...

— Неужели гордо?

— Многообещающе. В перспективе еще более долгой жизни, чем у Пола Маккартни. Надо же что-то выбирать. Ты выбрал лучшую долю.

— Вот, теперь ты говоришь, как в совершенных летах. А как же сапоги?

— Дурачок, это я, чтоб тебя утешить. А ты потом меня утешишь, как-нибудь купишь — не сапоги, то лифчик.

— Спасибо. Только насчет Церкви, видишь, я что-то приуныл. Православная ли она. Страшно сказать, но — православно ли нынешнее православие, отсохни язык? Опять мы сюда выруливаем — я верю, что спасение только в Церкви, что кому Церковь не мать, тому Бог не Отец, что «личный Христос» — это для манерных рок-бардов и поэтических деушек-ф-цвету; но — что же делать, если мне мало той бытующей-практикующей Церкви, которую мне предлагают? Называют своим вселенским учителем Василия Великого, а сами используют его имя как обух, чтобы вбить в землю новых Василиев, уже в зародыше. Вкус, батюшка, московский вкус, отменная манера. Я и хочу Церкви, которая бы дала новую целостность, новый синтез, как в свое время и сделал Василий Великий, которая бы, отсекая в человеке самость, не исковеркала бы его божественную свободу, которая бы воссоединила меня с собой, а не изнасиловала меня при помощи меня же самого... Я и хочу Церкви как творческой мастерской, которой руководил бы Василий Великий, блестящий ученик Иерусалима, но и Афин, а не Шаргуновы, Шевкуновы и Глазуновы... То есть пусть они будут, и дай им Бог здоровья, но я хочу в другой приготовительный класс... В общем трехкопеечный я православный, скажу со всей ответственностью, а уж русский я и вовсе сомнительный...

(*Теперь говорил уже, набрав разгон, с упоением входя в сильное течение речи, ее запоя и полной сладкой власти над ним, как случается бессонной ночью, за которой следует расплата длиною в разбитый день.*) Нет, ты помнишь, каким я был неофитом? То есть по полной программе, во всей красе русофильства и пламенного мистического юдофобства; как умиляло меня хотя бы русское благочестие вплоть

до кидания при Тишайшем Алексее Михайловиче целыми семьями в Москва-реку, буде их найдут воскресным утром в постели, а не на литургии? Да: и особая грешная святость последнего Государя — его жертвенная фигура... И — Россия еще скажет миру свое заветное главное слово... Все, что они только сейчас, когда им разрешили, пачками поднимают на хоругви, за что опять готовы, когда разрешили, умирать (ну, это еще посмотреть надо) — всем этим как мы все, как я горел тогда!.. Мы готовы были и к суме (впрочем, ее имеем и посейчас), и к тюрьме, и неважно, что не на меня пал жребий, и даже неважно, понес бы я его достойно иль нет, этого о себе никто не знает, а важно, что я ж и л э т и м, горел на костре Святой Руси, и пепел тайного, беззаконного, сверх-законного знания стучал в мое сердце. Моя поруганная Россия, распятая юдаистским интернационалом и кагальным коммунизмом... Но время шло, я менялся, не по чьему-то наущению, а просто потому, что жил — и жил, смею думать, с открытыми глазами. И увидел, без возмущения, без удивления, просто у в и д е л: это все кончилось. В них осталось, а во мне кончилось. В их смысле я больше не русский. Один из их учителей учит, что русскому должны быть комплиментарны казахи и татары, и совершенно, стопроцентно чужды всякие немцы, французы и тем более евреи — творцы Антисистемы. Но я не нахожу в себе решительно никакой наклонности к татаромонгольству, оно мне дико не только по имени и безоговорочно не ласкает, а увечит слух. Я не понимаю, что я потерял в степях с ургой, и боюсь, что понимает это только режиссер, как следует перед этим набравшийся запаса положительных впечатлений в Италии. Он, правда, уверяет, что это у таких, как я, от поверхностного, туристического подхода к жизни, неумения жить вертикалью. Ему виднее; но мне евразийство представляется абракадаброй. Нельзя построить евразийную цивилизацию, надо строить просто цивилизацию, и там, где она есть, где людям не отрубают руки и головы, даже если они проворовались, где цена человеческой жизни — не копейка, где личность неприкосновенна, а общественное мнение, во-первых, есть, а во-вторых, заставляет

с собой считаться, там в основании лежит на сегодняшний день только одна цивилизация — современная цивилизация Запада со всеми ее развитыми институтами и самосознанием суверенного человека, а если на это накладывается местная ментальность и обычаи, если при этом сохраняется своя культура, то и слава Богу, только я еще ни разу не слышал, чтобы японец или южный кореец себя величал евразийцем. ...Нет, ты подумай, они принимают горячий душ, бреются электробритвой, готовят завтрак на газовой плите, садятся за пишущую машинку или компьютер — и потом относят в типографию свою ученую галиматью о «необходимости создания Евро-советской империи от Владивостока до Дублина», как в этом их журнальчике! То есть каждую минуту своей жизнедеятельности они используют плоды изобретений, завоеваний, борьбы ненавистной им «романо-германской цивилизации» за продавливание своих технических, культурных, политических ноу-хау всюду в мире, так что даже араб-террорист вынужден учиться компьютеру, чтобы н е о т с т а в а т ь, — используют для того, чтобы оплевывать эту родную для них цивилизацию и вымышлять свою, даже не видя, что подставляются, что откровенно являются л ю д ь м и з а п а д а по всем своим привычкам, вкусам, ментальности, а пуще всего — по привычке к роскоши быть суверенными личностями, индивидуалистами, пишущими все, что вздумается, плюющими в бороду кому вздумается, потому что знают — они защищены западноевропейским плюрализмом и толерантностью, им не дадут по башке кривой саблей, как наверняка сделали бы в одной из их любимых «сакральных цивилизаций», вздумай они там крамолу ковать! И после этого думают: что к ним отнесутся всерьез, что кому-нибудь не понятен их дешевый самодеятельный балаган, их поп-механика, заведенная от большой скуки. Эт-то что-то... Упаси Господь, я не отрицаю существование иных цивилизаций, со всеми установлениями и обычаями, и то, что кому-то они вполне по душе, сродственны и единственно нормальны, и даже то, что эти цивилизации вполне сакральны, как учат вдохновенные наши харизматики, но при всем моем теоретическом интересе к ним в жизни мне

хотелось бы держаться от таких цивилизаций подальше, — и подозреваю, что тут не одно мое шкурничество говорит, а есть в этих цивилизациях какая-то не теоретическая, но жизненная погрешность... Старость, знамо, не радость, но по мере старения я все больше ценю дисциплину меры и дисциплину мысли, и мне все больше претит дикарство безмерности, выдаваемое за духовную широту, и программное презрение к разуму, мотивируемое детской простотой веры. Веры, но не мысли! И так ли уж обязательно всюду кивать на большевиков, когда возьми столетнюю фотографию Москвы, не говоря уж о всех Тамбовах и Иркутсках — и видно невооруженным глазом: кроме Кремля, монастырей, храмов и трех десятков казаковско-жилярдиевских и — через сто лет — шехтелевских зданий показать-то нечего, лабазы и лабазы, плоские длинные кривые фасады — и это полуторамиллионный город людей с колоссальными состояниями! но малым вкусом. Один Питер — но и тут смахни Растрелли и К° — и снова плоские безразмерные фасады, непобедимые двускатные крыши. Лекал тут не знают, только прямые. До всякой советской казармы — другая гарнизонная казарма, пусть поправильнее, хоть на что-то похожа, по всей стране...

А между городами-то — сотни верст пустоты, и все мало пустоты-то, все прирастает Сибирями-то новая пустота, просто негде жить, как японцам, подавай еще к болотам и тайгам еще других болот и льдов и тундр, да к своим балбесам и татям, чем их учить мыться да не грабить, а отправлять строить хайвэи, прибавь еще десятка два кавказских племен, для которых оружие — как для сороки что блестит, да посади себе на шею Туркестан — ну, а теперь уж и с полным правом скажи, радостно улыбаясь: мы — Евразия!.. Нет, ты смотри, сами устраивали переворот на перевороте, укладывали самодержца, понимаешь, за самодержцем (и нельзя сказать, чтобы всегда без основания), помазанника за помазанником, а на последнем вдруг остановились: «Жиды-большевики царя убили — и пока этот грех не будет смыт, Россия не подымется!» — то есть самим можно, а другим нельзя? Все прочие цареубийственные перевороты извинимы, а за этот е д и н с т в е н н ы й все

как один должны страшно ответить? Вот где должно совершиться покаяние! только здесь! не там еще, где несчастный цесаревич Иоанн Антонович, где православный барин-отец сечет и продает православного сына-мужика, а православный мужик смертным боем лупит свою венчанную православную бабу, — и это когда богооставленные евреи еще в VII веке, до Руси, удивлялись, как это Коран разрешает верующему физически наказывать жен... Европу мы спасли от татар, понимаешь, тем, что гнули перед ними спину и сами стали ими; а Европа-то и не просила нас ее спасать, и вообще нас почти никогда ни о чем не просила, ну разве во времена Священного Союза, но и тогда, скорее всего, если бы мы не захотели, как-то обошлась бы без нас, на то у нее голова, чтобы обходиться без тех, кто обходится без головы. А главное дело — что бы ни вменялось в вину Западу, и часто справедливо, — они всегда на подхвате, всегда открыты здравому слову, всегда готовы к самообновлению. Да, всяческие исламисты правы, Европа во многом жила за счет ограбления третьего мира; да, Европа оказалась бессильна перед фашизмом. Но Европа же и покаялась! Она же и дала свои паспорта куче арабов и индийцев из бывших колоний; в ней же возникло и «богословие после Освенцима», и не только богословие; а вот у нас что-то «богословия после Колымы» не появилось; а вот алжирцы или марокканцы, если бы они колонизировали Францию, а не наоборот — не уверен, что они когда-нибудь хоть в каких-то формах испытали бы чувство вины... Там тебе, понимаешь, в былинные времена — уже диспуты, университеты, ремесла, цехи, выборный магистрат, а тут... тут народ, когда не прибегает к обсценной лексике, безмолствует, то есть полный всенародный исихазм, понимаешь, но до поры, а потом за топоры — и некоторое время стеньствует себе да емельствует, и тоже, признаем, не беспричинно. В общем, боюсь я, что и неповрежденностью русского православия (которое к тому же большая часть русского же населения с XVII века считает именно поврежденным, мы и тут договориться не в силах, да и не считаем нужным ни о чем договариваться, а как не по мне, так сей момент по мордасям, а при власти, так и на кол или на

Колыму) — боюсь я, что и целостью и сохранностью своего единственного сокровища обязаны мы во многом лености и упертости ума, просто тому, что не склонны ничего менять — или уж сразу все, всех святых выноси, раз пошла такая пьянка.

Нет, ты подумай, вот что мы умеем делать мало-мальски хорошо? Только оружие и водку. Инструменты смерти. А что мы умеем вообще? Жить? Как бы не так. Только умирать!.. И вот тут, только тут-то я, двигаясь дальше по ленте Мёбиуса, опять становлюсь русским. Когда я гляжу на эти «святые камни Европы», с любовью или скукой, смотря по настроению, то вижу, что святы эти камни тем, чем я больше всего хотел бы обладать: в них отпечатлелась прямодушная склонность к созидательному, толковому, кропотливому труду, воля к последовательному, непрерывному и правильному действию, к выверенной, отчетливой и согласной давать любому вопрошающему отчет жизни. Но ничего этого во мне нет, не будет и не может быть, поелику на самом дне души я и не хочу, чтоб оно во мне было! Потому что для этого нужно иметь простую пружину, саму толкающую на деяние, а ее в русской — моей — душе просто нет, природа при моем создании без нее обошлась. Вот у блаженного Августина уже сквозь град земной прорастает град Небесный, и не просто, а уже и подчиняет себе, чтобы цивилизовать сообразно высокой и стройной мысли, а у Иоахима из Флоры уже рождается идея исторического прогресса по направлению к эпохе Святого Духа, уже утверждается неизбежность хотя бы предварительного, так это на минуточку, всего-навсего тысячелетнего, но Царства Божьего на земле — и пошло, и поехало! Врубили мощный генератор западной цивилизации, то есть чутья истории, то есть у-мéстности и све-временности, вкуса к земному, меняющемуся, становящемуся. И это не безбожная цивилизация, как у нас врут по врожденному нежеланию понять-полюбить чужое, это цивилизация земли, да, но из любви к ее Создателю, из желания сохранить Его дар в состоянии не худшем, чем он был дарован, а то еще и украсить, умножить благоухание дара. Это отношение к себе как образу Божию, который недопустимо унижать

всяческим свинством и бесчинством и заплевыванием другому в бороду, а себе в суп. Как все это прекрасно... Но вот явился английский датчанин и познакомил весь мир с гениальной русской альтернативой: «А что мне эта пригоршня праха, бля буду?» А там мы и сами поняли: вот оно наше! просекли фишку и давай: «Помрешь — и лопух из тебя, а чего ради тогда стараться?». «На время не стоит труда, а вечно вымытым быть невозможно», — да в этом весь русич, сквозь всю его неразборчивость, бестолковость, нетонкость и неправильность звучит прорыв к единственной безотносительной значимости, к подземным толчкам безотносительной реальности — и потому он так славно, по-хамски, по праву с л ы ш а щ е г о звуки Му, голос бездны, плюет на все! Он, а не Камю с Сартром — настоящий, серьезный и последовательный экзистенциалист, он, а не Беккет с Ионеско, настоящий абсурдист. Чего ради хоть что-то беречь и ценить, если все, включая даже нормы поведения продавца и покупателя, вечности жерлом пожрется? Чего ради быть взаимно вежливым? Есть одна награда — смерть; есть только счастливцы, которым дано верить в жизнь вечную з а смертью, — и есть несчастные, которым не дано. Первые от радости строили храмы и странствовали ко спасению, вторые с горя грабили лесом, пили горькую и блудили на крови. Потому русский не живет в истории, а пребывает в пока-еще-жизни, предстоя пред столпом еще не-но уже-смерти, творя культ своему идолу, возжигая ему огонь сотен спаленных и отравленных губерний, возливая реки спирта, бережно перебирая имена своих святых — преждевременных покойников: Есениных, Высоцких, Цоев. Другие же русские, счастливцы, умирают ради Христа; в том и отличие западного верующего от русского: тот для Бога живет, а этот для Него — умирает (потому у него и церковная служба нескончаемая и стоя: чтоб всякий раз как-бы-умереть) и тому и учит всякого вновь-пришедшего. То есть были церковные цивилизаторы, были, но — общая тенденция: в лес, скит, пустынь, на остров! И вокруг этой засасывающей воронки мы и крутимся с жутким весельем, и гениально-страшная смертоцентричность русских и через прямые контакты с ними, и

сквозь всех ихних Иванов Карамазовых, Иванов Ильичей, Ива́новых, а главное — через их страшенную, с дикими наворотами историю — бессознательно всегда и отпугивала жизнецентричные западные народы и, наоборот, притягивала сумрачных одиночек вроде Ницше, Рильке, Гамсуна... И я... Чего я хочу? Разгадать тайну смерти — и не умереть?.. Да, а ты чего ж молчишь? (*Опешив, выпасть из запоя речи опустошенным и не понять: зачем говорил?*) Чего не останавливаешь? Слушаешь всякий бред. Ты же знаешь, мне пить и говорить запоем — одинаково вредно. Если меня не остановить, я такого нанесу, что сам пожалею.

— Вот еще, буду я тебя перебивать. Мне интересно и отвлекает от...

— Будто бы. Ты же это слышишь в сотый раз.

— Ну, не в сотый. Потом всегда интересны вариации. Тут вообще интересная вещь. Я знаю, что ты трепло, болтун, и все равно всякий раз серьезно отношусь ко всему, что ты говоришь. Это беда.

— Прямо уж трепло.

— Смотри, какой кокет. Уже и обиделись. Я же только соглашаюсь с твоей самооценкой.

— Ну ладно, права ты. Но не в том, что серьезно относишься к моей болтовне. Я ровно столько мог бы наговорить и в обратном духе, и вполне искренне. Вот если кто-то при мне начал бы хаять Россию, как я, я бы ему доказал, что как раз мы, а не европейцы, умеем жить и радоваться друг другу, от всей души. Я бы напомнил, что французы, а не русские, выпивают антидепрессантов, а не только бордо, больше всех в мире. Я сам в себе не могу помириться: покуда я здесь, физически невозможно существовать вместе с людьми, безо всякого злого умысла, просто по детской первобытности всевозможными способами разрушающими то, что не насаждали, и насаждающими такое, что сами даются диву — как это у них такое вышло, что и в бреду не учудится. А стоит попасть туда — на третий день хочется заорать: «Господа хорошие, но с вас-то можно спросить! Вы-то почему принимаете плоскость за глубину, рекламного идола за гения чистой красоты, Мадонну за мадонну? Почему преисполнены тупой

веры в важность своих «Оскаров», расписали весь непознанный Божий мир по ранжиру и уверовали в незыблемость своей жалкой табели о рангах? Откуда в вас столько непробиваемой спеси, почему такой серьез самодостаточности, улыбка победителя, будто после смерти вас наверняка ждет кубок чемпионата удачников жизни...» Тьфу! волком выть охота от ихней упертости в цивилизацию, как альфу и омегу, от благообразия их кладбищ, где так же приятно покоиться, как чистить зубы пастой «Колгэйт»! Лучше уж тут, на диких просторах косматых микрорайонов, слушать голос нечесаной правды, жарить спирт с ребятами, которым все по фигу, даже собственная смерть, потому они знают: есть вещи поважнее...

— Ты же это самое только что говорил.

— Разве?

— Ну да. Другими словами, правда. Я же говорю, я тебя внимательно слушаю. Я вообще к тебе отношусь серьезно. Это моя беда.

— Но я сам к себе отношусь несерьезно!

— Где тебе. Это тебе, миленький, только кажется.

— Ах, вот как. А если я тебе тогда скажу, что и к твоему приступу отношусь (*ты что? ты куда?*) не более (*стой, язык!*) серьезно (*стой, что ты мелешь? зачем? держи! дер...*), чем к самому себе (*ах, не надо было! поздно! о-о...*)?

— Ты... не можешь... не... Быть таким. Таким.

(*Помертвела, по голосу. Сел, осип. Ох, зря. До, за секунду, знал: зря. Нельзя даже просто это слово: напоминать-возвращать-фиксировать. А тем более так, как последний мерзавец. Знал, сдерживался, а он так под язык и толкает — и когда спускаешь с языка: миг сладости. Гад.*)

— Ну, не сердись, родная. Не бери в голову, я пошутил.

— Ты не... можешь. Так. Шутить. Даже если шутишь — гад. А если не... то я... я тебе названия не... Но ты не шутишь. И не не шутишь. Ты ненавидишь себя за то, что любишь ее, и отыгрываешься на мне. Не надо было этого делать.

— Чего?

— Уходить, чего. От нее ко мне. Но если ты уже сделал, то... должен понять, что есть вещи... не для твоего... Если ты хочешь, чтобы и тебя поняли.

— Ну, пожалуйста, прости, пожалуйста. Пожалуйста.

— Еще немного — и я дам тебе шанс проверить, можешь ли ты один понести себя. Узнать, насколько несерьезно ты к себе относишься.

— Ну, прости, ну. Я осознал, гадом буду. Век свободки не видать. Прости, Христа ради.

— Ладно. Последний раз. Последний пятьсот первый раз.

***Эта** минута не нуждается в уподоблении, потому что не нуждается в проживании. Она может обойтись без меня, как может обойтись без читателя проза Джойса. Все же уподобил; но не прожил. Потерял. Плохую минуту не жалко и потерять.*

Да и сколько ни старайся, ни работай со временем, сколь ни дли, ни растягивай, ни замедляй его разными способами, от попытки назвать время по имени до вживания-переживания его вместе с ним, внутри его, молчаливо-или организуя его в виде музыки (способной ведь и впрямь заколдовать время: слушаешь одну пластинку 20 минут, а кажется — прошло неизвестно сколько, но много-много), — все всегда заканчивается одним. Заколдовать время можно только во времени же, а значит — заколдовать время можно лишь на время. Но вот оно истекает, сходит на нет, и все, что путем усилий стало и было долгим-долгим и важным-важным, теперь е с т ь почти-нуль: скрученный в маленькую сухую чаинку воспоминания момент прошлого. И точно так же! неизбежно в с е в р е м я пройдет — нет, потенциально уже п р о ш л о! — и вот: сбоку все, отброшенное, скрученное в чаинку, да и та сейчас исчезнет, некому будет ее заварить, а прямо перед тобой — Она, только Она, смотрит тебе в лицо, сейчас пожрет, а что з а н е й — неиз...

> «Минута, — думаю, — минута, И все, и прекратится счет. Ну вот, пришел и мой Малюта — И только череп вместо щек, Глазницы — вместо глаз...»

Да, что за Ней? Неизвестно, но туда точно не пропустят за тобой, вместе с тобой никого: ни матери, ни друга, ни жены, ни книги, ни диска, ни бутылки водки — ничего, что могло бы как-то согреть, утешить, ободрить, отвлечь. За

тобой закроется дверь — и все. Один — и все новое. Все сначала. Если страх — то полнота страха. О-о-о... И до этого — всего-навсего сколько-то лет, то есть дней, то есть секунд. Считанных! Как же они все живут? как я живу с этим, думаю о какой-то покинутой любви? Ведь там — это все не будет иметь... или будет?.. Или будет иметь значение только п о с л е д н я я? Нет же, дундук, только венчанная любовь, только она соединится с тобой там, если там вообще... да? а если первая венчанная умирает, не дай Бог, и появляется вторая венчанная, второбрачие разрешено же, тоже, значит, твоя едина плоть, — тогда с кем? и с той, и с этой — это как? а как хочешь; нет, т у т можно судить-рядить о т а м сколько влезет, вплоть до магистерских диссертаций, дурное дело нехит...

...обаче всяческая сует всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли? И состав мой от Тебя есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мя еси.

Но в чем разгадка того, что так физически тошнотворно, так угарно невыносимо — все, все можно объяснить, понять и простить, особенно много лет спустя, но так невыносимо жгуче и тошнотворно само п р е д с т а в л е н и е о зримом акте измены, физиологической стороне дела? В чем ответ на вопрос, заданный бунинским Митей: почему то, что было чисто и естественно в применении к Той и ко мне, становится мерзко и противоестественно, когда на моем месте представляется другой? Почему одна и та же вещь не только не равняется себе, но восприятие ее выворачивается буквально наизнанку в зависимости от того, кто ее делает? Это как-то монтируется с розановским рассуждением о том, что половые органы мужчины и женщины сами по себе безобразны, но в момент со-ития, сли-яния их безобразие снимается. Что он имел в виду? Не помню всего рассуждения, говорил ли он что-то еще, пояснял ли свою мысль, придется додумывать самому. Видимо, по этой логике безобразие, изъ-ян — это по точному смыслу неполнота, и при совокуплении, целокуплении,

наступившая полнота целого превращает безобразие в красоту.

Само по себе замечание о безобразии голого тела, гениталий представляется справедливым, если вспомнить, например, как я проходил в мужское отделение бани мимо открытой двери женского, и то, что бросалось в глаза, отталкивало зримым неблагообразием, абсолютной непривлекательностью, неинтересностью сырой, белесой человечины со всеми ее жалкими мясными, жировыми и меховыми подробностями. Вообще, когда на разглядывание э т о г о не настроен, не подготовлен к тому, что сейчас начнется интересненькое, остренькое, и когда далее тебя не увлекают-завлекают сделанным глянцем кожи, выбранным ракурсом и изгибом, превращающим тело в пластическую арабеску, фрагментарностью разглядывания, медленным раздеванием — всем, заставляющим предвкушать, обостряющим интерес: а дальше? дальше? — когда, словом, не знаешь, что д о л ж е н х о т е т ь, внезапная встреча с простым женским голым способна лишь оттолкнуть человека, не изголодавшегося по бабе в условиях крайнего Севера. Тут он прав. Но когда доходит до соития, он прав лишь наполовину — не твое, ч у ж о е соитие, скотская-зверская тряска двух вцепившихся друг в друга голяков куда безобразнее, на мой вкус, чем вид одного голого живого предмета; еще ни один самый романтически-украшательский эротический фильм показом самого coitus'a не вызывал у меня ничего, кроме неловкости и легкого отвращения, пусть и смешанного с простым общемужским козлиным любопытством.

Да, он прав лишь отчасти: лишь м о е соитие есть сово-купление, есть б л и з о с т ь, отметающая стыд и срам, лишающая тело скотской мясности, есть двуединое внешне-внутреннее зрение, двойной взгляд на е е тело: извне, как на темное, уродливо-влекущее, то, на что смотреть не положено, потому что оно априорно о с о б е н н о стыдно и некрасиво (и никакая сегодняшняя пропаганда естественности и красоты публичной наготы не может побороть до конца это врожденное чувство именно не-естественности, изначальной запретности обнажения), — и изнутри, изнутреннего-огня, как на мое, мне открытое запретное, мне

доверенное то, чего никому не доверяют, что монашествующим запрещено самим у себя разглядывать — и это великая правда — мне открытое сокровенное, ведь падшее низменное и должно быть сокрыто, лихо должно лежать тихо, но мне одному его открыли — и это обладание даже низменной тайной необъяснимым образом делает ее драгоценной, прекрасной... Двуединство: темное пятно пола, знак падения, который человек должен скрывать «одеждами кожаными», косматый шмель срама — и он же дивный цветок красоты... Тут тайна, разрушить которую пропагандой «безопасного секса» значит вовсе не бороться с ханжеством, а уничтожать в человеческих отношениях что-то страшно важное, прикорневое, д е й с т в и т е л ь н о е. Но есть уровень отношений еще более д е й с т в и т е л ь н ы й, сущностный, при котором тайна пола лишается и своей низменности, и своей возвышенности, своей темноты, оставаясь при этом тайной, чья вы-светленность нимало не означает разоблаченность. Это уровень, когда тайна освящается и освещается таинством. Как я понимаю, венчание, соединяя мужа и жену во едину плоть, восстанавливает падшее тело в его достоинстве и, значит, снимает темноту пола, упраздняет это двойное внешне-внутреннее зрение, взгляд на женское тело как «чужое-мое»; тело жены становится — только «мое», буквально — это часть моего тела, его продолжение и окончание, — и вижу я его только изнутри, и влечет меня к нему спокойно и естественно, без угара и темной остроты, но и без полетов и прозревания в даме Прекрасной Дамы. Я уже не путаю женщину, данную мне в жены потому, что «плохо человеку быть одному», с Вечной Женственностью — и это прекрасно. Каждый, кто, как я, имеет этот опыт, знает странную вещь — супружеская любовь всегда нормальна, пресна, не имеет остроты, цвета, запаха, вкуса, но она-то и есть настоящая любовь, как настоящее питье, без которого нельзя — только одно: пресная, безвкусная и бесцветная вода. Не-пьянящая-вода.

...Вернемся. Почему так омерзительно представлять Ту с ним? Потому, что я бессознательно отказываю ему в этом двойном зрении, наделяю его лишь внешним взглядом на нее как на «чужое», как на кусок мяса, — и обратно, само его

физическое присутствие с ней и в ней делает «мое» не только моим, а значит, вообще не моим, и я тоже начинаю смотреть на Ту его (приписываемыми мною ему) глазами — как на «чужое-всеобщее», с легким отвращением-пресыщением, с каким мужики говорят о случившейся близости: «Дурную кровь спустил». И этот новый взгляд отныне постоянно накладывается на взгляд старый; и оба этих взгляда никак не могут совместиться; и возникает смещение по контуру, двоение, дурнота-мутота... Двоится в душе, как двоится в глазах, и рвет... Пес возвращается на свою блевотину; который год? все двоится, все как внове. И все построено на простой аберрации зрения, вскормленной — опять и опять — простой, как она ни изощряйся, гордыней. И он — не медведь, больше того, и он поэтизировал Ту на свой лад, я знаю это доподлинно, значит, и он смотрел на нее двойным взглядом, да еще с остротой внезапного, неожиданного, первого и, по его словам, последнего обладания... Значит... Да, все то же простое: «У кого увел? У ме-ня! Кто взял мою бабу и пользовался ею?!» — все то же и то же, простое оно, под всеми кружевами и наворотами...

Сколько я думал? Молчал минуту, две? Мог не услышать, если она что-то. Не отреагировал. Это много, если две минуты не отвечать, если она что-то. Она не любит: знак невнимания. Это плохо, если так. Но могла и молчать. И я мог: выговорился и молчу. Пусть сама первая, тогда пойму. Лежу, молчу.

Эта минута имеет отвратительный сладковатый вкус, появляющийся во рту, когда разжуешь, чтобы быстрее взяло, таблетку анальгина. Он появляется не сразу, а только, когда полностью разжуешь. Эта не астрономическая минута будет состоять из стольких секунд, сколько понадобится ей, чтобы открыть, наконец, рот...

— ...Из рюкзака заванивает сюда. А ведь стоит у входной двери. Вот это я понимаю. Сила.

— Уже в кулинарии воняли, что интересно. А берут. И не все же собакам берут.

— Зачем ты их купил? Десять килограмм

— Одиннадцать. Интересно. Меня просили — как откажешься? Стоят копейки.

— Как же ты их повезешь? Они же во все стороны торчат, тебе всю спину истычут.

— Кости есть кости. Пес есть пес. Ему тоже жить надо. Довезу как-нибудь. Другие же возят.

— Другие жилистые. У других позвоночник в порядке. И все остальное в порядке. Другие умеют укладывать рюкзак, чтобы ничего не торчало и не тыкало в спину. И... Куда ты едешь? И почему, почему, я все равно не...

— Снова здорово. Не будем об этом, дорогая. Я тебе уже ответил, почему. И все, что ты можешь мне возразить, я знаю, слышал — и не раз.

— А я знаю все, что ты скажешь в ответ.

— Ну, вот видишь. Тогда чего ради открывать развернутую дискуссию о профсоюзах? Кроить из блохи голенище... Слушай, а все равно — что бы ты ни говорила, тебе, наверное, очень часто скучно со мной.

— Почему?

— Потому что уже не осталось того, о чем ты не знаешь наперед, что и как я скажу.

— Это ты о себе. Мне — не скучно. Скучно, когда не любишь.

— Что ты в самом деле, все лю... Да люблю я тебя, не сомневайся. Суха теория, мой друг, А древо жизни зеленеет, А посему и прет и преет — Приди, покуда я упруг. В чаду прельстительных подруг, В часы забав и праздной скуки Я думал: «Не дождутся, суки, Я не забуду, чей супруг». Пока не требует досуг К профанной жертве Аполлона, — Прими в рождающее лоно, Гряди, гряди, я твой супруг!

— Извини, но ни в какое такое «лоно» я тебя принимать не собираюсь. Даже прощая тебе прельстительных подруг, которых ты приплел, надеюсь, ради красного словца. Не говоря также и о том, что «лоно» мое рожающим названо быть никак не может, раньше я думала, по несчастью, а теперь — что это, может быть, одна из немногих моих удач. Но, во-первых, тебе это самому сейчас ни к чему, — коль уж скоро ты не оставил мысль оставить меня и ехать

причащаться. А во-вторых, и я этого не хочу и не буду, потому что ты меня не любишь.

— Опять! Да лю...

— Нет, ты постой. Пойми правильно. Ты меня иногда любишь, когда вдруг хочется любить — ведь каждому в какой-то момент, бывает, захочется не только быть любимым, но и кого-то полюбить, хоть кошку, хоть жену. К тому же ты ко мне привязан. Но даже когда ты меня «любишь», ты не чувствуешь, что ты мне должен. Нет, не так. Должен — плохое слово. Даже в том смысле, о котором мы говорили и ты выкручивался, чтобы не отвечать серьезно... Вот как: ты иногда чувствуешь, что — любишь. Не хочешь только, а любишь. Но ты никогда при этом не чувствуешь, что отдаешь-мне-себя. Всего себя. Ты даже часть себя отдаешь нехотя и со скрипом. А это не любовь. Это бумажные деньги, не обеспеченные золотым запасом. И на них ты меня больше не купишь.

— Интересно ты заговорила. Твою любовь можно купить?

— Знаешь, мне почему жалко, что ты не можешь любить? Вот именно потому, что тебе со мной скучно, потому что я не могу сказать тебе «новенького», интересненького. Потому что ты не знаешь, как хорошо любить человека просто — не ждя от него новенького и не скучая, просто потому что тебе-в-нем хорошо. В нем, с ним, им. Полон — нет места скуке.

— Ладно. Это мы знаем. Ты скажи, твою любовь можно купить?

— Но ты не худший. Я, правда, кроме тебя никого не знаю, но догадываюсь. Иногда ты даже умеешь понять. У вас ведь и это редкость?

— А то нет. Ты мне скажи, твою любовь можно купить?

— Ты не понимаешь. Купить в духовном смысле... Ну, вот в каком Евангелие предлагает нам купить дорогой ценой Царствие Небесное. Тут всякий атеист начинает цепляться, правильно? Как, как, вера — и корысть! Но тут — какие-то тонкие законы, и всякий верующий их на ощупь понимает, да? что законы мира едины и вообще без корысти нельзя, но тут корысть — бескорыстна, тут —

какая-то другая штука, которая только описывается т е м и ж е словами, а на самом деле... И так же с любовью. Ведь любовь — не мое дело. И не твое. Это дело Бога. Бог есть любовь, так? И если Он посылает нам любовь, то Он и посылает ее нам на двоих, на меня и на тебя. И она не может зависеть только от одного. Есть круговорот воды в природе. Есть товарообмен на рынке. И тут есть свой круговорот и свой духовный товарообмен, и это правильно. Это вранье, что несчастной любви не бывает. Что любить важнее, чем быть любимым. Наоборот, любви без взаимности не бывает. То есть сначала она может и зажечься, но и для этого надо — если это не просто: пора пришла — она влюбилась, но такая пора и проходит, как время года, — для этого все равно надо, чтобы ее подожгли двое. А потом она может продолжаться на энергии начальной любви и у одного, и даже долго, но если у одного она проходит, рано или поздно она проходит и у другого, понял? Потому что Богу неугодно, чтобы кто-то паразитировал на самом главном — и Он такую любовь непреложно ликвидирует, чтобы неповадно было, понял? Во всяком случае, я вот так вот думаю, на полном серьезе. И за свою любовь требую любви. То есть не я. Это так на небесах требуется. Моя любовь должна стоить дорого. Потому что это любовь, а не манная каша. Я тебе жизнь отдала. Я тебя читаю и перечитываю, как старую любимую книгу, до дыр зачитанную, где нет ни одного нового слова, но всякое слово ново, всякий новый раз пахнет, истончается, смыслится по-новому, но это кончается, даже это не может продолжаться до бесконечности в одностороннем порядке, и я серьезно говорю: если ты будешь продолжать т а к... то у тебя будет шанс поискать другую — или вернуться к Той, любящей на твой вкус. Ты ведь до сих пор думаешь, что любящих женщин пруд пруди? и тебе — раз уж ты ошибся в прошлом выборе — надо только заново выбрать любовь по вкусу. Настоящую любовь по вкусу. Давай попробуй.

А все-таки, если в Германию? Больше никто не возьмет, а здесь есть шанс. Выбить грант через ПЕН, а там зацепиться за три месяца, может, кто издаст — и живи без

вида на жительство, но все-таки: свободный художник не нуждается в праве на работу. И отношение к нему не совсем, как к обычному руссиш швайне. А вот это последнее, на что стоит рассчитывать. Почему? Уже то, что только немцы одни и дают гранты, говорит... Ни о чем это не говорит, не будь дураком. Немцы просто так пфеннига не выбросят. Им это для чего-то надо, для равновесия чего-то там в Европе, но уж не для того, чтобы ты жил и радовался. Ты реально-то представь, даже благопотребный тебе слой людей: один немец всерьез задумался над таким, например, вопросом: как возникают синтетические априорные суждения? — вдумайся! — и до того его зарубило, что выдул из ответа на этот насущный вопрос 600 страниц Критики Чистого Разума. Ну, а тебе разве такой вопрос когда-нибудь взбредет в башку? Да скорее ты научишься чинить утюг, чем он тебе взбредет! А то, что мучит тебя с детства: почему у нас пять пальцев, а не шесть и не четыре? — или позже: как можно рвануть сто грамм муравьиного спирта и не сблевать? — что он тебе на это ответит? чем, какой понималкой поймет, что на это вообще н а д о серьезно отвечать? Самым серьезным образом: задуматься, почесать в затылке, пожать плечами и молвить: «А хрен его знает!» Так о чем же вам говорить за стаканом шнапса? А о прочих бюргерах и гам-бюргерах и подумать страшно. Брось ты это дело по-хорошему и спасайся, пока не поздно — вот что я скажу, если хочешь знать. О, друзья, довольно этих звуков. Чтобы я их больше не слышал.

(Даже запах отработанного бензина тысяч машин не в силах отбить до конца запах шашлыка из-за угла. Так и несет. Уголь, уксус. Мясо ни при чем. Полей деревяшку уксусом и обугли — запахнет шашлыком. Чтобы полжизни таскаться по полям, как заяц, чтобы радоваться натощак, утешаясь капустой и морковкой, живи подальше от шашлыков. И подальше от читателей шашлыков-глотателей газет. Подальше от себя. А в маринад для шашлыка по-карски добавляют коньяк, в смысле — положено добавлять. У-у. Такая вот разблюдовка. Проехали.)

Не умею любить; она права? Да. Нет. Или как? Я урод? Я нормальный мужчина. Все такие. Еще хуже. Значит, все мужчины уроды? Кроме пидоров. Нет, попадаются нормаль-

ные, которые души не чают. Один на сто? тысячу? Не умею любить. Смотря что понимать под. У нее — только одно. Никогда не понимала, что можно любить двоих. Монолит. Или просто — нет опыта? Слава Богу, что нет. Самые терпимые женщины — в доме терпимости. Нельзя, чтоб сразу и мудрость, и верность. Не умею любить. А как тогда — в 75-м, 70-м? в 75-м, кинофестивали в Москве по нечетным, вернулся с фестиваля, с двумя бутылками последней диковины — португальского портвейна (мы тогда и не вслушивались, что это тавтология) и блоком свежедиковинных «Союз-Аполлон», с десятком просмотренных висконти-трюффелей в башке и только что не с наганом в руке, и еще удалось выкроить целую тридцатку на флакон «Фиджи», это-ш ни-у-кого-ф-самаре, это ж забота или что, и весь в удаче, в кураже спрыгнул с пятьсот веселого, и Та уже стояла, априорно соскучившаяся, свеже-красивая (десятидневная разлука), застенчиво потупясь от, хотелось думать, целомудренного смущения пред предстоящей любовью, и только легкая тень чего-то в ней смущала, как бы легкий иней неподвижности, и пошли в мою квартиру, благо близко, пустую от родителей, вовремя махнувших в Прибалтику, что ль, и там давай чудесно разговаривать-заговаривать-поговаривать да помалкивать, все прихлебывая нездешне-вкусный портвейн, пьянящий не резко, как водка, не вяло, как сухое вино, не тупо, как пиво, не дурно, как бормота (а ведь чего мы с ней не, даже муравьиный спирт, муравьиную кислоту в 70-градусном спирте в 50-граммовых склянках, выпить сто грамм муравьиного спирта, две такие склянки и не заболеть, и не сблевать, о, моя юность, о, моя свежесть!), а так, как надо, исподволь нагревая душу до золотистого цвета, и покуривая почти американские сигареты, не вытягивающие жилы, пока затянешься, и я все про висконти-феллини, с ума сойти, какая жизнь в искусстве, до полной гибели всерьез, и духи желтели пред ее желтеющими глазами, как фонари парижских тайн, и потом впали в близость, точнее, я впал, зная: этого только не хватает до полного кайфа, укомплектованного кайфа, а она была только безропотна, я это — в лестную для меня сторону: стыдливое желание, я предпочел не заподозрить того, что на глубине заподозрил; и потом она спала у стенки,

а я лежал без сна, во вдруг ласковой, вдруг смягчившейся по отношению ко мне врагине-темноте, точно помню, тогда подумалось: если тьма бывает ласковой, то, может быть, и смерть? и долго тянул последний глоток, долго дышал последней сигаретой и глядел в потолок, где отсветы светофора, красные, желтые, зеленые сменяли друг друга, и вкушал редчайшее чувство полноты и мира-покоя, которое сразу и безошибочно идентифицировалось со счастьем. Я знал, что дело было и в ней, и во вкусной сигарете, и в вине, и во встрече после разлуки, и в тишине, но знал также, что не в них дело, что то, что я сейчас испытывал, мне — дали, что оно не рождается изнутри меня, его можно дать и отнять, а мне его дали-на-сейчас, дали через временных его носителей, посредников: через нее, через вино и табак, тишину... Этот покой был — счастье, и счастье — была любовь, но не любовь только к Той, а ко всему, и к ней тоже, к ее обнажившейся во сне из-за задранной рубашки не слишком красивой нижней половине тела, к ее посапыванию, к отсветам на потолке, к табачному перегару, к книгам в шкафу, к валяющейся на стуле одежде. Все было на своих местах. Все было в порядке вещей. И этот порядок вещей ожил... Моя душа была совершенно не заполнена собой, голова — мыслями, я был открыт для всего, что не-я, входящего в меня и выходящего свободно, как захочется. Напряжение сосудов исчезло, установилось прямое сообщение, и возникла полная свобода великого покоя, великая разрядка отношений между мной и миром. Детант. Эта минута любви, не той любви, о которой она, но не менее настоящей любви-мира-свободного дыхания у меня — была; эта минута неумолкающей тишины была какого-то июля 75-го года за сколько-то гран секунды до сна; и она у меня — есть. Но ее у меня нет.

«Если бы ты знал любовь...»

А я и знал! У меня была эта минута. А Та у меня ее украла! Эту немую минуту любви. Рассыпала в прах всю мнимую целостность моего прошлого, моего упакованного в компактный кузовок «я» — казалось, на всю жизнь. Мое старое доброе прошлое было всего лишь яйцом с иглой внутри, на конце которой помещался элементарный обман! Как удалось той страшной запойной ночью выведать у в-дупель-пьяно-

го-в-доску-друга, прежде чем выгнать его в ледяное под-утро Москвы, грехопадение состоялось вроде бы именно летом 75-го, в мой отъезд — где-то, значит, за неделю до моего счастливого возвращения и ночи любви! Этот удар из-вчера по позавчерашнему, по ненарушимой длительности-слиянности и з в е с т н ы х т е б е событий, что, уплотняясь в точке настоящего, и обеспечивает единство «я», эта неожиданная внутренняя расколотость из-за безобразия превращения тайного в явное, в то, о чем говорят на кровлях, это — вновь и вновь — омерзительное, мутящее двоение души... У-у!!

Суди мя, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобна, от человека неправедна и льстива избави мя. Зане Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси? Посли свет Твой и истину Твою, та мя настависта и введоста мя в гору святую Твою и в селения Твоя. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших.

Ненависть к Той, расколовшей твою жизнь на отравленное прошлое и отравленное прошлым настоящее, чреватое самым нехорошим будущим (и как! сошедшей с эфирных высот, куда ты вознес ее, свалившейся, подобно Деннице, с небес в чавкающее болото заурядной измены — и с кем? с кем?! — и сюда же вдогонку — ядовитым денатуратом, прущим из дешевой водки, мутящие мозг и грудь детали: унизительно, гадко задираемое мнущееся ситцевое платье, (уж то самое, в котором она тебя встречала, будьте увереч-ки), поспешно сдираемое белье (уж этого-то добра, в силу одной уже его неминуемой худости: бедность, провинция, семидесятые, кто там и тогда заботился об исподнем — вообще никто не должен был видеть! ни-ког-да), ее кажущаяся покорность, внушающая обманчивое чувство победителя (уж это 150%) — кому? кому? этому пьяному ежику? ее тело под ним расплюснутое, согнутые... или ничего этого не было? хотя бы э т о г о? ведь ты специально потом, очутясь в Самаре, надрался, чтобы себе разрешить, и пошел, и требовал от нее объяснений, и Та по привычке отвечать, когда ты ее спрашиваешь, отпиралась: «Мы только поцело-

вались несколько раз», — и стояла на своем, пока не опомнилась и не дала тебе от ворот поворот, ах, ну какая ей теперь вера, но все-таки, зачем ей теперь-то отрицать, если неправда, приятнее же подлого изменщика бить в лоб наповал, а уж тот-то, с такого-то кира мог соврать-недорого-взять, он и всегда любил прихваст... может быть, хотя бы э т о г о, хотя бы в с е г о — не... но даже если-только-целовались, то готова была — на все, тот ведь так и сказал: «Она вдруг подошла и... разве бы я первый... ведь мы все о ней думали... да и представить не могли», значит, собиралась изменить, значит, все равно была неверна, и прошлое опять летит, летит кубарем, летят клочки по закоулочкам!..

О, блядовитый океан земли, Ты от начала населен людями — И только лишь. «Ничтожество вам имя», — Кричат мужья, — «Вам имя вероломство», — Кричат мужья, а жены им в ответ: «Заткнулись бы, да на себя б глядели». Вот и с тобой то стало, милый друг. А ты не верил, отчего ж, дурашка: Иль ты не человек: не рогоносец? Великий Бонапарт — не исключенье. А чем ты лучше малого капрала, Когда ты рядовой — да необу-Ченный?..

Но как ни удерживать, как ни комиковать, чтобы понизить температуру, сбить ее, словно из ствола огнемета ударившая струя воспоминенависти к Той обуглила всего, распространившись с первоначального объекта на все окружающее: кровать, шкаф, книги, квартиру, улицу за окном — а пуще и прежде всего на живую цель, лежавшую рядом, под рукой, готовую к употреблению. Ненависть не любит, когда на нее не обращают внимания; поэтому она любит живые, не безучастные к ней, так или иначе отвечающие взаимностью предметы. Душа сопротивлялась напору ненависти, силясь не дать ей разрушить любовь к жене. Прежде всего следовало отщепить то, что называют любовью христианской: жалость, сострадание, участие, отзывчивость к любому-ближнему-внешнему — от внутренней симпатии или антипатии, зависящих от случайных вещей: внешности, интонации, выражения лица, неудачно выбранного слова. На этом уровне любви-страсти-пристрастия ненависть, как и любовь, по необъяснимым и часто ничтожным причинам скоротечно входят в человека и словно меняются местами, будучи

легко обратимы. Приказ: забыть, выкинуть из головы, что ее напряженный звенящий голос вызывает у тебя раздражение, что профиль ее, речь и привычки слишком правильны, чтобы быть милыми: думать — только о ее любви к тебе, любви, которой ты не стоишь, эта женщина даже сейчас могла бы найти себе лучшую партию, а уж тогда... и за все эти годы ни разу... и это при том, как ты ее достаешь; думать о ее любви, ее болезни, ее несчастье. Несчастное, поистине несчастное существо. Несчастнейшее из всех тебе известных — если мерить несчастье не одними обстоятельствами жизни, но соотношением их — и степени чувствительности. И почти что по одной твоей вине. Да, помни об этом. Напрягись, чтобы сосредоточить всю силу чувства на жалости...

Но живая ненависть, как посылающий ее, хитра, изворотлива; как борец айкидо, использует именно силу противника, а не слабость, и, направляя ее против обладателя силы, проникает как раз туда, где, казалось бы, крепче всего оборона. И вот вдруг чувствуешь, что, если что-нибудь и ненавидишь в Этой по-настоящему, так это именно ее любовь к тебе и болезнь, это ее несчастье...

Ну, здравствуй, окаянный. Сквернавец окаянный. И все, что есть у тебя за душой — не по-каяние, а о-каяние...

Худо-то как — чувствовать, что на свое, мягко говоря, малосимпатичное чувство не имеешь, мягко говоря, никакого права — и тем сильнее напитываться им, сильнейшим всякого права, двойной ненавистью: к ней — и самому себе за свое паскудство! К тому же тут присутствует еще более отягощающий и без того остомерзительно тяжелую душу поворот или наворот: всегда, всегда, когда ты доходишь до зримого представления самого акта измены, наряду с отвращением и ненавистью в тебе поднимается острейшее желание женщины — не Той, женщины вообще... Трудно понять — почему, но можно предположить, что, наделяя своего соперника-на-час воображаемой агрессивностью, обязательно сопутствующей взгляду на женское как на «чужое», внешнее, то есть объект овладения, добычу, ты вызываешь прежде всего агрессивность саму по себе и в себе самом, переадресуя ее затем своему отравителю, — и эта сексуальная агрессия,

не уходя без остатка в нужном направлении, выпадает в тебе в осадок, давая скотскую, гадкую тебе самому силу желания женщины-вообще, как Сезанн пишет дерево-вообще, не сосну и не дуб, но это не мешает дереву на его полотне быть совершенно ощутимым, удивительно деревянным, в отличие от шишкинских сосен, сработанных со всей старательностью и похожестью словно бы из прессованных опилок. И теперь это твое желание, неизбежно направленное на единственную женщину, находящуюся рядом и поневоле материализующую призрак женщины-вообще, принимает обратный действительному вид желания, навеянного ею, вызванного в тебе ею, — и тем пробуждает дополнительную едкую неприязнь к Этой, будоражащей в тебе столь неуместные сейчас уже хотя бы по одному тому, что нарушают с трудом «набранную» чистоту перед причастием, унизительно острые запретные чувства...

Впрочем, желание это поддавалось снятию, отключке — недосып, изнеможение тут брали свое, но вот вызванная всем этим неприязнь снятию не поддавалась. Я напрягся из последних сил, выставляя на ходу противотанковые «ежи», не желая сдаваться, но слышал, как ненависть все равно шаг за шагом продвигается к неповинной жертве, и все яснее чувствовал свое бессилие перед ее медленным, упругим, выдавливающим волю ходом...

— Говоришь, если бы я умел любить? (*На шепоте, сдерживая голос, но против воли — а и сладко же по собственной воле идти против собственной воли — неудержимо накатывая смысл.*) Это дело... Вот ты — умеешь любить. Ты у нас молодец!

— Что ты хочешь сказать?

— А ты никогда не думала, что твоя любовь — это палка о двух концах?

— Что ты говоришь!

— То, что слишишь. Ты живешь — мной, но этим-то не даешь мне жизни. Ты чувствуешь за меня, но этим не даешь мне ни места, ни права чувствовать за себя. Своей любовью, всецелой, глобальной, ты отбираешь у меня жизнь-в-свободе. Во имя своего счаст...

— Как ты... (*запнулась; нет, просто хватил ее обухом по голове, убивец, у нее не хватает дыхания, но я сказал, что думаю, значит, падло, ты еще и честный убийца, как арабский террорист, а что же — загонять вглубь и так всю дорогу интоксицироваться, это твоя проблема, да, убей себя, а ее не трожь, и честность свою держи при себе, это если каждый в автобусе начнет честно пердеть... Куда? стой! позд...*)

— Нет, ты уж погоди. С любовью бы еще полбеды. Но и болезнь твоя подозрительна (*пока не поздно, разоружись перед партией!*) В том смысле, что непроста.

(*Молчком. Даже с л ы ш н о, что молчит. Не в силах говорить? или не считает возможным с таким мерзавцем? ненависть, презрение, потрясение? семь бед — один ответ: четыре сбоку — ваших нет. Валяй до кучи. Чать не впервой. Никто из нас другим не аспирин! Не впервой. 19-й nervous breakdown*[1]*. Мы с Пласидою вдвоем щас частушки вам споем...*)

— Вот смотри. Ты заметила, когда о н появляется? Нет? Я начал отслеживать. Столько лет все-таки. Как только надо что-то решать, как-то поступать, по всей амплитуде: от там, допустим, эмиграции до... до, скажем, очередной размолвки-примирения со мной — и ты должна п е р в а я начать мириться, — вот тут он тебя и сторожит. Стоит заговорить даже о в о з м о ж н о с т и твоего устройства на работу, о том, чтобы рано встать — вот тут он тут как тут: ты холодеешь, бледнеешь, замолкаешь, останавливается взгляд, тахикардия... Нет, в самом деле, что он по существу — твой приступ? Сотню раз спрашивал — нет ответа. Полупонятные описания симптомов... но по существу — что он? ответь.

— Продолжай (*вдруг твердо: вызов? холодная решимость?*)...

— Я продолжу, я-то продолжу, но ты скажи: как ты понимаешь — что о н такое?

— Ты в этом не нуждаешься. Продолжай.

— Хорошо (*холодея, но все равно, все равно, вперед!*) Бывает, что он появляется и просто так, к а к б ы просто так, но если увидеть его в более общем контексте, — он в любом случае появляется, когда тебе удобнее, комфортнее

[1] «19-й нервный кризис» — песня «Роллинг стоунз». — *Ред.*

отказаться от действия, совершить которое страшно (*теперь заломило зубы от сладко ледяной волжской воды, струи из колонки во дворе частного дома, что мы снимали в мои 8; детское счастье — хотеть только возможного: игр во дворе, книжки про Винни-Пуха, летнего пляжа, наслаждаться данностью: счастливый реализм ребенка, умирающий в несчастном романтизме подростка и юноши; да, и счастливые страшные несчастья ребенка — что не можешь правильно стоять на коньках, как ни пытаешься, а ступни подгибаются, не в силах удержать коньки под нужным углом, чтобы скользить, как все, с наслаждением, а не болью, по льду площади Куйбышева в праздничной тьме, залитой огнями, под музыку песен «Хотят ли русские войны» и «Бухенвальдский набат», потрясающие твое детское золотое сердце*), когда тебе... ты только пойми правильно, я вовсе не упрекаю, не подозреваю тебя в сознательной хитрости, пойми, но это бессознательный инфантилизм, необвинимое желание детского ядра твоей души оправдать свое бездействие, нежелание изменить себя... Необвинимое, повторяю, я не хочу сказать плохого, но...

— Но говоришь.

— Зачем ты так? Я хочу сказать только...

— Я поняла.

— Нет, погоди. Вместо того, чтобы пойти навстречу жиз...

— Я долго слушала. Ты повторяешься.

— Нет, ты не поняла. Я желаю тебе только доб...

— Я все поняла.

— Что же?

— Я думала, ты меня просто не любишь. Что ты вообще не умеешь любить, хотя тебе и кажется, мерещится любовь к своей... Нельзя винить в том, что не дано. Значит, надо с этим жить. А ты меня — ненавидишь. А тебе это как христианину не положено — тем более жену. И за это ты меня еще более ненавидишь. Я думала, ты только себя... Хочешь съесть меня заживо? медленно? Лучше-убей-сразу!..

Ох же ты елки! какую кашу сам заварил на свою!.. Но Та тоже кричала. Нет, но зачем, зачем начал? да я же на самом деле хотел ей добра, хотел только — диагноза, вытащить наружу, чтобы легче... Но Та тоже кричала, да: «Ты же

никогда, что бы ни было, ты никогда не уходил от меня! ты не мог и не можешь меня бросить! Лучше убей сразу — или я выброшусь из окна!» Но зачем, как ты не удержался? Что теперь? С таким трудом наладил хоть что-то, уже была надежда — и сам, сам себе плюнул в бороду. Но она права: я ее ненавидел. Но она неправа: я ненавидел ее только в этот момент, ненавидел-по-смежности. Но как ей объяс... «Выбрасывайся!» И хлоп дверью. Не выбросилась. Отомстила другим способом, как сама не думала: из прошлого. Она не знала, что все тайное становится на самом деле явным, но Он так сказал — и так стало. Будут возглашать на кровлях. А может, интуитивно, готовила впрок отмщение, ведь она всегда чувствовала, что он узнает, потому что всегда он что-то такое чувствовал и спрашивал как бы шутя: «А пока меня не было, ты с этим — или с этим...», — и как она вспыхивала, а он тогда: «Ты сердишься, значит, что-то есть», — и она тогда разражалась таким праведным гневом. Знала кошка чье. И знала, что он когда-нибудь, как-нибудь, но все равно, все равно...

Она-то кошка, да ты собака! Она бедная девочка. Все прокручиваешь, чем ядовита ее измена, а сам от себя замалываешь: п о ч е м у? Да ты же, гад, первый начал. Ей двадцать лет, она в тебе души не чает — и доверчива, с детского дуру или от чистоты, но доверчива, а ты ей изменяешь — с кем? кого она считала своей единственной более-менее подругой. Хотела считать за неимением настоящей, и так и относилась: всерьез. Сама же и познакомила. Так ведь и та, Другая, была не стерва, чтобы тебя отбивать у подруги — приличная барышня, не барышня — молодая женщина старше вас. Ты же сам все устроил, тебя зацепило, что к тебе относятся чуть снисходительно, вполне спокойно, без тени восхищения, даже симпатии, тебе запало в душу, тебе зацепило твою поганую душу, ты положил свой лукавый глаз, и полез охмурять, из принципа, соблазнять — и соблазнил-таки не без труда — чем? опять — любовью, чтоб она пропала! Сразу понял спинным мозгом — эту так просто, умными разговорами и пьяным вдохновением не возьмешь, а только — полным серьезом, только — хорошей большой любовью, так? и давай раздувать в себе искреннее чувство,

без обману, и давай влюбляться все больше, больше, чем хотел бы, чем мог позволить себе, до раздвоения любви на них обеих (Sic! первый раз — это непривычно-обломная трагедия, а второй — не фарс, к сожалению, а привычно-обломная трагедия; все врешь, к этому привыкнуть нельзя, как к прыжку с парашютом), Дон Жуан из меня вышел тот еще, и залетел я на год во что-то такое, но той, Другой, раз уж я ее зажег своим сердцем Данко, уже было мало хорошей большой любви, ей, как им всем, подавай н а с т о я щ у ю любовь, у Другой это значило — всегда накал, напряжение свыше 220, чтобы ветер гудел в проводах, а под конец это стало значить — отдай (и тут отдай!) всего себя, то есть уйди оттуда сюда навсегда, а вот этого ты не смог тогда: на одном полюсе была только любовь, пусть страсть, а на другом — любовь, пусть уже без страсти, привычная, но плюс плоды твоего труда, твоего вдохновенья, твоего художественного вымысла; это значило бы предать светлый образ, тобой же созданный, больше того — предать всю мировую культуру, бесславно уйти с поля ассоциаций, где боттичеллиево-пусто-модильяниевая линия (лицо) переплеталось с Древним Египтом (тело в профиль), а Льюис Кэррол (улыбка) соседствовал с бунинской потаенно-страстной героиней. Кого выбирать, если не туче-всегда-будет-тебя-любить-и-всегда-выше-всех-подозрений? Какое несчастье уродиться с серьезным отношением к женщине, но быть всего лишь мужчиной — и при этом напарываться на женщин с серьезным отношением ко мне! Беда. Ну-ну, можно подумать, ты хотел бы другого к себе отношения. Повторяю еще раз, для тупиц: легкое дыхание порождает легкое поведение, а терпимость прямиком ведет в дом терпимости. И я выбрал: или-или. Вернулся к Той совсем. Так и кончается мир. Только не всхлипом, а сплином. Вернулся и говорю: ты ждала год, ты не спала, ты что-то чувствовала — и не напрасно, не буду врать, я мурыжил тебя год, я виноват, но теперь все кончилось навсегда и бесследно, теперь я только твой, приди, приди, я твой супруг. Как же, думаю, вот радости-то детишкам принесла, вернулся вчера твой сероглазый король, чего тебе еще, осчастливил не на шутку. А Та: хорошо, я тебя прощу, только будь всегда честен со мной. Назови имя. С ней, да? с ней, я угадала? Скажи —

и забудем об этом. С ней или не с ней? И был заключен завет. И,во исполнение завета, я сказал все, как есть.

Друг, зачем же был ты честен? Как же глуп ты был, мой друг. По молодости лет ты влип и ей влепил. Она по молодости лет просила того, сама не зная чего. И получив, чего просила, она, бедная детка, не выдержала. Полведра честности. Требую честности измены.

В сущности, надо понять: она не могла не отомстить. По техническим причинам. Даже не желая мстить, а — как-то восстановить, наладить, скомпенсировать. Потому что надо же что-то делать, когда нельзя терпеть. А что? Уйти? Но если любишь, если не можешь? Да, она, помучившись после порции честности, и хотела было уйти, уже было собралась, да я ее просто силком остановил, взял измором: не уходи да не уходи. Тогда что? Нового еще ничего не придумали. Прямая неизбежность ее банального отмщения. С этим хануриком-дуриком, к которому никто не относился всерьез. Которого не стыдно, потому как он сам о себе небольшого мнения и не смотрит ни на кого сверху вниз. Бедная детка, и я еще мусолю твою вину. Mea culpa. Mea maxima culpa. Бедная кареглазая детка. That the wind came out of the cloud chilling and killing my Annabel Lee[1].

> Как странно, что мельчайший человек, Башмачкин, иль Голядкин, иль хоть я, Любой без исключенья лаццарони Способен на отважные деянья, На подвиги, которые по найму Не согласился б совершить Геракл: Рожденье, жизнь и смерть...

...предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена. Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя, и дом отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоея...

И как перед тем ненависть, так сейчас жалость к Той расширилась до тотальной формы жалости ко всему тварному веществу, ко всякой конечной твари, а затем сузилась

---

[1] Но зимний ветер, слетевший из-за тучи, застудил и убил мою Аннабел Ли (*англ.*) — *Ред.*

до острой жалости к близлежащему человеку. Жалость-вина сама собой, неуследимо быстро превратилась из ненависти и переместилась с Той на Эту (все же чувства живут отдельной жизнью от людей, лишь притворяются собственностью своих якобы-обладателей, дают поиграть собой на время, самостоятельно передвигаясь по неосвещенным закоулкам душевного мира, зрячие в темноте, как кошки — опять! — гуляющие сами по себе; пока колокол звонит по тебе).

Да и кого — если на то пошло — следовало пожалеть? Та умела убегать от жизни в интересные сны, всегда сюжетные, в книги, фильмы — могла уйти туда без остатка, как у Грина в «Фанданго» человек входил внутрь картины; она была человеком виртуальной реальности до появления самих этих слов, как, впрочем, являются людьми виртуальной реальности миллионы простых смотрителей «Санта-Барбары», — следовательно, могла бояться жизни, не справляться с нею, но не могла быть уязвлена, ранена, поражена ею — смертельно, всегда имея куда улизнуть, где схорониться-сохраниться, пока время не возьмет свое и не зализжет рану. Та всегда была н а п о л о в и н у: наполовину живой, наполовину сно-сшедшей (оттого и глаза ее после пробуждения сохраняли подслеповатость сонной грезы чуть не до очередного засыпания), наполовину простодушно-открытой, наполовину потаенной, — и, диалектически скользя по ленте Мёбиуса, неощутимо-своевременно переходя с одной половины плоскости на другую, оставалась цела, пусть и не невредима, в довольно кровоточащих передрягах. Опора на иллюзию, короче говоря, давала ей силу пережить реальность.

Иное дело — Эта: изначально сотканная из жизни и только для действительной жизни, нимало не чувствуя и не сочувствуя миражам, мечтам, вторым реальностям, дешевым и дорогим, высоким и низким, будь то «Дикая роза» или «Анна Каренина», дамские любовные романы или «Амаркорд» (она всегда могла только оценить качество текста, а не вжиться в него, если только он не совпадал по тональности с ее кошмарным внутренним миром, и тогда она просто не могла его читать, не соглашалась ни за что), жена всецело подключена была к действительности первой и последней, к ее мельчайшим толчкам и тончайшим уколам, к бесконеч-

ным — и на поверхности, и на глубине — ее уклонениям от той нормы добра, правды и красоты, что была врождена ее поврежденной после душе, не имея возможности передохнуть, сбросить с себя, отключиться или переключиться, не зная, как это вообще делается. То, на что не обращали внимания одни, то, что только закаляло других, сделало из нее в итоге, при такой ее подключенности и отсутствии простейших предохранителей, остаток женщины, фрагментарного человека, несказанно мучащегося от утраты полноты жизни, утраты, случившейся по причине самой же этой полноты. Болезнь — от слишком-здоровья, умирание — от слишком-чувства жизни, ненормальность — от слишком-нормальности.

Кого же следовало пожалеть? Уж не Ту, что жалелась ему во снах, в самом-то деле. Все делаешь не так — и чувствуешь не к той, кому надо. Мало того, обратно тому, как надо. Недотепа; и кому какое дело, беда это твоя или вина: по плодам их узнаете их. Как думаешь, это о ком?..

— ...сразу убей! — *докатилось, услышалось, и стало тупиково-тоскливо ясно, что она все повторяет и повторяет, как давно до нее выведенную формулу, а кровать под ней ровно скрипит от однообразного раскачивания из стороны в сторону. Бедная детка! Выручить ее, вывести из. Бедная!..*

— Послушай, я вино...

— У-бей.

— Я виноват, но я не хотел...

— Убей. Сразу убей.

— Но, родная...

— У-бей сра-зу.

— Но послушай... ты слышишь? Только послушай!

(*Молчание. Скрип раскачивания. Будет слушать или опять? Давай вовсю, не дать ей раскрыть рта. Поцеловать? Резкий перебор. Сразу взрыв. Говори ж, раскочегаривай от всей полноты обожженного сердца. Грузить, так по полной программе. **Эта** минута... в гробу я видел эту минуту!..*)

— Я свинья, но это не главное. Главное — все, что я говорил, неправда. Я так вовсе не думаю! Да! Нет! Не думаю! Но ты меня зацепила. Ты меня обидела. По-насто-

ящему, понимаешь? До слез. Ты сказала, что я не умею любить (*ах, какие мы чувствительные! будто бы уж*). Но это неправда. А если даже и правда, то я стараюсь. А коли так, нельзя меня этим попрекать. Ты меня обидела (*дрогнул голосом, хорошо, как по правде, да не как, а по правде и есть*) по-настоящему, понимаешь?

— Тебя нельзя обидеть по-настоящему. Ты в обидах купаешься (*матовый голос: это когда она уверена до безнадежности. Пусть: сейчас важно, что слегка отключилась оттуда и пошла на какой-то контакт. Жми*).

— Неправда! Ты опять меня обижаешь напрасно. Ты несправедлива. Разве я так уж совсем не умею любить? Разве я все эти несчастные годы не был с тобой, не катался с тобой ко всем врачам, ко всяким святым бабкам, как говорит твоя мать? Я хоть раз изменил тебе?

— Сколько ты будешь это...

— Нет, но ты, наконец, прими во внимание! Это норма, говоришь ты. Ты же мне не изменяешь и не хвалишься этим, да? Но ведь это и значит — ты меня любишь! Ты посмотри вокруг и подумай — разве это уж совсем не о любви говорит? Тем более, когда (*стоп!*)...

— Договаривай. Тем более, когда жена больна?

— Нет же, нет. Тем более, что (*что? что? срочно*)... что возможностей было сколько угодно (*ну уж прям*). Даром, что я трачен молью, не красавец, не богач, но у меня есть свои скромные достоинства, своя маленькая репутация, шут ее дери, — но! но я никогда, ни-ког-да не только — но и не собирался тебе изменять! И заметь, на меня это совсем не похоже. Это впервые. И что ж, это совсем ничего не стоит? (*давай-давай говори-говори, дай жизни, Калуга!*) Но этого мало. Ради тебя я перестал пить. И на этом растерял столько людей, столько друзей...

— Тот не друг, кого потеряешь, стоит только бросить пить.

— Ты опять со своими нормативами ГТО. Но жизнь — д р у г а я, понимаешь? ты человек правильный, и нормативы твои правильные, но они — одне, а жизнь другая. Друзья или собутыльники, но их было много, а без них я почти один-одинешенек. Но я не жалею. Я выбрал тебя и

не жалею. Я всегда дома, всегда на подхвате, всегда готов куда-то опять тебя везти, если ты опять подавишься, спаси Господь, очередной рыбьей костью. Готов за кудыкину гору, семо и овамо. Анюта — я тута! Сколько лет. 20 тысяч лье вокруг тебя. А ты говоришь, после всего этого, что я не умею любить, только потому, что я живой, то есть в меру эгоистичный человек, не проникаюсь тобой всецело. Но есть же предел. Есть норма, ее же и ты взыскуешь в натуре. Есть иволги в лесах! Слишком человеческое, да. Всего-навсего. Но ведь и это любовь. И это чего-то стоит. А ты... меня... обидно. И я не сдержался, прости.

— Ты — не сдержался?

— Да.

— Всего только не сдержался?!

— Ну.

— А тебе не кажется, что это называется по-другому?

— Как?

— А ты не знаешь? Тогда подумай. А насчет всего, что ты тут сказал: да, ты много для меня сделал. Ты даже п о с т у п и л. В смысле — чем-то п о с т у п и л с я. Не-как-люди твоего... твоей... ну, в общем. И не думай, что я этого не ценю (*вот как она переходит от этих их женских слез и раскачиваний к этим своим цепким логимужским... как это у нее без перехода?*). Только не путай это с любовью. Мне-то не надо ля-ля.

— Что, опять будешь о чувстве долга? У меня? Тебе самой не смешно?

— Да, вообще-то у тебя его нет. Ты человек безответственный. Но увлекающийся. Ты увлекся православием. Ты воцерковился. И у тебя по учению и по увлечению в голове появилось то, чего нет в душе. Ты же зажигаешься головой, ты же и вкус твоего любимого виски больше любишь в мечтах ума, чем нёбом и языком, я тебя наизусть знаю! И ты стал научен, как п о - н о в о м у учению поступать, чтобы — деятельная любовь и там милосердный самарянин и все прочее. Ты был неофит, и тебе так было к р а с и в о и увлекательно-умом поступать, и ты старался, а теперь стараешься по приобретенной дисциплине и инерции, но и теперь стараешься на совесть, хоть и вяловато, но. Пока

в очередной раз не сорвешься как сейчас, только что. И как только сорвешься, то — со вкусом! И тут из-под воцерковленного самоотверженца высовывается... тут выказывается истинная страсть!..

— Да, но зачем, зная это, ты меня срываешь?

— Из вредности. Вот из чистой вредности. Стерва-баба, да? А кто тебе сказал, что ближний должен создавать тебе все условия любить его как самого себя?

> Она права, но что мне правота Ее или своя, — не в правоте тут дело, А в том, что жизнь — мученье до конца, Мучительней которого — лишь жизнь. Кто правотой своей ещё отягощает Ее — о, сколь неправ тот правый! Правозащитник тот и правопрокурор! Нечеловечен этот правокатор... А если это так, то что есть Правота, и почему ее одушевляют люди? Уста она, в которых Воркута, иль студень, цепенеющий на блюде?

(*Не студень — студенец истления*[1], *вот это — так!*)

— И что, это плохо? Стараться? Плохо?

— Это прекрасно. Ты заслуживаешь оценки четыре с плюсом. Может быть, даже пять с минусом. Но это не имеет отношения к любви. Самой простой. Которой у тебя нет.

— А тебе бы все ту самую?

— Каждой бы все ту самую, ты еще не понял? Ты хочешь со мной только спасаться вопреки погибельному естеству — и за это на мне отыгрываться? Так лучше ступай в монастырь, Офелий!

— И все равно ты неправа (*сказать сказал, правильно, веско; теперь найдись мотивировать, почему; есть? кажется...*) Допустим, я получил некий посыл не в сердце, а в Церкви. Но ты забываешь, что пришел я в Церковь — с тобой. Что женился я еще до того — на тебе. Что выбрал я из вас двоих — тебя, хотя до тебя я всегда выбирал ее. Что я не ушел к ней назад — а она была еще одна. А это было еще до Церкви, хотя уже после того, как у нас пошли архисерьезные нелады. Это что, по-твоему, тоже ничего не значит?

---

[1] Ров погибели (*церк.-сл.*) — *Ред.*

— А это, милый мой, значит вот что. Это вот что. Это то, что ты, как чеховский Иванов — ты же не можешь не рифмовать свою жизнь с литературными героями — решил влить в свои усталые члены и иссохшие жилы, или наоборот? без разницы, свежую кровь. Ведь я какая была молодая и здоровая, целая и невредимая, ты забыл? цвет той яблочной кожи? То, как я моментально засыпала, моментально просыпалась — и пела; целый день на работе — и вперед, к друзьям или в ресторан! горы могла своротить, в отличие от твоей... Да, новое вино в старые мехи... Тебя предупреждали, но ты не отнесся к тексту серьезно. Зря. Но это в сторону. Тебя это вдохновляло — еще бы, легкое дыхание! К тому же я давила: не тяни резину, почему, с какой стати я, молодая и красивая, должна быть любовницей при действующей жене? Безо всяких извиняющих обстоятельств типа детей? Это просто унизительно. Либо женись, либо освободи. Не будь собакой на сене. И ты в первый раз в жизни решил довести хоть что-то, хоть какое-то дело до конца. То есть нет. Так, сознательно, ты бы никогда не решил. У тебя оно внутри само вытанцевалось, не мытьем, так катаньем. Ты внутренне п о с т а в и л на меня: молодая-задорная, свежая кровь, и ты так много вложил себя, ты же меня так долго и трудно охмурял, ты настаивал, ты чего только не врал про ваши отношения, когда я н е р а з р е ш а л а с е б е чужого, по каким только не мерз подъездам — и что же, зря старался, любил на всю катушку? Да, вот тогда ты меня любил, я думаю, как мало кто сейчас любит, этого у тебя не отнять, когда ты со свежего пылу-жару, тогда не нужно было спрашивать, любишь ли ты и кого, я и так знала, да... А может быть — ты только не обижайся, мы уже не дети, дело житейское, — может, еще и не без того, что ты нутром чувствовал: она — вчерашний день, самарский, отработанный материал, а я — сегодня-завтрашний, москвичка, ну и с квартирой. Не думал, пойми, а просто твоя эта, как ее, элан виталь — вот она сама устремилась в новое русло, и эта мышка, нет, крыска — и выдернула репку...

— Неправда! Все неправда!

— Нет? Ну, извини, я не для того, чтобы обидеть...

А почему, собственно, так зазвенел голосом? Чего кипит мой разум возмущенный? Ну да, тогда я об этом, кажется, не... А кто ж его сейчас знает, что я на самом деле думал даже секунду назад, а уж 10 лет назад? Тем более — что творилось во мне бессознательно? Это как доисторический период. Кажется, я был тогда идеалист. Но могу допустить, что на самом деле я был человек вполне житейский: всяк человек ложь. Как восстановить сегодня меня позавчерашнего, влившегося во вчера, а вчера отслоить от сегодня? Как, если это одна живая ртуть, и поди отдели точную память от попытки реконструкции? Как определить вчерашнее, когда вот, я хочу определить точным словом настоящее — и не могу. Я, Чангара—Шанкара—Зангези, пришел, говорливый, чтобы рассказать об Эль и Ка, и Ша, рассказать про наше страшное время словами Азбуки, я, Шекспир, Кальдерон и Джойс, перепутавший время, попавший в эпоху компьютера, гуманную эпоху, разрешившую мне жить и писать, и говорить, просто раз и навсегда отодвинувшую меня в сторону, одним перманентным незамечанием завернувшую меня в типографскую бумагу и отправившую на дно долгого ящика, на дно мира тьмы нужных вещей, на дно мира необратимо упрощенных чувств, продвинутого упрощенного сознания; и вот я, ненужный, одинокий обломок былых миров, теряю силу ненужного слова, слабею, бессилен описать даже эту минуту. Как сказал отец Иоанн: «Какие мы старцы? Мы — старички». Какие мы Шекспиры? Мы — Виктюки. И не Джойс ты, а джойстик. И не Хлебников, а нахлебников. Уж не Джойс од жизни ничего я. Фу. Мусор звука. Фонетическая помойка у тебя в башке. Смысловая тоже. Что ты? Ничего я. Никово я. Аника воин. Я — Чангара Чевенгурыч Чефирной на запасном млечном пути из Черкизова в Чертаново. Час Че. Я вам «Чучу» отчебучу. Закавычено. Не конвертируется...

Рече безумен в сердце своем: несть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониих, несть творяй благое. Бог с Небесе приниче на сыны человеческия, видети, аще есть разумеваяй или взыскаяй Бога? Вси уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творяй благое, несть до единаго. Ни ли уразумеют вси делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба?

— ...кончилось.

(*Что кончилось? Расслабился, не уследил. Сейчас — не показать, что невнимательно, ни в коем, сейчас, когда: «Нá, виноват всей душой». Пойти конем.*)

— В каком смысле? (*Правильный вопрос. Всегда.*)

— А в самом прямом. Кончилось мое легкое дыхание — кончилась твоя тяга. Печка потухла — вся любовь. Но ты делаешь вид, даже для самого себя, ты искренно пытаешься механической церковной дисциплиной «деятельной любви» заменить...

— Думай, что говоришь (*не так, сейчас нельзя резко. Хорошо голос не повысил. Не так. А как? Когда такие вещи*)...

— Ну да, да, не механической, ты добровольно, ты духовно практикуешь, ты серьезно, ты хочешь «употребить усилие», чтобы «восхитить» и «стяжать», одухотвориться своей силой...

— С Божьей помощью.

— Ну, правильно, ну, верно. А кто чего хочет — тот, может, то и получит, и дай тебе Бог, мне же будет лучше. Но пока что — по-ка-что — не перебивай, Христа ради, пока что ты только тянешь себя за волосы из болота нелюбви, пытаешься делать все, что положено тому, кто любит, ты и впрямь методически, что тебе вообще несвойственно, пытаешься быть заботливым, терпеливым, понимающим. Ты формально и форменно верен. А поскольку я тебе немила, ну, немила и все, ничего не попишешь, голос у меня звонкий, а не осторожный и глухой, как у твоей кареглазой (*точно, а я все думал, что мне напоминает эта строка? ее голос*), и глаза голубые, и Марселя Пруста я не читала и принципиально не собираюсь, и что там еще у тебя заветного — да все во мне тебя раздражает, — но! Но ты проделал над собой большую работу, ты сам себя почти уговорил, что меня лю... Что там — иногда ты меня заставляешь верить, что ты... И вот — ты гордишься собой. Как же, ты ве-ер-ный. В наше вре-емя. И ты имеешь наглость, — *вот тебе здравствуй, Жора, новый год! сорвалась или взорвалась?* — ты имеешь наглость говорить мне это вслух! всерьез! Ты высоко ценишь свои заслуги — передо мной? перед нашим временем?

перед Богом? «Я тебе 10 лет не изменял!» И ты ждешь, что я тебе медаль на грудь повешу? Или Он — за верную службу? Посчитай еще, сколько месяцев, недель, дней и часов ты хранишь верность. И сколько тебе осталось ждать, пока. Я больная, мне сам Бог велел лежать тихо и не рыпаться, когда там чего, а ты — нет, ты видишь какой хороший, верный и любящий, да? Но недолго терпеть осталось. Тогда отыграешься за боль годов, да? Ты не думал, что это из тебя так и прет?

— Как ты смеешь?

(*Ладно тебе. Женское дело такое. В сердцах, понял? Такое дело их. Ты-то чего заводишься? Сейчас же все пойдет юзом. Потеряет управление. А ты же хочешь, как лучше. И уже отыграл назад сколько-то. Отдохни и продолжай.*)

Открой, открой молитвослов, Прочти псалом сто тридцать восемь, И отодвинувши засов, Захлюпай в зимовесноосень, В надежде веры и любви Понаторевши по утрянке Неподалеку от Москвы, Не доезжая Загорянки.

— ...смею? Нет, милый, это как т ы смеешь?

(*Хотел, как лучше. Держался. Но не могу.*)

— Я сме-ею?! Я когда-нибудь что-нибудь подобное говорил, что ты мне припи... Или думал? Ты понимаешь, что оскорбляешь меня?

— А ты понимаешь, что ты меня гробишь?

— Ну, послушай, ну ладно, ну, я тебя умоляю... Ты видишь во мне... ну, с чем бы... ну вот, есть целая популяция евреев, которым в любой фразе, где есть слово «еврей», мерещится зоологический антисемитизм. А у тебя такое слово — «больна».

— Я знаю, ты отвертишься от чего угодно, но я тебя зна... да и не в этом дело... Ты не знаешь, как э т о действует. Ты не знаешь, что такое... срок. Тут дело в продолжительности. В непрерывности времени. Ты не был в армии. Не сидел в тюрьме. Ты не мотал срок, ты не знаешь; а я мотаю. День за днем, год за годом я все меньше выхожу из дома, мне уже страшно выйти за хлебом, я не могу спать до утра, а потом встать до четырех, я не владею собой, я разучилась что-либо делать, вымыть пол для меня — полдня тяжелой работы, принять гостя — каторж-

ная повинность, да почти никто и не приходит, и их можно понять, ты для меня — единственная связь с миром, я не знаю, кроме политики по телевизору, что там за окном, даже не знаю, на каком языке они говорят, вот они стали говорить «по жизни», может, уже пять лет это норма, а мне в диковину, мне это кажется уродским, и я только лежу и говорю Богу: за что, мой Бог, за что мне это? мой Ты Бог или не мой, в конце концов? или Ты Бог филистимлян или мадианитян, или я — уже не я, только память осталась, а Ты сокрушил меня до основанья? но зачем? ведь я могла принести много пользы, много-много радости — и вот лежу и тошнит, немила ни себе, ни мужу, никому! Почему не убьешь меня сразу, за что еще мучаешь — и велишь благодарить, как эти ребята у власти? Ты знаешь, что значит мотать срок? Это такое послушание, когда деформируется душа. Когда чувствуешь себя ущербным до конца. От и до — ничего не стоящим. Ни-че-го. Когда все маломальски легкие на подъем дуры живут и зарабатывают, как люди, одеты как люди, ездят отдыхать, видят море и солнце, как люди, будто получили хорошее образование, будто потрудились чему-то научиться, что-то пережить и передумать, а не просто потому, что здоровы и в руках все кипит. Когда никто не понимает, что значит — не мочь того, не мочь сего? Это могут все!.. Ты представляешь, во что я съежилась за 10 лет непрерывной болезни? В какую тварь, нет, в какого тварeныша, дрожащего на холодке, я превратилась? К а к о г о я о с е б е м н е н и я? И тут ты со своим: «Но ведь я тебе не изменяю! я тебя жалею!» Вполне современно. Чтобы меня. Ты все рассчитал наверняка, или ты толстокожий чурбан, но вряд ли, скорее ты все рассчитал, чтобы меня уконтрапупить, но одного ты не принял в расчет: тебе, дружок, не на что меня похоронить!

А я так хотел ее пожалеть. Уже ее жалел. Уже любил. Уже вошел в жалюбовь, как в штопор — а она... Смотри, смотри ж, как исчезает жалость, как погибают замыслы с размаха, вначале обещавшие успех. Равнять меня с грязью. Делать из меня убийцу. Кто кого хоронит? Кто кого гробит? Все

выскажу. Все. Тихо! не принимай помысла. Помни отцов: сперва — прилог, если принял — сочетание, а если и тут облажался — кранты, ноль шансов: страсть. Уклонися — сотвори. Не принимай помысла. Это тебя лукашка крутит, он особенно достает великим постом. Пост-то пост, да и сам не будь прост. Неплохо. И сразу — по второй: пуст-то пуст, ну, а сам, поди, Пруст. Не допускай сочетания. А если допустил — хотя бы молчи: перегорит. Молчи. Мы рождены не себе угождать, а терпеливо сносить немощи слабых. Так. И это — терпеливое ухаживание за больным вменяется в. Молчи. Не могу. Сама виновата, что не дает себя жалеть. Дух противоречия. Хочешь лучше — ...Нет, не могу, распирает, где справедливость, как она может меня, я ей все, что мог, кто бы еще, но уж не она, а она... Все скажу, спокуха, не прини... поздно! все!

— Я — тебя — гроблю? А — не ты меня? А? Не ты? Если уж на то пошло! Терпеть этого не могу: сам ты дурак и прочие бабьи дрязги, но если уж дошло до: ты убивец, если это серьезно, тогда вот что: не лучше ль на себя, кума, оборотиться? Кто кого гробит — большой вопрос, дорогуша. Большой. Вопрос. Допустим, я тебя мало люблю. Я с этим не согласен, оговариваю сразу, но допустим. Но веду я себя как любящий, что и ты признаешь. А еще великий еретик говорил: на войне не тот храбрый, кто не боится, а тот, кто ведет себя, как который не боится.

— Любовь — не война.

— Ладно. Я и с этим не буду спорить, хотя тебе любой психоаналитик скажет, что любовь — это именно война. Но ладно. Ладно, я плохой. Как бы я себя ни вел, я все равно плохой, потому что горбатого могила исправит, да? Так. А ты — хорошая? Твоя большая, настоящая заглубинная любовь — плодотворна? согревает душу? утешает? придает силы? То есть живит? Я давеча брякнул сгоряча, ты смертельно обиделась, а на что? На правду? Не живит твоя любовь, а мертвит. Не надо, я спокоен. Не повышаю голос, не укоряю. Я только констатирую. Что — твоя великая любовь? Да, когда я болен, ты всегда при мне. Ты с ног сбиваешься. Когда то, когда сё... Парня в горы тяни,

да? там поймешь, кто такой. А если здесь, на равнине, где — обычная жизнь? Ты там говорила о сроке, о послушании. Каждый мотает срок, каждый имеет послушание: претерпевать жизнь. Десять лет я с тобой. Десять лет — почему ты пьешь? Как ты мог придти позже на час — на час! — когда я волнуюсь? Почему ты дружишь с этим, когда он дрянь и алкаш? Как ты можешь вообще х о т е т ь уйти к друзьям и оставить меня одну, зная, что мне без тебя плохо? Как ты можешь спокойно сидеть и читать и рассуждать об искусстве и прочей галиматье, когда у нас отключили отопление? Почему ты столь эгоистичен? безответствен? толстокож? груб? черств? пьющ? Не забьешь даже гвоздя? Думаешь о героях книг, а не о живых людях? Воображаешь себя Бог знает кем, а на самом деле ничего не можешь? Не зарабатываешь, а пить любишь коньяк-виски? а мне не принесешь цветка!

— Интересно, и часто я это говорю?

— Редко. Но всегда — один пишешь, два в уме. Нет, опять же, я ничего не говорю, все это — из любви ко мне. Из требовательной любви. Из битвы за меня, как за урожай. Чтобы я стал таким, каким должен быть, чтобы ты меня любила благодаря, а не вопреки. А в подоплеке-то, как сказал Мюллер Штирлицу (*хоть тут остановись, сосчитай до, а почему, собственно, когда уже взят разгон? замах на рубль, а удар на... ну уж нет!*)? В подоплеке простая вещь: ты давно уже не живешь. Тебе давно не в радость люди — значит, и я — что в них нашел? Тебе неприятен алкоголь — редкий случай — значит, все, кто пьет, волчины позорные. Тебе жизнь не в радость — значит, и я не живи! Голодный сытого не разумеет. Твое существование сузилось до квартиры — запрись и я в ней. Так кто кого гробит? Кто кого мертвит, пес меня заешь? Кто-кого-мерт...

— Что ты говоришь! Остановись! Ты пожалеешь об этом! Остановись, про...

— Нет уж, теперь уж дудки. Теперь я все скажу, раз уж начал. Ты меня до этого довела. Ты первая начала. Я только защищаюсь. Ты цепкой крабьей клешней своей смертельной любви тащишь меня к себе в смерть при жизни, и называешь это серьезным отношением. Да, ты относишься

ко мне серьезно. Ты выпиваешь из меня жизнь, вытягиваешь душу и питаешься ею. И заметь, при этом ты винишь меня, что я формальный, дисциплинарный христианин, а сама пользуешься этим, взываешь к дисциплине: «Какая мерзость. Как ты можешь — это не по-христиански!» «Как ты смеешь — что скажет духовник?» «Как тебе не ай-яй-яй — разве этому учат тебя отцы?» Ты нормируешь меня и питаешься мною, нарезанным на порции, а себе даешь волю б ы т ь с о б о й. И так дальше и дальше, все внутрь и вглубь омертвляющих по мере твоего омертвления 10-ти лет, и так еще 30 дальнейших лет... 30 лет мертвования... Кого хоронят? Живаго!!! (*Ну, ты свирепо; а за дело; ты не гляди, что она все молчит — пусть помертвела, все равно хотя бы частью души слышит — должна выслушать правду по справедливости, мне чужого не надо, пусть получит свое.*) Вот свежий пример. Вот, пожалуйста. Сегодня, сейчас. Мне надо ехать. Выйти в полшестого утра. Значит, встать в пять. Добраться с рюкзачком на 12 кило до электрички по холодку. Два часа ехать. Час топать, опять с рюкзачком по холодку. И еще могут не причастить, как я не был на всенощной. Добавим — ты отлично знаешь, чего такому ханурику, как я, стоит оставаться верным — пусть в самом поверхностном смысле — мало-мальски верным с е й ч а с. Когда религия стала общим местом, когда православная Церковь — прибежище опереточных монархистов, лампасовцев с прибамбасами, полоумных конспирологов, солнцевской братвы и даже — коммунистов, их же и монаси приемлют! Когда духовность — затычка во всякой бочке, когда любой банк-понятно-кого и кабак-для-понятно-кого непременно освящает батюшка. Чего стоит удержать в себе хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь веру с микронную частицу горчичного зерна, когда со всех сторон окружают — национал-православие, культур-православие, оккульт-христианство, а чаще бескульт-христианство, а завтра еще какое-нибудь гештальт-христианство, когда выбор — либо «христианство» без берегов, либо с такими, наоборот, берегами, что в русло обе ноги не помещаются, только одна. Чего стоит не поддаться отвращению ко всей этой пошлости, культмассовой и культкружковой церков-

щине, выдаваемой за соборность, — и не уйти вовсе из Церкви? Ведь за последние несколько лет я утратил не только первоначальную пронзительную сырость веры — это естественно, это путем: путем зерна, — но и вообще чувство насущности веры, вообще всякое ч у в с т в о. Ведь говорено, целый час назад, я держусь только на памяти веры, памяти непосредственного знания. Памяти, помноженной на дисциплину, которую ты так не жалуешь, а она — спасительна, по крайней мере, для таких раздолбаев, как я. Да ведь и от нее-то уже осталась одна инерция дисциплины: мне дай только повод расслабиться — я развернусь, развалюсь — не поднимешь! Ведь это Веничка только мечтал о «спасительном малодушии, панацее от всех бедствий». Мечтал, пока не разрешили быть малодушным. Но вот оно пришло, малодушие — и оказалось не спасительным, а таким же губительным, как обязательный героизм. На свете нет ничего хорошего и ничего плохого, а точнее — в с е может быть хорошим или плохим, судя строго по ситуации. Потому что лукавому, ему все едино — энергетика или энтропия, свобода или рабство, богатство или нищета, умерщвление плоти или освобожденный секс, он все, все без исключения вывернет наизнанку и направит куда ему злопотребно. Но и понимание этого не спасает, зане он воздействует мимо разума, напрямую выходя на твою волю. И я чувствую эту смену энергийности на энтропию в себе и вокруг и чувствую еще, как п р е в р а щ а е т с я жизнь, как она безумно дорожает в одном отношении и скотски дешевеет в другом, и как унизительно стало быть бедным — и как еще унизительнее будет! — и как чем гордился, честной бедностью своей, того стыдишься, и как крепчает криминодемодебилизация и нарастает сенсорная деприва-тиза-ция, и как пошло́ все то, что по́шло, и как все мерзостно, что вижу я вокруг, слов нет — как! да жаль себя покинуть, милый друг — ну, и тебя тоже, не вижу причин скрывать... И вот я тону в этой трясине и тяну себя за волосы с Божьей помощью — потому как что же еще противопоставить своему распаду? только свою же упертость — и тащусь все-таки на электричку... И тут — кто еще, кроме Бога, может помочь вынести, претерпеть до

конца эту мерзкую жизнь, этот святой дар жизни на земле, как выражалась Церковь Московской Патриархии в золотые годы Высокого и Позднего Застоя — допретерпеть эту жизнь и донести до конца не задутой свою холодеющую веру? Кто еще должен понимать, что с христианина не только спрос другой, чем с нормального человека, но ему и снисхождение другое, что ему планку надо не только завышать, но и занижать, потому что ему труднее, потому что быть христианином хоть на самую малость труднее, чем взобраться на Эверест или написать «Братья Карамазовы», потому что реализовать себя куда легче, чем себя и з м е н и т ь, потому что все на свете легче, чем изменить свою подлую натуру, а христианин только этим и занимается — и, натурально, надрывается быстрее, и срывается сильнее — и... Кто еще, как не ты, моя венчанная супруга, мое лучшее «я»? Ну, так дай, понимаешь, мне руку в непогоду, помоги, едрена корень, в немой борьбе! Допустим, я из племени духóв, но ведь я не житель Эмпирея! Ан нет — ты, видя изо дня в день, как я трепыхаюсь и выпучиваю глаза, и бью хвостом, как ихтиос, выброшенная из чистой воды на грязную землю, и хлопаю жабрами, ты, вместо чтобы помочь или хоть не помешать, пусть уже хоть так, — ты первым делом будишь меня, чтобы я, если все же доплетусь, на службе уже точно не знал, на каком я свете, а второе — шантажируя приступом, требуешь, чтобы я вообще не ездил! чтобы еще больше позволил себе отвыкать от службы, пока не расслаблюсь окончательно и не отпаду совсем от Церкви и не отлучу себя от Христа! Ты этого хочешь? Ну, разумеется, ты скажешь — нет, ты возмутишься: мне просто очень плохо, я не могу одна, а ты равнодушен к страданиям ближнего... Но извини, это как в анекдоте: а кому хорошо? Мне не лучше твоего, может быть, но я из последних... А ты обо мне, о ближнем — подумала? нет. Ты без меня не можешь — и все. Это любовь. Но любовь мертвеца. Сказано же — сильна, как смерть любовь. Что бы ты ни говорила, чего бы ты ни хотела субъективно, а объективно (*замечательно! что-то напоминает; а-а: «Каковы бы ни были субъективные намерения автора, объективно он играет на руку...»; ну, не так выра-*

зился, но по существу-то — !) ты только и делаешь, что меня гробишь!

(*Всякий раз, всякий раз за долгую длительность лет, когда заканчиваешь взахлёбно-нескончаемую тираду, скопившую в себе отчетливо, доказательно и эмоционально заразительно предъявленный список хронических обид, справедливых претензий, сердечных жалоб — всего, насущно необходимого, но недополученного, всего вредоносного — и полученного с избытком, всякий раз в ответ ждешь если не раскаяния, то понимания, всякий раз говоришь с надеждой, что наконец-то ты был аутентичен, неопровержим, нашел неотразимые слова, взял т у ноту, чтобы развернуть ее душу, пробить ее сердце, заставить ее признать свою вину — и плача явиться с повинной, и тогда ты примешь ее в свое любящее сердце и скажешь: «Не плачь, родная», — и всякий раз раздается молчание, вслушиваясь в сицевое, the sound of silence*[1]*, все с меньшей надеждой и с растущей тоской быстрехонько понимаешь: дудки. Ты опять вообразил себе идеального слушателя (еще бы, в безразмерной, удобной для лепки любого воображаемого и потребного тебе образа ворсистой темноте), свое второе «я», настроенное на т в о ю волну, тогда как дело имеешь со слушателем реальным, пропускающим все услышанное через магнитное поле с в о и х резонов и неопознанных чувствительностей, мимолетных и фундаментальных; ты и впрямь поразил его болевые точки, но совсем не те, которые надеялся поразить, уязвив вместо того, чтобы тронуть, возмутив вместо того, чтобы прослезить, — и вот опять все откликнулось не так, как думалось, когда аукалось, ты опять промахнулся, но не совсем, — если бы! — куда-то ты все же попал, туда, куда попадать не следовало ни при каких обстоятельствах, и теперь осталось только гадать: зловещая тишина означает смертельную обиду, которую в ближайшее время уже не смыть-не замять, и тогда осталось по крайней мере воспользоваться ею и провести в горькой, но отдохновенной тишине время до окончательного вставанья, или — что хуже, что лучше? оба хуже! — это минутная тишина после артобстрела, после которой противник под-*

[1] «Звучание тишины» — песня П. Саймона и А. Горфанкла. — *Ред.*

нимется в атаку и выплеснет на тебя всю пробужденную тобой же и успевшую спрессоваться за долгое время твоего говорения ярость)...

Тишина еще оставалась, но состав ее уплотнился, и по изменению давления стало ясно: второе. Грозы не миновать.

Страх и трепет приде на мя, и покры мя тьма. И рех: кто даст ми криле, яко голубине? И полещу, и почию? Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни. Чаях Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и пререкание во граде.

— Ты... ты-ы... (*и-ис-шипенья-ф-крик*) — доканывать? Я — теб-бя? Если бы! Тебя и нужно доконать, кровосос, упырь, вурдалак, теперь я это ясно вижу, доконать и вбить осиновый кол, чтоб не ожил! за то, что ты доканывал меня, бомбил меня столетподрядизоднявдень, когда мне было двадцать лет, когда я была жива и невредима, и на меня оглядывались, а я была влюблена в тебя, уже облезлого и нищего, как дура, я и была молодая дура, а ты охмурял меня и охмурял, взрослый мужик, и чтобы я не чувствовала, что влезла в чужую игру, что это нельзя и дрянно, и не для меня, плел про то, что у вас особые отношения, что между вами давно уже ничего нет, просто ты ее очень жалеешь, а ты для нее все, и она выбросится из окна, если ты от нее, и только такая дура полудурошная, как я, могла поверить во всю эту ахинею, и жалеть ее, а не себя, а потом ты нас свел, сглупа или поневоле, но это ты напрасно, всякому безобразию есть свое приличие, и она мне рассказала; какие такие у вас отношения, и тогда во мне впервые все сломалось от тебя, твоих подлых штук — «тебе же не мог причинить боль, не мог же я тебе сказать, как есть, когда ты меня буквально допрашивала: что между вами? — и я видел, что ты правду не перенесешь» — и я от тебя ушла, и вот тут ты-таки оставил ее, как следует, и слезно уболтал меня, что это первый и последний обман, что ты виноват, но без вины — и беспристрастный бы все понял, и все такое, а теперь, когда узел разрублен, то мирком да за свадебку, и будем жить долго и счастливо и умрем в один

день, — и я, уже зная, что так не, никогда, что ты и захочешь из лучших побуждений — тебе же и л у ч ш и е п о б у ж д е н и я доступны — обмануть по-честному себя и меня, так не выйдет, — я опять поверила! Уже поломалась, а все тебя слушала, разинув рот, соловья нашего, златоуста-хризостома...

(*Заводит, а я не завожусь: нет горючего, все пожег только что, лежу пустой, не завожусь. Как с гуся. Надо сначала бак залить, чтобы. Надо еще меня наполнить. Надо суметь. А я в отключке — пусть накатывает волнами: чистый фон, чистый звук без наполнения. Мутилась пучина морская. Сие море великое и пространное, тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими, тамо корабли преплавают, змий сей, егоже создал еси ругатися ему. Лицом к лицу тебя встречаю я сегодня, о, Моби Дик. С детства влекла меня сердца тревога в область свободную влажного бога. Куда ж нам плыть? На Сидней, как «Жанетта» из кейптаунского порта, поправив такелаж? Или из ванинского порта — в Магадан, столицу Колымского края? Не туда и не туда, а в Германию. Снова ты. А чего? Берут же побродяг и в дом, и по билетам. У нас брали, теперь пусть они берут. Долг платежом красен. Кому обломится, а кому отломится. Допустим. Да мне-то это зачем? Затем. Бродяга я. Я тучка золотая. Вечный я жид, больше никто. Кому-то ймется любить эту грешную землю, потому что каждая московская собака знает его легкую походку, а другой знай себе взыскует града иного — хоть кол на голове теши. Но цена входа в град иной — жизнь. Фундаментальная эмиграция одна — смерть. А если града нет, а ты за него уже все отдал? Доверяй, но проверяй. Для начала купи себе мир иной в этом мире. Ценой смерти, но не до смерти.*)

— ...тут-то самое оно и началось. Тут ты пустился истязать меня методически. Тут ты давай не спать по ночам и рассказывать мне, как тебе ее жалко, бедную, что она одна-одинешенька, все тебе отдала, а ты ее оставил, и как-то там она — хоть ты ее и не любишь, а меня, но — не бросилась ли под поезд, а мне все это слушай и еще тебя утешай! когда на работу вставать в 8, тогда я еще была в состоянии, тогда ты еще не успел меня совсем доездить, но

ладно — она-таки не бросилась под поезд, кого-то там себе нашла, вернулась на историческую родину, устроилась-обустроилась, чего тебе еще, если ты ее только жалеешь? дыши носом! отдохни и мне дай отдохнуть, если ты только меня любишь, то больше нечем крыть, но нет, ты и тут нашел, как из-за нее трагически пострадать, не специально, я и не говорю, что ты на свою задницу приключений искал, но ведь зверь бежит только на ловца, так что все равно, нет, я нарочно для того жила на свете 21 год, тебя дожидалась, по-твоему, у меня своего горя и своих проблем не было, я тебя ждала в поисках острых ощущений, чтобы тебе на голову свалился этот придурок-друг детства (*ничего-ничего, продолжай, я в минусе, я нуль, я меньше нуля, нет ничего — все остальное есть*[1]*; я плыву по воле волн, as idle as a painted ship upon a painted ocean*[2]*, давай-давай, ты сама себе рокотание моря и сама себе соловьиная песнь, стало быть, и сама себя заглушить не вольна; а мне чего? лежать — не пахать; когда бы не зарплата, что нам свободный труд? напейся и лежи*[3]). И ты своими руками, специально, но сам-того-не зная допоил его до такого поросячьего визга, чтоб он тебе поведал, чего и сам не собирался никогда: что у него с твоей незабвенной когда-то чего-то там было — и тут-то ты мне — не ему! не ей! мне! — дал раза́! и еще года полтора давал! тут-то ты мне и понес, что она предала твое теперь вовек утраченное прошлое, взорвала твою память, разметала в клочки непрерывность и целостность твою драгоценную, и как теперь никогда ты не срастешься сам с собой, и все это по ночам, чтоб я ненароком не уснула от скуки — ведь до твоих попечений я непростительно быстро засыпала! да, и все это с перепоя на почве личной трагедии, как же не налиться до бровей, когда порвалась связь времен! и как не устроить хороший скандальчик с перепоя да не приволочь с собой в дом вусмерть пьяных дружбанов, да не дать жару из-за того, что я не пью и не люблю пьяных

---

[1] Фраза куйбышевца С. Ревякина (начало 70-х) — нравится мне и по сей день. — *Авт.*

[2] Такой же пустой (несуществующий), как нарисованный корабль в нарисованном океане (Кольридж, «Старый мореход»). — *Ред.*

[3] Парафраз принадлежит тамбовчанину Н. Кулину (70-е гг.). — *Авт.*

людей, которым уже давно хватит, а они все пьют в поисках времени, утраченного с другой, обманувшей моего мужа, когда он еще не был моим мужем, но узнал об этом как раз, когда стал, как раз вовремя, чтобы было с кем обсудить возникшие проблемы!.. И пошло по вечерам, по ночам, по утрам, ты все без конца вертишь, к а к конкретно она тебе изменяла — и звереешь, и пьешь, и звереешь еще больше... Обычная навязчивость, но ты-то уверен, что мир пошатнулся, что трещина прошла через сердце поэта — а я все это выслушивай, да еще тебя утешай, что делать с больным безумцем, распутывай клубок вместе с тобой, доказывай, что дело прошлое, что она и д о т о г о тебя не стоила и все такое, хоть это и неправда, оба вы друг дружки стоите, да она-то все-таки получше тебя, да у меня ведь не за нее, за тебя сердце кровью обливается. А за себя? Ты знаешь, до чего ты меня доводил? каково мне было все это выслушивать об ее...

(*Умеет наполнить. Проникает сквозь отключку. Замкнись еще. Сожмись внутрь себя, как он учил. Нет, расширься, чтобы впустить в себя всю тьму, сколько ее есть, а потом сожмись, сожми ее внутри себя и станешь властелином тьмы, королем ночи, царем Маб. Светит беззаконная звезда. Ночь нежна, над рекой тихо светит луна. Врешь, уже не звезда и уже не ночь. Here comes the sun*[1]*. Еще не, но скоро встанет. Отключился — и не иду на контакт. Но все равно проникает. Действует. Но не так, как хочет. Наполняет опять. Меня взять надо уметь. Пробить мое сердце. Кай, где твоя Герда? Зачем так, зачем такой напор? И сице: приклони ушеса своя и слухай сюды, разуй очеса своя, жено, и виждь: вотще ловитва твоя, вотще наляцаеши лук свой, туне пускаеши стрелы в нищаго, иже есмь аз, доходяга. Вскую рыкаеши, аки скимен, вскую отрыгаеши глаголы поносная, зловредная? Еда я тебе неясыть какая али нощный вран на ныришe? Туне мятешися, в натуре: не лютостию поразиши мя, унзеши стрелы своя в сердце мое, но мимоидут. Точию кротостию единой, не гобзованием, елы-палы, не ражжением огня лютаго, но состpастием милующаго сердца, да сотворю*

[1] Песня «Битлз». — *Ред.*

яко написано: озлоблен бых, и смирихся до зела. И принесу плоды покаяния, зуб даю, плоды сокрушения сердечного, и произрастут, яко кедры ливанстия, иже при исходищих вод, и преизобилуют, якоже скоты польския.)

— ...тешать тебя в твоей обманутой великой-любви-к, без конца слушать, что любишь ты ее и думаешь ты о ней, а если остаешься со мной, то только потому, что она тебе изменила, а через э т о, через с е б я ты только и не можешь переступить! Ты скажешь, что никогда этого не говорил, но на самом деле ты только это и говорил снова и снова, потому что мы прокручивали одно и то же по сто раз, невроз есть невроз, это колесо, хоть ты каждый раз думаешь, что доведешь следствие до конца, до точки — и успокоишься. Сколько, ты думаешь, можно ложиться в постель втроем — и не свихнуться? Ты меня свихнул, но я проглядела, я собой не успевала озаботиться, все таскала тебя по врачам, чтобы тебя совсем не заколодило, не скособочило, не скрючило. Себя я не контролировала, а оно во мне все ломалось и ломалось, пока я не замечала, ломалось и переломилось — и стало явно. Когда явно, значит поздно. Значит метастазы. Но и тогда ты от меня не отстал, ты тут пустил в ход новый прием: засуицидировался. То есть не просто — срочно лечи, спасай, утешай, понимай, даже когда ты мерзавски пьян, но — еще нужен глаз да глаз! Да еще спьяну — сцены ревности к первому попавшемуся, это ты уже перепутал меня с ней, это ты ее ревновал в виде меня — и обобщил глобально, до полного маразма, до фантастики: мол, любая баба может и хочет с любым и всегда, и спасение одно — взять ее на учет и контроль (*шпарит прямо по Джойсу, хотя точно не читала; только тот именно так и думал, уперся рогом до полной убежденности, а по ее — это ненаучная фантастика, вот бы им поспорить, если б стали, если б считали, что в равных весовых категориях; причем, что интересно, каждый исходит из личного опыта*). До того меня довел, что я ополоумела — и на полном серьезе: любимый, давай, для твоего же блага, ты возьмешь за правило пить только ч е р е з д е н ь и еще норму поставишь: не больше, например, б у т ы л к и п о р т в е й н а на тебя одного. Но куда там! Крестьянин

ахнуть не успел... Ты от меня оставил... не знаю что. Так давить!.. Хорошо если мокрое место, но ты меня выжал досуха.

(Они задавили бы его затоптали бы но я должен был ударить первый так полагалось мы шли вдвоем по Кировской по безымянскому Броду я и Петров и он нам навстречу и начал первый а мы молчали он был больше и старше года на два если не три мы почти не знали его но слышали что он среди приближенных Раджи (или Паши́ не помню но «больших пацанов») мы молчали и тогда он скользнул глазами по Петрову огромному для своего возраста и легонько мазнул меня по щеке и пошел дальше в том же темпе и Петров сказал что так этого не оставит что у него тут рядом с ДК свои пацаны знающие Раджу (или Пашу́) и мы сейчас сколотим понт и найдем этого ...ря и накажем его даром что он человек Раджи (Паши́) и мы нашли его пацанов на скамейке возле ДК где они пели под гитару в наших краях признавали только семиструнную «Серебрится серенький дымок» что ль или «Из-за пары распущенных кос» и они когда узнали что кого-то есть хороший повод побуцкать сразу встали и пошли сказав что ща его так-растак-и разэтак а на его Раджу знают своего Пашу́ (или наоборот) и быстро пошли по Броду в ту сторону куда он шел и догнали его потому что он никуда не спешил и он сказал что да он меня удовлетворит по всем правилам и нас поставили друг против друга и я должен был ударить первым раз меня оскорбили и Петров сказал что мое дело только ударить все равно как это будет сигнал и он не успеет ответить как они все набросятся на него вшестером и потопчут и я понимал что так и будет этого они только и ждут ради этого они здесь но я стоял и стоял и он стоял и спокойно смотрел и я понимал что больше затягивать нельзя что есть определенная полнота времени после которой уже поздно махать кулаками но не мог ударить в лицо вообще не мог поднять руку и наконец стало ясно ничего не будет и словно загипнотизированные моим бездействием или его бесстрашием они повернулись и пошли и он еще раз посмотрел мне в лицо не плюнул понимая что есть и у меня мера которую лучше не испытывать просто посмотрел и ушел а Петров сказал — ну и правильно может быть что ты ничего а то

нашли бы тебя потом от Раджи и бритвой и я не понял чего ради он тогда все затевал и вообще ничего не понял ни в себе ни в них и теперь уже не пойму трус я был тогда или что-то другое меня останавливало а теперь поздно не восстановить вживе тогдашние но одно я понял что у меня нет и х силы и я презираю себя за это но презирал бы еще больше если бы она у меня была.)

— ...но хорошо: ты нашел — или Бог послал — за что уж, не знаю, спасение: воцерковился. Тебе батюшка — по моей же наводке, дескать, не повенчаюсь, пока не бросит — отвадил от водки и чтобы в окошки сигать и сцены закатывать, переваливая все свои 16 тонн больной памяти на меня грешную. Он тебе, наконец, эффективно объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо. Надо так думать, если ты, наконец, начал держать язык за зубами. Начал ты себя, наконец, вести, как взрослый человек, как муж. Но только в р о д е б ы, тебя так и распирало и до сих пор распирает твоя молчаливая ноша. Нет-нет, да ты меня достаешь по-другому: то я не читала Марселя Пруста, то не слушаю какого-то Шютца, то не бегу сломя голову в «Иллюзион», то не умею готовить луковый суп, то — не готова чихать на бедность, то — не молчу в ответ, как твоя кроткая, то не отличу мадеру от портвейна, вообще не могу составить компанию... Словом, тех же щей да пожиже влей: в подтексте не просто я плохая, а плоха я именно тем, что я — не она. Не будь ее, я еще могла бы сойти за третий сорт, но она е с т ь, и это зачеркивает меня начисто. Это не дает тебе покоя, лезет изо всех твоих пор. Ты правда думаешь, я слепая? А если нет, ты правда думаешь, с этим можно жить? (*Нельзя? но я же живу — отключись, — нет, постой, какое мне должно быть до этого дело, если все равно у меня нет выбора, зачем подталкивать к тому, что я не могу изменить: там уже другая семья, дети, да и я другой, да и Та другая, этого уже н е т, не возвращайтесь к былым возлюбленным — и он же в кои-то веки может путное сказать.*) Ты же со мной только потому, что поздно что-либо изменить, и ты понимаешь, что это вздор, что у нее другая семья, да и сама она другая, да еще потому, что она тебе изменила, даже не так, она вообще б ы л а с другим

мужчиной, теперь уж не с одним, а я нет, и ты не хочешь этим пробросаться, ты боишься, что во второй раз... Самое во всем этом смешное, что часть своей жизни и мою жизнь ты загубил зазря, ты ее вовсе не любишь, как и меня, а тебе просто нужно — где-то наглубоке — создавать себе трагедии, чтобы отмораживать свою ледяную душу, чтобы чувствовать, что ты страдаешь — значит живой, а еще значит, что ты что-то значишь. Да к этому добавить обожженное самолюбие, а на все это наложить твой неподдельный невроз навязчивости да твой сексуальный детский комплекс — о безобразии половых органов и полового акта, вот это все и будет — твоя любовь земная и небесная. Потому что ты... пустой. Но мучаешься от своей пустоты и хочешь ее наполнить, чтоб в ней не сознаться даже себе, ты наполняешь себя разными мучениями, а когда их нет на самом деле (*много ты знаешь, просто насквозь меня видишь, у-ты-какая! и что значит это прямоугольное «на самом деле»? я не Витгенштейн и не Деррида, но и я догадываюсь, что никакого «на самом деле» нет, или, наоборот, что то же самое, все есть н а с а м о м д е л е, все, что помыслил или показалось, а тем более от чего заплакал; но хорошо, даже если ты и права, если ты что-то обо мне знаешь, вправе ли говорить?*), их всегда можно сочинить, извлечь из себя, разогреть и подавать в готовом виде. И ты давай заниматься не творчеством, а муками творчества в поисках точного слова, или что тебе не пишется, или из-за чего хочешь... только не из-за того, кто д е й с т в и т е л ь н о рядом, действительно действителен, я хочу сказать, в твоей власти в нем что-то действительно изменить, чем-то его обрадовать, согреть, помочь... Вместо того ты наполняешь себя чтением чужих слов или писанием своих — это тоже придает тебе... А больше всего ты пытаешься наполнить себя церковностью, а сам не понимаешь: ты... ты в Церкви только т о ч к у о п о р ы нашел, чтобы не спиться и не удавиться, и из этой точки судишь-рядишь, обустраиваешь-упаковываешь смысл своей жизни, делишь людей на тех-этих. Тебя только тормознули, ты обрел только порядок вещей, а ведешь себя так, словно обрел живую веру. Ты спасся только от пьянства и бессмыслиц, а думаешь, что

спасаешься и спасся бы в жизни вечной, если б я тебе не мешала. Ты все твердишь — я мешаю тебе с чувством, с толком причаститься, а ты сам себе препятствие, ты пустой, но не открытый, у тебя пустота закрыта даже для Бога бронированным стеклом, сколько ни причащайся Ему, чтобы обеспечить себе спасение (*все врет! врет! я говорю — врет!*), в тебя никто не входит, только отражается, как от стенки горох, ты чего только ни понимаешь, а сам — пустой, пустой (*ну, допустим, we are the hollow men, we are the stuffed men*[1], *что еще? смотри, как проникает, как накачивает, не принимай помысла, не сочетайся, в отключку, в отключку!*) ...И ты, т ы м н е говоришь, что я мертвая и тяну тебя в могилу, после того, как я тебе всю свою живую кровь отдала, а что осталось по сусекам, ты из меня по капле выцедил? А какой мне еще быть после этого? А на что ты мою живиночку перевел?! Ты — мне? Да, я действительно мертвая. Потому что за тебя, дура, живот положила. Потому что ты вовремя не ушел или не остался с той, кто тебе нужен, чтобы быть таким, как ты привык и сам себя намолил, — и растоптал всю мою жизнь и не дал мне шанса забыть тебя и устроить свою жизнь, когда я еще могла ее устроить, — и все это повидло, всю эту совейскую повидлу, в какую ты надавил-размазал меня и себя, называешь венчанным браком! А теперь я труп, а труп сам себе не нужен, не то-что-кому. Убила — на тебя — жизнь. В ожидании твоей любви. В ожидании Годо. Которого нет и не было. Потому что кто мертвяк — это ты, ты как был им, так и остался — как же я столько лет не... И потому ты всех нас переживешь, и ее, и меня, и кто еще потом за тебя сдохнет, а ты так и будешь нами питаться, чтобы с умным видом рассуждать об Игнатии Брянчанинове и Александре Ельчанинове, Григории Нисском и Владимире Лосском, Флорском, Флоренском и Флоровском, о Джойсе, Бойсе и Борисе Гройсе, и спасение будет тебе обеспечено, потому что ты не выпадаешь из графика и своевременно причащаешься; ты говоришь, что в Церкви не сводятся концы с концами, не скажу

---

[1] «Мы — полые люди, мы — чучела» — первые строки поэмы Т.С. Эллиота «Полые люди». — *Ред.*

за всю Церковь, но у тебя-то концы с концами точно не сходятся, ты будто бы ищешь в Церкви смысла и творчества, а как до серьезного дойдет, до шкуры — тут у тебя вся ставка, вся, — на своевременное причащение; давай, давай, угробь меня — и усиль дисциплину для компенсации, прибавь еще по кафизме в день, отмени себе еще и рыбку в постные дни, давай маршируй ко спасению со святыми, мертвяк, упырь стеклянный! кол тебе в спину, ты ж пулю в грудь не примешь, у тебя даже не достанет мужества — при всех твоих суицидальных играх — повеситься, как Иуда!

Достала-таки. Пробила! Есть контакт. Когда приходит ненависть, еще милее губится. Ненависть ее вливается расплавленным свинцом и выжигает, возжигая ответную ненависть к ненавидящему, — что порождающую? а то самое во веки веков. Ненастная ненависть нежити. Ненастный час несчастный. Неурочный час урлы нечистой. Но почему так отвратительно сладко ненавидеть в ответ? Потому что ты принял помысел. А если бы миг соблазна, миг сочетанья с нечистой страстью, сам миг нажатья на спуск не был сладок, кто б тогда? Горечь вкусна лишь в пиве. Да, но почему так сладостно в несказуемо мгновенный миг принятия помысла до конца — знать, что принимаешь отраву, помысел, заведомо лукашкин помысел-посыл? Двойная радость — делать и знать, что делаешь? Ну, все. Ща я тебя уделаю. Двойная сладость. Двойного мне, со льдом! Сдачи не надо. У, ненавистно-ненавидимая, на-кось, н-на!!! мало не будет.

— Мертвяк, говоришь? Нет, голуба, я еще жив, меня еще рано хоронить, еще рано тесать осиновый кол. Бодливой корове Бог рог не дает. Никто из нас других ни в Усть-Илим! Вот ты мертва, это так, только зря ты думаешь, что когда-то была жива, ты уже и тогда никого родить не могла, как и сейчас, и это наше счастье, права ты, но ты и тогда уже была бесплодна, мертворожденная смоковница, а я существую. Я помню, следовательно, я существую. Потому что я и сейчас лежу с тобой, а вспоминаю ее, верно ты догадалась, и ты с этим ничего не сделаешь, хоть лопни от ненависти, а я буду беспрепятственно вспоминать ее,

осуществлять свою тайную свободу — и думать, между прочим, о том, что она, стерва, мне доставила будь здоров пяток неприятных минут, но ты ей все же дашь сто очков вперед, потому что когда я ее поносил или ревновал, или еще как-то давал прикурить оттого, что самому плохо, она меня не ненавидела за это, а жалела, а тоже бы могла полоснуть, но — молчала в тряпочку от жалости и милости, дондеже мне не захорошеет, и сама от тихой жалости и кротости хорошела, а ты во гневе безобразна, хотя и незрима ныне, но я проницаю гримасу уродства на твоем челе, потому что только жалость и ничего кроме жалости и кротости не красит женщину, если уж ее не лю...

...у-уп-с! Б! Хр-ру!.. Сыро, солоно. В носу солоно, в глотке — теплым морем... В переносицу! — чем? Местами железным, местами нет. Кап-п... Будильником! Меня! На же, бей. Бей же, бей. Еще. На. Еще. Н-на!!!

Час Че. Почувствовать себя Безуховым навыворот: не ты, но на тебя жена подняла руку. Не ты. Ты — жертва. Но прелесть бешенства от перемены залога не меняется. Раздуть кровоточащие ноздри, греховная сладость — и исполнение заповеди легко вывернуть наизнанку — подставить вторую щеку с размаху и с размахом. Дело прочно, когда под ним струится кровь. Не зря нарывался: дождался кроваво-исповеднического подтверждения правоты своей ненависти. Да — так, как и говорил ей: как еврей, чьим способом самоидентификации является быть евреем на практике: жертвой антисемитизма. В самому-себе-жертвенном экстазе. Теперь не поспоришь. Кто из нас палач. По плодам их. Вот так. Еще. Носом вперед — тык. Тык. На, бей.

— Бей, убивай! Будильник — оружие пролеТравиаты! Убийца ты! Мучительница первая моя! Сучара бацилльная! Иезавель нечестивая! Двинь еще в морду. Вломи в рыло. На́ глазик. На́ другой. Истощайте, истощайте до оснований! Лучше умереть стоя, чем жить с тобой лежа, Пассионария недоделанная! На́. Подбей. Лупи. Куси. Урой. Уделай. Замочи. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей! Табань! Наконец-то я сожму в своих руках

твое сердце, о Моби Дик! Умру стоя, но не. Бирнамский лес идет, но, но... — пасаран! Пасаран! Дщи Вавилоня окаянная, блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Гадом буду, блажен иже имет и разбиет нерожденная младенцы твоя о камень!..

И мотает головой. И приближает лицо свое, и тычет им, кровекаплющим, в кровеприемлющей, кровевпитывающей, кровекровенной полутьме. Красное — в черное. Красное — в белое: постельное белье. И бодает, ожидая новых оргиастических бударов удильника. Будары в будуаре. Но остерегись: дистанция! попадешь в полутьме башкой ей в нос — уже ее кровавой правоты не оберешься. Тогда кому какое дело, кто первый начал. Кровь из носа. Бодала мало. Бада-бда, бада-бадаевский пивзавод крови, белеет бивень одинокий, мамонта бивень, интересно, он там еще, в костеле? еще краеведческий самарский-шумерский или уже опять кос — бум — тел? Бум-бах! На еще. Бьет прицельно или тычет наугад? Дай-дай. На-на!..

И вдруг громкая полутьма сорвалась в нуль форм, в нигил, после чего обратилась внезапно во что-то светоточивое, светистое и тихое — что выяснилось, однако, только потом, через целую секунду, когда понимание догнало слух:

— Стя-ги-ва-ет. Тя-нет. Ско-ре-е. Две ампулы. По-ка я могу го-во-рить. И дви-гать ру-кой. По-ка. Ско-ре-е...

Тихо, ровно, бережливо: все сказать, донести, не напрягаясь, не сорваться в паралич. Господи, ей уже не до меня. Это я ее! Быстрее. Успеть. В тот раз успел — и в этот. В этот? Шприц — где? Без света не. (Теперь чего? Не ехать и не спать? Вам говорю: бодрствуйте...) Полный свет! Где? где? правее, выше, вот.

Вспыхнуло. Краешком сознания, но во весь окоем, во весь окаянный окоем: капли алого на белой постели, — и продолжает капать, некогда задрать голову, некогда холодное на нос. Когда ей станет до того, ужаснется, сколько стирать. Какую сама себе устроила. Е с л и станет. Быстрее, вот он. Обертку потом. Ампулы? Вот. Срок годности прошел. Ничего, если что, вколю еще. Ну дрянь резак! а еще венгерский.

Купить надфилек для этого. Что, ждешь еще одного, третьего, раза? Последнего? А вдруг этот — пос... не каркай, обормот. Еще раз, с оттягом. Во. Не порезаться б. Да ладно — вали до кучи, и так кровушки из тебя повыпустили, как доктор Билли Бонсу. Унять, как только... Кровью в ампулу не капни! Голову кверху, но глазом скоси, а то мимо. Шмыгай сильнее. Опа! Лопнула-таки. Спокуха, втягиваем. Набрано. Спирт! где спирт, ёкорный бабай, не все же выпил? На кухне в колонке, точно. Аккуратно разогнись, с карачек вверх, голову кверху, шприц иглой кверху, не задень за дверь. Шнеллер!

Взгляд при вставании-стремглав-скольжении за дверь и на кухню лишь бегло скользит по телу, распростертому горизонтально, но вмиг отпечатывается на сетчатке, и в душе: как удавленная мышь. Плоско, компактно, оконтуренно. Придавлена, пришпилена к лобной постели. Бедная маленькая мышка. Это я тебя терминировал. Раскатал по кровати. Ломать не строить. Не смог тогда ударить в лицо? Но можешь бить лежачего. Что о себе теперь думаешь? А вдруг — паралич? Бревночеловек? До конца дней. Своими руками. А если самое стра... брось... А почему? смотри на вещи прямо, при таком сердцебиении да характер инфарктника плюс наследственность, он помер от сердца чуть старше ее, а она в него, ты посмотри, как она лежит, как труп в пустыне. А если п р о с т о паралич — тебе легче? это не та же смерть? Своими руками! Что тогда?..

Таккойй страх. Откуда? Часть секунды назад его не было, а вот он. Онн...

Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Спаси мя, Боже, яко вниdоша воды до души моей. Углебох в тимении глубины, и несть постояния. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближася.

Лежит как убитая. Да не как! Совсем. Это когда лежат не так, как те, которые потом встают. А как, как... да, да, как тот парень, что выбежал прямо на меня по зиме 77-го

года из «Ладьи», а за ним те двое, по наледи курвы-нелюди, и первый догнал его сзади ударом наотмашь по затылку или в ухо и завалил, а второй подскочил к лежачему и резко и точно ударил его ногой в бок, по печени или по почкам, и тот дернулся чуть вперед и назад головой, и изо рта у него выбросилось сколько-то крови, коротко пролилось, и больше он не дергался, а просто лежал, как когда не встают, лежал в самом центре столицы, на углу Столешникова и Пушкинской, и никто не мешал бить лежачего, все застыли и стояли, понимая, что происходит что-то серьезное, ужасное, но серьезное, чему мешать не то что страшно, но — нельзя, и смотрели молча, и один еще сказал: «Хороший удар»... Она так же лежит! Хороший удар. Слишком. Гамлеты в камуфляже стреляют без колебаний. Но это не я! Нет, я.

Скорее купировать. Успею? Не попусти Господи. Мати Божия Владычице, Царице моя преблагая, приятелище сирых, скорбящих радосте, Зриши нашу беду, помози нам яко немощным, окорми ны яко странных, не имамы иныя помощи разве Тебе. Всесвятый Николае, преподобне отче Серафиме, святая блаженная Ксение, преизрядные угодницы Божии, теплыя наши заступницы и везде в скорбех скорыя помощницы, помозите нам грешным и окаянным в настоящем сем житии. Сделайте так, чтобы я ее не убил, чтобы не паралич, ради Бога. Если только можно. Ради Бога. Я больше не буду...

Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлющи гласу моления моего. Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? Аще у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, уповах душа моя на Господа. От стражи утренния до нощи, от стражи утренния да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий его.

Быстрее. Переверни на спину. Плавно перекатывай. Не одной же рукой, бестолочь! А куда шприц? В зубы... Тяжелая. Твердая и завернута в себя, как раковина. Ватка, спирт. Укол! Как в масло. Хорошие у них иглы. А у меня рука, для дилетанта. Кто мне ставил руку? Он уже в Хайфе. Все,

больше — чего ж? Забабахал — для одного раза больше не. Все. Теперь — ждем. Ну же. Помоги. Ннууу.....

.....

.....Затмение ума. Впервые! 10 минут? 15? Не засек. О чем думал? Какая разница... Губы зашевелились! Слегка, но... Точно! Говорит. Слегка. Типа — лепет. Гули-гули. Но и то! И мышцы лица. И раковина чуть раздвинула створки. Или нет? Да точно! Взяло. Просрочено, а взяло. Пусть тому в Хайфе дадут работу по специальности, Заслужил. Научить полудурка вроде меня колоть уколы... Baby, you are lucky man. Ты ее не потерял! Ты будешь жить, дыша и большевея. Не факт. Вот если начнет как следует шевелиться, а потом тихо заснет — тогда да. Но пока все путем. Все слава Богу. Он ее пожалел, не меня. Меня-то за это за все я бы на Его месте... Ладно, сиди и смотри. Это минут на... сколько? Жалко, бросил курить... Вот тебе Час Че. Так и кончается ложь. Только не всхлипом, а взрывом, Так выясняется, кого любишь, в к о н ц е к о н ц о в — путем зерна, ценой потери. До поры до времени, озирая с пошлой скукой обладателя-по-прваy владенья свои, любишь лишь утраченное: Ту-себя, отрубленную вместе с ней часть себя: «я» в прошедшем, склеенное в твоем сознании с ее тенью, — призрачную призрачность прошлого, позволяющую наполнять образ утраченной женщины всем, чего чаешь от женщины-вообще-твоего-лучшего-«я»: абсолютным пониманием, ровной, ничем не выводимой из себя ласковостью, светящейся проницаемостью любовной направленности-на-тебя = «У Христа за пазухой»... И эта прозрачность, лишает былую любимую всех портящих ее, как и всякого земнорожденного, подробностей земного существования: особенностей кожи, покрасневших уголков глаз и кончиков ноздрей, запаха изо рта по утрам, слипшихся немытых волос, тусклого голоса, наводящего скуку, и многого, многого еще, — и взамен наполняет молчаливо-льдистым лунным свечением, голубоватым свечением призрака, манящим бедного лунатика; конечно, в таком соревновании с иллюзорной лунной женщиной былого у живой сегодняшней женщины с ее прозаической и непроницаемой земной — как бы хороша она ни была — телесностью, с душой, до-тебя-сформированной, полной не тем, чего тебе угодно, а тем, что ей Бог положил, — нет шансов.

Но, видно, стоит только раздасться грому — и перекрестишься. И вмиг ощутишь, как гремучая угроза потерять Эту раскалывает тебя до поджилок, до тьмы в глазах, слепящей в полутьме кромешной. Ад в полуаду. И потный ужас, столбняк изъятия себя из себя, утраты себя-настоящего, распада на еще живого себя и помертвевшую ее — с ходу перекрывает — и как! — казавшуюся до того невыносимой боль потери себя-прошлого, самоочевидно свидетельствует о действительном, невеликом масштабе ее, быстрехонько отодвигая Ту, безболезненно, бесследно вынимает ее из, казалось бы, только что кровоточившего сердца и перемещает в нуль форм.

Ну, спроси-ка себя сейчас, кого любишь: ее — или ее? Да себя, снова и снова себя. И, пока, не рискуя ничем, хочешь свести обе целостности, настоящего и прошлого, в сверхцелостность, во всевременное «я», сохраняющее в с е свое, Эту и Ту, и, пожалуй, Другую, и... ни от чего в себе, ни от кого в своем сердце не отказываясь, — попытка, стóящая, понятно, некоторого усилия сердца, главного хранителя всех вверенных ему единиц хранения, вроде бы удается. Не отдать ни пяди, ни вершка себя.

Но вот стоишь, застыв в столбняке перед лицом чего-то д е й с т в и т е л ь н о страшного, действительной возможности потери — и что-то главное внутри безоговорочно выбирает настоящее — и именно как н а с т о я щ е е, не мнимое, не просто отсекая прошлое как уже отработанный материал, но остро чувствуя при этом, что покидаешь белесо-туманную область, где властвуют призраки, миражи, навьи чары, покидаешь вотчину лукавого обаятеля, вечно вовлекающего в интригу подмены, извращающего даже безгрешное чувство жалости, обеспечивая ее отток из настоящего, где она насущна, в торону ни в чем не нуждающейся виртуальной реальности былого, мнимо-живого человека прошлого...

Что ж получается, неужели впустую великий труд Пруста, Бунина, Тарковского, да и всякого мало-великого человечка, временами тоже раскапывающего плюшкинскую кучу времени, занимающегося припоминанием как с о б и р а н и е м, созиданием себя? Неужели коллективный архивариус творит лишь очередную иллюзию временного, условного бессмертия,

чтобы затем, перед лицом смерти, отбросить ее, потому что последняя — если смотреть на нее из точки жизни вечной — признает лишь такую попытку самосозидания, которая может свершаться только как ряд постоянных отказов, отсечений-себя-предыдущего, то есть последовательное, неизбежно болезненное стирание драгоценных жемчужных мгновений прошлой жизни ради бесконечно огромной жемчужины жизни вечной? Неужели пуст и напрасен этот великий опыт Памяти — не памяти как необходимого осмысления былого, но памяти как его у д е р ж и в а н и я? Неужели путь этот ведет в тупик? Не может быть. Но только так, только то и говорит нынешний мгновенный, достоверный мой опыт...

Потеряв Ту, мучился утратой собственной целостности. И теперь страшусь того же? А = А. Вечное возвращение? Как бы не так! А = А, но человек не равен себе. Страшусь: того же, да совсем, совсем другого.

В бывшее мое «я» Та входила на правах т о л ь к о м о е й части. Нынешняя ситуация — это вдруг вошло в кровь вен, туда, где душа, как зимний воздух, кинжально входит через открытую форточку в накуренную квартиру — была чем-то совершенно иным, целостностью другого порядка, куда я сам входил на правах лишь части, неотъемлемой, но части более высокого целого. Такою же, как и я, частью целого была жена; главным же, тем, для чего и существовал наш союз, было третье, то, что начиналось в нас и протекало м е ж д у н а м и, то, чему я мог дать, как ни обрыдло мне это слово, как ни устал я от него, только одно имя: любовь. Любовь не как от меня вовне идущее чувство, но как самостоятельную непреоборимо стягивающую нас двоих воедино силу со своей особой жизнью, со своим лицом. Лицом Бога, Который есть Любовь...

Но любовь эта ничего общего не имела с тем, что обычно называют любовью: ни с увлечением, влюбленностью, страстью, ни с тем, что у одних — изредка — моцартиански счастливо случается само собой, по стихийному совпадению душ и просто сохраняется, консервируясь годами совместной жизни, у других же случается менее счастливо, но в целом удачно: стерпится-слюбится.

Это совпадение — не во всем, но во вкусах, привычках, романтическом настрое молодых провинциалов с запросами, в тяготении к созерцательности, а не к действию, а главное, в обертонах вкусов, оттенках привычек, частоте настроя — было у меня с Той. С женой все состоялось с точностью до наоборот: мы были людьми не просто совершенно разными, без малейшего сходства в чем бы то ни было, но людьми решительно и бесповоротно бывшими не во вкусе друг друга: центры нашего притяжения были так же различны, как у планет из разных солнечных систем. Прежде всего, мы не должны были встретиться; во-вторых, случайно встретившись, не должны были положить друг на друга глаз; в-третьих, влюбившись в виде исключения, должны были, самое лучшее, быстро охладеть друг к другу и спокойно расстаться. Первые две вещи, которые не должны были произойти, тем не менее произошли; последняя же, как раз обязанная произойти, не произошла. То единственное, что, уподобляя нас друг другу, со-единяло, стягивало нас, было чувство общности на глубине — но общности в чем, если не во вкусах, привычках, «взглядах», общей типологии индивидуального изгиба? — трудно сказать. Но чем труднее определить, тем яснее становилось, тем достовернее ощущалось: в общности этой есть что-то такое, чем люди и живы, — и потому наша связь, казалось бы, противоестественная при таком разводном «не-сошлись-характерами», на деле единственно естественная форма жизни, вполне уместное совместное жительство, со-жительство в правильном, утраченном смысле слова. Однако упругая сила, властно соединявшая нас, иногда вопреки нашей воле, ради своей цели, а не наших интересов, воедино, сталкивалась в своем натяжении с препятствием в лице нас самих: чем ближе, чем слиянней стягивались мы, тем больнее нам становилось от полного своего несовпадения в его многогранных и подробнейших бесконечных проявлениях, тем больше крови ободранных от постоянного трения душ стоило это, — и тем сильнее я ненавидел по временам жену и мстил ей за то, в чем она была без вины виновата.

Но по временам же, выныривая из ненастья ненависти, выруливая из раздражения, словно взлетая над собою самим и над ней, я видел происходящее, кажется, с головой пото-

нувшее в безобразиях, глумливых гримасах скандалов, корчах туда-обратного тупикового притяжения-отталкивания, — видел все это как неодолимую волю бесконечной любви, свершающую себя через ненависть, боль, рвоту, подобно тому, может быть (конечно, разве лишь так, как маленький треугольник подобен грани пирамиды Хеопса), как подвижник, стремящийся к свету, неизбежно и, надо думать, без особого удовольствия проходит через долгую полярную ночь великих искушений, мрак собственной слабости, блевотную бездну отвращения к своей испорченной природе. Жениться по любви — в анонимной этой от-вечной фразе пропущены не дошедшие до нас слова, могущие, однако, с большой долей уверенности быть восстановлены: жениться по (направлению к) любви. Бредя́ (бре́дя) по горло в ненависти, нелюбви, не-до-любви.

Любовь эта совершалась по странным законам. Она требовала, как я не раз убеждался, напарываясь на то, за что боролся, предельно внешнего, дистанцированного, холодного (в том пушкинском смысле, в каком холоден во время работы художник, владеющий материалом и своим вдохновением) отношения к Этой, доброжелательной отчужденности врача от пациента, которое только и помогает подключиться к чужой боли ровно настолько, чтобы помочь справиться с ней, а не настолько, чтобы заболеть самому. Требовала позиции чужого, изолированного настолько, что вывести его из себя невозможно, зато он может позволить себе безболезненно выслушать внимательно — и тем уже облегчить жизнь другого. И в то же время любовь эта требовала предельно внутреннего, не чужого, а именно с в о е г о отношения к жене, отношения-из нее-самой, подключая к мельчайшим из ее переживаний, сиюминутным паникам, скоротечным мучениям (отключили отопление! я так и знала! еще и это! чтоб загнать меня в гроб!): ей-то ведь они мелкими не казались, напротив, небо казалось с копеечку. Два эти требования любви очевидно исключали друг друга, их невозможно было соблюсти оба сразу, по той же причине, по которой врач, если ему вдруг придет фантазия на полную катушку вообразить боль, причиняемую им живому человеку во время мучительного исследования, не доведет его до конца. Собственно,

даже и одно из двух требований по отношению к б л и з к о м у д р у г о м у исполнить крайне трудно: поди попробуй как следует дистанцироваться от б л и з к о г о или, напротив, по-настоящему, изнутри прочувствуй д р у г о г о.

И однако, два эти взаимоисключающие требования — чем дальше продвигаешься по тому узкому коридору жизни, который от рождения задан каждому и в который выходит всегда только одна дверь, твоя, тем сильнее чувствуешь это — были равно, неотменимо обязательны к одновременному их исполнению. Ты просто не мог отказаться их выполнять: всякая попытка к бегству, всякая извиняющая ссылка на то, что ты не умеешь, не понимаешь ка́к, могла лишь оттянуть время, продлить привычную, комфортно-дискомфортную расслабленность жизнедления (жизнетления, прижизне-лепления), но всегда наступал момент, когда неприятная святая наука любви вколачивалась палкой, и пусть ты знал пока лишь азы ее и знал еще, с тоской и грехом пополам, что тебе предстоит по мере продвижения к большей любви неизбежное продвижение в ненависть, но назад дороги не было, позади было лишь прошлое, а прошлого не было, был лишь мираж, сон золотой, но ты уже проснулся — и всякий раз, пытаясь вернуться в сон как в жизнь, всякий раз, запретно оборачиваясь назад, понимаешь вдогон: если ты грешным делом немного и Орфей, то твоя Эвридика не позади, не в царстве теней, а, слава Богу, жива, в царстве живых — пока! пока еще! до тех пор, пока..! — и надо успеть любой ценой вынырнуть, успеть возвратиться из чары plusquamperfect'a, чтобы сохранить ее в вечном сейчас, чтобы самому не застыть соляным сталактитом. Столб еще не столп, и Лотовой жене так и не узнать истины. Вернуть себе живое чувство действительности, живой, кровоточащей любви. Любой ценой? даже такой, как нынче? кто знает. Если так вышло, если так все и вышло, если на то пошло, такой. Вернуть, или обрести, или набрести на любовь к ней по пути некоторого убийства ее.

Бред беды. Звериный запах потери. Вкус крови. Нельзя оправдать.

Привкус несчастья и дыма. Гибельная провокация. Нельзя оправдать. Правдой не оправдать кривду. Предельная кривда.

Своею собственной рукой. Никто из нас других не мастерил. Потому и не жалко. Ломать — не строить. Но предел, к которому стремится кривда, — правда. Зане какой еще ценой купил бы ты сейчашнее право, возможность или благодать увидеть в жалком, сыром от простудной испарины, только что издававшем спутанные полуптичьи звуки, замотанном во влажную сеть своих длинных волос измятом сгустке человеческого вещества, укрывающем внутри себя, в начинке, еще менее симпатичное вещество души, скрюченной, искалеченной многолетним марафоном болезни, — увидеть восстающее из тлена, нимало не уцененное сращенностью со зловонным прахом, отделяющееся от лежащего тяжкого тела, хотя и существующее в контуре его прориси (обведенный мелом на мостовой силуэт убранного отсюда убитого) драгоценное человеческое существо, осиянное чистым блистанием того, чего прекрасней и реже нету в подлунном, подсолнечном мире: прямой, не потаенной, не лукавой любящей женской души. Души, у-строенной, во-дворенной в подобающую ей стройную храмину тела, где шея, как столп из слоновой кости, и голова на ней, как гора Кармил, и волосы на голове, как пурпур, и глаза — озерки Есевонские, что у ворот Батрабима, и нос — башня Ливанская, обращенная к Дамаску, и стан похож на пальму, и груди — на виноградные кисти, и живот — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, и чрево — ворох пшеницы, обставленный лилиями; и общий тон всего этого — тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, как тон кожи Иды; и все это, все, как есть, перегнано в самогонном кубе Дионисия (ибо каждый художник — самогонщик, сублимирует исходное вещество на свой само-глаз, не имея государственной монопольной рецептуры), где ярь веницейская и веницейская желчь, киноварь, червлень и медянка, прозелень и вохры темные и светлые, голубец и бакан, и составной при помощи уже составного бакана багрец-багрик-багор, и коричневая мумия — все разбелено так, как умел только он, не до режущей глаз грязнотцы, но до пламенеющей льдистой мелодии цвета, до русской морозной ласки умывания снегом, в счастливом простом любовании достигнутой, наконец, небесной землей Ханаанской, благоухающей млеком и медом, где никогда не умолкает тишина, в

облистанном любовании и замринании (да будет эта опечатка напечатана!) восхищенного сердца.

Увидеть всю ее, в багрец и золото одетую жену, в чистое золото, твореное на чистейшей вишневой камеди, святую сеть уловления человеков, двойным зрением, нормально-исключительным зрением, при-свояемым Богом су-пругу, узреть сразу то слишком земное, что притягивает поначалу и всегда отторгает потом от любой из любовниц, и то первородно-небесное, чего ищешь и чего никогда не удается найти в любой из любовниц, даже в мерцающем мираже прошлого, — спокойно обозреть в с е, альфу и омегу того, для чего и сотворена женщина, без чего п л о х о ч е л о в е к у б ы т ь о д н о м у — и онеметь от преизбыточествующей жизни.

Светало. Кисло, маслянисто пахло сквозь щели, незримые миру, закрытых наглухо и проложенных поролоном окон и форточек испражнениями бензиновой пищи центр-центр-москвы. Сопротивляясь давящим его в четыре ряда утренним шустрым центральным автомобилям, асфальт содрогался, ворочаясь, как медведь в берлоге, трогал, пошатывал коробку дома. Уж не ехать сегодня, это ясно, как Божий неясный, пасмурный, впередиждущий день. Не высказать всего, не облегчить душу, закоснеть в нераскаянном грехе, добавив, мало того, сегодняшнее, только-что-шнее, это кто поймет, кто отпустит — не он, ясное дело, а Бог, Бог отпустит? Бог только и знает, отпустит или нет. А он бы не отпустил. Или сразу отпустил бы все грехи. А этому? И этому? И этому? Этим — никогда. А что ж тогда он выступает? «Не поеду» — да ведь этого он и хотел тайком, чтоб была причина дать себе послабку не тащиться очумев по первопутку, — и вот нашел! уж не для того ль он все это и разыграл? ну уж нет, нет, нет! ну-ну, поверим. А Он поверит? Голубь на подоконнике. Чу, птица бодрая, лети, лети. В сельцо Измайлово, в чертог теней вернешься. Никто из нас другим не шестерил. Хотя поползновения

зловещи. Иду-иду... А если бы, то через полчаса, нет, через час катил бы по Ярославке. Там — зима. А здесь — здесь уже скоро ледоход. Но пока еще. Весна, река. Все льдиночки прильнули К живой воде.

Думая о с в о е й обретенной любви, он опять забыл о н е й с а м о й. Лукашка поджидал его всегда, везде.

Смотри — не спит. Сколько прошло, а не спит. Молчит, смотрит перед собой. А если все пошло назад? начало помогать, но не... Все-таки мало вкатил! Добавить. Что сидишь. Пошел!

В три прыжка оказавшись на кухне, неровно от нетерпенья отколов горлышко ампулы, он в шесть шагов вернулся в комнату, подняв острием вверх наполненный ядовитым лекарством шприц, неся жене возможное спасение на конце иглы, полной любьи.

Светало Смеркаясь Светило

Москва, 1995

НА ОСТРОМ СКВОЗНЯКЕ ВОСПОМИНАНИЙ

* * *

Лишь подводя итоги в декабре,
И глянув на судьбу с другого бока,
На годы, что построились в каре,
Поймешь, как жизнь пуста и одинока.
Где этот мальчик, в солнечном окне
Следящий белый крестик самолета,
Гудящего в осенней тишине,
И римскую пятерку перелета,
Скользящую по небесам на юг?..
Где шалопай, лежащий на соломе,
Который выбрал в скопище наук
Науку грусти, что таится в слове?..
Где эти люди, родина и мать?..
Лишь призраки толпятся у порога,
И продолжает сигарету мять
Рука непроизвольно, и у Бога
Бессмысленно просить за мир, увы,
Людей исчезнувших из обихода
Без суеты и горестной молвы
В той очереди серой, как пехота,
Где ты стоишь, придвинувшись уже
К самой решетке, за которой бездна
Ревет, как зверь — в подземном гараже,
И просьба о пощаде бесполезна...

1996

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ — родился в 1947 году в г. Кировабаде (ныне Гянджа, Азербайджан). Окончил Московский полиграфический институт. Автор книг стихов «Тетрадь» (1984) и «Лицом к погоде» (1995).

* * *

Напрасно... Не проси
У Господа, простак,
Ни запоздалый кров,
Ни запоздалый ужин.
Ты появился здесь
Совсем не просто так,
Востребован судьбой
И для чего-то нужен.
Как, скажем, мотылек —
Для пламенной свечи,
Как бледный стеарин —
Для ассирийской меди...
Не знаю почему
Мерещится в ночи
Томительный финал
В пошлейшей из комедий,
С которой ты уйдешь,
Когда придет пора
Явиться на коне
Безумному ковбою...
Всего не объяснить
При помощи пера,
В пустой бессонный час
Беседуя с собою.
Но можно поглядеть
На контур фонаря,
Что отразился весь
В провинциальной луже,
И аллилую спеть,
За все благодаря,
И вспомнить про друзей,
Чья жизнь сложилась хуже.

1995

* * *

На горестном ветру
В начальных числах марта
Бессилие души
Не описать пером.
Проносится такси,
И хриплый голос барда
В приемнике поет
Про Волгу и паром.
Предчувствие беды
Пугает в русских веснах,
И беззащитен мир,
Что окружает нас
На этих виражах,
В потоках перекрестных,
Где, забывая жизнь,
Ногою жмут на газ.

Проносится такси
По слякотной Волхонке,
Рекламы мельтешат,
Шофер к рулю припал.
Хохочет за стеклом
Красавица в дубленке,
Но смеха не слыхать —
Проносится оскал...

А ледяная ночь
Уже летит на зданья,
И хрупкий мир висит
На скрюченном гвозде,
И возникает дом
На площади Восстанья,
Как будто крокодил,
Застывший на хвосте...

* * *

Когда зарождается смерч
И гасит в приходах лампады,
И пляшет безносая смерть
Под ритмы беспечной ламбады,
Когда этой пляски волчок
Взаправду, а не на картине,
Когда вместо глаза — значок
Со звездочкой посередине,
Тогда не болезненный бред
Художника или артиста
Являет на сумрачный свет
Фантазии сюрреалиста,
Где машет флажками урод,
Где баба кричит истерично...
И входит несчастный народ
В кровавую реку вторично.

* * *

Цветаева, и Хлебников, и Рильке!..
Одолевая дивный сопромат,
Ты счастлив, ты выходишь из курилки
В тот незабвенный, в тот далекий март,

Цитируя зачем-то: «ночь... аптека...»,
Когда вокруг по-вешнему пестро.
Осталась за углом библиотека —
Дом Пашкова, и мы спешим в метро

По наледи хрустящей, а за кромкой
В бездомной луже ежится закат,
И от прекрасного лица знакомой
Исходит свет, слегка голубоват...

И день многоголосый, уплывая,
Томительно-нетороплив уже,
Но лестница летит, и угловая
Квартира на последнем этаже,

Где, чиркнув спичкой,— от крюка с одеждой
И до планшета с «Вечною весной» —
Хозяйка озаряет, как надеждой,
Свое жилище свечкой восковой.
И разговор, что вязок был, как тесто,
Из-за смущенья, из-за суеты,
Волнует ощущением подтекста:
«Любимая?..»
«Мой милый, это ты?..»

Мне восемнадцать, но уже на части
Расколот мир, и столько чепухи,
Когда бы не особенное счастье
Любить искусство и читать стихи...

И говорит во утоленье жажды,
И жарко ловит воздух нежным ртом...
Так выпало ей говорить однажды,
А слушавшему вспомнится потом

И чистый голосок, пропавший где-то
На перепутье большаков и трасс,
И как она — бледна, полуодета —
Себя дарила в жизни первый раз.

И то, что ощутил — впервые, Боже —
Свободу равнозначную реке:
Лежи и созерцай рассвет на коже
И первый луч на зыбком потолке.

— Любимая, — он скажет много позже, —
Кому Франческа, а кому Кармен...
Иные связи стоили дороже,
Не отдавая ничего взамен.

Лишь этот миг на чувственном пределе
В каморке бедной близ Москва-реки...
Тогда не я, тогда Земля при теле
Была — как шарик с ниткой — у руки!..

* * *

Ах, как давно я не был там, сказал я себе.
Ив. Бунин

Мне не хотелось думать о делах,
Звонить кому-то,
Говорить о чем-то,
И я решил, махнув на все рукою,
Послушать ночь
С ее тревогой нежной,
Которую внушает лишь весна.

Мне захотелось повидать тебя...
Но проходя по улице,
Которой
Не хаживал лет шесть,
А то и больше,
Я был почти спокоен,
И меня
Не умиляли контуры былого,
Холодным равнодушием дыша.

А вот и он — знакомый переулок,
Но что это?! —
Осколки кирпича,
Обугленные стены,
Экскаватор,
Прожектора,
Направленные косо,
И глухота,
Такая глухота!

Но дом,
Где ты жила,
Еще стоял.
И я застал зеленый огонек
В окне моей любви полузабытой.

И я пошел,
Но встретил голоса:
«Съезжаем завтра...» —
Говорила тьма
Мужским веселым басом,
И в ответ
Старуха, очевидно,
Отвечала:
«Давно пора съезжать...»
И я сначала
Остановился,
А затем по доскам
Неловко выбрался из переулка.

Зачем я эту совершил прогулку —
Не знаю,
Но холодная,
Сквозная
Возникла тяга.
Я побрел к мосту.

Москва-река несла последний лед,
И город засыпал,
И ветер волглый
Пронизывал,
Но сделалось легко
От ощущенья, что с тобой простился
На остром сквозняке воспоминаний,
Которые обманывают нас.

Куранты за рекой пробили час.
В душе возникла радость созерцанья
При виде звезд и медленной луны,
Что освещала мартовский асфальт
И грубые
Чугунные перила
На выгнутом безлюдии моста...

Самостоятельность

Уже у меня
Не осталось ни пальто,
Ни брюк, ни плащей,
Купленных на мамины
Очень щедрые деньги.

Утро в сквере

В розовой дымке
Звонко бегут трамваи,
Черная кошка
Замерла возле урны,
Летчик ищет пропеллер...

Путь

Из грязи — в князи,
Из зерен — в караваи,
Из детства — в старость,
Из Москвы — в Нагасаки,
Из темноты — в пустоту...

СОБАЧЬИ УНТЫ

Из недавнего[1]

Старика Грибова чтили в управлении за способность пусть несколько шатко, но щекочаще-завлекательно объяснять смысл жизни. Грибов числился по снабженческой части и не такой уж был, кстати, старик. Два года исполнительной беготни по промерзшей земле были брошены им на кон в надежде на итоговый выигрыш — полную пенсию. В биолаборатории, где он проторчал полжизни, вводя в анабиозное состояние морских рыб, платили анабиозно-вялую зарплату, не приглашавшую человека трудиться, а как бы выгонявшую его за дверь, и биолог стал снабженцем трубопроводного хозяйства — безбрежного, ненасытного. Обещанную комнату в общежитии ему так и не дали, полтора года Грибов покорно проживал в многолюдных номерах гостиниц и домах колхозников.

— Мы рождены для созерцания природы! — так обычно любил начинать Влас Иванович проповедь своего доморощенного квиетизма соседям по коммунальной ночлежке. — Утром надобно встретить солнышко, а вечером проводить его в жемчужной тишине. Иначе день прожит попусту!

Михаил ВОЗДВИЖЕНСКИЙ — родился в 1937 году, в селе Рождествено Московской области. Окончил Станкоинструментальный институт и Московский институт электронного машиностроения. Печататься начал в 80-е годы. Автор книги повестей и рассказов «Три с половиной» (1991), публиковался в журналах «Север», «Октябрь» и др.

[1] Журнальный вариант. Из неопубликованной книги «Страсти по-славянски», выходящей в издательстве «Дом Русанова».

— А сам чего подался в Сибирь ишачить? Лежал бы и созерцал! — ехидно, а то и зло останавливали иной раз новоявленного философа.

— Сам я такой же слабак как и вы! — отвечал Влас Иванович. — Дочь, внуки... Ради них, мне самому ничего не нужно!

— Фигня какая-то, Влас Иванович! Ничего не делать, что ль, валяться и глядеть по сторонам?

— Почему? — возражал Влас Иванович. — Накормить и одеть себя по климату необходимо!

— Видишь! Уже, стало быть, вставай, паши!

— Человеку для прокорма немного требуется. А вы все вконец зациклились на своей работе, она в центре вашего существа! Это смешно. Да вы и сами это чувствуете, иначе бы не спорили со мной. Не для одной же работы родились вы на свет Божий! Есть же мечта и у каждого. Наверное, думаете и о каких ни то удовольствиях...

— Теперь о Катьке думаю, у меня сейчас ох какая Катерина!.. — Но Влас Иванович не давал сбить себя с серьезного тона.

— Катерина — не исключается. А помимо Катерины о чем мечтаешь?

— Скорей бы воскресенье, бутылку возьму, отдохну как следует! — встревал в разговор какой-нибудь весельчак.

— Бутылка — примитив, неужто в ней ты видишь?..

— Ясно не в ней. На рыбалку тянет, поохотиться. Здесь, вообще-то, доступно!

— Вот, вот! Заметьте, все богатеи отдыхают на рыбалке или охотятся. А совсем богатые имеют яхты, виллы на море. И чем богаче человек, тем чаще проводит время на природе! А мы? Нам в охотку валяться на бережке — вещь, казалось бы, недоступная. Но ведь коли выбросить из головы яхту, заменив ее простенькой лодочкой, а богатый коттедж — шалашиком, то и лежи себе отдыхай, посматривай на изумрудное море!

— Как только не посадили тебя, дед? — сдавался нехотя спорщик. — За пропаганду тунеядства... Все у нас призывают к ударному труду, один ты зовешь валяться.

— Не я один. Есть известная притча на этот счет. Рыбак вытащил сеть и развалился на берегу. Подходит к нему умник, вроде вас вот, и спрашивает: что же ты валяешься, дурак? — А что? — Так идет же рыба! Забрось сеть во второй раз! — А зачем? — Как зачем! Продашь лишний улов! — А зачем? — Станешь богаче, идиот, купишь себе новую лодку, поставишь мотор! — А зачем? — Будешь ловить много рыбы, купишь дом, наймешь работников! — А зачем? — Сможешь тогда ничего не делать, валяться на берегу! — А я и так валяюсь...

— Слышал я нечто подобное...

— Вот-вот, — зевал Влас Иванович. — Человек заплутался в дебрях жадности и глупости, потерял свежий взгляд. А, допустим, умирает трудящийся, о чем он вспоминает в последние минуты? Не о станке же своем... Человек как самое дорогое вспомнит голубое небо, изгиб какой-нибудь речушки, зеленый луг, море, конечно же, теплый пляж. И проклянет свою работу, эти восемь часов в день, да плюс еще два часа дороги в толчее...

Влас Иванович тяжело укладывался. Подушку он подталкивал к спинке, чтобы повыше было голове.

— Все лишнее, дорогой, все ненужное, — уже без всякого задора говорил он, вытягивая гудящие ноги. — Все мы здесь корячимся по глупости. Я тоже во власти предрассудков. Не они, — ходил бы в парусиновой робе, как на корабле, а уж на ноги — хотя бы летом — одевал одни только лапти, самый свободный вид обуви!..

— А что? Может, дед и прав... Что-то есть в его ахинее, — с некоторым уважением признавал в конце концов кто-нибудь из собеседников, соглашаясь в душе с тем, что заработанные деньги все равно уйдут на бабьи тряпки, мертвую мебель, в лучшем случае — на автомобиль, который не очень-то и нужен, зато прибавит забот, усугубит суету. Влас Иванович в эту минуту виделся ему уже не чудаком, а мудрецом. — Что-то есть... — повторял бедолага. — Несуразица правит!..

Влас Иванович отворачивался к стенке. Никто не обижался на прерванную беседу, все знали, что философ возвращается домой вконец измочаленным, видели, как он

ужинает в буфете, как машинально жует рыбные котлеты с рисом, как передергивается и морщится, перебирая, наверное, в уме выполненные и еще не выполненные неисчерпаемые поручения...

Не должно быть такой профессии, думал под одеялом Грибов, да ее и нет, есть одна бредовая должность, символ идиотизма. Нехватка швейных игл на Камчатке, а картошки в Иркутске при движениях снабженцев не так заметна, и ты, добытчик всего, чего не оказалось под рукой, в сущности — преступник своего рода, поскольку из-за твоей прыти терпят само планирование... Милое дело — планировать из Москвы! Вот отчего, господа умалишенные, рукавицы под мороз легко добыть в Туркмении, а два томика Заболоцкого, товарищи юродивые, найдешь не в столице, а в сельмаге деревни Кувалдино на полке с москательными товарами, и Заболоцкий будет вечно пахнуть керосином и замазкой. А ты все тешишь себя препотешной теорией бытия, и тебе не стыдно... Издевательский эксперимент над людьми надо было ставить в сильно замкнутом пространстве, в махонькой стране, чтоб премьер-министр смог объехать все заводы и стройки с записным блокнотом за неделю. А ты, седовласое лукавство в игралище идиотов, оказался в самом пекле. Полтора года унижения должностью!.. Свет рождает тень, отвращение рождает страх, и ты раздавлен им. Крик твоего начальника Мироненко бьет по твоим издерганным нервам, презрительный взгляд его, — по твоим воспаленным глазам... И никогда земля эта не оскудеет такими человеками с начальственным взором, потому как на этой земле изгажено само понятие «человек» и понятие «жизнь»...

Грибов вспомнил брезгливо скривленные губы Мироненко, когда тот орал ему в лицо: ты не справляешься, старик, бригада стоит без кислорода, плевать мне на то, что закрыта кислородная станция, меня не интересует твоя информация, меня интересует кислород! Однажды Грибов и вовсе испугался, что начальник его ударит — когда Мироненко с уже совершенно перекошенным лицом, крутя растопыренной пятерней, вдруг приблизился к нему почти вплотную и прошипел: докладываю тебе, великий снабже-

нец, что пропан на исходе и если бригада встанет из-за пропана, я тебя, негодяя, вышвырну отсюда через минуту, понял, ты у меня не увидишь своей сраной пенсии!

Мироненко увольнял людей безжалостно, иной раз не предупреждая вовсе, человек утром приходил на работу, а его спрашивали: ты что, Петр Степанович, разве не видел приказа? И никто не восстанавливался по суду, никто об этом и не помышлял, понимая, что председатель постройкома Грушко также зависит от начальника. Да и бьющееся сердце все же дороже, чем оклад с северной надбавкой. Влас Иванович хватался за левый бок, вспоминая то жуткое утро, когда сын вошел в воду, он смеялся и что-то рассказывал ему, стоявшему на берегу маленькой речки Уфтюга — Андрей смеялся и вдруг осел, и Влас Иванович подумал, что он просто окунулся перед тем, как поплыть, вода была холодноватой, так всегда делают. Но как-то странно осел Андрюша, и потом врач в морге сказал Власу Ивановичу, что сердце разорвалось мгновенно... Господи, думал Влас Иванович, молодой, здоровый сын, и всего лишь холодная вода... Я же старый душой и телом, а тут этот крик, ежедневный, истошный. Как же я живу?!

Поворочавшись под одеялом, Влас Иванович заставлял себя, наконец, переключить свои мысли на дочь, которой он ежемесячно высылал сто двадцать рублей — приятно было думать о тех двух пальтишках с меховыми воротничками, которые он приглядел для внучек и которые собирался купить через девять дней, когда должны были выдать квартальную премию. Перед глазами возникала и другая цифра — 180. Всего 180 дней осталось до его дня рождения, самого желанного за всю жизнь, когда он по-настоящему родится —только уже для новой жизни. Он сядет за стол, напишет заявление, а потом отправится в аэропорт за билетом — ну что такое 180 дней, только выдержало бы сердце, рабству срок всего полгода, этому миражу жизни, которую все торопят — скорей бы долететь, доехать, дожить до получки, дожить до пенсии... Но ведь даже если властвует мираж, а не сама жизнь, торопить время — греховное самоубийство, во всяком случае — абсурдное! —

опять возвращался в привычную колею своих невеселых мыслей Влас Иванович. — А как научиться не торопить?.. Проснешься — и осознание абсурдности опять отступит перед серым утром, грязным буфетом с рыбными котлетами и дурно пахнущим чаем, и послезавтра снова такой же день, и много отдашь, чтобы он как-нибудь побыстрей проскочил, пусть и за минуту!..

День выдался волчий. С утра Грибов привез на установку стабилизации восемь баллонов ацетилена. Газик по распоряжению начальника спецучастка был тут же отправлен на аварию, и лишь он укатил, выяснилось, что бригаде Клейменова срочно требуются две шлифмашинки. Немецкие машинки фирмы «Бош» можно было достать на складе заказчика, который находился в Сосногорске. До Сосногорска курсировали четыре рейса, Грибов едва успел сесть на второй и все полтора часа тряски по разбитой дороге прикидывал в уме осложнения, которые мог навязать начальник базы Хуснутдинов. Из прикидок выходило, что на последний рейс он не успеет даже без каверзных ходов Габдуллы Халиловича. Так и вышло. Хуснутдинову, к счастью, требовались австрийские электроды, машинки он отпустил без особой ярости выжать из просителя поболе, но бумаги из рук в руки, машинки из рук в руки, обещание привезти электроды сначала из уст в уши, затем на бумаге из рук в руки — все это заняло время, и Влас Иванович, конечно же, опоздал на рейс. С добычей, перевязанной проволокой, он поплелся по дороге, попутных было мало, со свободным местом в кабине оказался только «Магирус», который подтащил его километров пятнадцать и свернул на Ижму. Семь верст Грибов отмахал со своим грузом пешком и появился в управлении только вечером. И тут услышал, что сам Белохарлин прибудет к ним через час, а посему приказ Мироненко: всем быть на местах.

Главный механик Крестокрытов, сплюнув окурок, присел на край стола Грибова:

— Встречался я с Белохарлиным! Босс! Удушливый мужик. Людоед! Собрался уже в Москву, да начали рваться трубы!

— Что мне до него! — махнул рукой Грибов. — Пусть лютует, я человек незначительный, вроде паучка какого...

— Не скажи! Огребает всю мелочь. Вечный командир. Солидный, под ним машина проседает. Не повезло, именно на нашем участке трубы гавкнули. Живет-то он в *том* доме, где ты был тогда!

Год назад упрвляющий трестом Рубцов подвернул ногу, и его из гостиницы поселили в *той* квартире. Грибов относил ему палочку и заодно какие-то бумаги. А говорят, нет чудес на свете, усмехался потом Грибов. От прихожей, выложенной коврами, уходили в разные стороны комнаты, шпарили люстры, света было много, как на экваторе. В одну из комнат женщина таскала блюда, подносы, сначала с рыбой и икрой, а потом вазы с фруктами, виноград и персики, а еще массандровский портвейн, а затем нечто диковинное, похожее на маленькое солнце. На блюдце лежали дольки ананаса, а само блюдце покоилось на другом, из нутра которого шел свет, свет проникал через отверстия верхнего блюдца и все горело. Рубцов вынес подписанные бумаги, Грибов вышел из квартиры, не понимая, откуда в этом городе виноград и ананасы, откуда прихожие с потолком под драпировкой из дорогой ткани, видимо, в стране помимо бюджета есть еще сверхбюджет, а 58 лет недостаточно для понимания окружающего мира.

— Представляю, как крутятся вокруг Белохарлина в *той* квартире! — сказал Влас Иванович Крестокрытову.

Степан Викторович Белохарлин или, как называли его местные начальники, — генерал Белохарлин, — прибыл в город неделю назад. Местные газеты сообщили о приезде замминистра заблаговременно, как бы давая понять, что они помнят о крупной должности в ЦК партии, которую Белохарлин некогда держал. Провинциалы отличаются дальнозоркостью, человек им видится в перспективе. Городок с обветшалыми домами, тесными кабинетами и грязными площадями по прибытии Белохарлина сразу превратился в некий центр мироздания, обрел значительность.

Сваренный газопровод был поставлен на испытание, заканчивался монтаж установки стабилизации, но Белохарлин умело ткнул десницей на огромное количество недо-

делок, которые он, благодаря таланту руководителя, просто интуитивно угадывал. Любая мелочь, будь то невырезанная байпасная линия, незасыпанный участок или незаизолированный захлест, попав в водоворот его могучей грозной речи, запротоколированной и размноженной, превращался в вопиющую халатность и чуть ли не преступление. Наблюдательный человек мог бы, однако, заметить, что, меча вокруг молнии, сам Белохарлин внутри себя оставался исключительно спокоен — даже когда лицо его излучало крайнее возбуждение и окружающие воочию наблюдали яростное подергивание красных щек и угрожающе сдвинутые брови. Этот антураж выработался, прижился, был доведен до автоматизма годами — с первых же командных постов, которые Белохарлин заполучил, вполне, как ему, конечно, казалось, закономерно. Расчет был безошибочный: весь облик такого вот вечно недовольного руководителя должен был восприниматься — и действительно воспринимался — подчиненными как олицетворение особой ответственности крупного чиновника перед неким высшим, недоступным для других судьей, и если даже у кого-то во время разносов и могло возникнуть ощущение театрального действа, это не особенно беспокоило Степана Викторовича: прозорливец тут же стремился поскорее упрятать свои подозрения куда-нибудь поглубже и еще скульптурнее вытягивал перед генералом Белохарлиным свое подобострастно-слушающее лицо...

Набрав в карман достаточное количество мотиваций для обозначения строящегося газопровода как крупнейшего государственного деяния, Степан Викторович собрался отбыть в Москву, но тут раздались первые взрывы и в городских квартирах полетели стекла. Белохарлин оживился. Вызванный к нему из управления специалист по сварке инженер Истрин пояснил, что полетела шведская труба: внешнеторговые чиновники, погнавшись за дешевизной, оформили поставку в спешке, не учли низкую хладноломкость металла. Однако сваренные стыки выдержали — труба рвалась по телу, а что касается сварки, то волей-неволей провели прекрасный эксперимент, освоив новую технологию... Степан Викторович оживился еще пуще,

ситуация выходила «под него»: есть возможность развернуться, показать свое искусство. Белохарлин легко побагровел, непринужденно задрожал и страшным взглядом обдал стоявшего перед ним рассудительного смельчака.

— Что вы мне засираете мозги! Какие е... вашу мать, могут быть эксперименты! Газопровод подлежит сдаче к 31 декабря! Мальчишки! Преступники! Я вас вместе с начальником уволю к чертовой матери! Вон отсюда!..

Белохарлин поднял на ноги головной институт, вызвал из Воронежа проектировщиков, провел пять экстренных совещаний, — люди шатались от усталости, то есть были приведены в состояние нужной боеготовности.

— Вы здесь устроили настоящую войну! Гремят взрывы, скоро люди побегут в бомбоубежища (остроумно сказано!), а вы двигаетесь, как вареные. Три дня на ликвидацию аварии!..

Белохарлин давно уже осознал: любое ЧП — подарок судьбы, без них быстро обнаружится ненужность аппарата высокооплачиваемых надсмотрщиков, ослабеет власть касты номенклатурных богоизбранников, что воспарили над сараями, уличными туалетами, душами людей, болотами, стадионами и лесами. Белохарлин обожал чрезвычайные ситуации, подобные теперешней. Ведь и с этой аварией в конце концов разберутся, сроки подгонят, тем более, что они, хе-хе, определены ЦК первым кварталом будущего года; это только для всех остальных срок — конец года, они и не должны подозревать о запасе! Оставалось лишь максимально красиво, с привкусом риска (министр, конечно, начнет отговаривать, — прелестные минуты! — сумасшедший же мороз, а он, Белохарлин, поедет непременно в ночь на машине — именно на машине, а не вертолетом!) закончить эту командировку — сегодня же отправиться в управление, спуститься в низы, выступить не перед руководителями, а перед прорабами, механиками, мастерами — показать им наглядно, что министерские чиновники так же не знают границ дня и ночи... А потом, когда все после совещания лягут в постели, уехать в тайгу!

Речь он сказал напористую, но в ответ на его обвинения начальник спецучастка Мироненко, тщательно подбирая

слова, объяснил, что пять километров труб обычной поставки уже вывезены, что сварят их за три дня, работа уже начата, что сам он может завтра в этом убедиться...

— Что значит завтра?! — грохнул кулаком по столу Белохарлин, чуть не угодив в валяющуюся кнопку (сколько раз говорил себе — смотреть куда бьешь!) — Завтра утром я буду докладывать министру!

— Завтра будет вертолет, — растерянно сказал Мироненко. — Экипаж предупрежден, вылет в восемь утра!

— Никаких завтра! Готовьте машину. Желательно с рацией.

— Нужен краз... Вы будете ехать семь часов. Сейчас одиннадцать, пока соберемся... Ничего не выгадаете!

— Семь, так семь! А завтра за мной пришлете вертолет. Соедините меня с Москвой. Разница три часа, у них восемь. Прекрасно.

— Вы же в ботиночках. Надо унты, надо шубу...

— Распорядитесь, не помешает... Соедините с министром!

— Может, все же передумаете?

— Что за разговоры? Занимайтесь, чем вам приказано!

Степан Викторович хорошо выспался, прихватив днем после обеда три благостных часа. Для приема чрезвычайных столичных персон в спецгостиницу — из Москвы же — заранее приезжала обычно Альбина Захаровна, известная всей кремлевской и околокремлевской элите. Часть продуктов для Белохарлина была завезена из той же Москвы, часть доставлена из столицы автономной республики, так что первый ужин Степана Викторовича ничем не отличался от привычного домашнего, даже выглядел несколько изысканнее. А вечером, услышав о намерении Степана Викторовича отправиться на трассу, Альбина Захаровна передала после ужина шоферу сверточек с едой, термос с горячим шоколадом и небольшой штоф с водкой.

Меж тем перед дверьми кабинета Белохарлина Мироненко инструктировал Крестокрытова.

— Готовь краз, Владимир Эдуардович!

— О, господи! Чего смотреть? Ну разошлись трубы...

— Не переубедишь. Видать, ему приспичило показать свою прыть. Черт с ним, не наше дело. Сергей оказался бы трезв...

— Предупредил, как чувствовал.

— Беги, Эдуардыч!.. Так, кто у нас еще? Влас Иванович... Где он?

— Сидит у себя. Где еще...

— Быстро его в кабинет!

Грибов, войдя вслед за Мироненко, встал у дверей — он никогда не подходил близко к столу начальника. Мироненко стал выяснять у Белохарлина размеры его фигуры.

— Слышал, Влас Иванович? —громко сказал он, повернувшись к Грибову. — Быстро шубу, унты, унтята!

Грибов уже был почти за дверью, но Белохарлин остановил его: «Э-ээ, постой, любезный!»

...Тут надобно заметить, что Степан Викторович пользовался ко всему прочему еще и славой удачливого ловеласа и тайного щеголя. Находясь на даче, выезжая на охоту, он любил поразить окружающих сногсшибательным туалетом. У него имелось премножество специфических вещичек, придававших его облику налет романтической авантажности. То были вещи-следы от обширных поездок в жару Кара-Кумов, в суровые закоулки сибирской акватории и в иные уголки необъятного нашего отечества — тулупы и лосиные пимы, туркменские тюбетейки и узбекские халаты, меховые костюмы летчиков и даже комбинезон химика, в котором он прошелся как-то по топям Кутамыша. Валялось и несколько пар унтов. Но почему-то одни цигейковые, почему-то ни разу не получал он унты на собачьем меху — пусть менее теплые, но куда красивее овчинных. Он давно мечтал заполучить именно собачьи унты. Услышав теперь об унтах и зная, что выданное для поездки достанется ему навсегда, Степан Викторович оживился и остановил снабженца.

— Э-ээ, постой любезный! А унты у тебя какие?

— Цигейковые, не беспокойтесь! — ответил Влас Иванович.

— А собачьих нет?

— Так цигейковые теплее...

— Возможно. Но цигейковые жестковаты, куда как подходящи для одной поездки были бы собачьи. К ним легко привыкает нога!

Вошла секретарша и сказала, что на телефоне министр. Степан Викторович поднял трубку. В кабинете воцарилась тишина. Белохарлин жестко расписывал сложившуюся обстановку. Валентина Ивановна поставила на стол стакан с чаем. Министр принялся отговаривать Белохарлина от ночной поездки, и в этот момент Валентина Ивановна звякнула чайной ложечкой. Степан Викторович побагровел, вздрогнул и, закрыв ладонью микрофон, неожиданно громко крикнул:

— Отставить чай!

Мироненко с подчиненными выскочили из кабинета. Влас Иванович в растерянности остановил начальника.

— У нас нет собачьих унтов, Александр Галактионович!

— Ты что — с ума сошел? — растерялся Мироненко. — Иди ищи!..

— Так ночь же. Где искать?

— Не морочь мне голову, Влас Иванович. Я что ли тебя толкаю? Бери мою машину, лети, куда глаза глядят, но без унтов не возвращайся. И времени тебе — час!

На своем складе Грибов взял меховые рукавицы и монгольский полушубок на белом меху. Подумав, забрал цигейковые унты с унтятами. Собачьи унты могли оказаться лишь у Канаева, — год назад лесозаготовители получили партию. Но ведь год назад! И потом: с Канаевым положено было договариваться через ресторан — и вовсе не потому, что тот любил выпить на халяву, а потому, что Константин Васильевич был своего рода эстетом, уважал красивую беседу. Причина визита к нему должна была витать в воздухе, о ней следовало обмолвиться лишь в конце застолья, как бы между прочим. Канаев любил пофилософствовать с Власом Ивановичем, договориться Грибову с ним было бы нетрудно, но теперь Канаев наверняка набрал уже дозу, дозу мертвую, и его еще надо разбудить. После того, как трест «Промлес» начал сотрудничать с японской фир-

мой, а та открыла на лесосеке магазин с обувью, женскими кофточками и радиоаппаратурой, фигура Канаева вознеслась выше сосен, поднялся и уровень подарочных доз общительных напитков, так что спит сейчас Канаев, наверное, под сильным наркозом.

Однако другого варианта не было, и Грибов покатил к Константину Васильевичу. Перед глазами стояла фигура Белохарлина, и Влас Иванович стал размышлять над тем, отчего вдруг возникает страх перед таким человеком. Я видимо болен, сказал себе Влас Иванович, у меня все болезненно, во мне сама жизнь отзывается болью, и я эту боль уже ставлю выше всякого здоровья... Человек, пославший меня небрежным жестом в ночь, здоров и силен, он интуитивно отгадал во мне силу боли, различил в моем облике знак боли и мою ей покорность... Наш специалист по сварке Истрин тоже из породы вечно больных, пусть и возвышенностью духа, но воля его не парализована, он не кинулся бы по мановению руки животного с человеческим обликом, не удивительно, что он так много успел сделать полезного...

Дверь открыла жена Канаева, ее разбуженные глаза смотрели на пришельца не зло, но свои бодрствующие глаза Грибов тут же опустил. Стыд ночного нелепого визитерства окунул его и в пустоту безмолвия, где слова либо скисали, либо выталкивались какими-то полузадушенными. Из слов-мертвецов он кое-как вылепил эмбрион неловкой фразы-просьбы, и жена ушла в жар комнаты выуживать спящего. Канаев появился в исподнем и, покачиваясь, слушал Грибова с закрытыми глазами.

— Придется поднять кладовщицу, — сказал Канаев, не открывая глаз. — Не думаю, чтобы нам это удалось...

Когда Канаев разлепил глаза, он увидел, что учтивый старик, прослывший извилистым мудрецом, плачет.

— Э-ээ, Влас Иванович, развалили они тебя! Ночами уже гоняют. Больно податливый ты! Жди, сейчас оденусь.

В машине Канаев окончательно ожил.

— Сдурели, суки проклятые! Люди для них — мусор! А мы молчим... — Канаев посмотрел на шофера и махнул рукой. — Я бы х... поехал ночью по такому пустяку...

Влас Иванович молчал, боясь неосторожным словом вспугнуть Канаева, пошатнуть намерение помочь.

— Ты же умный мужик, как же так можно захомутаться? За сердце держишься, я заметил...

— Ерунда! — улыбнулся Грибов. — То от мороза...

— Врешь, и летом держался. Ну кто они, скажи на милость? Ты же мудрый человек. Почему же закабалился?

— А-а-а, — отмахнулся Грибов. — Уродливая мудрость, смех один!

— Окажись мы под немцем, не хуже жили бы, чем с нашими командирами. Те были честнее, шли завоевывать, овладевать. Наши обрамили рабство красивыми словами, тьпфу! Послушаешь, так о нашем благе заботятся, о нас с тобой пекутся. А сами держат нас за последнее дермо. Хотя нет, дермо, случись под ногами, обойдут, а нас растопчут!..

Кладовщица Клавдия матерясь спустилась к машине. На складе выбросила две пары собачьих унтов.

— Здоровый мужик? —спросил Канаев.

— Огромный, — пискнул Грибов. — Не налезут!

— Других нет, бери эти. Ты выполнил задание, что еще? Поедет в овечьих, еще благодарить будет! А я его, кажись, видел. Бабник! Помню, ему как-то девку нашли смазливую. Я для подарка доставал японскую кофту. Не гады? Наложниц подкладывают... Тащи, Влас Иванович, не бойся! Подумаешь, говно собачье!..

...У конторы уже стоял, весь в пару, краз. Увидев вошедшего в кабинет Грибова, Белохарлин принялся разуваться.

— Долго ползаешь, — ворчал он, напрягшись. — Шевелиться надо!

Собачьи унты не налезли на полные ноги. Белохарлин отшвырнул их от себя, Мироненко ногой подтолкнул их дальше Грибову, опалив его испепеляющим взглядом. Махнул рукой на дверь.

Краз с Белохарлиным отбыл в час ночи. Управившись с проводами, все расселись в две машины. Уже отъехали, как Истрин хватился: — Власа Ивановича забыли! — Пешком дойдет! — неприязненно отозвался Мироненко. — Час ему топать, вы что?! Я быстренько!

Повернули. Дверь была закрыта. Сторожиха Настя уже накинула крючки. Истрин сбарабанил, Настя открыла. — Грибова забыли! — весело объявил он. — А я смотрю свет у вас горит! Сидит небось?

Грибов уткнулся в лист бумаги на столе. У ног его лежали собачьи унты. Истрин откинул голову старика, слюна склеила лист, и голова откинулась вместе с листком бумаги. Настя стояла за спиной. Истрин отлепил бумагу. Настя сказала:

— Челюсть бы ему сразу подвязать, будет тогда лежать благообразный старичок. Это же любо-дорого будет посмотреть!

— И веки не мешает прижать, а то дед подглядывает. Вот так!..

Истрин поднял трубку телефона, крутнул диск, в трубке раздался голос, он что-то сказал голосу, он что-то сказал самому себе, опустив голову, он что-то сказал им всем, он спросил их: неужели никто не вернется?..

...Когда Истрин и Мироненко снова садились в машину, их догнала Настя.

— А унты, Александр Галактионович? Откуда они хоть?

— Объявится хозяин, — зло сказал Мироненко. — Спрячь их подальше, завтра разберемся.

К конторе подруливала в живом облаке пара «скорая».

«А ведь страсть как хотел жить старик», — вдруг подумал Истрин...

1969, 1995

КРАЙ СУДЬБЫ ОЩУТИВ...

Поэт

Монографии все длинней,
сколько прожил — подсчитано — дней,
сколько слов написал — просуммировано,
все увязано, зарегистрировано,
истолковано, проштудировано,
а он жил глупей и больней:

жизнь короче, чем толки о ней.

* * *

В сорок пятом зимой в комнатенке с верандой
у тети Розы жили три квартирантки —
то ли сержантки, то ли лейтенантки.

Я был младше их года на три-четыре,
мне пятнадцать стукнуло. В послевоенном мире
пел патефон за стеной в той квартире...

Из-под пилотки локоны золотые,
гимнастерки хэбэ с ремнем, как литые,
сапоги-сапожки — тук-тук — позывные.

Фронтовички призыва последнего года,
им досталась война другого, победного рода:
Бухарест, Белград, Будапешт... Из похода

Кирилл КОВАЛЬДЖИ — родился в 1930 году в Бессарабии. Окончил Литературный институт. Автор многих книг стихов и прозы. В настоящее время главный редактор издательства «Московский рабочий». Живет в Москве.

кое-что перепало им: полуботинки,
шали, пудра, чулки, керосинки,
а еще открытки, картинки, пластинки...

Вечерком, как на вахту, заступали поклонники,
капитаны, а может и подполковники,
но пока — примостились на подоконнике,

зазывают меня, начинают шутки-расспросы,
улыбаясь, одна предлагает мне папиросы,
другая сплетает и расплетает косы.

Одна говорит, чтобы я не стеснялся,
а так вот сразу взял и признался:
хоть раз с девчонкой поближе я знался?

Быстрый жар обдает меня до макушки.
Мать зовет: — Ты не слушай их. Шлюшки.
Ночью душно мне на моей подушке.

Слава Богу, теперь вместо бомб - гулянки,
в кружках спирт, на газете консервные банки,
все путём, не случись с «буржуйкой» подлянки...

Шум под утро: по пьянке компания угорела.
Одна к нам шастает то и дело
За лимоном. Шинель на голое тело.

Во дворе гуляки зябко сутулятся,
офицеры в белье, словно мокрые курицы,
Хорошо, что не видно их с улицы.

Сокрушается мама: — Что за дурешки!
Без войны хотели погибнуть, как кошки...
А у той, у одной — шинель да сапожки...

Послевоенных южных ночей лихорадка.
Жаркой гарью ноздри щекочет сладко.
Полстолетья прошло — угорелая снится солдатка...

* * *

И опять конец эпохи,
и с империей — скандал.
Диадохи, диадохи
на развалах правят бал!

Старт свободы одинаков:
помесь ядов и лекарств,
плюрализм дорожных знаков,
клетки новых государств.

Где утраты, где потери —
дай критерий, разберись,
где империя, где перья,
где житуха, а где жись...

Где пророки, где калеки,
где идеи, где идейки,
где лобзанья, где клыки:
в политической аптеке
перепутаны наклейки,
этикетки, ярлыки.

В современной перепалке,
нет пощады никому, —
на свободу в коммуналке
променяли мы тюрьму...

* * *

Край судьбы ощутив
всеми фибрами, кожей
за обшивкой, за тонким листом,
за стеклом,
я лечу, как болид,
обегаемый дрожью,
В оболочке
с приваренной с нею крылом.

Подо мной пустота,
неземное зиянье,
высота без опор
и пространства провал,
и свистящая скорость —
на месте стоянье,
стюардесса вино
наливает в бокал...

Удивление

Это так удивительно, что не только я,
что и без меня, что и после меня,
что и до меня, что всегда и все,
хоть единственный я — это я.

Поцелуй, апельсин, морская волна,
песня, слово, женская грудь,
память, мысль и бессмертный след...
Как же так на земле — без меня?

Я сейчас, я теперь, я вот здесь
или здесь, где со мной переносится ось
мировая, — куда б я ни шел.
Я — как все, и я — не как все.
Смерть бывает со всеми, кроме меня...

Повтори про себя. Раздели это чувство со мной.

* * *

Листы рассыпаны. Мне надо их собрать.
Судьба несброшюрована. Страницы
опять от сквозняка по половицам
летят то за окно, то под кровать.

Хватаю их, боюсь, что не успею;
вся музыка — водой сквозь решето...
Я сохранить все ноты не сумею,
а тень моя смеется: — Ну и что?

* * *

Об этом я уже не напишу,
то не увижу, там не побываю,
то не прочту, а это не узнаю...

При медленном подходе к рубежу
грядет необратимое суженье,
глядишь — и выраженье «уже не...»
почти спокойно я произношу.

ИЗ ЦИКЛА «ИССАКСКИЕ САГИ»

...Это — о русском враче, родившемся в Советской стране евреем и удачно прожившем какие-то годы в этом месте и в этом времени...

1. Исаак ты, Борис Иссакыч, а не Борис...

...Вдруг запекло у меня в затылке и сверху стало вроде бы темно, хотя все вокруг себя я продолжал видеть по-прежнему. Не успев еще ничего понять, я только почувствовал — что-то неладно. Все действия мои, все слова стали как бы не моими — выскакивающими помимо воли откуда-то из глубины подсознания, импульсивными.

— Игорь, нашатырь дай...

— Чего-чего? Какой еще нашатырь? Он же под наркозом!..

— Мне... Мне... Не ему...

Это последнее, что я помнил и чувствовал. А очнувшись, обнаружил себя навалившимся телом своим на тело больного, грудью своей — на его операционной ране. Руки мои были прижаты к его животу, в пальцах — зажаты концы нитки, которую я завязывал перед тем, как меня свалил этот морок.

Юлий КРЕЛИН — родился в 1929 г. в Москве. Окончил Второй медицинский институт. Работает заведующим хирургическим отделением одной из городских больниц. Писать начал в 60-е гг., впервые рассказы его были напечатаны в «Новом мире» Твардовского. Автор романа «Хирург», повести «Хочу, чтобы меня любили» и многих других повестей и рассказов из жизни врачей, печатавшихся в центральных журналах и выходивших отдельными изданиями. Живет в Москве.

Очнулся я, будто проснулся, от того, что шеф, которому я ассистировал на этой операции, выдирал из моих рук нить.

— Отдай нитку! Отдай нитку! — скорее почувствовал, чем услышал и осознал я этот приказ-вопль.

Я ослабил пальцы. Шеф с глубоким вздохом облегчения нитку выдернул и быстро ее завязал. Я уже приподнялся, выпрямился, пытаясь разобраться в происшедшем... происходящем. Шеф засмеялся.

— Уберите этого припадочного!

Обмороки во время операции — событие не очень частое, но и не выходящее из ряда вон. Поэтому никого происшествие со мной не повергло в шок, никто не засуетился, а просто оттащили меня за халат от стола и кто-то — я слышал — начал уже мыться мне на смену.

Порой перестараешься с каким-нибудь больным больше, чем надо, и в результате обнаруживаешь себя в какое-то мгновение — обычно не вовремя — в отпаде. С этим больным я как раз и перестарался. И родственники наседали, и сам больной крупный ученый оказался — то ли историк, то ли филолог, то ли философ. Из университета. Но и в Академии некий чин, так что даже от Президента звонили, а коллеги-академики при нем какой-то штаб организовали. Словом, ученый народ беспрестанно толкался и в палате у него, и в кабинете шефа, и у нас в ординаторской. И по коридору шастали все время. Неудобно было даже отойти лишний раз. А за ночь перед этим я дежурил, да и в ночь накануне операции остался в больнице, тщетно пытаясь убедить родственников и этот штаб в бессмысленности готовящейся операции. Тоже почти не спал — и вот результат...

У больного был рак, и несколько лет назад его уже оперировали где-то не у нас. Когда стали появляться метастазы, близкие его, естественно, засуетились в поисках спасения. Наша официальная медицина была уже не в силах помочь — мы могли обеспечить только обезболивание. Но нашелся какой-то народный умелец-ученый, который дал согласие попытаться улучшить положение. По-моему, кстати, он так им и сказал — попытаться улучшить. Но родственники услышали в его словах уверен-

ность в излечении. Мы, со своей стороны, против вмешательства умельца не возражали, потому что ничего не могли ему противопоставить, ничего не могли обещать хотя бы с половинной долей уверенности. А с близких что возьмешь? Надеждой мир живет... Удивительнее другое — то, что и ученая его братия тоже на что-то рассчитывала, хотя, казалось бы, у ученых логика должна была бы быть развита больше. Но люди, как известно, всегда болёе категоричны — невежественно категоричны — именно там, где они не компетентны. Не то, что в своей области. Я вот, например, о политике рассуждаю всегда много смелее, чем о проблемах медицинских.

Короче, лечили его каким-то мифически-легендарным средством, а штаб ученых-немедиков все это наблюдал и безмерно при этом суетился. Нас же, нескольких обычных врачей, попросили понаблюдать — как бы со стороны — за течением процесса. Мне казалось, однако, что в этой просьбе была не столько забота о больном, сколько желание, чтоб мы сами убедились в ничтожестве нашей закосневшей науки и в невежестве наших корифеев, заранее все отрицавших.

Метастазы продолжали, однако, разрастаться, и, как финальная стадия, развилась, в конце концов, кишечная непроходимость. Я считал, что нужно просто обезболивать, уменьшить страдания, не прибегая к операции, которая могла только умножить его мучения. Но ясновельможный штаб, веривший только новатору-умельцу, считал, что чудодейственное лекарство вот-вот начнет действовать — надо только еще хоть немного, хоть чуточку продлить жизнь больного. И вот-вот наступит чудо.

А мы не имели права отказывать. Морального права. Ведь непроходимость-то была и устранить ее было возможно. Хотя мы знали, что операция в лучшем случае лишь продлит его существование еще на несколько мучительных дней. Именно существование, а не жизнь.

Вот во время этой операции и хватил меня обморок. Я, разумеется, был весьма сконфужен, по молодости лет считая, что отныне все мои коллеги, особенно женского пола, будут смеяться надо мною и перестанут принимать меня всерьез. Обидно, конечно.

Я отправился к шефу в кабинет, чтоб он продиктовал мне протокол операции. Для вящей деловитости я нес подмышкой не только худенькую историю болезни, но и пухлый операционный журнал. Николай Михайлович, увидев меня, рассмеялся.

— Ну, Борис, с тобой не соскучишься. Институтка. Запашок что ли сковырнул тебя?

— Да не спал я уже больше двух суток!..

— Гулять меньше надо.

— Да при чем тут! Я с ним и возился. — И я кинул на стол историю болезни.

Шеф ухмыльнулся.

— Ну что ты лезешь не в свои дела?.. Непроходимость есть? Есть. Операция формально показана? Показана. Так какое тебе дело до их бреда? Ученых из другого мира никогда не надо переспоривать. Они академики, а ты еще даже не кандидат наук.

— Так мужика ведь жалко! Они же сами призывают врачей ради гуманизма помогать безнадежным больным уходить из жизни...

— А ты их больше слушай! Это все абстрактные рассуждения. Пойдут они сами, скажи, к такому врачу, которого уговорили однажды на подобный подвиг? Не бери в голову, Иссакыч...

— Но все равно ведь операция бессмысленна и только продлевала мучения.

— Да тебе-то какое дело? Так тебе, Исаак, никогда не стать Борисом... — Шеф рассмеялся. — Несмышленыш еще.

— А при чем тут Исаак и Борис?

— Да ладно тебе. Тебе что — больше всех надо? Люди имеют право надеяться. А мы не имеем права лишать их этой надежды. Лечат же чем-то? Пусть не доказано, не проверено, но он же ведь все равно умирает. А эти люди остаются, им еще жить. Так пусть живут с сознанием, что сделали для него все.

— И за его счет.

— Да его уже нет! Они просто не понимают этого. А ты все лезешь, норовишь свое «я» показать. Мол, это ты один

думающий гуманист, а они — да и мы все с ними — безжалостное говно. Всюду вы лезете...

— Кто это «вы»?

— Да вот тот, кто Исаак, а не Борис. Умерь свой пыл. Перестаньте вы думать, что вы фермент иного мышления!.. Надо стараться быть, как все.

— Ну, это мы слыхали. Это мы проходили. Про евреев все знаем...

— Да ты не думай, что я против вас что имею. Я работаю с тобой с удовольствием, даже дружу, сам знаешь. Да и вообще знаешь, сколько у меня?.. Сейчас я тебе скажу, сколько у меня друзей среди ваших...

— А откуда вы знаете, кто «наш»? Я, например, всех не знаю. Паспорт не смотрю.

— Вот и опять ты зарываешься! Что ты на меня-то хвост поднимаешь? Впрочем, что ж от тебя еще ждать? Вот вы...

— Опять «мы»! Опять обобщаете! А презумпция невиновности где? — я натужно рассмеялся, не зная, как себя вести дальше и как эту малопродуктивную беседу с начальством закончить. Перевести все в полушутку? Но в то время я этого еще не умел. Молод был.

— Презумпция невиновности, милый мой, это в суде. А на следствии — презумпция виновности. Иначе не было бы никакого следствия. А мы с тобой сейчас не судим, а исследуем проблему. — Шеф тоже похохатывал, приглушая напряжение. — Ну, скажи вот на милость, почему через всю историю проходит такая нелюбовь к вам? Вот то-то и оно...

— Это не через всю историю. Это после разногласий по поводу появления мессии. У христиан он есть уже, а евреи все ждут. Религиозные дела.

— Здрасьте! А с египтянами? А Вавилон, филистимляне... ну и так далее?..

— У всех так было. И со всеми. Просто еврейская история хорошо записана в Библии. У других в те времена ее либо вообще не записывали, либо много хуже. Вся история заполнена неприязнью разных стран друг к другу.

— Так то страны, а то отношение к народу! Ото всех-то он отличается и при этом во все встревает. Даже в то, что никак уж его не касается. Ну, чего вот ты влез в это дело? Исполняй,

что тебе велят медицинские показания и установки, то есть наша хирургическая доктрина... Вот и обморок.

— Причем тут обморок?

— Знак тебе дан. Понял? Тут твоя вечная нетерпимость ко всему, что твоя душа не принимает, сказалась...

— И это тоже из обычных перепевов про последователей Ветхого Завета... Вы, Николай Михайлович, идете по стандарту. И нетерпимость, и фермент, и вечная со всеми конфронтация и... конечно же, полно друзей евреев.

— Ну ладно, кончай. Так ты меня еще и в антисемиты запишешь! Давай работай, пиши — я диктовать буду.

— Диктуйте. Я готов.

— Надеюсь, он проживет еще несколько дней — им в помощь. Их душам. Я с ними сам сейчас поговорю...

— Сомневаюсь. Сомневаюсь, что их душам какое-никакое облегчение будет...

— Э-эх, Исаак ты, Борис Иссакыч, а не Борис. И никакие обмороки и мороки тебя, видно, иным не сделают...

В этот момент в кабинет вошел дежурный хирург.

— Николай Михайлович, умер.

— Кто?

— Ну, кто — он же. Которого сейчас оперировали. Рак с метастазами, непроходимость...

— Хм... Быстро. А ты вот говоришь, — это уже ко мне — лишние мучения. А их нету! Из наркоза-то, — повернулся он опять к вошедшему, — не вывели его еще?

— Нет, конечно. В наркозе был, на аппарате еще. Искусственная вентиляция.

— Угу. Разумеется. Естественно... Так что заметь, Борис, — и не мучился. Родственники знают?.. Понял, Борис? И не мучился вовсе... Так сказали родственникам или нет?..

— Нет еще. Ждем, как вы решите. Скажете, что им сказать...

— Борис скажет. Придумает что.

— Я?! А почему я?

— А кто ж! Я что ли к ним должен идти и говорить? Ты же с ними вел душеспасительные разговоры, ты их оттоваривал. Вот ты и скажи... И не бойся — они вполне готовы к этому. Супермен. Так что иди, расплачивайся за свои обмороки...

2. Как наше слово отзовется

Небо низкое. Вверху все серо, за окном — мелкая сеточка дождя. Рамы современные — без переплета. А раньше обязательно были с поперечными переплетами. Начнется когда-нибудь мода на очередное ретро, и опять пойдут окна в поперечинах...

В такую погоду хочется лежать под одеялом и либо читать что-нибудь, либо дремать, не думая ни о чем. А в старом возрасте — вспоминать. Вот и сейчас вспомнилось почему-то, как еще молодым — относительно молодым, конечно, — тоже лежал в больнице.

Старая была больница, рамы на окнах — с переплетами. Хотя не такая уж и старая — пятидесятых годов. Послевоенная. Но поперечины были. И погода плохая была — такая же как сейчас. Точно, точно. За окном серо, и моросило так же...

Нас было трое в палате. У окна — с одной стороны — лежал я, а у другой стены, параллельно мне, — Матвей Павлович. Был он какой-то ответственный советский работник — то ли из райсовета, то ли из горсовета, если только не из какого-нибудь там партийного или народного контроля. Особо я не вникал тогда в жизнь моих сопалатников, не было нужды. А у двери, как бы в ногах Матвея Павловича, лежал научный работник, то ли физик, то ли математик. Для меня это было почти одно и то же — наверное, потому, что факультет в университете назывался физматом, а в школе я одинаково был слабаком как по той, так и по другой отрасли мировой науки. Звали этого соседа Егором Павловичем.

Все больные по какой-то странной традиции именовали друг друга по отчеству, но с нашей палатой произошла накладка: оба мои соседа были Палычи. Потому звали их по именам и лишь меня по батюшке — Иссакычем. И я получался как бы старшим — Иссакычем с Мотей и Егором. Хотя старшим — и намного — был все же Матвей Павлович.

На улицу мы и раньше не выходили, а ненастная погода за стенами больницы почему-то приковывала нас к кроватям так, что мы даже в коридор носа не высовывали. Разве

что по нужде. Или чтобы покурить, если имелся такой порок. Но и это не так уж часто — терапевтические больные, не то что наши, хирургические, никогда не отличались особой шустростью. А казус, который вспомнился мне сейчас, приковал нас к постелям и еще пуще прежнего.

Началось с ерунды. Поскольку я лежал в своей больнице, ко мне то и дело забегали коллеги-хирурги, сестры, все, кто знал меня по работе. И вот однажды кто-то из моих по дороге к себе закинул в палату ворох газет. Мне досталась «Литературка». Егорий — или, как кое-кто из соседних палат кликал его, Жора — уцепил «Комсомолку». Мотя же, как человек более солидный, развернул «Правду».

Жора-Егорий по живости характера тут же, естественно, прицепился.

— Вы, конечно, Мотя Тезкович, начинаете читать свою главную газету с передовой?

Мотя понимающе усмехнулся.

— Ошибаетесь. Хоть я по должности обычно и знакомлюсь прежде всего с указующими идеями и установками, но сейчас я на больничном. А потому позволил себе начать с последней страницы. Мне интересно, как вчера сыграл Спартак.

Я тоже поинтересовался вчерашним результатом, и мы вроде бы погрузились в чтение. Однако игровая пытливость ученого Егора долго не выдержала. Видимо, он обдумал повод для очередной палатной дискуссии.

— А вы, Мотя, действительно, считаете, — начал он, — что передовая «Правды» дает серьезные установки аппарату управления в нашей стране?

Тут уже не выдержал и подключился я: — Конечно... Они все время подсказывают, как дышать советскому человеку и чего от нас требовать начальству...

— А ты, Иссакыч, молчи, — прервал меня Егор. — Не твоим хирургическим извилинам под стать такая мысль... Ничего эти передовые не дают. Балаболят и все. Пустота газетная...

Матвей отложил газету в сторону. — Это вы напрасно, Егор Павлович, — сказал он строго и, приосанившись, соорудил суровый лик. Почувствовал себя, видно, ответст-

венным представителем правящей элиты, призванной направлять неразумные массы на путь истинный. Потому, наверное, и перешел на официальное обращение по имени и отчеству — чтоб, значит, без ерничества. — Да, напрасно, напрасно, — повторил он. — Я вам скажу, что передовицы «Правды» — это настоящие научные работы. Обоснованные, точные, выверенные временем. Я бы за эти передовые статьи даже и степени научные давал. Это ж непросто — вот так, коротко, ясно и чтоб суть необходимых действий, к которым нас сейчас ведут, была понятна последнему руководящему работнику в любой глубинке. Ведь наша жизнь, наша страна — это эксперимент планетарного масштаба, и что нужно делать сегодня, должно быть изложено точно. И всеми правильно усвоено...

— Вы что, Мотенька, целую лекцию собираетесь прочесть нам сейчас об этом эксперименте?.. Да не перебивайте меня! Мы все это знаем. И что это за эксперимент, ясно всем... На людях. Не перебивайте, хвост мысли упущу. Наука если когда и ночевала здесь, так много раньше. А сейчас — собачья практика...

Мне стало немного не по себе от того пути, по которому покатила дискуссия.

— Ну ладно тебе, Егор. Эксперимент всегда нужно по пути подправлять. Не тебе это объяснять... Вот поправки и идут через печать.

— Иссакыч прав, Жоринька. Корректировка необходима. Печать, не забывайте, не только пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор...

— Да я тоже Ленина в институте проходил! — весело заверил Егор. — Но при чем тут наша печать, наши газеты и наука? Наши газеты — не печать. Это прежде всего. А что касается науки...

Я решил любыми путями сбить-таки накал спора и по возможности похоронить все те слова, что уже были произнесены Егором, и те, что готовы были сорваться с его неуемного языка.

— Ребята, обождите... — сказал я драматически. — Что-то у меня сердце приболело. Егор, позови сестричку, пожалуйста...

Я все ж был инфарктник, к тому же достаточно молодой, и все к этому относились пока еще с почтением. Егор подхватился и побежал в коридор. Мотя деловито схватил меня за пульс. Будто он что-то понимает, а я не врач и сам за собственный пульс схватиться не могу.

Опускаю ту пустую беготню, что я учинил: спешное появление палатного врача, ненужные капли, отмахивание от ненужного укола и тому подобное. Полчаса на это ушло. Все! Угомонились спорщики, думал я, успокоились и забыли...

Однако научную мысль не остановишь ни репрессиями, ни ложными тревогами, ни угрозами. Когда мы вновь распределились по своим одрам, неугомонный Егор опять взвил черное знамя борьбы.

— Да... Так вот, Матвей, ответь мне только на один вопрос. Как ты считаешь, можно ли в научной статье переставлять абзацы? Например, — после первого поставить третий, после третьего — десятый...

— Ты что же, Егор, думаешь, мы, работники советского аппарата, по сравнению с вами, голубой научной косточкой, совсем уже такие неучи?.. Разумеется, логика в науке строга. И нечего ловить на ерунде. Это твой профессиональный снобизм, я бы сказал, профессиональный расизм. Вот. Вы — не лучше всех. Да, и в передовице, и в научной статье абзацы переставлять нельзя. Равно!

— Та-ак... А скажи-ка: сегодня вот — какая статья в «Правде»? О чем?..

— О чем бы ни была, все равно это статья наверняка вдумчивая и серьезная, — как настоящее исследование. — Голос Матвея приобрел металлический оттенок. — Потому что партийная газета делается не невеждами — творцами. И вам, научным верхоглядам, пора бы это понять. И научиться без наносного взгляда, воспитанного на нерусском скепсисе, вдумываться в каждое ее слово. Учтите...

Я, возможно, оказался слишком боязливым, но музыка речи Матвея меня напугала. Я услышал фанфары Красной площади, увидел факелы Нюрнберга. «Нерусский скепсис» и вообще заставил меня вздрогнуть. Но в глазах Егора я видел только озорной блеск.

— Дай, дай мне сегодняшнюю «Правду»! — весело требовал он.

А Матвей Павлович становился все строже, все пьедестальнее. Отдалялся. И я только потом догадался, что и от меня — тоже. И даже, пожалуй, прежде всего от меня. Восстанавливая в памяти весь тот эпизод, я понял, что он относился ко мне с опаской — как к человеку, в общем, чужому, непонятному. Даже по болезни: они с Егором были простые язвенники, а я, бери выше, сердечник. Вроде как аристократ. Впрочем, тут многое сыграло, наверное, свою роль — начиная с моего собственного самодовольного отношения к себе любимому как к больному особенному, не чета другим, и кончая моим уклончивым участием в их споре с Егором. А все непонятное настораживает. Более свободный и раскованный Егор был Матвею, конечно, ближе, понятнее. Он видел, наверное, в его приставаниях только обычное интеллигентское критиканство да разыгравшееся озорство. Он еще и подозревать не мог, чем обернется для него это озорство. И потому, не желая, видимо, продолжать при мне свои препирательства с Егором, решил просто оборвать этот спор, отмахнуться от надоедливого оппонента.

— Да отвяжись ты, Егор, со своей «Правдой»... Вот я прочел в «Литературке»...

Но Егор не отставал,

— А что? Разве любое исследование не интересно? Или боишься?..

— Егор Павлович, — вынужден был опять перейти на официальный тон Матвей, — вас обучали определенным исследованиям в соответствующих лабораториях, в данном вам коллективе. А вы, — повысил Матвей голос, поглядывая на меня, — хотите устроить балаган на очень ответственном участке нашей жизни. Ну, чему вы, скажите, как ученый возражаете? Чем вы недовольны?..

— Ха! Ученым я могу не быть, но оппонировать обязан...

— Вот именно. Но это и есть чуждое влияние людей, которые на все ищут возражения...

— Да кто ж это такие!? — воскликнул я.

Егор не обратил внимания на мой интересный вопрос, а Матвей лишь метнул в меня очередной настороженный, но как бы и успокаивающий взгляд: мол, лично к вам это не относится.

— Нет, ребята, вы не отвлекайтесь, — гнул свое Егор. — Мотя, дай мне твою газету. — Как будто ничего у него и не болело, он легко соскочил со своего ложа и ловко выхватил у оппонента «Правду». — Так. Что за передовая сегодня? Ага. «Заводская печать»...

— А что? Проблема очень важная. Низовая печать — основа партийного воспитания. Сюда и должен быть направлен взгляд мозга партии...

— Ладно. Я не о теме... Посмотрим, как написано... Итак, первый абзац, начало: «В конце 1921 года московские металлурги выпустили первый номер заводской газеты». Так... дальше — та-та-та-та... и абзац завершается: «На предприятиях появилась своя рабочая газета!» Это начало. Да? Годится как начало?

— Разумеется. Все правильно. Начинается с литературно-исторического обзора.

— Ладно, ладно. Теперь следующий абзац: «Возникновение заводской печати в первые годы Советской власти было предопределено всей политикой нашей партии...» Ну, и так далее. Как считаешь — можно так начать статью?

— Можно и так. Важное положение.

— Правильно. Для затравки в статье хорошо. Дальше: «Сейчас в стране издается 2 360 многотиражных газет заводов, шахт...» — ну и так далее со всеми остановками. Тоже вполне приличное начало, правда?

— Ну и что? Я не понимаю.

— Подожди. Я ведь не читал раньше эту статью, я читаю вместе с вами. Сейчас. Возьмем еще какой-нибудь абзац. Ну вот, перескочим через два: «Авторитет заводской прессы, ее влияние на производственную и общественную деятельность зависит прежде всего от того, как партийные организации руководят печатью». Это как раз твоя главная мысль, с нее тоже не дурно бы начать руководящую, указующую статью. Как ты говоришь, научную... Подожди, подожди. Не торопись реагировать. Давай следующий аб-

зац: «Заслуживает внимание практика партийных организаций столицы». Тоже начало уместное... Глянем теперь в конец. Предпоследний абзац: «В эти дни вся наша печать, в том числе и заводская, уделяет большое место социалистическому соревнованию в честь 50-летия Советского государства». Вот — опять начало! Зачин — для чего сегодня пишется эта статья... И конец, последний аккорд: «Наша низовая печать ее огромной армией общественных корреспондентов успешно выполняет...» Тоже ведь вполне годится для первого куплета этой оратории... Разве не так?

Я опять вмешался, пытаясь увести их в сторону:

— У тебя уж и оратория с куплетами!..

Никто на меня внимания не обратил. Матвей молчал и в упор, с недоумением, смотрел на Егора. А Егор токовал и меня просто не слышал.

— Это я только о начале. А ты, Мотя, сам возьми газетку и переставляй абзацы. Изрядное получишь впечатление. А я пойду покурю...

Я тоже пошел с ним. Правда, курить я в то время с перепугу бросил, но компании курильщиков не изменил. Если можно было отказаться от самого зелья, то никакие разговоры о вреде пассивного курения не могли меня отвратить от бесед в курилках. Я уж не говорю о застольях.

— Зря ты, Егор, голову Моте морочишь. Мало ли что померещится аппаратному работнику...

— Ничего. Пусть задумается. Это ж надо такое! За их передовицы степени им научные давай! Ну, дает парень! Пусть, наконец, задумается. «Коллективный организатор!»

— Так и действительно организатор, сам что ли не видишь? Да и страшновато. Что, если стукнет? А тут еще влияние нерусского скепсиса...

— А-а-а!.. Так вот ты чего боишься?! Господи! Да избавьтесь вы от этого своего страха! Распрями плечи!.. — Егор с тем же пылом, что сжигал его в споре с Матвеем, кинулся обличать мою трусость и неполноценность. — Рабскую душу свою вам пора сломить!.. XX век...

Но это уже совсем другое воспоминание, совсем другой, так сказать, абзац. Я-то не спорил. Я робел, как говорится, не умом, а поротой задницей.

Из курилки мы прошли прямо в столовую на обед, Матвея не было. Когда вернулись в палату, он сидел за столом. Передовица «Правды» была вырезана и разрезана на куски по абзацам. Матвей их переставлял, перекладывал, словно раскладывал пасьянс...

Я побыстрей лег в кровать, мне не хотелось никаких дискуссий. Егор подошел к столу, посмотрел на работу коллеги-язвенника. Перед тем, как отвернуться к стене и накрыться одеялом, делая вид, что сплю, я все ж не удержался и буркнул:

— Язва желудка весьма зависит от состояния нервной системы. Уймись, Егор.

Да только плевал он на мои пугливые замечания!..

— Ты, Мотя, — сказал он назидательно, — возьми и другие газеты. Попробуй вставить абзацы из передовиц, скажем, «Труда» или «Известий», а то и «Гудка» в передовую «Правды». Тоже поучительно, сам увидишь...

В этот день больше никаких дискуссий, да и просто разговоров не было.

Утром следующего дня, проснувшись, Матвея на месте я не обнаружил. А когда умывался, он появился с ворохом газет. На меня он смотрел с испугом, на Егора с ненавистью и недоумением. И с нами не разговаривал...

Так дружественное согласие наших больных тел и душ распалось. Целыми днями Матвей резал газеты и раскладывал пасьянс из обрывков...

Вскоре я был переведен в загородную больницу для инфарктников, где нас усердно долечивали. Но слишком тяжко долго болеть, постоянно общаясь только с больными, и я удрал оттуда до окончания срока.

Своих бывших сопалатников я никогда больше не встречал, — ни Егора, ни Матвея. Но про Матвея Павловича, выйдя на работу, узнал, что его консультировал, оказывается, психиатр и даже делал ему какие-то назначения. А потом у него началось кровотечение из язвы, и его оперировали. Потому и узнал про него: оперировали его в моем отделении, а мои коллеги помнили, что Матвей Павлович был моим сопалатником...

Кто лечил его впоследствии, с какой отраслью медицины имел дело в своей дальнейшей жизни, общался ли опять с психиатром, где потом работал и работал ли, какие и как читал газеты, — ничего не знаю. Но на душе остался с тех пор какой-то осадок — будто и я в чем-то виноват.

В чем? С какой стати? Причем тут я? Честное слово, — логика на уровне все тех же проклятых передовиц. То есть никакой логики, просто одно цепляется за другое. А чувство вины между тем так и не прошло...

Какая все-таки хрупкая вещь — человеческая душа! Даже самая, казалось бы, заскорузлая, твердокаменная! И как легко ее невзначай повредить даже из самых праведных побуждений...

3. Основной вопрос

— Иссакыч, поговорить надо.

— Ну.

— Конфиденсия.

— Никого же нет. Мы одни.

— Вот скажи мне, почему ты пишешь свое имя с двумя «с», тогда как по Библии пишут с одним «с» и двумя «а»?

— Потому как народ зовет меня Иссакыч, а не Исаакыч. Чуешь разницу? Не звучит. Приходиться подстраиваться под русский лад и звук.

— А в паспорте?

— А и там тоже, видать, напутали где-нибудь в регистрирующих инстанциях. А может, нарочно.

— Как это нарочно?

— Есть у меня приятель, которого родители нарекли Игорем, а где-то в Сибири милиционер принципиально вписал в паспорт — Егор. И все тут.

— Ну, а всерьез?

— Вполне серьезно. Как нынче не только говорят, но и писать в газетах стали — «на полном серьезе».

— Изыски правления совдепов?

— Вот уж... Зачем все валить на совдепов? Корни глубже, дальше, позавчерашние. Еврейские имена, например, еще и при царе коверкали с улыбкой и радостью.

— То есть?

— Ну скажем, Исроэл — Сруль. Рахиль — Рохля. Иаков, Яков — Янкель. Еще... Ну вот, Моше — Мошка... Хватит с тебя.

— А твое имя? Вернее отчество?

— Мое — особ статья. И я поддерживаю. Да мне и нравится. По отчеству могут называть только в России, Русских. Вот я так и мимикрирую, удачно.

— Но ты же не сменил Иссакыча на Иваныча?

— Зато Иссакыч, а не Исаакыч. Опять же, приветствую, когда и Барсакычем кличут. Радуюсь.

— Ладно, Барсакыч, это все увертюра. Дело есть.

— Излагай. Сейчас, наверное, и пойдет конфиденсия?

— Нужно помочь.

— Всегда готов. Где лежит?

— Не дури. Я серьезно. Надо мальчика одного отмазать от армии.

— Это сложнее. Это лучше не ко мне.

— А ты что? Неграмотный? Ну, если надо, Иссакыч...

— Во-первых, я не умею, а, во-вторых, элементарно боюсь. Потом еще скажут, что жиды подрывают мощь державы и силу армии. Обобщат, как это у нас любят, найдут всемирный масонский заговор сионистов... ну и так далее.

— Да перестань, Борь.

— Нет, нет, старик. Робею. Не умом робею, а, как говорится, поротой задницей.

— Так надо по-умному. Я почти все возьму на себя. Ты только положи.

— Легко сказать. А он не еврей, кстати? Верней, некстати. Если еврей, тогда обращайся к кому-нибудь еще.

— Я не знаю. Не задавался таким вопросом.

— Ну, ты истинный интернационалист. Личность выше нации. Но ведь если еще еврея еврей же и положит, представляешь, какая подставка?..

— Да что ты зациклился на этой ерунде? Какая разница? Еврей, не еврей... Кому это интересно?

— Я ж тебе говорю, что робею не головкой, а поротой жопкой. И всей своей генетической памятью. В то время, как другие дети, наш Моня читал книг. Понял?

— Ладно хреновину пороть. Ты ж должен понимать нынешнюю ситуацию. Если ты настоящий русский врач. Каждому, кто не хочет нынче служить в армии, мы должны помогать. Прости за высокопарный штиль, это наш врачебный долг, долг гуманистов, черт возьми. Не война же! Пусть в армию идут только те, кто хочет. А этот мальчик пусть учится, работает — пусть живет, как хочет...

— В принципе я согласен. С этим согласен. Но какой бы закон дурной ни был, нарушать его плохо. Править бал должен закон. И мы должны способствовать закону.

— Но лишь тогда, когда вся страна живет по закону, а не по плохим и хорошим персонам над нами.

— Ну, хорошо. Мы пойдем на то, чтобы стать плохими, и нарушим закон. Хотя я против. Вернее — боюсь...

— Да освободись ты от своего страха иудейского! Мы ж вольные люди...

— Люди-то вольные, да страна пока еще не свободная. Тюрьма, как и Царствие Божие, внутри нас... Когда мальчик-то придет?

— Как скажешь. С чем положим?

— Давай сделаем обострение язвы, кровотечение, а там посмотрим. Сначала положим. Он где живет?

— Рядышком. Через дорогу от больницы.

— Ну, так научи, что сказать, как вести себя, и пусть вызовут Скорую. Они ж заведомо к нам привезут. А уж мы здесь подготовимся.

— Значит так. Фамилия его — Волков. Восемнадцать лет. Студент института...

— Привет! Зачем тогда вся эта бодяга, если он студент?

— Хвостов много. Могут отчислить, и времени на всякую суету, на хождения по инстанциям, на пересдачу не будет. Раз — и замели в ряды...

— А кто он тебе?

— Да почти никто... Я ж тебе говорил — про долг русского врача... Вот так вот...

— Ладно. Я договорюсь с гастроскопией, ты с лабораторией. Ты всюду вхож, тебя все любят, а я локально любим, лишь теми, кто непосредственно с хирургией связан...

— Все придуриваешься. Смирение паче гордости.

— А вот и нет. Просто знаю свое место. Книг, книг читал Моня.

— Слишком много Моня читал. На жизнь надо смотреть и нюхать ее всем нутром, а не только своим большим носом.

— Коля, найди у мальчика язву, прикрытую сгустком. Кровотечение то ли приостановилось, то ли еще подтекает маленько.

— Хорошо, Барсакыч. Там что? Армия?

— И армия. А пока сессия. Хвосты. И напишешь все, как надо.

— Ну. Не пальцем сделан, все путем напишу. Только, чтоб не платили, Борис Иссакыч.

— Об этом и речи не было. А чего это ты вдруг предупреждаешь?

— Когда липа — я денег не беру. Тогда взятка за липу. Если правда болезнь, тогда не откажусь. Если кто захочет дать...

— Сообразительный. Да, в этом случае лучше без денег. Вольнее себя чувствуешь. Вольготнее и смелее. Я бы даже сказал — честнее. Это ты прав. Молодец.

— Только от армии, Барсакыч, язва не отмажет. Лишь для института. А язву начнут перепроверять в разных местах. Черт их знает.

— Ну, тогда придумай, что надо.

— Надо сердце. Или голову. Говорите с терапевтом или невропатологом. А он вам кто?

— Да никто. Просили. Наши же врачи. Не хочет если парень в армию, то ему туда и не надо. Пусть делают контрактную для тех, кто сам хочет. Нет, скажешь?

— Точно. Там и без войны парни гибнут.

— Вот именно.

— Сделаем, Барсакыч. Договорились.

— Паша, у нас парень лежит с язвенным кровотечением. Надо найти у него сердечную патологию.

— Цель? Институт? Армия? Я чего спрашиваю — что нужно, к чему вести.

— Сам решай. Я ж грубый хирург, ремесленник. Делаю операции по заказу. Находят язву — оперирую, пузырь с гноем и камнями — выкидываю. Сапожник. Сделать набойку? — Извольте.

— Ох, любишь прибедняться, Барсакыч! За сорок лет, небось, научился и понимать.

— Медицина, ты же знаешь, понимает мало — делает много.

— Что-то и понимаем... Так что надо?

— Придумай сердечную болезнь для отмазки. Тебе ж видней. Покумекай.

— Ладно. Пришли завтра на ультразвук. Пошарим по сердцу. Чего-нибудь найдем, совсем здоровых нет... Как фамилия?

— Волков. Завтра с утра?

— К десяти.

— Все. Спасибо, Паша.

— Барсакыч, а он вам кто? Свой?

— Да нет. Просили. Наши же доктора. А через меня — как через старшего. Мол, самый уважаемый... м-м, наверное, в липовых делах... А уж раз взялся за гуж...

— Барсакыч, к телефону, к местному.

— Слушаю.

— Борис Исаакович, подойди, пожалуйста, ко мне, в кабинет.

— Паша, это ты?

— Я, я. Тут интересная патология.

— У кого? Кого смотришь?

— Мальчика, что вы прислали. Волков. Приходите.

— А я зачем?

— Интересно. Интересная патология.

— Понятно. Сам разбирайся. Я ж тебе все сказал. Зачем я тебе понадобился?

— А вот не понятно. Совсем не то, что вы думаете. Придите, придите.

...В кабинете этом я и увидел впервые мальчика, о котором было столько разговоров и переговоров и ради

которого такой сложный заговор затевался. Мальчик, впрочем, и в самом деле выглядел нездорово — бледен, невзрачен, худ. Паша сидел рядом на крутящейся табуретке и водил датчиком по телу. Перед глазами его мерцал экран. Он жестом пригласил меня сесть рядом.

— Ну, Барсакыч, смотрите! Трехпредсердное сердце. Врожденная патология.

— Ну и хорошо, Паш. Чего звал? Запиши.

— Да вы посмотрите! Действительно.

На четырехугольном экране мерцал сектор, в котором плыли, волновались, исчезали и вновь вспыхивали какие-то тени, просветления, огоньки, дающие непонятную форму, тотчас исчезающую или переливающееся в нечто совсем не похожее на только что виденное...

— Ну! Что вы скажете? Кто бы мог подумать!..

— Ты о чем? Я вижу только помаргивающий полумрак и полусвет. Я в ваших эфемерных картинках ни хрена не понимаю.

— Ну вот же! Вот. Видите? Это камера сердца. Предсердие. А вот! Вот плавает как бы... Ну? Видите?

— Что-то такое вижу. В животе, например, мне все понятнее. Я, так сказать, этого не проходил не только, когда учился, но и на курсах усовершенствования. Не понимаю.

— Походили бы ко мне в кабинет несколько раз, стали бы и понимать. Экая премудрость!..

— Ну да. Сейчас все брошу и пойду смотреть на твою премудрость. Учиться предпенсионно. Ты конкретно скажи, что здесь.

— Это врожденная патология. Надо строго наблюдать. Может быть срыв. Как только появятся симптомы недостаточности или там перебои, любое новое в состоянии, сразу надо начинать лечение. А пока только наблюдать и беречься.

— Лечение? А какое? Операция?

— Не исключено. Я его еще не расспрашивал. Мы же отнеслись к нему, как к здоровому. Кто привел, тот пусть и выясняет. Вот и займитесь, друг Барсакыч. Он же у вас в отделении?..

— Пусть первоисточник занимается. Тот, кто прислал.

— Да что вам рентгенолог выяснит?! Сами поначалу, а потом позовите терапевта, кардиолога.

— А ты кто?

— По штатному расписанию я нынче лишь УЗИст.

— Но ведь понимаешь!

— Понимаю, но вам, Иссакыч, нужна прежде всего формальная, официальная запись. А я на фотке зафиксирую патологию на века. Как мальчика зовут?

— Не знаю. Волков, как вас зовут?

— Александр.

— Значит, Саша. Так?

— Угу... А что там у меня? Я ничего не понял.

— Саша, у тебя одышка, перебои в сердце были? Не чувствовал?

— Не знаю. Вроде нет.

— На какой этаж поднимаешься без одышки?

— Я на третьем живу. Так ведь лифт везде.

— Ты всегда лифт ждешь?

— Всегда.

— Видите, Барсакыч. Всегда лифт ждет. Это тоже показатель... А физкультура в школе, в институте — как? Нормально?

— А я удирал, по возможности.

— Вот так, Борис Исаакович! Это ж все не случайно! Инстинктивно берегся лишней нагрузки. Организм сам боится срыва. Спинной мозг на страже швыдче головного. Бережет стабильность.

— Ну, мудер ты, Пашуня.

— Саша, тебе надо обследоваться в специальном институте.

— Угу. А на байдарке в поход можно?..

— Без рюкзаков и усилий.

— Но без этого же нельзя! Я ж ничего особенного не чувствую!..

— Ладно, — сказал я. — Иди в палату. Позвони своим. Пусть родители подойдут ко мне.

— У вашего сына оказалась врожденная патология сердца.

— А что — с язвой ничего не получилось?..

— При чем тут язва! У него действительно порок сердца. Врожденный. Надо обследовать. Я в этом плохо понимаю.

Может и операция понадобится. Может, надо торопиться, пока не наступил срыв. А может, только наблюдать. Это специалисты сказать должны.

— Спасибо, Борис Исаакович! Значит основной вопрос с армией благополучно разрешен?

— Благополучно!? Он же болен!..

— Спасибо, большое спасибо! Будем решать проблемы по мере их возникновения.

— Но проблема уже возникла!..

— И разрешена. Это главное. Армия сегодня — это ужас. Там же убьют и без всякой войны. Ни за понюшку, как говорится, табака. Не тело убьют, так душу... в какой-нибудь Чечне...

— Ему ж лечиться надо!

— Понял, понял, Борис Исаакович. Мы должны вам и вашему кардиологу...

— Его лечить надо, говорю я вам! Наблюдать. Выяснять, что с ним. А вы: должны... армия... О чем вы?

— Понял, понял. Но главное, основной вопрос... А лечение — это обязательно, это потом мы еще с вами поговорим, если вы разрешите. Спасибо вам, Борис Исаакович, спасибо. Основной вопрос решен...

И папа Саши Волкова вышел из моего кабинета бодрой походкой человека твердо уверенного в том, что основной вопрос существования его сына во времена посткоммунистического переустройства жизни и в самом деле успешно решен...

4. «...Искусство кройки и шитья»

«Он представляет дело так:
Едва лишь я пиджак примерю —
Опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак».
Булат Окуджава

Я стоял над больным уже помытый, весь в стерильном, в перчатках и, придерживая пинцетом края раны, раздумывал, как бы поразумнее и поизящнее переместить разорванные ткани. Так, чтобы привести орган этот в первозданное,

от Бога полученное состояние. Хорошо бы скомандовать «на место» или «все по местам», но ведь не получится — не собаки, не солдаты...

Место это хорошо обезболивалось и без общего наркоза, и я, размышляя и примериваясь, попутно выяснял у больного обстоятельства, при которых он получил такую редкую травму. Точнее выведывал, потому как знать мне — как врачу — было про это совсем не обязательно. На медицинскую помощь и ее успех сии следственные дознания никак не влияли. Но уж больно нестандартное было повреждение, просто любопытство забирало!..

Впрочем, хочу думать, что главной причиной моей беседы с больным во время работы было все-таки желание отвлечь его от мрачных мыслей, вполне естественных при такой травме. К тому же разговор не давал ему возможности сосредоточиться и на моих действиях. Хотя обезболивание здесь получается хорошее и боли он наверняка не чувствовал, однако то, что я там ворошу, разумеется, ощущал. А молодому парню лет так под тридцать вряд ли от этого было так уж комфортно. Да еще в таком месте!..

— Как же, дорогой, так все тебе порвали? Что это за драка такая? Не пойму механизма повреждений.

— Ну, вышел с работы... А там разборка какая-то. Ну и попал случайно. Я, блин, и понять ничего не успел...

«Кожа лоскутами в разные стороны. Как-то их переместить надо. Нежизнеспособные участки иссечь придется. Нехватка, малость, получится. Может, методом встречных лоскутов?..»

— Это ж не просто удар. И не нож. Разорвано к чертовой матери. Клещами что ли?..

— И сам не пойму. Верно, сознание потерял, блин. Провал какой-то. И по голове били, наверное.

«Но он же в одежде был, коль с работы уходил... уже вышел, даже. Сумасшедшая рана. А может, этот блин мылся в душе после работы?»

— У вас что, после работы душ? Голого били?

— Какой душ, блин...

— Да перестань ты меня блинами кормить, черт тебя возьми! А то и я сейчас какой-нибудь блин тебе сделаю...

— Прости, доктор. Это, чтоб хуже не сказать. Больно же!

— Ничего не больно... Так что? В одежде был? Не под душем?

— Я ж говорю! Какой душ! Я скорняк. Конечно, одет. Вы там поосторожнее. Чувствую все.

— Чувствуешь. И будешь чувствовать. Живой же. Не болит ведь. А чувствовать... Место же обезболиваем, не спишь же. А болей быть не должно.

«Скорняк. У них могут быть всякие основания для... Материальные, так сказать, ценности... Хм, блин, так сказать. Вот этот лоскут сместить налево, а здесь чуть подрезать и встречь пустить. Так разорвать мошонку сквозь одежду!.. Приемы десантников — кто-то из врачей сказал. Вздор. Схватили и рванули. Кошмар. От этой боли можно было и сознание потерять. На голове-то следов нет... Все упрятать надо. Как было. И внешне, что было... Чтоб красиво... Чтоб как было. Как там? — «Красота мир спасет». А? Ну, ну...»

— Доктор, простите... Тут вот какие дела... У меня через сорок дней свадьба... Там все в порядке?

— Какой же порядок? Все не в порядке. Попытаюсь, конечно, скроить, чтоб выглядело, как было. Скорняк! Нам вот тоже скроить кожу надо, чтоб вид был.

— Вид — что вид! Заживет? Работать все будет?

— Пожалуй. Наверное. Не повреждено ничего, что влияло бы на функцию, на дело. Кожа мошонки сильно разорвана. Все, что внутри, вылетело наружу. Висит.

— Доктор, сделайте, постарайтесь... Чтоб через сорок дней... А?

— А я что делаю? Стараюсь. Должно получиться. Внешний вид тоже важен. Красота мир спасет.

— Что? Мир? Мне в семье чтоб был мир...

«У них, у скорняков проще. Отдельные кусочки. А у нас-то — сосуды. Не нарушить бы кровоснабжение лоскута».

— У вас-то, у скорняков можно заплату вставить. А нам нужно, чтоб кровь доходила до каждого краешка...

«Так. Здесь хорошо сшилось. Канатик укрылся хорошо. Теперь бы дно скроить покрасивее. Тут вот этот лоскутик передвину. Пожалуй, подойдет...»

— Доктор, если будет все в порядке, я тебе такую шапку из пыжика сделаю! Я хороший скорняк, доктор.

— Да ладно, друг мой. Какая там шапка! Мне и самому хочется, чтоб красиво получилось. Как от Бога тебе дано было.

— Мне, чтоб работало...

«Пожалуй, получается неплохо. С этой стороны все хорошо укрылось. Вот этот угол надо как-то сделать поглаже. Чтоб шов не торчал. Здесь чуть подрежу...»

— Вообще-то, получается неплохо. Если не нагноится, то через сорок дней будет, как новенькая.

— Как новенькая? Свадьба будет...

— Вернее, будет, как старенькая. Как было. Лишь бы не нагноилось. Антибиотики колоть будем, — чтоб не ныть!

— Да я и не ною.

— Ведь вы как? Чуть лучше, и уже ничего не надо: и уколов много, и зад весь искололи...

— Все, доктор, все, как скажете. Слово даю. Бля...

— Вот, парень, только без этих терминов. Мне твоих блинов хватит. Всякие там бляхи-мухи оставь для будущих разборок.

— Все, все, доктор. Молчу. Я случайно. Извините. Только вы там не тяните так... Что вы там тянете?!

— «Не тяните!» Лоскут подтянуть надо.

«Неплохо получается. Чуть меньше мошонка стала, да это значения не имеет. Так даже красивее. Рубцы подрассосутся и все на место встанет. Нет... Неплохо...»

Я немного отодвинулся, чтоб полюбоваться собственной работой. Совсем неплохо... Просто даже хорошо! «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — так кажется, он радовался удачной работе?..

Я отошел от стола, наложив повязку. Потом сделал еще так называемую Т-образную повязку. Могла бы и сестра наложить, да мне прямо-таки жаль было расставаться со своим произведением.

Похлопал паренька по плечу:

— Теперь молись. Мы свое сделали. Как могли. Ничего, будем надеяться.

— Спасибо, доктор. Шапка за мной.

Я только хмыкнул в ответ. Не раз я слышал эти обещания. А как заживет, так все забывается. Чаще всего. Да и не нужно мне это. Лучше бы платили зарплату нормальную, а уж шапку я и сам тогда куплю, какая мне понравится. А вообще-то и не нужна мне шапка. Не люблю я шапки!..

И я пошел из операционной.

Дежурство только начиналось.

В коридоре мимо меня проплыла каталка, на которой увозили в палату моего скорняка. Слышу, шепотком спрашивает он сестру:

— Этот что ли делал мне? За маской не разглядишь...

Сестра подтвердила.

— Эй, доктор! Совсем не больно было. Спасибо! Все путем будет?

Парнишка лежал в другом отделении, и у него был свой врач в палате. Но швы снимал я сам. Вдруг что не так? Да еще, наверное, и от довольства собой. Да. Если по правде, так я знал, что все шло нормально. Просто хотел порадоваться своим успехам в «искусстве кройки и шитья», как пел в дни нашей молодости Булат Окуджава. Мошонка была ровненькая, аккуратненькая. Я любовался своей работой.

— Ну как, доктор?

— Все о'кей! До свадьбы, как говорится, заживет.

— Да не как говорится, а вправду нужно. Заживет? Нормально будет?

— Если меня не посрамишь — молотобоец будешь.

Я подклеил повязку и пошел из перевязочной.

— Эй, доктор!..

Опять это «эй». Но что, я его воспитывать сейчас здесь буду? Уж какой есть. Пусть теперь жена его воспитанием занимается, если родители не сумели. Интересно, она к нему приходила? Он ей говорил, что у него? Впрочем, не мое это дело...

— Доктор, а как тебя зовут-то? Я даже не знаю. Шапка-то за мной.

— Чего ж других не спросил. Борисом Исааковичем меня зовут.

Он вытаращился на меня, будто незнамо что услышал. Но дальнейшую его реакцию я уже не видел. Ушел к себе в отделение.

На следующий день он поднялся на наш этаж в мое отделение. Я сидел один и подписывал истории болезней.

— Слушай, Исаак...

— Борисом Исааковичем меня зовут.

— Да что ты возникаешь? Все одно — Исаак. Да? А ты что, еврей?

— Во-первых, юноша, у русских, в нашем языке, есть вежливая форма: к незнакомым, тем более к старшим принято обращаться на вы... И у нас, у русских, принято обращаться с отчеством.

— Ну вот. Опять возникаешь...

— Да. Еврей. А что? Имеет значение?

Как писал Пушкин: «Ничего не ответила рыбка, лишь хвостом по воде плеснула...». Парень ничего не сказал и, печально ссутулившись, пошел из кабинета. Как это у того же Пушкина, нашего русского кумира: «Догадал меня черт родиться в этой стране...»

Помню, лет пятнадцать тому назад один приехавший к нам немец, не понимавший по-русски, сказал, что он чаще всего слышал (и единственное, что понимал в разговорах) два слова: Пушкин и Кегебе. Но это я отвлекся...

Паренек был столь расстроен, что я тоже закручинился — не порвал бы он всю мою работу, чтоб заново все сделал какой-нибудь брат по племени и крови. Придет, как Маугли к питону Каа, и заявит: «Мы с тобой одной крови, ты и я. Удачной охоты, Каа. Почини мне мошонку». Еще лучше попросить об этом Багиру...

Больше я его никогда не встречал. Ни при выписке. Ни после свадьбы... Никогда. А мне так интересно бы знать конечные результаты моей работы!.. И внешний вид тоже: как разгладились через год швы, нет ли узлов.

Думаю, впрочем, что все в порядке. Говорят же: нет вестей — добрые вести. Было бы плохо, пришел бы, наверное, права качать...

5. Здесь он не Иссакыч

— Адони!..

Я не знал иврита, но за несколько дней пребывания в Израиле это нечастое обращение к мужчине уже освоил. Вроде как «Господин»... Наверное. Так или иначе, но это ко мне обращалась какая-то пожилая женщина, и я остановился, изобразив на лице своем удивление. Женщина стала что-то небыстро говорить — может, спрашивала что? По медленной речи я понял, что иврит ей, по-видимому, неродной язык. Да и что удивительного, если язык этот и на сей земле появился лишь после двухтысячелетнего перерыва и только благодаря одному русско-еврейскому энтузиасту, возродившему и изменившему его, подогнав его к нынешнему времени и месту... Так что и этой земле он был родной лишь относительно. Хотя, пожалуй, все ж родной...

В ответ на незнакомые слова я извинительно и удрученно развел руками — не понимаю, мол. Затем, вспомнив, что, царствовавший среди русских евреев прошлых поколений идиш не что иное, в конце концов, как искаженный немецкий, решился произнести: «Ихь ферштее нихьт». Но почему-то «озвучил», как нынче говорят, эту мысль все-таки по-русски: «Я не понимаю». И вторично развел руками, придав своему лицу скорбный вид.

— Я сразу поняла, что вы русский! — уже на явно родном языке и без всякого акцента воскликнула женщина. Выговор был именно чисто русский, хотя с какими-то особыми напевами, я еще не понял — какими.

— Конечно! — продолжала женщина, — кто же, кроме русских, в такую жару пойдет в носках? Нет разве?

В форме этого неожиданного вопроса-утверждения я все же уловил отличную от русского говора и стиля еврейскую манеру никчемной любознательности — или, если хотите, любопытства. Ну, при чем тут: «Нет разве?»

Ну, ладно. Пожилая эта женщина просто давно, видно, не имела русского собеседника...

— Вы сюда приехали жить? Или в гости? Что вы разводите руками? Вы боитесь, что я у вас что-то попрошу?..

— Нет, не боюсь. Да и не представляю себе, что можно попросить у меня, три дня назад приехавшего сюда в гости...

— О! Так вы не насовсем? Правильно!.. Не делайте этой глупости, которую сделала я. Вы откуда, если не секрет?

Ох, уж эта еврейская манера беседовать солянкой из вопросов, советов и удивленных восклицаний!..

— Почему же? Разумеется не секрет. Я из Москвы.

— Ну, конечно. Он из Москвы. Вы там живете и горя не знаете. Работаете, наверное, ходите в театр, может, еще и книги читаете? Или на пенсии? А как вас зовут?

— Сразу столько вопросов! В какой последовательности отвечать вам? — я невольно засмеялся, подумав, что да, и в самом деле распоясались здесь, видно, евреи, расковались... Вряд ли она в Москве на улице столько и таких вопросов задала бы незнакомому человеку! Разве что в Одессе...

— Начну с самого легкого: зовут меня Борисом Исааковичем, — ответил я, улыбаясь.

— И забудьте. Вы не знаете, где вы сейчас есть? Здесь нет Исааковичей. Исааковичи остались в России... или на Украине. Или где угодно там — в бывшем Советском Союзе. Здесь вы Борис. Исаакович он! Отчество ему понадобилось! Здесь этого нет. Здесь страна, здесь Бог, здесь нет отчества...

— Это я знаю, но я слишком много лет привыкал к такому виду своего имени...

— И забудьте. У вас вполне ассимилированное имя. Имя неизвестной национальности. Для России ваше отчество определяло национальность — здесь это не нужно. Здесь вы и так еврей. Вернее израильтянин.

— Такие сложности мне и в голову не приходили! Слишком глубоко...

— Глубоко! Он говорит «глубоко»! Поверхностно! Если вы очень хотите звучать по-еврейски, так называйте себя Борухом!..

— Я, во-первых, не придаю этому уж такого большого значения. А, во-вторых, я вернусь к себе на работу и опять стану Иссакычем.

— Ну да. И опять станете евреем... не израильтянином. А почему вы не спрашиваете, как меня зовут? Так меня

звали Фаней, чтоб вы знали. А здесь, иные норовят меня Фейгой выкликивать. И что? Я откликаюсь. Да меня и дома, на Украине, так не называли. Впрочем, что сейчас Украина? Одесса — это русский город или Украина? Хотя Одесса — это Одесса, никакой это не русский и не украинский город. Это Одесса!.. А вот Харьков — это что будет? Или Львов, что когда-то, не так уж давно, был австрийским Лембергом, а?..

Чисто еврейская манера задавать кучу вопросов и не жаждать получить на них ответы! Да и что мне отвечать? И кому — «мне»? Борису... или Борису Исааковичу?.. Или Иссакычу?.. Я теперь и сам не знал, кому как представляться, на что откликаться. И вообще — приехал в страну евреев, где, так сказать, моя историческая родина, а здесь последний знак моего еврейства снимают с меня... Здесь я русский Борис! Здесь я не Иссакыч, славный еврей, и надо опять ехать домой, чтоб опять стать евреем. А надо это — стать евреем?.. Смешно.

Так рассуждал про себя и посмеивался Исаакович, гость израильский, над Борисом, русским гостем.

А соскучившаяся по собеседникам новоиспеченная израильтянка, или, как здесь это именуется, олим хадашим, Фаня или Фейга с неизвестным, оставленным на географической родине отчеством, продолжала разговаривать с бывшим соотечественником, сохранившим отчество, но, как она полагала, видимо, еще не выбравшим себе отечество.

— Вы поедете себе домой, пойдете на работу, у вас там семья, дети, будете приходить всюду, как к себе. Есть с кем поговорить, а может и приказать, наказать, выслушать приказ чей-то, с кем-то не согласиться, что-то сделать... А мои дети, ради которых я и приехала сюда, либо ищут работу, либо работают целый день, а я одна, и нет соседей даже, с кем могу поговорить. А те, кто есть, говорят кто на иврите, а кто, худо-бедно лишь на английском. А можно ли поговорить по душам, когда на этом языке я могу спросить только, сколько это стоит и как пройти?.. Да еще «здравствуйте» и «до свиданья»...

— Так вам здесь плохо?

— Мне плохо?! Мне хорошо. Но только кому я здесь нужна? Никто не обращает на меня внимания, никто не говорит, чтоб я убиралась к себе в Израиль. Никто не говорит мне, что я какая-то морда. Никто меня ни с кем не обобщает — мол, «все вы такие-сякие». Никому я не нужна...

— Так зачем же вы уехали?

— Вот затем, чтоб мне не говорили «морда», что я «все вы...» Мне говорили «убирайся», и я убралась. Но меня искали, меня выискивали в толпе, выдергивали из толпы, как морковку из грядки... А здесь — кому нужна морковка, когда тут и ананасы есть, и бананы, авокадо, и... я не знаю, чего тут нету? Меня тут нету. Я им не нужна. Я такая же, как и они. Меня не посылают, а спрашивают, чем помочь. А что мне помогать, когда я хочу работать? Только кому нужен какой-нибудь бухгалтер с фабрички из Умани? Ну?..

— Так возвращайтесь.

— Он говорит — возвращайтесь! Чтоб меня опять грозили вырезать? И меня и мое семя?..

— Так ваше семя, или, вернее, семя вашего отца, мужа, уже здесь. Его уже там не вырежут. И потом, это только слова, крики дурных...

— Он говорит — слова! Но это ж у них, в их Новом Завете сказано: «Вначале было Слово»...

— У них же и сказано, что «Слово было у Бога». А ведь эти крики — в устах у детей сатаны...

— Так всегда, когда начинается борьба с сатаной, у кого головы летят, я вас спрашиваю? Страдает кто? Ну! Вот именно. Так я уже сыта.

— Так оставайтесь здесь!

— Здесь?.. Но ведь там, например, я могла сказать детям: пойдите, дети, в театр. А здесь? Я им могу дать деньги на театр? Или даже на книгу?

— Они взрослые, ваши дети?

— Вы что не видите? Я уже немолода — откуда у меня малые дети будут? Но дети есть дети — они всегда будут для меня малые.

— Если они взрослые, так они сами возьмут свои деньги и сами купят себе книги.

— Кому нужны здесь книги, которые мы читали? И вообще — книги! Я им нужна? Я им не нужна! Книги!

— Так это не место, наверное, а время, возраст...

— Конечно. Старость — это не подарок. И зачем вы мне про это говорите? Я сама не знаю что ли, сколько мне лет?.. Ну, хорошо. Спасибо за беседу. Поговорила со своим человеком оттуда. Приедете совсем — договорим. Вы же приедете! Куда вы денетесь?!

Женщина махнула рукой и пошла. Ни тебе «до свидания», ни тебе «прощай»... Пройдя два шага, она остановилась и снова открыла рот:

— Да, а что вы меня хотели спросить, когда остановили?

— Я?.. Я вас не останавливал. Это вы ко мне обратились на иврите, который я не понимаю...

— А-а. Да-да. Вспомнила. Ну, а что вы развели тогда так испуганно руками? Вы боялись, что я у вас денег попрошу?

— Господь с вами! Мне такое и в голову не приходило. Я пытался показать, что я не понимаю.

— Ну, счастливо. Приезжайте. Глупость вы сделаете и в том, и в другом случае...

«Приезжайте». — Я усмехнулся и медленно побрел знакомиться с великим городом. Значит так — глупость я сделаю и в том, и в другом случае?.. И все-таки: если здесь я не Иссакыч, то кто же я?..

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ РОССИИ

Первые Чтения памяти Владимира Максимова — «От диссидентства — к демократии» (Париж, 24—25 марта 1996 г.)

После смерти Владимира Максимова в марте прошлого года редакция журнала «Континент», Американский университет в Москве и издательство «Воскресенье» приняли решение о проведении ежегодных Чтений в ознаменование памяти выдающегося русского писателя, основателя и в течение семнадцати лет бессменного главного редактора «Континента». В качестве же единого названия для этих Чтений решено было дать обобщенную формулу той главной темы, которая с юности и была, в сущности, главной темой всей жизни Владимира Максимова, его неизбывной болью и заботой: «Прошлое, настоящее, будущее России». Не случайно эта формула стала названием постоянного дискуссионного форума и на страницах «нового», уже перебравшегося в Москву из Парижа в 1992 году и с тех пор выходящего под новой редакцией «Континента».

Первые Чтения памяти Владимира Максимова, конкретной темой которых стало обсуждение динамики развития России «от диссидентства к демократии», были приурочены к годовщине его смерти и прошли в Париже в Центре Русской Культуры. Их организаторами выступили редакция «Континента», Американский университет в Москве, Международный ПЕН-клуб, французский ПЕН-клуб и Российская Академия Наук — при активном содействии Французского международного радио, Российского посольства во Франции, Российской миссии в ЮНЕСКО, «Общества друзей журнала «Континент», Издательского дома «Rocher» и целого ряда других российских и западных организаций, обществ, печатных органов и частных лиц. Не могу не добавить, что без благородной помощи синхронных переводчиков, выразивших готовность безвозмездно работать на Чтениях и отдавших им полных два дня, и без самоотверженной организаторской работы таких энтузиастов Чтений, как Галина Аккерман, Татьяна Максимова, Ирена Лесневская и многие другие частные лица, которым инициаторы конгресса выразили особую благодарность, Чтения эти просто не могли бы состояться.

Максимовские Чтения вызвали очень большой, а для последних лет, когда внимание западной общественности ко всякого рода конференциям и симпозиумам на «русские темы» заметно и резко упало, и просто-таки необычный общественный интерес. Для иных парижских органов печати, не слишком благоволивших к Максимову и оттого не слишком

стремившихся способствовать и успеху Чтений, он оказался весьма неожиданным. Достаточно вместительный зал Центра Русской Культуры, где проходили Чтения, все два дня работы был переполнен, люди стояли в дверях и проходах. Не было недостатка интереса и к секционным заседаниям.

Главная причина столь неожиданно, казалось бы, повышенного и обостренного интереса к Чтениям была, конечно же, прежде всего в обострении самой российской ситуации — в той тревоге, которую Россия опять и все больше начинает вызывать на Западе в связи с нарастающей угрозой коммунистического реванша. Об этом говорили на Чтениях не раз, и это, по-видимому, отражает общее настроение и многое, действительно, объясняет.

Но в контексте этих тревог и ожиданий, которые уже и сами по себе должны были, естественно, привлечь к Максимовским Чтениям особое внимание, сыграл, несомненно, свою роль и состав их участников. С докладами, сообщениями и в дискуссиях на Чтениях выступило более пятидесяти человек, среди которых было немало и широко известных бывших советских диссидентов (В. Буковский, А. Глезер, Н. Горбаневская, Э. Лозанский, Ю. Кузнецов, Э. Неизвестный, Л. Плющ, Ю. Покальчук, А. Синявский и др.), и авторитетные представители западной интеллигенции (А. Берелович, А. Блок, А. Безансон, А. Глюксман, Ж.-Ф. Колосимо, М. Окутурье. Ж. Нива, Р. Смит и др.), и большая группа участников из России (Ч. Айтматов, Л. Аннинский, А. Грачев, Ю. Давыдов, А. Дементьев, А. Зубов, Ф. Искандер, о. Георгий Кочетков, И. Лесневская, Г. Осипов, Л. Пияшева и др.). От столь представительного собрания столь авторитетных людей парижская публика вправе была, естественно, ожидать, что они способны проанализировать тревожную российскую ситуацию не только с разных точек зрения, но и из глубин разного реального опыта — взглянув на нее и глазами вчерашнего диссидента, и с той западной *стороны*, с которой, как уверяет русское присловье, всегда *виднее*, и из самой гущи сегодняшней реальной российской жизни. Другими словами от Чтений можно было ожидать, что они дадут возможность познакомиться с действительно содержательной и объемной панорамой живой нынешней русской и западной мысли о России, сопоставить разные и в то же время достаточно значимые, достойные внимания модели ее видения и понимания.

И, наконец, немалую роль сыграл, полагаю, в контексте этих двух важных обстоятельств и еще один важный фактор, о котором я, открывая Чтения, счел нужным сказать даже и специально. Я не мог не обратить внимание на то, что в зале — и среди участников, и среди слушающих — немало людей, которые вряд ли пришли на эти Чтения потому, что так уж любили В. Максимова. Он был, как известно, человеком резким, неуживчивым, способным в субъективной своей запальчивости оттолкнуть и обидеть даже и вовсе не чуждого ему человека. А уж когда он видел в ком-то *идейного* своего противника, сдержанности в полемике ожидать

от него было трудно. И тем не менее на Чтения, посвященные его памяти, пришли, повторяю, даже и те, кто давно разорвал с ним всякие отношения и на ком ядовитое перо его поплясало в свое время поистине всласть. Что же заставило их, явно преодолевая свое естественное человеческое сопротивление и не взирая на все то почти неизбежное злословие, которое тут же со всех сторон обступает тебя, как правило, в подобного рода ситуациях, все-таки прийти на Чтения? И тем, что ни говори, засвидетельствовать все-таки именно свое **уважение** к памяти человека, которого и на дух вроде бы давно уже многие не переносили?

Я думаю, что главным здесь было все-таки именно то, за что действительно — и всегда — можно было **уважать** Максимова. Его глубинная человеческая подлинность. Та подлинность, которую всякий тоже подлинный в своей основе человек просто не мог не чувствовать в нем, как бы ни был, скажем, несправедливо он Максимовым обруган или в какой бы идейной вражде с ним ни находился. Да, Максимов был резким, неудобным человеком, он часто бывал в своих страстных обличениях несправедлив и слишком субъективен. Но никогда рождение этой страстной, то и дело хватающей через край субъективности не определялось тем, что уходит своими корнями более всего в нашу амбициозность, в нашу личную небескорыстную заинтересованность — во все то, что замешано на нашем несовершенстве, на нашей эгоистической непорядочности. Его страсть, его яростное обличительство, его гнев всегда питало собой прежде всего то, во что он свято верил, как в Истину, что он исповедовал, за что готов был платить жизнью. Никогда ни Россия с ее бедами, ни литература с ее вечными и сегодняшними проблемами не были для него всего лишь выигрышным поводом к тому, чтобы через них поэффектнее «самовыразиться», показать себя. Напротив, через его личность, далеко не всегда зрячую, разумную и правую в своей страстности, всегда находила свой выход прежде всего его страстная любовь к России, как он ее видел и понимал, влюбленность его в литературу, как он ее чувствовал и боготворил, и столь же страстная его ненависть ко всему, что казалось ему губительным для страны, для культуры, для искусства. Потому-то все-таки даже в самых опасных его заблуждениях и в самых огорчительных его несправедливостях его и можно было всегда **уважать**.

Вот этот-то дух максимовской подлинности, это-то как бы завещанное и потому как бы само собой ожидаемое незримое присутствие этого духа на Чтениях его памяти, — все это тоже обеспечило им, несомненно, тот необычный интерес, который они вызвали. Это ожидание нельзя было, преступно было обмануть, и потому-то, открывая Чтения, я прежде и более всего и пожелал всем его участникам, чтобы этот дух подлинности возобладал и в самой работе конгресса, чтобы не заслонила его наша, участников, личная амбициозность или групповая тусовочность, чтобы вело нас всех во время любых наших споров и обсуждений только одно стремление — к Истине.

Мне кажется, так это, в общем, и произошло, и это, в конечном итоге, и определило безусловный успех Чтений. Они развернулись в действительно очень содержательную, объемную и очень репрезентативную панораму сегодняшней мысли о России — мысли живой, честной, искренней. И я думаю, что знакомство с материалами этих Чтений немало даст всем, кому действительно небезразлично настоящее и будущее России и кто для того, чтобы лучше ориентироваться в этом настоящем и трезвее видеть возможные пути в будущее нашей страны, испытывает потребность внимательнее разобраться и в ее прошлом. В том числе и в таком недавнем, как диссидентство.

Разумеется, на страницах «Континента» мы, не говоря уж о полном объеме материалов Чтений, при всем желании не сумеем познакомить наших читателей даже и со сколько-нибудь значительной их частью. Но через какое-то время мы предполагаем издать их в качестве Приложения к журналу в виде отдельной книжки, об условиях приобретения которой будет сообщено отдельно, и все желающие смогут ее заказать и получить. На страницах же самого журнала мы решили предложить вниманию читателей лишь две более или менее «подъемные» для нас (по количеству страниц) подборки выступлений по двум наиболее, на наш взгляд, острым и важным темам, обсуждавшимся на Чтениях среди многих других.

Первую подборку, включающую пять выступлений — Л. Аннинского, М. Окутюрье, Ю. Покальчука, А. Береловича и Ж. Нива, — мы печатаем в этом номере. Она посвящена, в общем, обсуждению такого важнейшего явления нашей недавней истории, составившего целую эпоху в развитии российской общественной жизни, как диссидентство, — его истоков, его «менталитета», его дальнейших судеб, его отношений с современной Россией. Вряд ли нужно доказывать, насколько важно для нашего духовного и интеллектуального самоопределения в сегодняшней российской истории окончательное «выяснение отношений» с этой эпохой. Как нам кажется, разные по характеру и мысли, но во всех случаях очень показательные — порой более эмоционально-публицистические, чем аналитические, порой описательно-информационные, а порой почти беспощадные в своей критической трезвости — подходы к этому феномену, демонстрируемые названными выше авторами, могут серьезно помочь нашему читателю в этой нелегкой, но необходимой работе.

Вторая подборка будет посвящена анализу современной российской ситуации, взятой с разных ее сторон — духовной, экономической, правовой, социальной. Она включит в себя тоже пять выступлений — Г. Осипова, Л. Пияшевой, А. Зубова, о. Георгия Кочеткова и мое; опубликовать эту подборку мы планируем в следующем, 89-м, номере.

Игорь Виноградов

Лев АННИНСКИЙ

Москва

НЕОБРЫВАЮЩИЙСЯ ДИАЛОГ

Три великих дела сделал Владимир Максимов в русской словесности. Два уже бесспорны. Одно еще спорно.

Первое дело — «Семь дней творенья». Драк было много, но, кажется, признали. Неотменимо стоит в основном ряду русской прозы второй половины двадцатого века. В ряду с Солженицыным, Астафьевым, Владимовым, Можаевым.

Второе дело — «Континент». Драк и тут хватало: и вокруг журнала, и внутри. Но, в конце концов, признано, что из всех органов печати Зарубежья, пытавшихся собирать силы русской литературы за пределами Державы, удалось это только «Континенту». Единственная масштабная аналогия — «Современные записки»; те — для первой половины века, а «Континент» — для второй.

И наконец, третье дело, все еще спорное, все еще саднящее, все еще непризнанное: публицистика. Вспыхнувшая в 90-е годы, опалившая последние пять лет максимовской жизни, втянувшая его в такие драки, каких он в своей богатой драками «биографии» прежде не вел.

Об этом третьем его деле я и хочу поразмышлять. Вернее, поспорить. Еще вернее: доспорить. Ибо мой многолетний спор с Максимовым начался лет за пятнадцать до учреждения «Континента». И месяцев за пятнадцать до «Тарусских страниц», где родился Максимов-прозаик. Может, мы познакомились и раньше, но в качестве застрельной запомнилась мне встреча 1959 года — в одной из комнатушек «Литературной газеты», где я тогда работал в отделе братских советских литератур и куда Максимов приносил стихи и переводы. Не мне приносил. И большею частью не на мой этаж ходил. Он ходил на шестой этаж к «левым» (по иронии судьбы, «левых» там собирал Юрий Бондарев). Я же сидел на пятом, у «братишек»; место было хорошее: необязательно было записываться в левые или правые. Так что спорить Максимов ходил ко мне персонально. Это меня в высшей степени устраивало.

Не помню подробностей, но у меня излюбленный ход мыслей был в ту пору такой: если культура в принципе строится на самореализации личности, то социализм своей культуры создать не может. По определению. И мы должны заплатить утратой духовной культуры за цивилизационное устроение. (Я тогда только что прочел Шпенглера.)

Ход мысли Максимова: это все отвлеченная трепотня (он выражался куда сильнее). Духовную культуру можно созидать в любых предлагаемых условиях. И надо созидать ее практически.

Смешно, но в дальнейшем мы как бы поменялись позициями. То есть социализм он начисто, по определению отверг. А я — принял и принялся практически придавать предлагаемым условиям, то есть социализму, «человеческое лицо».

Дальше мы спорили «пунктирно», от встречи до встречи, лет пятнадцать, до самого его отъезда. Потом лет пятнадцать длилась пауза. Потом он приехал и прервал паузу. Мы встретились. И, начиная с этого момента, в ритме его приездов проспорили «пунктирно» еще пять лет: и у нас на «московской кухне», воспроизводя антураж Застоя, и на телеэкране, встраиваясь в декорации Гласности.

Я спорю с ним мысленно и теперь. Я не хочу дать ему исчезнуть из моей жизни.

Максимов сейчас остро нужен мне — для спора. Для проверки идей, для преодоления безнадеги. Мое отчаяние по-прежнему ищет встречи с его отчаянием.

Он говорит:

— Нынешнюю российскую реальность можно определить как растление. На всех уровнях и во всех сферах. Эта бесовская банда — «демократы» — не успокоится до тех пор, пока не смоет с карты Земли само понятие «Россия».

Я отвечаю вопросом:

«Эта бесовская банда» — откуда взялась на нашу голову? Она что, к нам импортирована? С Запада? С Востока? Не из наших ли печенок вышла? По выражению самого Максимова, «банда» мобилизована из... Тьмутаракани. Сидели бы и сидели эти провинциальные чиновники в тамошних горсоветах, так нет, все вылезли в столицу!

Значит, наше же и вылезло? На кого пенять?

Он говорит: на себя! Говорит: в зеркало гляньте!

Говорит:

— Другого народа у нас нет и не будет. Потому что и мы с вами, и тот омоновец с дубинкой и черемухой, которого около нас поставят, — и есть то самое физическое, духовное, национальное и Богоданное нам тело, которое называется Россией. И с этим уже ничего не поделаешь.

Я отвечаю: да, так! Это — раскованная, глубокая, пронзительно-верная мысль Максимова. Но почему тогда из «всех нас» надо выделять такую красиво обрисованную «банду», которая и мордует нас еще похуже коммунистов, и непременно хочет стереть Россию с лица Земли? Ведь состав этой «банды» обновляется так быстро и непредсказуемо, что вряд ли можно подвести ее под одно какое-то клеймо. И потом: никакой такой внятной цели, вроде уничтожения России, у этой «банды» нет, а есть животное, звериное, тьмутараканское желание не упустить момент нахватать и удержать побольше. И, наконец, само это желание, как все звериное, низменное в человеке, — вечно, и я не знаю, почему нынешние «демократические номенклатурщики» должны вызывать большее омерзение, чем ворюги и кровопийцы любой другой формации.

Ах, они строят хоромы, какие не снились коммунистическим бонзам? Не знаю, не присматривался. Меня их хоромы не интересуют. Мне в них не жить. Боюсь, что и им не жить. Но лучше, когда хоромы все-таки строятся, а не разрушаются. А кому они в конечном счете достанутся, того сам черт не угадает, да и не будет конечного счета.

Шехтель строил хоромы Рябушинскому, потом в хоромах живет — Горький, а до него — какие-то беспризорники, а после него там музей. И пусть. Я не берусь решать, кто лучше: Рябушинский или Горький. И за кого больше болит душа: за беспризорников или за музейщиков, — это от ситуации. А вот вне всякой «ситуации» я болею — за Шехтеля.

Так что пусть строят. Разжигать по этому поводу ярость масс — неразумно. И странно со стороны такого человека, как Максимов, который мыслит глобально, масштабно, крупно, а прикован к «номенклатурщикам». Или к Новодворской, например, талантливой бузотерше, которая морочит всем голову, по-скоморошьи всех задирает, бьется в провокационно-артистическом экстазе. А Максимов верит и злится.

Сегодняшние номенклатурщики пройдут так же, как прошли их предшественники. И еще неизвестно, какие лучше.

Впрочем, Максимову известно:

— Семьдесят с лишним лет коммунисты растлевали общество беспардонной ложью; то же самое продолжается и сейчас, только еще гнусней и циничней, потому что распространяется от лица демократии.

Я спрашиваю: значит, большевики то же самое, только не так гнусно и цинично? Тогда зачем ты с ними воевал?

Максимов и сам задает себе этот вопрос: зачем? И отвечает, что это была его ошибка. Надо признать, что только два человека — Максимов и Зиновьев — имеют мужество признать, что их яростный антикоммунизм был так же бессмыслен, как и яростный коммунизм. Зиновьев, великий логик, доводит свою мысль до логического конца: как ни страшна коммунистическая система, но русскому народу только она по плечу и по нраву. Максимов, великий страдалец, логических концов не сопрягает. Он на этих концах просто разрывается душой.

Он говорит:

— Я никогда не выступал против России. Я выступал против идеологии. Я считал, что это — единственный груз, который мешает России развиваться... Это моя большая и трагическая ошибка. И о ней на старости лет я весьма сожалею.

Я отвечаю — не на «ошибку», конечно, такие «ошибки» свойственны великим душам, без такой «ошибки» Максимов не был бы Максимовым. Я отвечаю на мысль о том, как нам отделить страну от идеологии. Если идеология — единственная помеха, то все просто: перемени слова, и дело с концом. Но если идеология — лишь прикрытие, лишь анестезия, помогающая выносить боль существования, — тогда отменяя анестезию, готовься выдержать боль.

Коммунисты семьдесят лет лгали? Допустим. А их предшественники триста лет — не лгали, охмуряя себя «Москвой — Третьим Римом», «потемкинскими деревнями», «православием — самодержавием — народностью» и сказками, что у мужика на обед курятина, а по праздникам — индюшатина, меж тем, как реальный мужик шел с дубьем грабить и жечь поместья?

Ну, а если лгут и охмуряют себя все и во все времена, — какого лешего идти с дубьем на нынешних правителей и писать Гайдара, Собчака и Лужкова с маленькой буквы? В корень-то посмотреть: тьмутаракань как была при нас, так и остается.

Истребить тьмутаракань? Не истребишь: она, как верно заметил Максимов, «на всех уровнях и во всех сферах». Что делать? Ничего. Жить дальше.

Так ведь грабят! Оккупируют! Американцы нас, дураков, с лица земли стирают! Им, американцам, никакая российская демократия не нужна, их цели с 1919 года неизменны:

— Окончательное разрушение России, Российского государства, Российской цивилизации.

Мои контакты с американцами, конечно, не настолько обширны, чтобы я судил об этих планах с исчерпывающей полнотой, но, думая о них по аналогии с нами, я не сомневаюсь, что определенные силовые структуры в Америке действительно хотели бы нас уничтожить. Уничтожить Державу, а Культуры им не жаль. Точно так же и наши силовые структуры пытались осилить и ослабить американский империализм. Но это не мешало миллионам наших сограждан искренне верить в то, что коммунистическая вера осчастливит простых трудящихся американцев. Так и они: Пентагон Пентагоном, а миллионы простых американцев искренне надеются осчастливить нас своими демократическими ценностями. Тем более, что простой американец, как остроумно заметил Максимов, есть совок наизнанку.

А ну, как осчастливит?

Честно говоря, я этого не боюсь. Я боюсь войны. В любом масштабе. Война — это озверение, откат, Жуть. Все остальное поправимо.

Максимов говорит:

— Идет тихое завоевание! У нынешних демократических реформаторов позиция рассчитана очень точно. У них — психология прислужников оккупационных властей. Это не русские политики — те, что правят сейчас Россией, — это будущие бургомистры, старосты и полицаи...

Я отвечаю: есть все-таки разница между гауляйтером и губернатором. Есть разница между оккупантом, который является в страну, когда его не зовут, и «оккупантом», который является в страну, когда его зовут. И еще важно, с чем является. С чего начинает и чем кончает.

Восставший против русского царя за Польшу Огинский в русской памяти оправдан, и его полонез — любимейшая мелодия русских, а пришедший в Москву махать саблей прогрессист Лжедмитрий выстрелен

из пушки обратно в сторону Польши. Явившийся с танками и гауляйтерами учить нас новому порядку Гитлер угроблен, а явившаяся оттуда же принцесса Софья рассадила по русским городам губернаторов-немцев и стала любимейшей российской императрицей. Вопрос в том, с чем идти в Россию. Если с мечом, то ничего не получится, кроме гибели агрессора и дикого озверения самой России. Это многократно испробовано в истории: и гибель, и озверение. А если с добром?

Даже если начиналось с крови, с драки, с сечи, — это еще не было фатально, и «оккупация», перешедшая в мирное сосуществование, давала неожиданные плоды. Я понимаю, что в результате татарской оккупации Руси в XIII веке русские стали сильно отличаться от тех славян, которые остались в Галичине (и сейчас, наконец, отделились), но я не представляю себе русской культуры без дальних плодов татарской «оккупации», то есть: без Карамзина, Тургенева, Булгакова, Куприна, Рахманинова.

Только не война! А мирных «оккупантов» примем и переварим.

Поэтому у меня, в отличие от Максимова, нет никакой охоты бить в набат по поводу того, что делают сейчас в России реформаторы. Они делают то, что назрело. Они отпустили цены и дали выход скопившейся торговой энергии. Воруют при них приблизительно столько же, сколько всегда воровали на Руси, с учетом расширившихся масштабов дела. Останутся реформаторы у власти ровно столько, сколько нужно, чтобы сдвинутый ими с места застоявшийся воз пошел как следует. Потом страна сдвинет их самих — по тому закону, что любое общество должно иметь фланги и чередовать их в наступлении, как чередуются шаги в движении: левый — правый (демократы — республиканцы в Америке, социалисты — консерваторы в Европе). Чтобы шагать, нужно две ноги, чтобы лететь — два крыла.

Горе России не в том, что в ней есть две такие силы: с одной стороны коммунисты, с другой — рыночники; горе в том, что обе эти силы не умеют чередоваться, не хотят сотрудничать и мечтают только о том, чтобы извести одна другую под корень.

Когда Максимов призывает народный гнев на головы «раздувшихся клопов» демократической власти, — он работает на очередную кровавую разборку. Око за око, зуб за зуб.

Он объясняет, почему это сейчас неизбежно.

— *Кровь уже пролилась! Кровь страну разделила! Надвое расколола — и уже навсегда! Теперь не сойтись!*

Ну уж и не сойтись, — отвечаю я. — Ну уж и навсегда. В гражданскую войну красные и белые не Белый дом — полстраны выжгли, баржами друг друга ко дну пускали — и все равно в конце концов пришлось каяться; не сами, так дети, не дети, так внуки стерли из сознания этот красно-белый рубец.

Придется и тут переступить. Переступить через кровь, что пролилась в октябре 1993 года. Я не хочу разбираться в том, кто кого спровоцировал, кто первый стрельнул, кто скомандовал ехать брать телецентр, а кто его

подловил. Конечно, это существенно для реконструкции исторического действия и интересно по-человечески, но общий фон был ясен сразу: провокаторы, подлецы и безумцы действовали с обеих сторон. И зеваки, толпами глазевшие на эту баталию, были, как это ни больно, логичным компонентом общего зрелища. Конечно, психологически я к таким зевакам присоединиться не мог, я бегал по улицам в полном отчаянии, у меня буквально сердце обрывалось при каждом выстреле, — но умом опять-таки понимал, почему народ наблюдает этот штурм как цирковое представление: паны дерутся...

А ликующий митинг у того же Белого дома в августе 1991 года — не такой же цирк? Эти демократические триумфаторы — что, не чувствовали, чем это все обернется? Они не предвидели, что передерутся между собой?

Через два года передрались.

И что же, навсегда, как предсказывает Максимов? Нет. Утрутся господа-товарищи и станут сотрудничать. Если не дураки и не самоубийцы. Как пустили кровь, так и залижут. Россия у нас одна.

Максимов говорит:

— *Вы хотите жить в такой России? Я — нет.*

А я отвечаю: да. Хочу. В любой России. Я хочу жить и буду жить в любой России. И это — коренной, глубинный, последний узел наших расхождений. Одним нужна Россия только коммунистическая, другим только рыночная, одним только самостийная, другим — европейски «оккупированная». Мне — всякая. Я не могу объяснить, что это такое: «Россия». Это то, что прорастает сквозь любые «оккупации» и «формации», это то, что нас создало, что меня создало и без чего меня нет.

В этом смутном чувстве мы с Максимовым, кажется, совпадаем: без России нас нет.

Ему генерал Ильин сказал при отъезде: «Ты хочешь поставить Советской власти условия? На колени! А потом посмотрим, что с тобой делать»

На колени? Можно. Но не перед генералом Ильиным. Не перед его партией, или любой другой партией, частью, структурой, фракцией, командой, бандой. В отличие от Максимова, я никогда не был антикоммунистом. По той же причине, по какой уклонился от членства в партии коммунистов. Потому что слишком много желающих со всех сторон накинуть на тебя хомут и поставить на колени.

Так что если встану — то сам. Перед Россией — встану. Можете говорить, что «Россия» в таком сюжете — эмоциональная абстракция.

Однажды (незадолго до отъезда в эмиграцию) он мне об этой абстракции сказал так:

— *Россия — это как мать. Мать не выбирают.*

И отбыл.

Я не ожидал, что он позвонит попрощаться, но он позвонил. Услышав его голос по телефону, я обмер: я был уверен, что разговор прослушивается. Собрал силы и пожелал ему счастливого пути. Сказал, что по-человечески понимаю его, но по-человечески же не хотел бы его отпускать.

За притворно-обыденными словами стояло то, что и он, и я понимали, но скрывали от себя: это было прощанье НАВСЕГДА.

Я был уверен, что никогда больше не увижу и не услышу его. Спустя полтора десятилетия произошло чудо: диалог возобновился.

Теперь его оборвала смерть. И чуда не будет.

Остается только мысленно продолжать диалог.

Мишель ОКУТЮРЬЕ

Париж

ДИССИДЕНТСТВО, ИЛИ РЕВАНШ ЛИТЕРАТУРЫ

Историку, особенно западному, который сегодня, тридцать лет спустя после возникновения в России диссидентсва, обращается к этому явлению, может показаться естественным провести границу между диссидентством литературным, одним из самых ярких представителей которого был Владимир Максимов, и диссидентством политическим, представленным такими деятелями правозащитного движения, как Александр Гинзбург, Владимир Галансков, Вадим Делоне или Владимир Буковский. Но свидетелю тогдашних событий очевидна искусственность такого подхода. Если его принять, то как нам быть, например, с таким замечательным поэтом, как Наталья Горбаневская, которая своим участием в демонстрации на Красной Площади против вступления советских войск в Чехословакию сыграла столь важную роль в развитии правозащитного движения? Да и большинство упомянутых выше «политических» диссидентов первоначально выступили как поэты на страницах подпольных рукописных журналов начала 60-х годов — таких, как *Синтаксис* (на страницах которого впервые печатно появился Иосиф Бродский), *Бумеранг* или *Феникс*.

Дело в том, что литература и политика в диссидентстве — нераздельны: своеобразие диссидентства, как *политического* движения, характерного для России 60—70-х годов, именно в том, что его корни — *в литературе*.

Парадоксальность этой связи политики и литературы в диссидентстве особенно ярко выступает в том событии, в котором историки усмотрят, наверное, и само начало диссидентского движения как такового: я имею в виду прошедший ровно тридцать лет назад процесс Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Напомним, что подсудимые обвинялись в антисоветской деятельности, за литературные произведения, изданные за границей под псевдонимом. Историческое значение процесса (кроме той широкой международной огласки, которую он получил благодаря «оттепели») в том, что впервые в истории СССР подсудимые политического процесса не

признали себя виновными, не допустив квалификации своей литературной деятельности как политического акта.

Парадокс в том, что именно такая защита свободы литературы от политики и обеспечила процессу его огромное политическое значение. Она подразумевала отрицание всей системы тоталитарного мышления, основанного на марксизме, который позволял — и обязывал! — расшифровывать в «классовом», то есть политическом, ключе все явления культуры. Иными словами, эта защита свободы литературы от политики поставила под сомнение самые основы советского строя, ибо в контексте тоталитарного строя, утверждение независимости литературы от политики и есть не что иное, как именно *политический* акт, отрицающий сам этот строй.

Этот парадокс — одна из форм того возмездия литературы за ее политическое угнетение, на которое мне и хотелось бы сегодня указать. В качестве иллюстрации приведу отрывок из второй части автобиографии Пастернака *«Охранная грамота»*, опубликованной в 1931 году. Вспоминая свое открытие Венеции летом 1910 года, поэт (очевидно не без задней мысли) долго задерживается на ярком изображении сложившейся в республике дожей системы деспотической власти и полицейского произвола, основанного на доносах. И тут же задумывается над отношением между этой деспотической властью и искусством венецианских дворцов и венецианской живописи. «Когда искусство воздвигло дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который ему ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались» (Пастернак имеет в виду этимологическую связь слова «панталон» с эмблемой Венеции «водрузительницы льва (на знамени), то есть, иными словами, Венеции — завоевательницы»).

Эти слова были написаны за год до роспуска РАППа и до создания единого Союза советских писателей — по решению самого Сталина, не без участия Горького, и не без расчета на полное обращение его (а за ним и всех пока еще дискриминируемых «попутчиков») в сталинскую веру. Как известно, это решение было сначала воспринято как поворот к новой, более либеральной литературной политике. И даже шире — как поворот к новому курсу по отношению к остаткам старой интеллигенции. Об этом свидетельствуют и общая атмосфера, и отдельные выступления самых известных «попутчиков» в 1934 году на 1-ом Съезде союза. Отныне членство Союза обеспечивало всем советским писателям, независимо от их принадлежности к партии, привилегированное — и материально и морально, с точки зрения их социального престижа — положение в советском обществе. Взамен от них требовалось как будто очень мало: присоединение к «платформе» Союза, требующего с них, в качестве «инженеров человеческих душ» (по знаменитому определению Сталина), участия в воспитании народа в духе социализма, а также принятия «творческого метода» социалистического реализма.

В действительности же принятием этой платформы, писатели — члены Союза — признавали над собою руководство Партии, о чем им в 1946 году и напомнил Жданов. После смерти своего первого председателя Горького Союз писателей оказался фактически подчинен Центральному комитету и стал в его руках органом руководства литературой, которая на двадцать лет превратилась, по выражению Пастернака, в литературу «панталонную», то есть государственную.

Но то привилегированное положение, которое государство создало для литературы с расчетом включить ее в систему тоталитарной власти и таким образом употребить ее для своих целей, со временем должно было обратиться против него. Пример Пастернака тут тем более показателен, что он принадлежал к тем попутчикам, на которых и были рассчитана роспуск РАППа и создание Союза писателей. Правда, его выступление на Съезде как бы ненароком указывает на ловушку, подстерегающую писателей: «При огромном тепле, — говорит он, — которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическими сановниками». Но несмотря на это предупреждение, сама его речь и даже само его присутствие на трибуне означали, конечно же, взаимное признание поэта и социалистического государства.

Отсюда взрывчатая сила, которую приобретают двадцать лет спустя создание и публикация *«Доктора Живаго»*. Первый замысел романа относится еще ко времени основания Союза писателей, и отрывки, опубликованные в конце тридцатых годов, показывают, насколько этот ранний замысел создавался еще по принципам советской литературы тех лет. Но памятна сенсация, произведенная в 1957 году публикацией на Западе романа в окончательной его форме, сложившейся уже после войны, в атмосфере внутреннего освобождения от казенной лжи. И недавно обнародованные документы показывают, какие волнения на самом верху государства вызвало в 1958 году решение о присуждении Пастернаку Нобелевской премии. А ведь политическое значение романа не столько в самом его содержании, сколько в том, что на фоне государственной литературы уже само по себе свободное, независимое размышление о революции и о судьбе России, звучало как вызов тоталитарному государству.

В 1957 году *«Доктор Живаго»* — только первый и пока единственный и небывалый (что отчасти объясняет — если не извиняет — участие некоторых честных, но в ужасе отшатнувшихся от святотатца, писателей в травле поэта) случай «возмездия литературы». Но такие случаи отныне умножатся. Достаточно вспомнить о поэтическом ренессансе 60-х годов, постоянно расшатывавшем рамки официальной литературы и — в творчестве Бродского, — дошедшем до их полного игнорирования; достаточно вспомнить подпольные фантастические и сатирические повести Синявского и Даниэля, утверждавшие взамен изолгавшегося социалистического реализма более подходящую для советской действительности эстетику фантастического реализма; и, наконец, творчество Солженицына, как бы

даже принимавшее эстетику социалистического реализма (по мысли такого знатока, как Лукач), но для того, чтобы вернее подорвать ту политическую систему, которая на нее опиралась.

Во всех этих случаях литературные произведения становятся политическим фактом не в силу своего политического содержания, которое далеко не всегда налицо, а потому, что само существование независимой литературы, руководимой эстетической и моральной потребностью, а не государственной и партийной волей, расшатывает систему, включающую литературу в структуру власти. Иными словами, сам советский строй, в своем стремлении подчинить себе литературу и превратить ее в орудие власти, дал ей средства подорвать его основы, еще раз показывая, по словам Пастернака, «как обманывает искусство своего заказчика». Поэтому-то мы и вправе утверждать, что истоки советского диссидентства носят во многом именно *литературный* характер.

Юрий ПОКАЛЬЧУК

Киев

ЭВОЛЮЦИЯ ДИССИДЕНТСТВА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

На эволюцию правозащитного движения в бывшем СССР небезынтересно взглянуть в некоторой параллели с движением протеста 60—70-х годов в США и с волной студенческих бунтов на Западе — в частности, во Франции.

Окончание войны во Вьетнаме (то есть исчезновение объективной причины протестов молодежи в США), провал партизанской линии Че Гевары, совсем откровенная уже несостоятельность коммунистической Кубы и, в конце концов, падение революции в Никарагуа — все это к началу 80-х гг. привело движение протеста на Западе к идеологическому кризису.

В нынешние времена в странах коммунистического блока подобный шок произвел распад СССР и упадок идеологии коммунизма.

Для молодежи конца 70-х годов на Западе вчерашние хиппи оказались вдруг стариками, а их идеи протеста и сексуальной революции были восприняты поколением как банальное и скучное. Это уже было естественно, что от нового поколения 80—90-х годов следовало ожидать отрицания отрицания.

Так появилось направление, названное постхиппиевской журналистикой и социологией — «юппи», или, иначе, «белые воротнички».

Бывшие хиппи, не говоря уже о более молодых, вдруг бросились зарабатывать деньги и делать карьеру. При этом большинство былых бунтарей вообще отошло от своих юных увлечений и социальных взглядов, хотя небольшая часть все же осталась при своем — несмотря на смену общественных вех. К ним принадлежит, например, недавно выступивший по французскому телевидению один из бывших лидеров студенческого движения 68 года Даниель Кон-Бендит, сейчас заместитель мэра Франкфурта по вопросам прав нацменьшинств. Кон-Бендит утверждает, что современное западное общество во многом впитало идеи 60-х.

На территории бывшего СССР — в силу многих причин — все происходило со значительным сдвигом во времени.

И вот параллель.

Коммунизм сломлен, СССР развален. Как жить дальше бывшим диссидентам?

Вариант первый — одевать белые воротнички и идти на госслужбу. Или же, оставаясь за границей и сегодня, оттуда учить, как надо жить, бывших сограждан с исторической Родины. Здесь удобнее, а я пострадал, теперь имею право.

Вариант другой — линия, скажем, Сахарова и Сергея Ковалева. Или же (если говорить об Украине) Михайлины Коцюбинской, Мирослава Мариновича и Семена Глузмана. Таких тоже достаточно много, не все они заметны и не стремятся, как правило, к известности. Они просто и дальше придерживаются той же своей ИДЕОЛОГИИ, я сказал бы даже больше — той же ВЕРЫ в идеалы, однажды ими принятые. И живут согласно им, удобно и выгодно это или нет.

Следует однако подчеркнуть, что диссиденты представляли собой только верхнюю часть айсберга, состоявшего из огромной массы людей, отрицавших тоталитарный советский режим в пассивной форме и воспитанных в этом отрицании прежде всего не имевшей цензуры музыкой, которая благодаря радио и магнитофонам не имела также и границ. Сначала это был запрещенный в СССР рокнролл, а позже — и параллельно — огромное количество так называемых бардов — от Окуджавы до Высоцкого и Галича, а далее до «Аквариума», Цоя и других. На Украине, например, такое влияние имели известные фестивали бардов «Червона Рута».

Именно та масса, которая восторгалась этими песнями, и составила в своей основе возродившееся из пепла в начале «хрущовской оттепели» гражданское общество в СССР. Но именно она же после конца советской идеологии во всем бывшем СССР и бросилась делать деньги, так как предмет отрицания внезапно исчез.

Таким образом, можно, на мой взгляд, говорить, что при всех драматических различиях между советским движением протеста и движениями протеста 60—70-х годов на Западе действительно существует определенная параллель. Прежде всего — в эволюции масс, участвовавших в движениях. Но и в эволюции многих бывших лидеров. В эволюции, условно говоря, к «белым воротничкам».

Тут, впрочем, не грех вспомнить и французскую революцию, и многие другие, кончавшиеся всегда и везде тем же — к власти приходит новая метла, которая, как только становится государственной, отнюдь не заботится более всего о народе, а метет, как и все предыдущие — по большей части лишь к себе.

Говоря о диссидентах, которых прежде всего замечал Запад, следует помнить, что они были меньшинством, представлявшим собою продукт возрождающегося гражданского общества. При этом важно помнить и то, что главной проблемой диссидентского и правозащитного движения было и остается отсутствие положительной программы, неопределенность социальных целей — больших, нежели получение общих свобод от существующего строя. Лишь единицы реально ставили в своей борьбе задачу свержения существующего строя и замену его другим. Но даже и среди тех, кто понимал необходимость полной смены системы социальных отношений, не нашлось достаточно глубоких идеологов, которые выступили бы не только в плане общей критики коммунизма (это как раз сродни студенческим бунтам на Западе), а разработали бы именно положительную программу построения нового общества.

В этом плане значительно более определенной выглядела линия национальных диссидентов, в программе которых стояло — борьба за права человека и права нации.

Для России главный вопрос заключался в достижении демократии, в изменении существующего режима. То же можно сказать и о других коммунистических странах с моноязыковой ситуацией, как, например, Польша. Не случайно в экономически достаточно сильной Чехословакии все же произошел раздел на Чехию и Словакию. Национальная проблема в этой стране существовала и была разрешена.

На Украине, как и в Литве, Эстонии и Латвии, ощущение национальной угнетенности и постепенного уничтожения языка и культуры посредством последовательной политики русификации со стороны коммунистической русской метрополии создавало национальный миф, идеологизировало национальные духовные ценности. При этом романтизировалось прошлое и наивно мечталось о национальном независимом государстве, которое сразу же решит все проблемы.

Результат во многом тот же, что и в России.

Однако в странах, возникших после распада СССР, есть ряд особенностей, отличающих их от России, — и, в общем, положительного характера.

Конкретно об Украине.

Общая линия правозащитного движения, ориентируясь на национальное государство в Украине, не базировалась, однако, на узконациональной основе. В Народный Рух (Движение за Независимость Украины) вошли кроме украинских и русские, и еврейские, и татарские, и другие организации нацменьшинств. После провозглашения независимости сразу же был принят закон, защищающий права нацменьшинств.

Несмотря на остаточные явления бытового антисемитизма и поведение незначительных ультраправых групп, в целом выглядеть сегодня антисемитом на Украине уже просто неприлично. Это, так сказать, уже просто плохой тон. И это, конечно, серьезное завоевание правозащитного движения.

Раскол церковного движения в связи с независимостью на несколько православных Церквей некоторые исследователи тоже считают в чем-то и положительным, поскольку такой раскол отодвигает опасность слияния Церкви с государством, проведения Церковью политики государства, как это уже было в СССР. Кроме синагог, мечетей, баптистских и других Церквей, есть на Украине еще и греко-католическая украинская Церковь, и три православных украинских Церкви разных подчинений. И так или иначе, а люди уже привыкают к многообразию религий, к праву личного выбора.

Итак, несмотря на все схожие с Россией проблемы, идея построения национального государства является в корне новой для украинского общества, и все ошибки и недостатки нынешней политики Украины в значительной степени связаны именно с новизной проекта. При этом важно учесть, что очевидная всему миру имперская политика милитаризирующейся России, соответствующие заявления русских коммунистов и Жириновского, как и последнее постановление Госдумы России об аннулировании Беловежского соглашения — всего лишь еще более сплачивает национальное движение, в котором бывшие диссиденты и сейчас играют немаловажную роль.

Однако приходится признать, что и на Украине эта роль диссидентства значительно потускнела, когда после высоких слов и красивых лозунгов оказалось, что получив доступ к определенным механизмам власти, многие из диссидентов не сумели ею распорядиться. Более того, — как все, воспитанные в СССР, начали одной рукой — зачастую автоматически — подгребать под себя, пытаясь прикрыть свою некомпетентность и понимая, что долго при таком уровне знаний и политической образованности они на своих постах удержаться не смогут...

Вся беда и национальных правозащитных движений — именно в недостатке образования и опыта у его руководителей, в отсутствии позитивной программы построения национального государства, и, пожалуй, в создании новой диссидентской номенклатуры, которая по рангу знает, что и за что кому положено, и все больше вызывает уже раздражение — особенно у молодежи, которая видит и номенклатурную ангажированность, и реальную некомпетентность многих бывших диссидентов. Сплачивает же ряды национального движения и подымает репутацию бывших правозащитников сегодня по-прежнему именно политика России и имперские взгляды не только российских коммунистов, но даже и некоторых бывших диссидентов, как, например, Солженицына. Поэтому-то на Украине до сих пор и существует всего один Союз писателей, хотя в нем много людей с совершенно разными политическими взглядами. И поэтому и был созван недавно Конгресс Украинской интеллигенции в защиту

украинского языка и культуры, поскольку политика ползущей эскалации со стороны России на Украину ведется путем давления именно на культуру — через коммунистическое большинство в парламенте и через некоторых лиц из старой номенклатуры в правительстве и в аппарате Президента, ориентирующихся — в силу тех или иных побуждений — на Россию.

Парадокс, но украинская интеллигенция опять оказывается таким образом в своей стране (особенно в последнее время) в позиции диссидента, защищающего свой язык и культуру. Это значит, что украинское правозащитное движение и сегодня стоит, в сущности, перед тем же самым национальным вопросом, что и раньше — хотя и в другом ракурсе.

И последнее.

Коммунистическое и социалистическое большинство в парламенте Украины (и вообще левая линия в целом, за небольшим исключением) выступает за регенерацию СССР. Недаром и говорят левые интернационалисты (из принципа) преимущественно по-русски, хотя зачастую хорошо знают и украинский. Вот почему борьба против коммунизма (как это было на Украине во все годы советской власти) по-прежнему отождествляется большей часть именно с борьбой против русификации, против давления России. Естественно, что зачастую она приобретает и уродливые формы среди небольших групп местных ультраправых организаций, объявляющих врагом Украины Россию в целом, все русское.

Итак, если определенное поражение правозащитного движения в бывшем СССР и закономерно в силу ряда причин (что позволяет провести некоторые параллели с движением 60—70-х годов на Западе), то так же, как и на Западе, идеи правозащитников 60-х в то же время глубоко проросли в современном обществе бывших коммунистических стран и уже дают определенные результаты — в частности, и в бывших колониях или сателлитах советской России. И если в какой-то мере закономерен сегодня и реванш левых реакционных имперских сил, то тем более закономерны и актуальны сегодня и существование и активная общественная роль правозащитного движения в странах бывшего СССР и в его бывших сателлитах.

Как, впрочем, и во всем цивилизованном мире.

Алексис БЕРЕЛОВИЧ

Париж

ДЕМОКРАТИЯ, ВЛАСТЬ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Речь не может идти о том, чтобы возложить, как это часто делают, заслугу или ответственность за происходящие в последнее время изменения на одну только интеллигенцию. Совершенно ясно, что экономичес-

кие, социальные и политические перемены — в основном результа деятельности других сил, а не интеллигентов, даже если некоторые из них стали актерами на политической, реже — экономической сцене.

Не следует тем не менее снимать и с них всякую ответственность, соглашаясь с позицией тех же интеллигентов, которые, увидев, что события развиваются не так, как они «предсказывали», умывают руки и заявляют, что они здесь ни при чем. На самом же деле с самого начала перестройки экономические, политические, социальные и культурные изменения сопровождались и питались идеологическими дискуссиями, и потому роль тех, кто порождает и распространяет идеи, то есть интеллигентов, была существенной, если не ведущей. Это особенно касается интеллигентов-демократов. И их сегодняшнее поражение, констатируемое ими самими, — признак более общего поражения: демократического пути в целом.

Чтобы объяснить одной фразой, в чем состоит это поражение, я сказал бы так: интеллигенция оказалась неспособной предложить обществу действительно содержательную и необходимую ему демократическую дискуссию о тех возможностях, которые вырисовываются перед страной и из которых страна могла бы и должна была бы выбрать, если бы были созданы условия для демократического обсуждения. Вовсе не начавши такой дискуссии, интеллигенция замкнулась — и замкнула вместе с собой общественное мнение — на альтернативе выбора лишь между существующей властью как якобы единственным гарантом будущего, реформ, демократии — и коммунистами, олицетворяющими прошлое и как бы исключаемыми из политической жизни.

Где истоки этой неспособности открыть такую дискуссию?

По-видимому, здесь прежде всего следует вспомнить времена перестройки, когда главная идея интеллигенции заключалась в том, что достаточно уничтожить «социалистическое чудовище», положить конец коммунистической власти, свинцовой плитой придавившей общество, чтобы страна вступила в эпоху благоденствия — с «нормальной» экономикой, обществом, культурной жизнью и политикой. Это была, в сущности, единственная программа эпохи, и вот в этой-то кажущейся единодушной оппозиционности режиму, в поспешности, с которой стремились от него освободиться, в иррациональной уверенности в скором приобщении ко всем благам, которые История осталась должна России, и не нашлось подходящих усилий для действительно глубокой и взвешенной дискуссии о наилучшем ритме и путях выхода, о выборе, который должно было сделать *все общество*, и который и был бы первым реальным шагом демократии.

Не были созданы эти условия и позднее. На следующий день после августовского путча 1991 года и краха режима лагерь демократов, как известно стал раскалываться. Часть стала предостерегать Россию от соблазна перенять у СССР его статус сверхдержавы, другие, не переставая заверять всех в своей приверженности демократии и правовому государству,

начали утверждать, что отныне главное для России — приложить все усилия к «восстановлению разрушенных культурно-исторических связей», более всего упирая на важность национального фактора. Так выдвижение на первый план национальной идеи перестало быть уделом крайних националистических движений и начало завоевывать весь спектр политической жизни. Это можно было заметить, в частности, даже по выпячиванию в историографии (и даже в прессе) фигуры Столыпина и его проектов модернизации на русский манер, а наиболее яркими проявлениями этого движения умов стало восстановление трехцветного флага и двуглавого орла как символов России. Да и в экономических дискуссиях все чаще уже не Запад стал играть роль незаменимого образца, а Япония (как страна, сумевшая сохранить традиции предков при совершенствовании экономической структуры) или Китай, осуществивший экономический взлет.

Все эти моменты были впрямую связаны, конечно, с реальными трудностями построения демократии в России — трудностями, перед лицом которых даже самые яростные ее сторонники вместо того, чтобы упорно и конкретно работать, помогая ее установлению, предпочитают отодвигать ее в неопределенное будущее, когда Россия станет, наконец (неясно почему и как), достаточно для нее зрелой. А то и вовсе отвергают идею возможности в России демократии, которая вполне годна, конечно, для Запада и, конечно, предпочтительней авторитарного режима, но которая не приспособлена к России. Так через окно возвращается идея специфического русского пути, изгнанная в дверь, и демократы оказываются близки почвенникам в мысли о неискоренимом своеобразии России по сравнению с Западом. Даже если первые о том сожалеют, а вторые это своеобразие превозносят. И в результате перед лицом последствий экономической реформы, еще отнюдь не принесшей обещанного процветания, но уже очень дорого обошедшейся в социальном плане, все более внедряется в сознание общества — и укрепляется в нем — закономерно вытекающая из всего этого идея о необходимости в России авторитарного строя, при помощи которого только и можно заставить «народ» — потенциально опасный — принять социальную цену модернизации. Понятно, что во всех этих построениях народ (и не случайно все чаще говорят именно о нем, а не об обществе) — оказывается всего лишь *объектом* реформ, которые ему предлагается безропотно принять, под угрозой его переименования в люмпенов, но ни в коем случае не их *субъектом*.

Так былая неразлучная пара «модернизация—демократизация» (ключевыми словами либеральной интеллигенции были, как помнится, рыночная экономика и демократия) в итоге оказалась распавшейся, и осталась одна модернизация. Бывший демократический лагерь стал лагерем реформ, и «сильная власть» (или, поскольку в ней нет ничего сильного, авторитарная и недемократическая) снова преподносится нам как нечто неизбежное для России, против чего могут возразить лишь мечтатели. Так ссылками на некую неизбежность, именуемую ими исторической, бывшие интеллигенты-демократы объясняют свой выбор,

предопределенный на самом деле их собственной слабостью, их почтением к власти и их страхом перед народом, ставшим в их глазах простонародьем. Не в силах вырваться из треугольника «народ—власть— интеллигенция», в который сами себя заперли, они прощают существующей власти антидемократические действия, даже и осуждая их, и в решительный момент всегда готовы ее поддержать, видя в ней не могильщика демократических надежд, а последний бастион против красной опасности. Эта позиция, даже если ее и можно понять, сводит почти на нет возможность создания в русском обществе полюса демократической оппозиции. Но именно она, как мне кажется, господствует в среде интеллигенции и сегодня, накануне президентских выборов, когда мысль о том, что спотыкания на пути к демократии следует объяснять неизбежными трудностями переходного периода, выглядит все более сомнительной, а сами эти спотыкания все явственнее становятся тем, чем они и являются на самом деле, то есть вехами на пути становления нового авторитарного режима.

Другая позиция, тоже достаточно распространенная сегодня среди тех, кто всегда составлял лагерь демократической интеллигенции — это вообще отказ от политики и общественной деятельности в пользу собственной *профессиональной* деятельности — как результат пережитых разочарований. Политика в этом случае представляется не как забота всех граждан, а как грязное дело, которое должны выполнять тоже соответствующие профессионалы же — политики: пусть они, как мусорщики, и занимаются этой необходимой, но отвратительной работой — политической деятельностью, которую эта точка зрения полностью отождествляет, таким образом, с действиями авторитарной власти. Конечно, трудно представить себе концепцию, более далекую от демократических принципов и идеалов.

Обе эти позиции, как можно заключить, наблюдая предвыборную кампанию, полностью устраивают существующую власть, а очевидным отрицательным последствием этой ситуации является то, что те, кто не приемлет современную политику России, отталкиваются к коммунистам. Более же общим и погибельным последствием является продолжающееся все более опасное воспрепятствование все более срочно необходимой России действительно демократической дискуссии о возможных путях ее развития, по отношению к которым Россия и должна сделать действительно всенародный — демократический — выбор. Откладывание этой дискуссии все время возвращает Россию в ситуацию перестройки, заставляя ее решать все ту же проблему: за или против она коммунистов. И есть все основания опасаться, что на предстоящих выборах русские избиратели опять проголосуют по принципу «против». Те, кто отдаст голоса Зюганову, отдадут их не потому, что так уж предпочитают коммунистов, а потому прежде всего, что отвергают нынешнюю политику. Те же, кто проголосует за Ельцына, выразят не столько поддержку его современной политической линии, сколько свой отказ от коммунизма.

В заключение повторю, что речь идет вовсе не о том, чтобы отыскать в лице интеллигенции козла отпущения, а в оценке меры ее ответственности в современной обстановке, которая никак не может радовать тех, кто желает России демократического будущего.

Жорж НИВА

Женева

НУЖНО ЛИ ПЛАКАТЬ ПО ДИССИДЕНТСТВУ?

Почти десять лет тому назад, в 1987 году, на Международных Женевских Встречах феномен диссидентства обсуждался в связи с более широкой проблемой — нормы и отступления от нормы. Имелась в виду, конечно, норма социологическая, норма поведения, на которой зиждется любой общественный порядок и нарушители которой отвергаются обществом, отбрасываются за его рамки как отщепенцы. Таким отщепенцем может быть, например, сумасшедший. Или диссидент. Но установить границу между ними бывает весьма затруднительно, пока история сама не решит, где была норма, а кто был ее нарушителем. Или, как говорил Л.Н. Толстой, — «кто сумасшедший».

В этой связи я напомнил в своем тогдашнем докладе о той классификации культур, обществ, религий, которую дает в своей книге «Два источника морали и религии» знаменитый французский философ Анри Бергсон. Он отличает здесь два основных типа.

Первый — это «замкнутые общества», выработавшие некую общественную и политическую модель стабильности, которая выступает как нечто неопровержимое, прочно зафиксированное, квазивечное. Великие империи и великие религии тяготеют именно к такой модели стабильности. Евгений Замятин, когда он писал свою притчу-роман «Мы», определял внутреннюю природу этого феномена как стремление к энтропии. Тридцать лет спустя Жан-Поль Сартр говорил о «практико-инертном»: любая революция обречена вписаться в конце концов в эту категорию.

И действительно: антропологи давно изучили и описали стремление общества к иерархизации и неподвижности. Недаром и все утописты в качестве своих утопических «образцов» всегда предлагали и придумывали модели совершенно закрытых обществ — Платон в «Законах», Мор в «Утопии», Замятин в «Мы». Именно здесь берет начало мечта об «обществе-острове», защищенном от хаоса окружающего мира своей «островностью», — равно как и идея общества-крепости, укрывающегося от того же хаоса за валом или стеной (как Китай за Великой Китайской Стеной).

Анри Бергсон применяет тот же критерий «замкнутости—открытости» и к человеческим душам. Есть, считает он, души замкнутые и души

открытые. А между ними — души *открывающиеся*. Бергсон особенно интересуется именно этой стадией состояния как человеческих душ, так и обществ — промежуточной между неподвижной стабильностью и динамичной открытостью. Как и почему замкнутые общества неожиданно растрескиваются и вдруг открываются? Он приводит в пример библейских пророков — Иезекииля, Исайю. Почему пророк в ситуации полной замкнутости провидит еще никем не ощущаемое растрескивание, будущую динамику?

Советское общество с его как будто бы окончательной стабильностью было типичной замкнутой системой — можно было подумать, что установилось некое поистине тысячелетнее царство. Так называемый период ЗАСТОЯ очень даже заслужил свое название. И именно этот брежневский «застойный» период и обрел своего иронического амбивалентного певца в лице логика-сатирика Александра Зиновьева. «Зияющие высоты» показывают нам систему, тяготеющую к полной энтропии. Совершается начатое еще при Хозяине «стирание границ» между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, между мужчиной и женщиной, между вчера и завтра, между настоящим и будущим. Установление полного «изма», как пишет сатирик, окончательно отменяет все границы, исключает любой риск появления «нового» в истории — вообще отменяет историю. Остается одна социология — законы «крысария».

Полная замкнутость такого общества объясняется «атараксией» (или «апатией») человека. Зиновьевский Ибанск — это и есть, так сказать, абсолютное состояние «атараксии». А потому справедливо сказать и то, что Ибанск — это осуществленная «утопия у власти» (как назвали свою книгу об истории СССР М. Геллер и А. Некрич), — даже если эта утопия не похожа на обычные утопии XVIII и XIX веков, которые не только не были «у власти», но воспринимались как просто «романы».

В 1987 г. в Женеве, я развивал мысль, что диссиденты «открыли» советское общество, когда это общество было не просто наглухо закрытым, но выглядело таким, что и вообще никогда не откроется. Диссиденты придумали будущее для советского общества, когда оно не имело другого будущего, кроме ритуальных обрядов революционных поминок и партийных съездов и конференций. Диссиденты предсказали ему будущее диагнозом Сахарова и Солженицына, гласившим, что советское общество — общество больное, из чего вытекал и их прогноз: болезни этой скоро должен прийти конец — то есть выздоровление.

С падением коммунизма диссидентство потеряло свое значение и исчезло как явление. Остались люди — бывшие диссиденты с трудной личной проблемой: как им дальше существовать и действовать между их западным убежищем и новым — «открытым» — полем истории в России. Отсюда понятно, что неизбежно должна была появиться у них — если не у всех, то у многих — парадоксальная тоска по той системе замкнутости, которая породила их и поручила им — косвенным образом — задание пророчества. Разумеется, далеко не все диссиденты поддались этому

искушению, но, судя по всему, многие действительно испытали его воздействие.

Александр Зиновьев — самый яркий пример эволюции, совершившейся под этим воздействием. Автор «Катастройки» и «Конца русского эксперимента» ностальгически скорбит о том, что «после 1985 года русский эксперимент закончился». Автор «Зияющих высот» никак не хочет признать и принять переход от замкнутого к открытому обществу. Мало-помалу, из книги в книгу становится все виднее и ощутимее, что он не только тоскует по «русскому эксперименту», то есть по «замкнутой» системе, но вменяет Западу в величайший грех разжигание холодной войны и уничтожение коммунистической империи.

Такого рода *тоска по болезни* приняла ныне в России поистине грандиозные размеры, и Зиновьев — лишь один из сильнейших выразителей этой тоски. С 1985 года, то есть с перестройки, все большим и большим количеством людей процесс разрушения полностью осуждается. Конечно, отказ от «открытости» — позиция крайняя. Но ведь недаром и покойный Владимир Максимов порою клонился в эту сторону и не раз проклинал агентов разложения былой социальной цельности. В ситуации, обрисованной выше, неожиданные как будто бы сближения между еще недавно яростно враждовавшими друг с другом диссидентами просто не могли не произойти — они естественны. И потому Белов и Синявский, Распутин и Максимов стали печататься на страницах одних и тех же органов печати, что раньше было просто немыслимо. Здесь можно заметить, что многие из диссидентов оказались, таким образом, как бы в роли того ученика чародея, которому так и не была открыта тайна власти над последствиями своих поступков. Ведь они-то боролись за открытие границ, за отмену «замкнутой» системы! И дали при этом России и всему миру действительно яркий пример личного мужества в борьбе с тоталитаризмом. И вот теперь в речах многих из них звучит горькая нота — разве мы этого хотели, разве за это боролись? Владимир Буковский выразил недавно свое отвращение к плодам своей же — и своих единомышленников — деятельности следующим парадоксальным решением: стать диссидентом в Англии путем отказа от уплаты налогов, раз Запад по-прежнему помогает тирании в России...

Я вспоминаю в связи с этим конференцию о будущем России, организованную в былые времена Владимиром Максимовым. Обсуждали даже, помнится, будущую конституцию посткоммунистической России. Конечно, в этом была и доля вполне извинительной наивности. Будущее всегда более открыто, чем думают. Но в основе, мне кажется, лежало куда более глубокое непонимание всей важности такой фундаментальной для истории философии категории, как категория «риска». Не учитывалось, что открытое общество подвержено «риску» по самой своей природе — именно потому, что оно не ограждено, не замкнуто. И это не случайно: утописты и антиутописты не выносят идею «риска». Тем более те, что были воспитаны в «замкнутом» обществе и привыкли мыслить характер-

ными для такого общества категориями. Потому-то странным образом даже мертвое учение о диалектике лишь усиливало ненависть к открытости. И живой процесс развития открытости в России иные вчерашние диссиденты сумели воспринять лишь как сугубо насильственный процесс так называемой «западнизации», увидев в нем «заговор» против страны. В большевистской историографии «заговор», как известно, одна из важнейших категорий. Тем парадоксальнее (на первый взгляд), что как раньше латышские стрелки «объясняли» русскую революцию, так и нынешние экс-диссидентские интерпретации истории по-прежнему никак не могут обойтись без все тех же универсальных категорий «насилия» и «заговора».

Этой странной эволюции помогло, конечно, отсутствие — или, по крайней мере, острая нехватка — живого ощущения живой российской **реальности**. Алэн Безансон сумел даже выдвинуть тезис, будто советской реальности вообще не было — не было общества, не было экономики, все было вымыслом, фикцией. И доля правды в этом парадоксальном, на первый взгляд, утверждении, несомненно, имелась. Ни о какой другой стране, экономике, обществе не знали так мало. Рассуждали всегда обо всем этом исключительно масштабно, без всякой конкретизации и дифференциации. А когда это закрытое общество чуть-чуть, наконец, приоткрылось, реальность стала еще менее видна. Литература заменила собою все: статистику, опросы, мораль — все, что на Западе служит инструментом восприятия многоликой социальной реальности. Действительно новое состояло в том, что понятие будущего потеряло свою марксистскую псевдонаучность, свою мертвую ритуальность и приобрело грозную неопределенность. Но на месте старых химер появились новые — такие, как «западнизация», «геноцид нации» и т.п. Надо было срочно приступать, например, к разработке новых и разных систем здравоохранения, но идея «геноцида» была куда удобнее — она отменяла всякую личную ответственность за происходящее.

Удивительно, но, похоже, сама идея открытого — «неуверенного» — будущего просто невыносима для значительной части общественного мнения в России. И что еще удивительнее — невыносима и для многих бывших диссидентов, хотя сами они во времена тоталитаризма выдерживали огромное давление государства и максимальную дозу неизвестности в отношении собственного будущего.

Трудно объяснить этот феномен. Может быть, дело в том, что диссидент выработал в себе в противовес государственному давлению очень развитое начало личного «я», утвердился в своем «эго», и последующая потеря статуса пророка оказалась для него слишком трудным переживанием?

Вообще, как мне кажется, проблема эта касается всей интеллигенции — и даже самого понятия интеллигенции. В некотором смысле золотым временем для интеллигенции был период перестройки, царствование седьмого генсека. Интеллигент выступал повсюду и выдавал свое мнение обо всем. А сегодня в России, как это было в свое время и во всех западных (то есть свободных) странах, начался процесс дифференциа-

ции. В России есть теперь политики, моралисты, экономисты, социологи, специалисты по опросам, и заниматься всеми этими предметами с р а з у стало очень трудно. Западный «интеллигент» (если только это понятие применимо в таких странах, как Англия, Германия, Швейцария и т.п.) или смирился со своим нынешним «сниженным» статусом, или проклинает все (как швейцарский драматург Дюрренмат). И тогда общество любуется его проклятиями эстетически, но политически не принимает его всерьез.

Тот факт, что в недрах российского общества жив и сохранился в старших возрастных слоях населения бывший «советский человек», вовсе не означает, что капитальное событие «открывания» страны потеряло свое капитальное значение. Оно его имеет и будет иметь, каковы бы ни были результаты выборов в июне. Бывший советский человек, «гомо советикус», вынужден сегодня действовать и мыслить в совсем других условиях, чем раньше. Будущее неопределенно, это мучительно для него, но эта ситуация его меняет. Совершенно ясно, конечно, что победа коммунистов изменит динамику «открывания». Но вряд ли отменит его.

Сколько раз Россия вещала о своем будущем! «У России нет прошедшего; она вся в настоящем и будущем», — писал Лермонтов. Сказывается и сказка: сиднем сидел двадцать лет и спал крепко Еруслан Лазаревич, но на двадцать первом году проснулся, наконец, от тяжкого сна — и встал, и пошел, и встретил тридцать семь королей и семьдесят богатырей, и побил их всех, и сел над ними царствовать... Такова, де, и Россия.

Сегодня такое самозаговаривание себя прекрасным будущим (естественно, мифическим, сказочным) уже не годится. Никаких семьдесят богатырей Еруслан не побьет. И будущее России, между прочим, должно учесть и прошлое — в том числе и советское прошлое. Реставрация в чистом виде невозможна, но серьезно учитывать «советского человека» некоторое количество лет еще придется.

Гоголь правильно задавал вопрос: «Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует одна Россия?» Правильно задавал, но неправильно отвечал: «Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного царствия». Опасность такого ответа очевидна, хотя, по-видимому, он еще не изжил себя.

Пророки нужны во время войны, бедствий и сильных «трусов». Как ни трудно положение России сегодня, ей пророки больше не нужны, а нужны «плюралисты» и реальные деятели. Пришла пора не пророчествовать, а работать. Диссидентство при плюрализме невозможно, хотя это никак не отменяет и не преуменьшает его значение в истории и в эволюции России. Остаются и сегодня верными слова, сказанные Владимиром Буковским в 1987 году в Женеве: «Мы были нормой, они были нарушителями нормы».

Восстановлена ли «норма» в нынешней России?

Я склонен думать: в одном — да, восстановлена. Будущее этой страны сегодня — открыто.

о. Александр МЕНЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

С любезного разрешения Фонда Александра Меня мы публикуем воспоминания выдающегося священника. Эти воспоминания были записаны на магнитофонную ленту, общая продолжительность их звучания составила три часа. Год записи нетрудно определить по тому, что в тексте упомянута смерть о. Григория Крыжановского (31 октября 1977[1]), но говорится как о живом о митрополите Никодиме (Ротове), умершем 5 сентября 1978. Ноябрь 1977 — август 1978 года (видимо, можно говорить о весне 1978, потому что на пленке местами слышно характерное пение птиц), — время некоторого внутреннего покоя в жизни отца Александра, когда уже закончились многие переживания, связанные с разгромом правозащитного движения начала 1970-х годов, от чего пострадали многие его духовные дети, но еще не начались попытки КГБ «зачистить» его приход как целое. Отцу Александру исполнилось сорок с небольшим лет, были написаны и даже изданы главные задуманные им книги, и он, видимо, решил подвести некоторые жизненные итоги. Сейчас издано уже несколько биографий Меня (отрывки из книги З.А.Масленниковой печатались в «Континенте»), но никакие биографии не могут заменить собственного голоса о. Александра.

Своеобразна интонация устного повествования, лишь отчасти сохраняющаяся в письменной записи. Мень говорил с ощутимой иронией, часто прибегая к вульгаризмам (правда, очень легким). Важно учесть, что эта ирония, во-первых, относится прежде всего к себе, к своему неумению разглядеть подлинные лица людей. Во-вторых, это ирония, характерная для шестидесятнического поколения (Мень родился в 1935 г., который является для этого поколения как бы центральным), и она качественно отлична от иронии последующего поколения, всегда отдающей желчью и цинизмом. Ирония шестидесятников мягка, неизбывно оптимистична, и она помогает человеку быть частью поколения, кружка, общины, а не вырывает его из общения. Может быть, из литературных произведений наилучшим образом эта интонация запечатлена в романах Аксенова.

Воспоминания были задуманы как описание событий, связанных со знаменитым письмом священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина, направленном Патриарху и правительству страны в 1965 году. Однако, сделав письмо сюжетным центром повествования, о. Александр фактически вышел далеко за рамки этого хотя и важного, но все же не главного для него самого события, и нарисовал картину целой эпохи.

---

[1] *«Журнал Московской Патриархии»* [далее ЖМП]. №9, 1978. С.18.

Воспоминания отца Александра дают ответ, в частности, и на такой вопрос, едва ли не самый сложный: о том, как он сам относился к политическим событиям своего времени, каков был его взгляд на роль Церкви в делах мира сего. Для бытующих на этот счет мнений, высказывавшихся после его смерти, характерны две крайности. Его ровесник и знакомый, ставший его непосредственным начальником, митрополит Ювеналий (Поярков) неоднократно вспоминал — в том числе в фильме «Крест отца Александра», — как во время выборов народных депутатов СССР Мень подчеркнул, что не хочет баллотироваться в депутаты, потому что надо проповедовать Евангелие. Такой образ Меня противопоставляется образу его друга о. Глеба Якунина, который пошел в депутаты; отец Александр предстает человеком, сосредоточившимся на миссионерской работе и считавшим излишним отвлекаться на политику. Андрей Бессмертный, многолетний прихожанин о. Александра, нарисовал иной образ: по его воспоминаниям, когда однажды при о. Александре Мене отрицательно отозвались об о. Глебе Якунине, Мень строго ответил: «У о. Глеба харизма обличителя. И в этом ему следует всячески содействовать и помогать». Другой раз о. Александр шутил: «Отец Глеб — это наша армия. А я — это партизанское движение. Отец Глеб пошел в бой с поднятым забралом. Я — воюю с опущенным. И то, и другое — необходимо»[3] *. Может быть, такие слова и произносились, но вот контекст они получили необычный. А. Бессмертный вместе с о. Глебом Якуниным в 1988 г. подписал обращение к Патриарху Пимену с призывом оставить кафедру, после чего о. Александр просил Бессмертного либо не считать себя более его духовным сыном, либо отказаться от нравоучений иерархам. Бессмертный предпочел остаться прихожанином о. Александра, но ясно, что его воспоминания достаточно публицистичны.*

Истина лежит, видимо, не посередине между позициями митрополита Ювеналия и Бессмертного, а выше их. Воспоминания Меня как раз и дают почувствовать не только его позицию, но, что более важно, принципы, согласно которым эта позиция вырабатывалась: трезвое взвешивание реальных политических и жизненных обстоятельств в свете веры. Когда мы видим процесс этого взвешивания, поражает именно бесстрастность отца Александра — та бесстрастность, к которой тщетно стремятся многие аскеты, бесстрастность как совершенная освобожденность от эгоизма, трусости и наглости, как способность найти нужную дистанцию в отношениях с миром.

В воспоминаниях о. Александр упоминает статью об Эшлимане и Якунине, которую он напечатал под псевдонимом «Аркадьев» в «Вестнике РСХД» в 1970 г.[3] *. Статья эта дополняет текст воспоминаний. Мень подчеркивает, что Эшлиман и Якунин не получили очного духовного образования и поясняет (а мы вспоминаем, что и он такового образования не*

---

[2] А. Бессмертный-Анзимиров. Пастырь Сергиева края. В кн.: И было утро... М., 1992. С.333.

[3] Несколько слов о деле двух московских священников. — *Вестник РСХД.* №95—96. I—II, 1970. С.99—106.

получил): «Если бы они учились в духóвной школе, им невольно бы передался тот дух боязливости и конформизма, который определяет атмосферу в церковных кругах России... Рефлекс страха, который вырабатывается у людей церковных, отсутствовал у двух московских священников, что сыграло большую роль в их выступ лении. Но, с другой стороны, эта черта не позволила им найти широкую поддержку среди собратьев».

Многое в статье «Аркадьева» становится понятно, если знать, что автор оценивает письмо как его инициатор, отошедший от идеи послания из-за несогласия с практическим ее воплощением. Отец Александр полемизирует, конечно, не с Эшлиманом или Якуниным, а с Ф. Карелиным, писавшим письмо (о чем подробнее в тексте самих воспоминаний), когда отмечает: «Письмо было местами написано в выспреннем поучающем тоне, изобиловало неуместными выдержками из Писания, более походя на обличительный документ, чем на письмо священников Патриарху. Кроме того, в нем затрагивалось много сторонних вопросов, давалась для большинства спорная интепретация событий русской церковной истории, кое-что нуждалось в проверке и вызывало возражение». Но расхождение с авторами Письма (и с диссидентским движением в целом) носило и более глубокий характер: «Авторы не хотели считаться со сложными условиями существования Церкви. Они требовали ее полной автономии, что совершенно не реалистично в настоящее время, и наряду с максималистическими требованиями не предлагали никаких постепенных реформационных мер».

Сразу же вслед за этим отец Александр, предвидя возможность неверного истолкования своей критики, весомо припечатал: «Однако реакция церковного управления на Открытое письмо определялась не этими соображениями, а страхом, что «будет хуже», а тайным сознанием своей вины. Священники резко, но в целом справедливо очертили неблаговидную роль епископата в кризисах последних десятилетий. Это была правда, которая «колет глаза», сказанная без всякой дипломатии, «в лоб». Их выступление было значительным нравственным актом, вдохновившим многих верующих и духовенство. Нравственный подвиг, даже не принесший видимых результатов, есть всегда невидимая победа, и потому Открытое письмо останется вехой в истории русской православной Церкви».

Свою статью отец Александр заключал призывом к иерархии восстановить Эшлимана и Якунина на церковном служении. Трагично, что и в 1996 г., как и в 1970-м, такой призыв имеет смысл; многие из участников давней истории ещё живы и по-прежнему находятся в противостоянии. Не осуществился гласный суд над церковными деятелями, заподозренными в сотрудничестве с КГБ, о необходимости которого говорил о. Александр в одной из публичных лекций 1989 года, а следовательно, — продолжает висеть мрачная тень над Русской Церковью, мешающая не только подозреваемым, но и проповеди Евангелия.

Именно то, что многие участники описываемых событий ещё живы, объясняет особенности данной публикации. При подготовке воспоминаний к печати были сделаны минимальные купюры, не превышающие одной машино-

писной страницы и отмеченные знаком [...]. Кроме того, некоторые куски текста переставлены в более логичный по сюжету порядок. Примечания к тексту составлены Павлом Михайловым.

1

Самые напряженные события, связанные с церковной жизнью, происходили за последние пятнадцать-семнадцать лет, хотя можно было бы начать и с более ранних времен. Я же вспоминаю прежде всего 1960—1961 годы. В это время я служил в церкви в Алабине[4] (село Петровское по Киевской дороге) и именно там впервые услыхал, что Патриархия решает все права и полномочия по отношению к приходам передать так называемым церковным советам или «исполорганам».

Это вызвало некоторое смятение среди духовенства; были протесты. Они особенно участились, когда появился указ Патриарха[5] о том, что вся хозяйственная часть и административная сторона, т.е. практически вся власть, переходит светским лицам, которые якобы избраны от лица двадцатки. Отец Игорь Малюшинский[6] — был такой протоиерей в Москве — написал Патриарху письмо (я его сам не видел, письмо это было частным, не открытым). В нем говорилось: «Ваше Святейшество! Положение об управлении Церковью было принято на соборе 1945 года, и единоличным Вашим актом невозможно отменить постановление Собора».

Из архиереев большим уважением пользовался епископ Ермоген[7]. В эпоху хрущевских гонений он умудрился не закрыть ни одного храма и, собственно говоря, потерял кафедру потому, что отказался это сделать. Ему уполномоченный говорил: «Ну закройте и Вы один храм, и Вам будет повышение по службе, и Вас оценят...» Он сказал: «Нет». Его стараниями собор в Ташкенте был не только отремонтирован, но и расширен, и увеличен во много раз — собственно, построена заново церковь. Сам он — выпускник нашей академии, учился еще у Флоренского и писал канди-

---

[4] А. Мень был рукоположен во диакона 1.06.1958 г., служил в с.Акулово, рукоположен во священника 1 сентября 1960 г. и назначен в храм Покрова Божией Матери в с.Алабино сперва вторым священником, а через год настоятелем.

[5] Алексий I (Симанский) (1877—1970), возглавлявший РПЦ с 1945 г.

[6] И. Малюшинский был обновленческим священником и арестован в 1934 г. по одному делу с А.Э. Красновым-Левитиным; похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.

[7] Архиеп. Ермоген (Голубев) (1896—1978). С 1953 г. еп. Ташкентский и Среднеазиатский, в 1963—1965 гг. архиеп. Калужский и Боровский. О его выступлении против постановлений 1961 г. летом 1965 г. и предшествующей «диссидентской» деятельности см.: Н. Костенко, С. Луқашевский. Трудное житие архиепископа Ермогена. «Христианство в истории», №6 (IV, 1995). В начале 1957 г. он выстроил в Ташкенте большой храм.

датскую работу на тему «Психология мученичества по раннехристианским текстам». Человек аристократичный, высокого роста, с длинными седыми волосами, худой. У него было очень высокое мнение о епископском звании — епископ должен быть действительно владыкой Церкви. Юной он был души, несмотря на свои преклонные годы, всерьез принимал многое, что на самом деле не стоило принимать всерьез.

И вот он собрал несколько епископов — если не ошибаюсь, восемь[8]. По-моему, был владыка Павел Голышев[9] (Новосибирский), который сейчас эмигрировал, имена остальных тоже известны. Они написали Патриарху письмо с протестом против этого незаконного решения. Патриарх вызвал епископа Ермогена, началось давление на него. Все остальные епископы сняли свои подписи, и он остался один — чтобы не создавать скандала и соблазна. Тогда-то, очевидно, те, кто задумал это мероприятие, поняли, что партизанским способом добиться ничего нельзя и надо сделать все более законно, — хотя, я думаю, что всё это уже было делом техники[10].

Был стремительно собран Архиерейский собор, который уже, казалось бы, имел право аннулировать постановления Собора 1945 года. Как известно, он принял решение о перемене в управлении церковной общиной[11] Я не буду рассказывать об этом Соборе, потому что о нем рассказывали многие и писали о нем многие. Важно, как это отразилось на приходах, а не организация Собора, которую особенно критиковали. В общем-то и собором-то этот Собор не был, потому что собравшиеся архиереи даже не понимали, о чем идет речь. Они служили всенощную, устали, их собрали, им быстро дали подписать, и все это было в высшей степени мгновенно.

Архиереям это преподавали в таком виде: ну зачем священникам заниматься разными хозяйственными делами — пускай это делают старосты. Постановление никто не понял толком, поскольку архиереи у нас в приходской жизни разбираются слабо. Многие из них никогда в жизни не служили на приходах. Я слышал, что на Западе каждый год епископ

---

[8] На самом деле, десять.

[9] Архиеп. Павел (Голышев) (1914—1979). В 1919 г. был увезен родителями в Бельгию, окончил Православный Богословский институт в Париже, в 1947 г. вернулся в Россию, с 1964 г. был архиеп. Новосибирским и Барнаульским, осенью 1975 г. вернулся в Бельгию, где и умер.

[10] Отец Александр переставил события: письмо архиеп. Ермогена было написано не *до* собора 1961 г., а через четыре года *после* него.

[11] Собор 1945 г. был собран в связи со смертью патриарха Сергия, заседал с 31 января по 2 февраля 1945 г.; архиерейский собор 1961 г. заседал 18 июня и внес изменения в четвертый раздел «Положения об управлении Русской Православной Церковью», принятого в 1945 г. Изменение это облегчило процедуру закрытия храмов, и если на 1.01.1961 в стране действовало 11 616 церквей, то на 21.08.1963 лишь 8314.

проводит некоторое время на приходе в качестве рядового священника. Если это правило существует[12], то оно очень, скажем так, хорошее. У нас многие архиереи весьма туманно себе представляют, чем занимается священник на приходе, поэтому многие из них легко согласились с реформой. Те же, которые заведомо не пошли бы на это, например, владыка Лука (Симферопольский), по тем или иным поводам были не допущены до Собора. Одному не сообщили, другого... — в общем, сделали так, что потенциальные оппоненты были туда не пущены[13]. Надо сказать, что патриарх сам не хотел реформы, но был он очень стар, и его мысль уже была основательно задавлена склерозом. Его можно было убедить в чем угодно, и в конце концов он согласился и даже стал считать, что это хорошая идея.

Мне было тогда всего двадцать шесть лет, и служил я в священном сане всего несколько лет[14]. Но я и до этого много лет прислуживал, работал в епархиальных управлениях и знал всю, как говорится, теневую сторону. Я понимал, конечно, как реформа может ударить по приходам, как вульгарно выглядит заключение договоров со священниками, как нелепо предоставление старостам каких-то огромных полномочий... Но! Есть [и] совершенно другая сторона.

По моим тогдашним наблюдениям, когда настоятели были господами положения — было ненамного лучше. Большинство из них не имели достаточно вкуса хотя бы для того, чтобы храм украсить так, как надо. Храмы расписывались чудовищно. Сейчас мы говорим, что вот, староста не хочет и так далее... А когда не было этих старост, когда старосты были седьмой спицей в колеснице, тогда настоятели творили, что хотели. Старики не понимали, что нужно, более молодые... тоже. Поэтому в большинстве храмов Москвы — там, где не приложили руку светские органы защиты памятников или что-нибудь в этом роде — шла варварская мазня. В самом патриаршем Елоховском соборе стены до сих пор расписаны с немецких и французских гравюр прошлого столетия. И после этого говорят о православном искусстве, об иконописи и так далее! Замечательная церковь Николы в Хамовниках на Комсомольском проспекте, которая как игрушка смотрится, внутри расписана тоже по образцам Гюстава Доре

---

[12] Кодекс канонического права Западной Церкви не содержит такого правила.

[13] Архиеп. св. Лука (Войно-Ясенецкий) (1877—1961), архиеп. Симферопольский и Крымский с 1946 г., умер 11 июня, до открытия Собора; трудно сказать, имел ли в виду о. Александр слухи о том, что его убили, чтобы не допустить до выступления на Соборе. Св. Лука попал в больницу с тяжелым отравлением в 1945 г. и из-за этого не был на Соборе 1945 г.; однако в 1961 г. он был уже очень стар и болен, и смерть его могла быть и следствием естественных причин.

[14] А. Мень родился 22.01.1935.

и Юлиуса Шнорра[15]. Я не против Доре и Шнорра, но все должно быть на своем месте!

Это показывает, что настоятели отнюдь не были идеальными управителями приходов. Многие из них захватывали бесконтрольно церковные кассы, и от этого происходили какие-то совершенно непристойные обогащения... и, в общем, все выглядело в те годы не лучшим образом... Я думаю, что все здесь было как-то провиденциально... Когда я прислуживал мальчишкой, то в алтаре стоял такой ящик, сейф, куда клали рубли, — священник запускал туда эти рубли, швыряя как-то так, словно ему уже было все нипочем. Все стало бесконтрольно, и временами мне, тогда совсем юному существу, казалось, что они превратили веру в фабрику по производству денег.

В первые годы после войны многие священники проводили в храмах циклы бесед — по священной истории, по таинствам. Отец Андрей Расторгуев[16] вел толкование Евангелия — отлично вел! Каждое воскресенье вечером он читал кусок из Евангелия — последовательно, одно за другим, и объяснял по Толковой Библии, которая выходила в издательстве «Странник»[17] (одно из лучших толкований, которое у нас было). Говорил он прекрасно, внятно, все было хорошо. Отец Александр Смирнов[18] даже получил, благодаря своим связям с органами, разрешение поставить в Николо-Кузнецком храме экран, словно в кинотеатре, и каждое воскресенье вечером показывал цветные диапозитивы и рассказывал священную историю, тоже толковал — таинства; народу набивалось — люди падали в обморок. Но это все было после войны непосредственно — скажем, до 50-го года примерно. А потом все стало сходить на нет. Старые священники стали умирать, а новые этого уже ничего не приняли. Но деньги брали — «гребли», как говорят в народе, — с таким же успехом.

Ничего особенно хорошего, следовательно, не было и до этого, и когда впоследствии отец Николай[19] и отец Глеб[20] выступили с резкими напад-

---

[15] Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1794—1872). Немецкий художник, автор гравюр к Библии.

[16] Прот. Андрей Иванович Расторгуев (1894—1970), рукоположен в 1917 г., в 1923—1943 гг. в обновленческом расколе, затем настоятель Вознесенского храма в Сокольниках. Мень познакомился с Расторгуевым в 1950 г.

[17] Под ред. А.П. Лопухина. Переиздана фототипически в Швеции в 1988 г.

[18] Прот. Александр Павлович Смирнов (1888—1950), с 1943 г. ответственный секретарь *«Журнала Московской патриархии»*, в 1949 и.о. ректора МДА, более 20 лет (до смерти) настоятель Николо-Кузнецкой церкви в Москве.

[19] Свящ. Николай Николаевич Эшлиман (1929—ум. после 1980). Рукоположен во диакона в 1959 г. в Костроме, во священника в 1961 г. митр. Пименом, последнее место служения — московский храм Покрова Прсвятой Богородицы в Лыщиковом пер.

[20] Свящ. Глеб Павлович Якунин (р. 1934), окончил Пушно-меховой

ками на Собор 1961 года, я думаю, что они должны были бы так же резко нападать на Собор 1945 года, который создал фиктивную демократию в приходе. «Старосты» и «помощники старосты» — все они не имели никакого значения; настоятель был всем. Кто в этом виноват? В корне — само положение вещей, потому что «двадцатки» стали фиктивными уже давно. Согласно советскому законодательству, двадцатка есть община — то есть, никакой двадцатки нет, есть община, которая может требовать открытия для нее храма тогда, когда в состав этой общины входит *не меньше* двадцати лиц. В эту общину может войти полторы тысячи, десять тысяч человек — это неважно. Но должно быть не меньше. А потом это все превратилось в какую-то двадцатку, институт совершенно фиктивный. Причем обычно в нее набирали каких-то уже полуинвалидных старух, потому что рядовые люди боялись записываться в двадцатки. Вот почему двадцатки были недееспособны представлять церковную общину. Так что когда произошел Собор, то сменили — шило на мыло.

2

Признаться, на нашем приходе это не отразилось «роковым образом». Староста только что умерла, и я посодействовал избранию женщины, которая целиком на меня полагалась. Только благодаря этому нам удалось произвести в храме полную революцию — внешнюю, но интересную. Я замазал все безобразные изображения на стенах. Дал лучшим иконописцам заменить иконы — почти все сменил, в том числе Марья Николаевна Соколова написала для нас храмовую икону. Но на стенах иконопись я не решился делать, чтобы окончательно не испугать народ, потому что средний простой человек теперь не понимает иконы и ее не любит. И это не результат вчерашнего дня, а результат трехсотлетнего отсутствия иконописи в храмах. Поэтому я сделал осторожнее и расписал стены «под Васнецова». Сам составил весь эскиз, пригласил художника из МОСХа. Для этого необходимы были тысячи левых рублей, потому что он не мог расписываться в ведомостях, и у нас было так заведено: одну старуху я

институт в Иркутске, поступил псаломщиком в храм муч. Трифона в Москве, учился в МДС, из которой через год был исключен по обвинению в присвоении запретной для студентов книги Н.А. Бердяева «Философия свободы» из семинарской библиотеки (хотя вернул книгу по первому требованию). 10 августа 1962 г. рукоположен во священника. С 1965 г. активно участвовал в правозащитном движении. Арестован в 1979 г. Руководители Московской Патриархии (будущий Патриарх Алексий II, митр. Питирим (Нечаев) публично заявляли о том, что о. Глеб Якунин арестован за уголовное преступление и клевету на советскую действительность, что не соответствовало действительности). Освобожден в 1987 г., избирался народным депутатом Верховного Совета и Государственной Думы. В 1994 г. был лишен сана Патриархом Алексием II.

ставил на страже, он быстро залезал на леса и быстро писал, и если там кто-то появлялся, я его снаружи там запирал на замок. Но в общем все было благополучно, расписали все стены храма — он Страшный Суд мне за месяц написал васнецовский, сзади во всю стену. Я ему дал денег, он съездил в Киев, посмотрел подлинник Васнецова, приехал и с фотографии написал. Позолотили все киоты, замазали Саваофа над иконостасом, переписали весь иконостас, заменили решетки, купили чешские вазы в виде чаш и сделали из них лампадки; чтобы они не загораживали иконы, сделали латунные подставки и на цепочках повесили... Получилось очень все «в стиле». Многое мне сделали резчики.

Я осуществил «изгнание торгующих из храма». Храм был небольшой, построенный князем Мещерским[21] в прошлом веке, и «ящик» просто вынесли из церкви и поставили его в притворе. Старосту загородили сплошной деревянной стеной и оставили ей только окошечко. Таким образом, она там бренчала монетами уже вне храма. А в храме на этом месте мы сделали канон и там служили панихиды. По субботам я объяснял Символ веры, молитвы и службу. День за днем, потихонечку, особенно не рассчитывая, что это будет давать какой-то эффект. Потом в это включились мои сослужители — отец Сергий[22] и отец Владимир[23] — и тоже с удовольствием это делали.

Конечно, было много всяких хозяйственных «собачек», потому что проводили отопление — из церкви подсоединили его к сторожке, сделали в сторожке отдельную приемную комнату, чтобы там можно было людей принимать, и так далее. На крестные ходы для Пасхи мы набрали массу старых икон, прибили их на палки, поэтому когда было шествие, то это выглядело как некая демонстрация: мы собирали молодежь, человек двадцать, и все впереди шли — прелестно... Староста нам ни в коем случае не мешала, а все предоставляла делать нам. Поэтому на мне вся эта реформа нисколько не сказалась. Но во многих местах было плохо.

Сейчас я вижу, что роковых последствий реформа 1961 года не принесла. В самом деле: приходам хуже не стало. Раньше было абсолютное самоуправство, теперь — относительное. Над священником был только архиерей, но он общался с ним через благочинного, а благочинный часто оказывался под влиянием разных «второстепенных факторов», и все это не работало.

У меня же ушел настоятель, и настоятелем оставили меня. Я хотел пригласить близкого себе по духу человека, и мне прислали Рожкова, отца Владимира, которого только что рукоположили. Мы с ним прослужили немного: через два месяца, соблазнившись камилавкой, которую ему обещали в Пушкине, он ушел туда. Служил сперва с большой охотой, с рвением, и вечером даже проводил беседы (я ему говорил: «Вот тебе тема,

---

[21] Владимир Петрович Мещерский (1839 — 1914), редактор газеты *«Гражданин»*, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге.

[22] Свящ. Сергий Хохлов.

[23] Свящ. Владимир Рожков.

и говори» — и он говорил). То был медовый месяц его священства... Был он тогда небольшой, худенький...

Когда он ушел, мы стали думать, кого пригласить в наше «аббатство». Мы в шутку называли наш храм «аббатством», потому что я при этом приходе жил, в саду был столик, за которым я писал свои бесконечные книги, и тут же был весь народ, — все было огорожено стенами...

Была даже церковная машина. Нам ее случайно оставили, когда отбирали все машины, поскольку у нас был большой район (двадцать, тридцать километров в диаметре), а в день по пять, по шесть отпеваний. Я всегда это использовал, всегда говорил к народу речи — на кладбищах, в доме и так далее... Потом это все запретили, но нам разрешили, потому что я, когда это запрещение вышло, принял некоторую хитрость. Я воспользовался тем, что надо было отпевать человека в доме сотрудника райисполкома. Тот пошел — не знаю, что он там, бутылку ли поставил или что — и принес мне бумажку, что райисполком в порядке исключения не возражает. И это был их конец, поскольку если в одном случае не возражает, то... И люди шли за разрешениями, так что вообще создалась какая-то контора, и когда меня потом вызвал уполномоченный, меча громы и молнии, я вытащил гигантский ворох этих бумажек. Оказалось, что каждая моя поездка была документирована. В порядке исключения они давали разрешения постоянно — у меня их там было около двухсот пятидесяти бумажек этих.

Мне не хотелось, чтобы в «аббатство» пришел кто-нибудь посторонний, потому что мы уже налаживали там определенный ритм и определенный стиль жизни. Я хотел взять к себе Хохлова — отца Сергия, с которым мы вместе прислуживали, начиная с 1950 года — и он ко мне пришел с большой радостью.

Но одновременно попросился на это место отец Серафим Голубцов[24]. Я его не знал, а, как впоследствии выяснилось, это был, как говорят на советском языке, «матерый провокатор», человек, посадивший массу людей. Все висело на волоске, но я самым невинным образом этого не подозревал. Нас вызвал митрополит Питирим[25]. Сидит Голубцов — я напротив. Митрополит говорит: «Мы вам назначаем отца Серафима. Голубцов старше вас и по службе больше, а вы настоятель...» Голубцов поспешно говорит: «Я пойду вторым». Я отвечаю: «С удовольствием бы его, так сказать, взял, но вот староста у нас хочет вот такого-то, Хохлова...» «Ну, раз староста хочет, — отвечает митрополит, — мы ничего сделать не

---

[24] Прот. Серафим Александрович Голубцов (1809—1981). Рукоположен в 1946 г., в 1964—1970 гг. настоятель Покровской церкви в пос. Тарасовка Московской обл.

[25] Митр. Питирим (Нечаев) (р. 1926). С 1963 еп. Волоколамский, викарий Патриарха, с 1952 г. по 1994 г. ответственный редактор *«Журнала Московской Патриархии»*. В 1992 г. уклонился от возможности выяснения того, действительно ли он сотрудничал с КГБ под кличкой «Аббат».

можем...» Тогда ведь только что вышло это постановление... И Серафим «накрылся», так что встретились мы с ним только через много лет.

Сережа пришел — и это было тоже самое счастливое время его жизни. Служил он ревностно: у него прекрасный голос, он любит службу, именно само богослужение, «культ» — на светском языке. Я заставлял его говорить проповеди — просто выбирал ему хорошие тексты, он ставил аналой (я всегда говорил с аналоя, мы сделали деревянную кафедру на ножке, резную, и когда он говорил, он восходил к ней — ex cathedra, чтоб было дело) и зычным голосом, лучше, чем владыка Антоний[26], которому он подражал по интонациям, начинал говорить — и все было прекрасно. Он был большим мне помощником, хотя частенько опаздывал на службу и любил спать и выпить — из-за диабета. Но вообще он ревностно служил, и дай Бог, чтобы было всегда у него так. Я даже поручал ему беседовать с людьми, с народом: он мог, и хотел, и делал.

Отец Сергий был очень смел и помогал мне в смысле украшения храма. Мы предпринимали разные — не только внешние — украшения. Например, написали мы все молитвы красивыми большими буквами, вделали в рамки — с полметра размером — и повесили все это в притворе храма, а с другой стороны лист: как себя вести в храме, как стоять, как войти. Когда же наш сельсовет строил дорогу, я обещал дать им денег в порядке помощи и просил, чтоб на их территории построили туалет, чтоб не было туалета у нас, — а мы были через забор от территории клуба и сельсовета. И на наши деньги сделали у них большой кирпичный туалет с ямой в три метра глубиной; туда народ ходил в калиточку, а потом ее запирали, — все было хорошо... Это был 62-й год.

Но в общецерковной жизни все время происходили какие-то кризисы и потрясения. В это время умер митрополит Николай. Когда мы приехали на похороны, один иностранец сказал: «Я не ожидал, что его никто не любит». Действительно, никто не плакал. Митрополит Николай был прекрасным человеком, замечательным епископом, но он был одиночкой, он никому не доверял и всю жизнь прошел один. У него была только одна «дама», его то ли крестная мать, то ли воспитательница, из старой аристократии, — это был единственный его близкий человек. И когда он умер, никто, как говорится, не пролил слезинки. Смерть его была трагической, потому что он сделал все для того, чтобы стать угодным в глазах Совета и властей предержащих, но в тот момент, когда он перестал быть нужным, он был просто отставлен — и все. Митрополит обижался и говорил: «Я ничего не понимаю, не понимаю!..» — он не мог смириться с тем, что человек, которого показывают в советских фильмах, который представлял Советский Союз на бесчисленных конгрессах, постоянно выступая в качестве одного из лучших ораторов, речи которого печатались

[26] Видимо, имеется в виду митр. Антоний (Блум) (р. 1914), выступавший уже тогда с проповедями по английскому радиовещанию на Россию.

в «Правде», вдруг лежит в своем деревянном домишке на Бауманской, никому не нужный[27].

Вскоре после этого и Анатолия Васильевича Ведерникова[28] тоже... удалили из редакции, — вообще начались какие-то перемены. Анатолий Васильевич давал мне тогда возможность печатать статьи в журнале Патриархии. Впервые они появились в 59 году.. Я взял «Сына Человеческого», которого написал примерно в 1960 году, и по кусочкам его главки помещал в «Журнале Московской Патриархии» в виде статей.

3

Я чувствовал, что положение ненормально: с епископатом, с «официальной» Церковью у духовенства возникает какой-то внутренний раскол. Мы перестаем им доверять: ведь практически все [епископы] пошли на

---

[27] Митр. Николай (Ярушевич) (1892—1961), с 1944 митр. Киевский и Галицкий. О подлинных обстоятельствах его гибели см.: *«Как митрополит хотел стать лауреатом. Куранты, 7.04.95. Публикация документов из архива ЦК КПСС»*. 16 января 1958 г. митр. Николай по собственной просьбе был принят в Совете по делам Русской Православной Церкви и просил представить его к награждению международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами». Митрополит подчеркивал, что он много делает для дела мира, что Патриарх Алексий интересовался, почему награждают самых разных людей, но не митр. Николая. Карпов заметил: «Я сомневаюсь в этом. Патриарх никогда об этом не говорил и тем более не будет проявлять заботу в отношении Николая». В награждении было отказано без объяснения конкретных причин: «нецелесообразно». Митрополит Николай, приватно грозившийся: «Я никого больше принимать не буду, ездить также перестану, выступать не буду, буду отклонять все просьбы Советского комитета защиты мира» (об этом сообщил властям его собеседник), выполнил эту угрозу и обнаружил, что и без его услуг борьба за мир продолжается самым спокойным образом. Более того, никто и не заметил того, что он «отказался», потому что Комитет защиты мира ни с какими просьбами больше к владыке не обращался. В июне 1960 г. Комитет государственной безопасности предложил, а ЦК КПСС согласился отстранить «митрополита Николая от активной церковной деятельности, а также от работы в общественных организациях» за то, что он «отказался руководить подчиненным ему отделом внешних церковных сношений». Митр. Николай терпел два года, а затем сам стал обращаться в Комитет защиты мира «с просьбой объяснить причины, почему он не привлекается к участию в работе», 2 сентября 1961 г. написал воззвание против «империалистических кругов США». Но было уже поздно. Вся верхушка Патриархии была настроена против митрополита, считая его заносчивым и самоуверенным карьеристом. По указанию ЦК и КГБ (через Совет по делам РКЦ) его отправили за штат.

[28] А.В. Ведерников умер в 1992 г. На посту фактического руководителя ЖМП в 1961 г. его сменил митр. Питирим.

эту реформу, все согласились... И вот тогда — в конце, кажется, 1962 года — я решил как-то это положение изменить. Началось все с самой невинной вещи. У меня было несколько друзей священников, которые не кончили духовных академий; сам я еще только учился в академии заочно. И вот под этим предлогом я предложил: «Иногда мы собираемся по праздникам, на именины друг к другу ходим, так давайте будем собираться вместе и обсуждать некоторые богословские вопросы, которые нас конкретно интересуют, а также пастырский опыт, потому что нет у нас академии, и нашей академией будем мы друг другу». Все согласились. Ходил туда о. Дмитрий Дудко[29], о. Николай Эшлиман, о. Глеб Якунин, еще несколько батюшек, — скажем, десять человек. Они стали приезжать ко мне в Алабино, иногда мы собирались у них. Разговоры, действительно, шли в таких именно рамках. Некоторые делились проблемами, которые у них возникают на исповеди, другие говорили о богословских вопросах, которые им задают и они не могут решить. Но, в конце концов, все свелось к обсуждению того, что же нам делать, когда нет епископов. Сказать, что епископы нас предали, было бы слишком сильно... Но я все время настаивал на том, что церковь без епископа — что-то ненормальное. Все-таки преемник апостолов епископ, а мы только его помощники.

Чтобы как-то от этого тягостного состояния избавиться, я написал епископу Ермогену письмо. Я написал примерно следующее: «Владыка, мы следим за вашей деятельностью в течение многих лет, видим, что вы отстаивали храмы, что вы не согласились с архиерейским этим Собором... И хотя мы принадлежим к другой епархии, мы просили бы Вас быть духовно — не административно, а духовно — нашим архипастырем. Тогда мы будем себя чувствовать более нормально в церковном своем положении». Я писал от лица четырех — туда входили Дудко, Эшлиман, Глеб и я. Владыка (тогда калужский епископ) ответил нам очень приветливо и обещал приехать. И приехал в Алабино — как раз, когда у нас шел ремонт храма... Он все обошел, посмотрел, и потом мы посидели вместе.

Во время встречи владыка говорил, что на Патриархии Московской почила печать обновленчества, что, в общем, это те же самые обновленцы, вся программа та же и дух обновленчества, приспособленчества и так далее... В общем, много он суровых слов говорил в адрес патриархии. Мы все это понимали и сказали: «Нет у нас намерения нападать на Патриархию, критиковать. А вот Вы будьте «нашим» епископом, и когда у нас будут возникать какие-то проблемы, которые возникают у священников,

---

[29] Свящ. Дмитрий Дудко (р. 1922). Участник II Мировой войны, в 1948—1956 гг. заключен в концлагерь по обвинению в антисоветской агитации, рукоположен во священники в 1960 г., в 1962—1974 гг. служил в Никольской церкви на Преображенском кладбище в Москве, в 1974—1979 гг. за проповеди с критикой в адрес режима подвергался гонениям, был арестован, но в июле 1980 г., накануне Московской Олимпиады, выступил с публичным покаянием и был освобожден.

и нужно с ними обращаться к епископу, мы будем с ними обращаться к Вам». На сем мы очень тепло расстались, и жизнь потекла дальше.

Надо сказать, что в это время переживал пору своего расцвета отец Николай Эшлиман. Он тоже был сравнительно недавно рукоположен. Его биография была изложена мною в небольшом очерке, который я пустил по рукам в то время, когда вокруг отца Глеба и отца Николая был поднят шум и об их происхождении и истории ходили самые фантастические слухи. Чтобы их пресечь, я — правда, не ставя их в известность — изложил кратко биографию того и другого. Потом это попало в известный журнал и было опубликовано лет десять тому назад. Отец Николай Эшлиман был одной из оригинальнейших личностей. Мы с ним встретились в 1956 году и как-то сразу очень понравились друг другу. Он был аристократ в душе, человек с величественными аристократическими манерами, в нем было что-то артистичное. Он свободно играл на фортепьяно, что-то лепил, рисовал, — в нем было что-то от богемы. У него один предок был какой-то знаменитый шотландский деятель, второй был какой-то грузинский князь...[30] Мать его — дворянка, тоже из какого-то знатного рода. Яблочков, который изобрел лампочку[31] — его двоюродный дед... Он прошел сложный путь богоисканий, занимался мистикой, оккультизмом, пел в храме — у него отличный, прекрасный бас. Его жена Ира, очень живая и симпатичная светская особа — внучка известного деятеля Витте[32]. Их комната (в доме на Дмитровке, на Пушкинской улице, напротив Колонного зала) была всегда чем-то вроде салона, где всегда собирались разные интересные люди, пили, говорили, как это в Москве было в те годы принято... Поразительно, кого там только можно было встретить, — поразительно.

У Эшлимана были разнообразные знания — все достаточно поверхностные; человеком он был очень обаятельным, исключительно обаятельным, разносторонним и привлекающим всех, и все говорили «Николай Николаевич» с придыханием. Когда я еще служил в Акулове, мне говорил один молодой ученый: «Вы знаете Николая Эшлимана?» — и звучало это примерно так, как если бы он спрашивал: «Вы знаете Александра Пушкина?» Я, правда, тогда его не знал.

Я познакомился с Эшлиманом как раз у Володи Рожкова, который тогда был студентом семинарии. Воцерковление Николая произошло сравнительно недавно. Я сразу почувствовал в нем какого-то интеллигентного умного человека. Он старше меня года на четыре или на пять... Но, как всякий человек барственного склада, он никогда ничего не доводил до конца. Он не докончил художественного своего образования, он

---

[30] Князь Давид Назаров, выехавший в XVIII в. из Грузии с царем Вахтангом в Россию.

[31] Павел Николаевич Яблочков (1847—1894).

[32] Сергей Юльевич Витте (1849—1915), премьер-министр России в 1903—1906 гг.

немножко играл — играл хорошо, захватывающе, немножко писал... У него были всякие проекты: что-то эдакое перекрасить, что-то перестроить, что-то эдакое создать... Вообще, он числился художником, расписывал храмы. Немножко пел. Все у него было понемножку, но все у него получалось очаровательно. Это человек, от которого все были без ума. И мы тогда с ним очень подружились.

Эшлиман себя нашел в священстве — преобразился. Вся муть слетела, как будто ее не было. Досталось ему это трудно. Когда он, просто как певчий храма, просил рукоположения, он стал ходить в канцелярию Патриархии, где заседал тогда архимандрит Никодим, нынешний митрополит Ленинградский[33]. Надо сказать, что владыка отличался тогда — не знаю, как теперь — чудовищною способностью к канцелярским волокитам. Он тянул Эшлимана в течение месяца. Может, он сейчас думает (если он это помнит), что он пророчески предчувствовал, во что это выльется, но так или иначе каждый день Николай ходил туда, как на работу, и ему отвечали: «Приходите завтра». Но возлюбил его Пимен — Извеков, ныне Святейший Патриарх Московский[34]. Он души не чаял в Николае Николаевиче как певце и вообще расположен был к нему всячески. А сам Николай Николаевич тоже его превозносил и рассказывал всегда про него самые трогательные анекдоты. Например, как пришел к Пимену кто-то из канцелярии и пожаловался на оскорбление от некоей персоны, а он ответил: «А если бы в зоопарке на вас плюнул верблюд, к кому бы вы пошли жаловаться?..» Другая женщина пришла и сказала: «Отец Пимен, наш батюшка ходит в уборную и не снимает креста». Он сказал: «А ты, когда идешь в туалет у себя дома, свой снимаешь?» Или рассказ о том, как Пимен в Лавре построил иконостас и к нему пришел уполномоченный или кто-то там и сказал: «Как вы могли построить иконостас без нашего разрешения?» «Это мебель, — отвечает Пимен, — все сделано на колесиках, можно зачалить и трактором вывезти». Я не знаю, подлинны ли эти все анекдоты, но их рассказывал Николай с большим воодушевлением, любя деятельного, активного и умного Пимена — это потом святейший как-то переменился, здоровье его подорвалось, и все эти качества утратились. И задумал владыка Пимен, тогда только что рукоположенный молодой епископ, рукоположить Эшлимана не мытьем, так катаньем. Он его подговорил поехать в Кострому — он тогда был временно костромским епископом, — там его рукоположил и потом перевел в Москву, как говорится, «ходом коня».

Служение Эшлимана было просто потрясающим. Во-первых, голос. Во-вторых, молитва в нем пробудилась необычайная. Он был человек,

---

[33] Митр. Никодим (Ротов) (1929—1978), с 1963 г. до смерти митрополит Ленинградский и Новгородский.

[34] Патриарх Пимен (Извеков) (1910—1990), рукоположен во епископа в 1957 г. (викарий Одесской епархии), с 1960 управляющий делами Патриархии, избран Патриархом в 1971 г.

всегда склонный к мистическому — и... к мистификациям. Он мне рассказывал массу историй о том, как где-то в алтаре зажглась сама собой лампадка, как... в общем, его очень увлекали всякие такие вещи, а я относился к этому снисходительно, любя его. Впрочем, я всегда говорил ему, что от мистики такого рода до мистификации всего один шаг. Он с большим вдохновением рассказывал о разных снах, которые видела монахиня в его храме, о явлениях дьявола в каком-то образе. Его все это — вообще всякая демонология — сильно увлекало. Но служил он, как редко служат. Проповедовал — отлично! А народ его очень полюбил. Он служил в Куркине, где служил отец Стефан Середний[35]. Там большой приход, это, собственно, уже Москва, а потом был переведен в Москву. Я сам присутствовал на его службах и видел, как народ его любит — потому что он был барин в самом хорошем смысле слова. Прихожане как-то чувствовали в нем «господина». Это сразу, психологически ощущалось.

Он действительно был господин и естественно это принимал. У нас, интеллигентов, психология другая. Вот мы приходим в кафе — это было, когда стали вводить самообслуживание, — и я говорю: «Ну, пойдем с подносами». Он говорит: «Нет уж, я этого не могу. Девушка, идите сюда». И он зовет девушку. Вся публика стоит в очереди с подносами, а он договаривается с девушкой, чтобы она пришла и обслужила. Не потому, что ему лень было встать, а это было [для него] органично, — я не могу даже сказать, что это было хоть сколько-нибудь дурно. Некий шарм был органически присущ этому человеку. Как говорил Рожков, в Москве было три самых знаменитых гурмана-кулинара, и Эшлиман стоял на втором месте. Какие он готовил сверхъестественные блюда! Много читал и быстро схватывал: пролистает «Науку и жизнь» и уже рассказывает так, как будто он специалист. И народ, действительно, его очень быстро полюбил.

С отцом Николаем мы общались в то время постоянно. Собственно говоря, не было никого, с кем бы я тогда был так тесно связан. Причем эта связь стала уже какой-то телепатической. Мы с ним сравнивали, какие проповеди мы говорили в один и тот же день — и мы говорили одно и то же. Создалось какое-то уже исключительно большое единство. Хотя мы, в сущности, были очень разные люди. Он был обращенный, я был церковным человеком с детства. Он был аристократом, а я никогда. Ну, и так далее, и так далее — было много разностей... Но, действительно, мы как-то очень стали близки. То был период нашей близости, совместной работы, совместных встреч, когда мы обсуждали все церковные дела, — приходские, в основном. Я настаивал на том, чтобы решать приходские дела, [ведь] они и есть наша работа в Церкви. [...]

---

[35] Свящ. Стефан Середний после ухода на покой свящ. Григория Крыжановского был назначен настоятелем в Сретенскую церковь Новой деревни, где служил о. Александр Мень, и был его настоятелем на момент записи воспоминаний.

В это время начались самые бурные, самые активные антирелигиозные выступления. Собственно, начались они, когда я был рукоположен. Я как раз попал в струю. 1958 год — вот начало той хрущевской атаки. Начались закрытия храмов, пресса была полна враждебных выпадов, появились первые самиздатские ответы. Желудков[36] написал один из своих шедевров — прекрасное открытое письмо отрекшемуся священнику Дарманскому. Но разгромы продолжались. Начались выступления отреченцев (собственно говоря, им и отвечали Левитин[37] и Желудков). Один из них — некто Чертков — в журнале «Наука и религия» пронес меня и мои статьи из ЖМП и написал, что я подделываю науку под религию (хотя я старался все это давать очень сдержанно)[38].

Интересно, что Анатолий Васильевич Ведерников заказывал в специальном агентстве всю прессу о религии. Есть такое учреждение — я не помню как оно называется, — где можно заказать всю прессу — о... кактусах, например. И это агентство за соответствующую мзду обязано присылать все соответствующие вырезки. И вот с этих лет агентство перестало высылать в ЖМП вырезки, потому что их стало столько, что агентство было не в состоянии их собирать. Не было газеты, будь то «Советский спорт» или местная «Вперед», где ежедневно не долбилось бы, не долбилось... Я подсчитывал: в эти годы антирелигиозная пропаганда дошла до того, что в день выходило по 6—7 книг, каждая из которых имела миллионный тираж. В день! Прямо стрельба из «катюш», минометов... Храмы закрывались при самых безобразных обстоятельствах: вламывались, входили, надевали шапки и бросались тут же все ломать. Я не могу сказать, я даже отрицаю, что непосредственно свыше было дано указание

---

[36] Свящ. Сергей Алексеевич Желудков (1909—1984). Священствовал в Пскове, пользовался большим уважением народа, и в разгар хрущевских гонений его по настоянию властей уволили за штат. Впоследствии был активным участником правозащитного движения, автором многих популярных в самиздате сочинений по апологетике и церковной реформе. В кн.: Желудков С., Любарский К. Христианство и атеизм. Брюссель; Жизнь с Богом, 1982 — опубликованы и письма Меня под псевдонимом «Корреспондент З.» (С. 56—63, 169—173). В 1983 г. Желудков выступил с Открытым письмом митр. Ювеналию в связи с антисемитскими нападками на Меня.

[37] Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин (1915—1991) — участник обновленческого движения: провел в концлагерях 7 лет при Сталине, 3 года при Брежневе, был вынужден уехать в сентябре 1974 г. Автор (вместе с В. Шавровым) истории обновленческого движения.

[38] А. Чертков, диакон Всехсвятской церкви в Москве: отрекшись от христианства, стал активно выступать против Церкви в журнале *«Наука и религия»*. В 1962 г. он опубликовал статью «Святой рождественский обман» (*«Наука и религия»*, 1962, № 12, с. 24—27) с критикой статьи Меня «Тайна волхвов» (ЖМП, № 1: с. 60—67). В статье Черткова библейские пророки названы «пигмеями духа», а Мень «православным фальсификатором».

закрывать церкви хамски. Было сказано: закрывайте культурными способами, щадя чувства верующих. Но эти олухи на местах — раз начальство велит — стали душить людей. И вот начались грандиозные скандалы, по поводу которых стал впервые основательно выступать Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов, с которым я познакомился через Анатолия Васильевича Ведерникова.

С Ведерниковым я впервые познакомился в 1948 году, когда он был инспектором. Я пришел к инспектору Московской Духовной Семинарии, желая выяснить, можно ли в нее поступить (я кончал семилетку). Молодой, с очень красивым профилем, Анатолий Васильевич сидел там; был портрет Сталина, небольшой, без цвета, большая елизаветинская Библия лежала на аналое и книги. Он сказал: «О, Вы еще совсем юный! Вот Вы кончите, будет вам 18 лет (а мне было тогда едва четырнадцать), вот вы тогда приходите». Анатолий Васильевич тогда читал курс истории русской религиозной мысли в Академии, которая находилась еще в Новодевичьем.

Через год Анатолия Васильевича сняли, Академию перевели, и история религиозной мысли — увы!... Сняли его по нескольким причинам, одной из которых была, по-видимому, его женитьба на репатриантке[39]. Тогда — было сталинское время — это считалось ужасным преступлением, хотя на самом деле это была рядовая женщина — хотя и активная мирянка, парижского прихода, очень промосковской ориентации, очень просоветской. Тем не менее, это его уже запятнало. И вообще он был человек живой, хотя очень гибкий, умеющий всюду устраиваться, но — человек умный, истинно религиозный. У него был известный консерватизм, но — здоровый консерватизм, с открытостью к разным веяниям. Таким он остался и теперь. Самые лучшие от него всегда впечатления, очень я всегда его любил и очень я его ценил. В 1956 году, когда я был уже на третьем курсе, я приехал в Москву (я уже там до этого времени зондировал почву о поступлении в семинарию), был у владыки Леонида[40], который меня очень ласково принял. Я ему сказал, что хочу, окончив, отработать и подать, но хочу заранее подготовиться, — какие есть возможности? Предупредил его: «Я по паспорту не русский, вы учтите это». Он говорит: «Какое это имеет значение!» — эдак либерально... Праздные языки говорили, что он сам с неполной анкетой какой-то, но это уже все относится к области легенд. Так или иначе меня познакомили с Анатолием Васильевичем Ведерниковым вторично. Он был тогда редактором

---

[39] Елена Владимировна Ведерникова. У нее Мень вместе с женой учился иконописи в бытность диаконом в Акулове. На даче Ведерниковых в соседней Баковке в 1959—1960 гг. собирались Мень с женой и сын А.В. Ведерникова Николай с женой.

[40] Митр. Леонид (Поляков) (1913—1990). С 18.07.1957 — архимандрит и инспектор МДА и МДС, в 1959 хиротонисан во еп. Курского и Белгородского, 9.04.1962 назначен еп. Можайским, с 1979 митр. Рижский и Латвийский; умер 8 сентября 1990, накануне дня гибели Меня.

«Журнала Московской Патриархии». Официальным редактором числился митрополит Николай, а он был ответственным секретарем редакции, то есть практически редактором.

И вот в 1956 году я прихожу в редакцию Московской Патриархии, хочу заглянуть в кабинет и слышу — с редактором говорит чей-то резкий голос: «Ну что ж, вы знаете, всякий конкубинат, — сказано было эдак лихо, — кончается либо скандалом, либо законным браком. Так что ж у нас с вами будет?» Услышав такой странный текст, я закрыл дверь и дальше не слушал. (Потом, как выяснилось, речь шла о том, что Анатолий Васильевич, чтобы поддержать этого человека, давал ему писать статьи для ЖМП. Таким образом, довольно долго длился некий конкубинат, и он думал, что надо уже ставить его фамилию и пытаться сделать его официальным автором, но, к сожалению, это не удалось). Редактор отвечает как-то неуверенно — очевидно, будет ни то и ни другое, конкубинат продолжится. И выходит человек в очень сильных очках, видимо, очень плохо видящий, садится на диван. Взъерошенный, весь какой-то взломанный, и сразу заговаривает со мной, сообщает мне с ходу, что он только что вернулся из лагерей, что он был обновленческим дьяконом, что он был учителем, что он сейчас работает учителем, сообщает тут же, что он пишет под псевдонимом в «Журнал Московской Патриархии» статьи. Я ему говорю: «Дорогой мой, а вот Вы меня не знаете, Вы мне все это сразу выпалили — как это все?..» Он мне: «Мне о Вас тут сказал редактор... А Вы что?» Я говорю: «Вот учусь, студент, а со временем хотел бы быть священником». «Вы такой быстрый, — сказал он (мне был двадцать один год), — [священство] совсем не подходит для вас». «Ну что ж, — ответил я, — это мне за грехи...»

Мы с ним пошли пешком — и прошли от Новодевичьего монастыря до Кремля, и он мне рассказывал в красках и в лицах всю эпопею, которую он впоследствии запечатлел в своей книге «Очерки по истории церковной смуты» (трехтомной, еще не вышедшей на Западе)[41].

Ведь когда я жил в Сибири, я страшно интересовался историей церковного раскола. Причины понятны: мои родители были причастны к этому[42], я должен был знать, что к чему, кто прав, кто виноват. Кроме того, проблема обновленчества меня всегда интересовала — я чувствовал, что это было что-то очень гадкое, но, с другой стороны, сама идея обновления была мне необычайно близка. Я не мог понять: «Как же это?» Информация была почти нулевая. Свидетели, очевидцы, рассказывали о них просто ужасы одни, но я чувствовал, что что-то тут не то, надо бы

---

[41] Опубликованы: Кюснахт, 1978 г.

[42] Отец А. Меня был неверующим человеком; мать Е.С. Мень к обновленческому расколу причастна никоим образом не была. Видимо, он имеет в виду, что его мать и ее друзья были членами «катакомбной Церкви», духовными чадами о. Серафима (Батюкова) и через него еп. Афанасия (Сахарова).

познакомиться поближе... Книг, разумеется, не было. Сейчас ведь и советских книг про обновленчество полно, а тогда не было ничего. И вот живой свидетель всех этих событий все это рассказывал. Сейчас он об этом опубликовал на Западе большую книгу (первый том уже вышел[43]), но для меня это была пища необычайная.

Вот так мы шли — по-моему, это было лето 1956 года, мне был двадцать один год — и он все рассказывал, рассказывал... Он мог говорить бесконечно! «Да, кстати...» — говорил он между двумя рассказами — и пошел следующий. Он был большой оптимист, человек резкий, но добрый, человек с очень твердыми, ясными христианскими принципами, хотя его считали многие ограниченным, чуть не пошлым. Это все неверно: он был очень цельный, и чудо его цельности заключалось в том, что на самом деле это был человек, раздираемый жесточайшими противоречиями, человек, который был весь мучительно закомплексован. Отец его был евреем, не верующим ни во что, мать, которая быстро ушла от отца, была очень враждебно настроена к евреям. Парень, таким образом, находился как бы между молотом и наковальней. Мать ненавидела своего сына за то, что тот сын еврея, а отец был недоволен сыном за то, что тот православный. А мальчик с детства был религиозным, с детства был христианином. Конечно, это промежуточное положение очень ему тяжело далось. Не сложилась у него личная жизнь, он перенес тяжелейшее разочарование.

Когда он сблизился с обновленчеством, первое знакомство свелось к тому, что его засадили тоже по их же наветам. Некто Платонов, Николай Федорович, на него стукнул — но он настолько ничего не знал о деле, которое ему пришили, что даже в те годы его просто выпустили на третий день. Можно себе представить: он не знал в лицо ни одного персонажа, не знал никого по имени, вообще ничего не знал, и это было написано у него на лице. После этого на него стукнул сын Введенского[44], его патрона. И стукнул, собственно, за что? По пьяной лавочке или, может, в интимном разговоре он назвал Иосифа Виссарионовича обер-бандитом (Анатолий Эммануилович любил говорить!). Это было сталинское время, этого было достаточно, чтобы сразу же схлопотать червонец. И вот оттуда он вернулся.

Он стал учительствовать, но дело это долго не продлилось, потому что в 1958 году про него уже была статья в первом номере журнала «Наука и религия»[45]. Этот первый номер был насыщен клеветой, и там была статья, обливающая грязью Левитина. Причем там было сказано о нем, что он

---

[43] Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы: 1925—1941. Воспоминания. Париж: YMCA-PRESS, 1977.

[44] Митр. Александр (Введенский) (1889—1946), один из обновленческих лидеров.

[45] Мень путает первую статью о Краснове-Левитине, не имевшую последствий, и вторую, более позднюю: Воскресенский П. «Духовный отец» Вадима Шаврова (*«Наука и религия»*, 1960, № 5, с. 32—37). Именно

дворянин и так далее, осколок старого мира... И там же о Вадиме Шаврове[46], его друге: что он никакой не потомок Тургенева, и что он не офицер, и что у него отец не генерал, и так далее. Вадим поднял скандал, ему сказали: «Извините, действительно вы офицер, действительно у вас боевые ордена, действительно отец ваш генерал и член партии и он только что умер, и вы действительно потомок Тургенева, но что мы можем сделать?.. Печатать опровержение мы не будем». Так и называлась эта статья: «Вадим Шавров и его крестный отец»[47]. А крестный отец был Анатолий Эммануилович. «Дворянин» же заключается в том, что его отец, будучи адвокатом, имел личное дворянство, которое не передается по наследству. И потом было множество всяких приключений.

Был он человеком в общем ортодоксальным. Когда они встретились с Желудковым — о Желудкове я следующий раз как-нибудь расскажу, — то Желудков сказал: «Вы агнец в догматическом смысле». Никаких у него не было загибов, зато он был очень социалистически настроен, считал, что христианство и социализм не только едины, но очень необходимо их соединить. И он до сих пор проповедует на Западе эту идею. Я воздерживаюсь от суждений на этот счет, но.... Но, во всяком случае, его общественный пафос, мысль о том, что общественная неправда является не чем-то безразличным в этой стране, а что эта вещь, против которой христианин должен как-то бороться, — эта мысль настолько естественна, что, по-моему, все очень просто.

На Анатолия Эммануиловича смотрели косо — я думаю, что больше всего потому, что он выступал так резко и что он был еврей. Это самое главное. Пусть наполовину, этого было достаточно. Потом его стали травить — историю его травли я рассказывать не буду, потому что это он расскажет сам в своих мемуарах. Он страшно любил молодежь, у него был проходной двор, собирались самые различные люди. Интересно, что когда его арестовали вторично, то там был один парень, которого считали стукачом, — так он был единственный, кто на него не показал. И когда он смотрел потом это дело свое, то там было сказано об этом юноше, что тот считает его свидетелем правды и ничего о нем не скажет — и его

эта статья носила характер доноса, сообщая, что Краснов-Левитин пишет под псевдонимом статьи в ЖМП. Статья оканчивалась словами: «Вокруг счастливо и радостно живут люди. И Левитин улыбается вместе с ними. Это — днем. А ночью начинается вторая, настоящая жизнь двуликого богослова. Злобой, высокомерием, казуистикой наливается рукопись нового трактата».

[46] Вадим Михайлович Шавров (р. 1924). Его мать — Е.Д. Шаврова — внучатая племянница И.С. Тургенева. После службы в армии был на десять лет осужден за «антисоветскую агитацию». Учился в МГИМО, экстерном окончил Одесскую духовную семинарию, был иподьяконом еп. Никона Одесского и митр. Нестора Новосибирского.

[47] Андреев А. Вадим Шавров и другие (*«Наука и религия»*, 1959, № 1 /сентябрь/, с. 59—65).

отпустили. Ну, он был парнишка немножко с фантазией... Левитина отпустили — временно, он еще был под следствием — думали, он одумается. Но он опять начал горячиться, и его опять забрали. И пришлось ему уехать, как — он сам напишет.

Это был один из самых светлых людей, которых я встречал: живой, активный, искренней веры, религиозный. Хорошо понимающий, что в церкви есть проблемы, пытающийся как-то на них ответить. Он был первый автор религиозного самиздата, который начался с пятидесятых годов: писал апологетические статьи, брошюры, выступая сначала против ренегатов. Сам он показался мне очень живым, и тогда меня поразило, что он, пройдя через лагеря, через такие перевороты, сохранил оптимизм, бодрость; я чувствовал, что в нем есть что-то надломленное, и несмотря на это — он бодр.

Он был весь соткан из этих комплексов, которые его всегда мучали, но при этом он был человек жизнерадостный и неунывающий. Я сказал ему: «А как дальше дело-то пойдет? вы видите, как тут начали нас давить, что будет?» «Ну, это все ерунда, — отвечает Анатолий Эммануилович, — я такое повидал, что... Все, что сейчас происходит, это все ерунда, на самом деле все будет хорошо. И молодежь сейчас нарождается новая». — «Ну, я пока ее не вижу.» — «Нет, вы ее увидите!». И действительно — она впоследствии появилась. В 1956 году ее еще не было, все сидели по своим углам, а Левитин сказал: «Она еще слаба. Все молодое, зеленое легко задавить, но все-таки это именно молодое».

Мы с ним расстались друзьями и часто встречались потом. Единственный раз в жизни у нас была тяжелая ссора, потому что он, благодаря своему невероятному языку, меня сильно подвел, так что некоторое время у нас было охлаждение. Но потом мы снова помирились. У Анатолия Эммануиловича была некоторая прямолинейная примитивность взглядов, которая полностью искупалась их цельностью. Люди утонченные, снобы, люди, так сказать, богословски изощренные, считали его, конечно, просто примитивом. Но его примитив был гораздо выше их [изощренности], потому что он был все-таки целостный человек. Это было целостное мышление, целостное сознание, целостная вера, целостный духовный опыт, целостная личность. И это — при таких контроверзах, которые я уже упомянул. Больше того. Контроверзы не ограничивались семьей, потому что он был социалистом, он стоял за социализм, который он, если я правильно понимаю, путал с коммунизмом; он был и социалистом, и христианином, хотел совместить и такие вещи. Казалось, что такой человек явно не может быть целостным. Нет — был! Был целостным.

В то время вышла первая брошюра отреченца Дулумана: «Почему я перестал верить в бога»[48] — и Эммануилыч лихо его отхлестал за нее. Так

---

[48] Евграф Каленьевич Дулуман. Выпускник МДА. Его первая антирелигиозная брошюра «Почему я перестал верить в бога. Рассказ бывшего кандидата богословия» (М.: Молодая гвардия, 1957) активно популяризировалась в России и была переведена на многие языки.

начался самиздат. А потом он стал писать резкие, обличительные статьи. Почти на каждое мало-мальски стоющее поносное выступление в прессе он отвечал своим, столь же поносным — писал он в стиле советском, это был советский памфлет, со всеми приемами, так сказать, советскими. К сожалению, один из этих приемов его подкузьмил: он не всегда проверял факты. Например, в замечательном памфлете «Куда ты идешь, Володя?» он, по-моему, обвинил человека зря. Был очерк Тендрякова[49] «Куда ты идешь, Лид?а». Некая девушка, якобы решив поступить в монастырь, стала сомневаться, написала в газету: «Дорогая редакция, стоит ли мне поступать в монастырь?» А Тендрякову поручили ответить. И он написал целую страницу: «Куда ты идешь, Лида?» — и там фотографии: монах, который приветствует Гитлера, наместник, который влезает в автомобиль, и другие гнусные сцены.

А Эммануилыч написал «Куда ты идешь, Володя?». Он писал о том, сколько этот наместник выстрадал, прежде чем сел в этот автомобиль, о том, что немцев встречали одни, а другие были расстреляны немцами. Почему же тогда говорить именно об этих? — мало ли кто встречал — все, и коммунисты многие. Ответил здорово! А название «Куда ты идешь, Володя» объяснялось так. Левитин писал: «Мы с вами говорили на джентльменских основаниях, а вы взяли мою статью, отнесли куда не следует. Куда вы идете, с кем вы — со стукачами?» Тендряков потом клялся — не знаю, можно ли ему верить, — что он никуда не носил, что это была ошибка. Но этот памфлет вошел и был впоследствии издан в сборнике Эммануилыча, который вышел за рубежом. У него в те годы вышло два сборника. Один «Защита веры в СССР», название второго я забыл[50].

Наибольшую славу ему принес памфлет в защиту Почаевской лавры, с которой происходили ужасные вещи. Ее терзали, ее убивали. Люди приезжали туда помолиться — подъезжала машина с милицией, сажали всех туда, вывозили в поле, оставляли и уезжали. Травили монахов, всякие гнусности делали. Анатолий Эммануилыч многое сделал для защиты Лавры. Он писал во всякие органы, и некоторые монахи оттуда написали письма за границу. В то время еще никто в Советском Союзе не обращался открыто на Запад. Это все было совершенно неведомо. А эти монахи написали какие-то просьбы — косноязычно и, в общем, не всегда точно. Эти бумажки попали в руки и к нам.

4

В разгар всех этих безобразий мы однажды прогуливались по нашему парку около дворца. Надо сказать, что в Петровском, где стоял мой храм,

---

[49] Владимир Федорович Тендряков (1923—1984), советский писатель, часто обращавшийся к религиозным темам с позиций неверующего гуманиста.

[50] «Защита веры в СССР» и «В борьбе за свет и правду» (1964). Также: «Диалог с церковной Россией». Париж, 1967. В последнем сборнике на с. 31—34 и статья «Куда ты идешь, Володя».

есть дворец, построенный Казаковым. Дворец был разломан, взорван, теперь от него остался один костяк и надпись: «Памятник охраняется государством». Рвали его на бут. Но белокаменные колонны еще стоят, и парк — точнее, кусочек парка. Мы гуляли в парке, я сказал отцу Николаю: «Собственно, а почему вот таким несчастным людям писать? Давай соберем факты и напишем конкретно, адекватно и авторитетно, чтобы люди знали». Что ж, он настолько пришел в экстаз от этой идеи, что стал меня целовать и вообще вознесся духом горе. А потом мы встретились с Дудко и с другими и стали эту идею обмусоливать. И в конце концов почему-то — я сейчас не могу вспомнить, почему, все это теряется в памяти — мысль пришла такая: «Зачем говорить про это, когда надо искать корень. А корень зла в том, что все происходит от попустительства архиереев. Те представители Церкви, которым полагается, не борются нисколько за дело Церкви. Теперь, после передачи власти старосте, любая староста может завтра закрыть храм по своему желанию. Потому что ее вызывают в райисполком и говорят: «Закройте!» — а она находит причины к закрытию: «У нас там нет того-то и того-то». И все — конец. Все упирается в Собор 1961 года. Надо каким-то образом выступить против него». Стали думать и гадать. Тут Эммануилыч свои мысли стал предлагать, и некоторые другие священники — не буду называть их имена[51]. Стали мы все это обдумывать.

Между тем у нас на приходе произошло маленькое, а может быть, и большое, в общем, «недоразумение», которое поставило «аббатство» все под удар и вообще все разрушило. У Николая Николаевича Эшлимана был приятель-историк Вася Фонченков[52], сын известного партийного работника — настолько известного, что после его смерти в газете был даже портрет в траурной рамке. Этот Вася Фонченков — молодой человек немножко авантюрного склада, любивший качать права, — часто бывал у Николая Николаевича. Был он историк по образованию, кончил Университет, работал в музее реконструкции Москвы и очень любил царскую фамилию: вспоминал об этом, собирал какие-то материалы, вообще любил поговорить о монархизме. Сначала интересовался как историк, а

---

[51] Ныне можно упомянуть из входивших в группу священников Г. Якунина, Н. Эшлимана, Н. Ведерникова, Д. Дудко, А.Злобина, В.Тимакова, С. Хохлова.

[52] Свящ. Василий Фонченков родился в 1932 в семье старого большевика Василия Фонченкова, именем которого была названа одна из улиц Москвы, в 1955 окончил исторический факультет МГПИ, работал в музее б. Ново-Иерусалимского монастыря, с 1964 — чтецом в московских храмах, в 1972 окончил МДА, в 1973 был рукоположен во священники, в 1976—1977 г. был настоятелем Сергиевского храма в Карлхорсте (Берлин) и редактором журнала «Stimme der Orthodoxie», где в те годы печатался Мень. В 1979 г. вступил в Христианский комитет по защите прав верующих, в настоящее время в юрисдикции Русской Православной Церкви за рубежом.

потом возлюбил в общем... У меня особенных с ним отношений не было — так, если к Николаю придем, Вася тут как тут, что-нибудь расскажет новенькое. Он вечно собирал какие-то коллекции, музейные редкости, всюду ходил... К тому же, хотя он был крещен с детства, если я не ошибаюсь, бабушкой, христианизировался он, воцерковился сравнительно недавно.

И вот он приехал ко мне, в мое аббатство, и говорит: «Есть у меня друг — кажется, они даже учились вместе, — тоже историк, Лев Лебедев[53]. Он научный сотрудник истринского музея Новый Иерусалим, стал православным, обратился и даже подумывает, не подать ли ему в семинарию. И вообще хочет с работы уходить и идти уже по церковной стезе. И начать он хочет с того, чтобы стать псаломщиком. Возьми его к себе». А вместе с ним, рядом — юноша с белесым лицом, оттопыренными ушами, улыбкой до ушей, сугубо интеллигентный человек, как я сразу почувствовал. Быстро все схватывает, говорит вкрадчиво. Но Вася мне не сказал одного, самого главного — что он мертвый алкоголик. С этого все и началось.

Лев Лебедев продолжал жить на территории музея-монастыря Новый Иерусалим, а ездил к нам, в Алабино. Я его учил читать, петь, мы взяли его в штат, и он был псаломщиком. Но через несколько дней меня встревожила одна история, вообще-то ничтожная. Он начал меня спрашивать о разных вещах — вот, отец Александр, то-то, то-то, — а когда я ему высказывал свое мнение, он мне отвечал весьма смутно. А мне это было уже знакомо по психопатам. Психопат отличается тем, что не может высказать свою мысль. Он говорит вам красиво и много, а ты не понимаешь, что он хочет сказать — и он сам не может дойти до этой сути. И вот этот Лев — темнит, и темнит, и темнит, — я ему одно, а он что-то другое — темнит. Красиво темнит!

Потом наступил какой-то праздник. Все пришли, сели, собрался народ, выпили. Я никогда не был против хорошего застолья с хорошей выпивкой, поскольку здоровье мне позволяло. Я пуританские взгляды в этой сфере осуждал, хотя потом все менее и менее мне это нравилось — я просто решил, что у нас пить не умеют, и нечего устраивать эти застолья. Надо пить тем, кто умеет и кто получает от этого дружескую радость. А те, кто напьются и говорят одно, а потом, протрезвев, другое — хуже нет. Ненадежные люди! Это в деревне у нас, бывало, сколько раз мы выпивали с местными парнями, и они мне клялись, что в глубине души у них есть вера, что они придут в церковь — но я уже не слушал их, потому что уже знал, что как только они протрезвятся, то не придут ни за что. А тут мы

---

[53] Прот. Лев Алексеевич Лебедев (р. 1935). В 1962 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1962—1964 работал в музее б. Ново-Иерусалимского монастыря, в 1968 рукоположен во священника, с 1990 г. перешел в юрисдикцию Русской Православной Зарубежной Церкви . Автор статей и книг, популяризирующих квазиправославную культурологию.

сели, было много молодежи и разных ребят, и наш Лева Лебедев начал что-то вещать и проповедывать. Он очень красиво говорил, у него уже была одна печатная работа — брошюра вышла в обществе «Знание» по истории[54]. Вдруг он стал что-то такое выкликать, и потом свалился на пол, и заснул. Это первое, что меня насторожило, — такова обычная повадка алкоголиков.

Потом он приехал со своими приятелями, очень симпатичными, милыми, очень живыми и общительными — люди из тех, которые с вами общаются сразу же так, как будто знают вас всю жизнь, поэтому напоминают гомосексуалистов. Они говорили массу комплиментов, но быстро как-то напились и выпали в осадок. Я только потом понял, что это сорт интеллигентных алкоголиков. Но опять-таки я как-то на это не обращал внимания: мало ли, ну устал, выпил, может он еще и до этого выпил. Но потом мы с Сережей — с отцом Сергием — стали видеть, что что-то здесь не в порядке... И вообще мне настроение его стало не нравиться. После какого-то праздника идет и возглашает: «Теперь будем читать Тютчева!» Некогда было! Я устал, был загружен работой, всем — а у него такая богемная обезьяна жила в душе, которая подзуживает: сядем и будем читать Тютчева. Может быть, конечно, в этом ничего дурного нет, я сам люблю Тютчева, приветствую чтение стихов. Но не надо, чтобы мне Лев Лебедев читал Тютчева, я сам прочту.

И в скором времени он нас всех погубил. Произошло это следующим образом. У Лебедева на работе был сотрудник[55], садист (по моим наблюдениям), который настолько ненавидел церковь и веру, что, например, приобретал иконы, чтобы чертить на них гадости, выжигать глаза святым; использовал дароносицу для пепельницы или мусорницы, в общем... Рядом с монастырем был источник, и, когда бабки туда ходили, он, изображая из себя представителя власти, ходил к ним, отнимал у них бидоны с водой, и вообще пугал их до смерти — и так далее. Как я потом узнал, наш Лев Лебедев в пьяном виде похвалялся этому сотруднику, что он все равно привезет священников и освятит весь музей, ибо сие — осквернённая святыня. И тот, видно, был настороже. Я этого ничего не знал.

За несколько дней до «недоразумения» Лев в мое отсутствие, пьяный, притащил мне куски керамики, которые валялись у них в музее. Мне они были не нужны, но он говорит что-то насчет того, чтобы вделать в алтарь... Подарил несколько старинных книг. Я посмотрел: на них нет никаких печатей, хотя все было явно музейное. Но раз нет печати, я посчитал, что можно взять. Керамика валялась у меня — это было буквально за несколько дней до того.

---

[54] Лебедев Л.А. «Как раскрываются загадки и тайны истории». М., Знание, 1963.

[55] Александр Иванович Клибанов, много печатавшийся при большевиках «историк», специализировавшийся на поиске социализма и протестантизма в русской народной религиозности.

И вот однажды — это было первого июля, на праздник Боголюбской Божией Матери — мы решили туда поехать, просто в гости, посмотреть. Я до того никогда не был в Новом Иерусалиме. Мы отправились на церковной машине. Ехал со мною Эшлиман со своей женой; Наташа[56] в это время была с детьми на юге.

Когда мы туда приехали, я сказал ему (уже зная, что он алкоголик): «Лева, пока мы находимся здесь, ни капли вы не должны пить вообще. Все!» Пока мы ходили и все осматривали, я начал разговор с его женой. Гречанка по национальности, она была настроена очень антирелигиозно, а тут я как-то ее сломил, и мы начали первый разговор «по-хорошему». Но Лев-таки успел «сбегать», выдул две бутылки красного вина и уже был хорош. Он мне положил в чемодан какие-то осколки, которые бы нам могли пригодиться для ремонта церкви: мраморный круг с дырочками, который можно использовать как подсвечник, еще что-то... Я с этим чемоданом шел... Но сотрудник-безбожник, оказывается, как я узнал впоследствии, вызвал милицию и заявил, что попы приехали что-то там отбирать или, в общем, что-то такое непотребное творить.

[Когда появились стражи порядка, мы были в кабинете Лебедева. Один из них вошел к нам, но] пламенная гречанка бросилась на милиционера и выставила его вон. Я выглянул в окно и увидел, что все мечутся по двору, и понял, что надо отступать. Немедленно! Я махнул Эшлиману и потом услышал шум — это выскочил пьяный Лев Лебедев, который нанес несколько оскорблений действием своему коллеге. Сокрушив начальника и упав на землю, он был тут же водружен милицией на мотоцикл и увезен в соответствующее место, мы же все быстро сели в автомобиль и отбыли. Приехав, я посмотрел все эти обломки, которые он мне принес, и ликвидировал их вообще как класс, полностью, потому что чувствовал, что сейчас будет какое-то... происшествие.

Действительно, ровно через день приехала опертивная группа с разрешением прокурора на обыск по изъятию ценностей, которые я похитил в музее Новый Иерусалим. Вместе с этой группой находится и этот антирелигиозник. Он всячески потешается, начинает изучать мою библиотеку, говорит: «О, о, мы-то думали, что мы так, а на какую мы щуку-то напали!» Так они говорили между собой, а я слышал: «Вот это щука...» У меня лежали иностранные разные журналы — и церковные, и так далее... «Откуда это у вас?!» — говорит он грозно. — «Это ж наши издают!», — отвечаю я (это как раз был «Stimme» — «Голос Православия»)[57].

Я-то более всего боялся того, что там были некоторые вещи нашей старосты, которые она использовала, чтобы мы могли добывать деньги для ремонта храма. Если б нашли — ей несдобровать. И вообще все это шло вот так — напряженно. Три сантиметра отделяло его от этого «предмета». Потом ко мне вышел милиционер и сказал: «Слушай, давай

[56] Жена о. А. Меня Н.Ф. Григоренко-Мень.

[57] «Stimme der Orthodoxie», издание экзархата Московской Патриархии.

три рубля, и мы как-нибудь все это сделаем». Я, конечно, с радостью его ублаготворил. И милиционер говорит: «Ой, сколько книг, когда ж тут служить можно, тут не служить, все надо читать...» Но те — вот этот антирелигиозник, и с ним был гэбэшник — не отставали. Гэбэшник был молодой и говорил: «Знаете, я в этих книгах не понимаю вообще, посмотрел — ну, вроде бы ничего». Забрали у меня машинописные выписки из Пастернака «Доктора Живаго», взяли две иконы — сочли, что это музейные. И взяли те старые книги, которые он мне подарил, и несколько обломков этой керамики как вещественное доказательство, что Лебедев украл и мне передал краденое.

Гэбэшник на этом не успокоился. «Мы пришлем специалиста осмотреть вашу библиотеку», — сказал он и запечатал мне дом. Я остался на террасе как глупый. Антирелигиозник[58] же — фамилию я уже забыл — говорит: «Нам надо с вами подискутировать. Я к вам приду, и мы с вами побеседуем». Я говорю: «Если будет у вас ордер, приходите». Он говорит: «Ну зачем вы так со мной, что вы!..» «Нет, — говорю, — с вами мы будем разговаривать только, когда у вас будет ордер. А так — ариведерчи. Все!»

Они ушли, я остался один и пошел дописывать «У врат молчания»[59] — мне осталось всего три странички. «Нет, — думаю, — гады, я все равно добью то, что положено в этот день!» И удалился в свой буддизм... Я, наконец, один — как я уже говорил, семьи не было. Комната опечатана. Но у меня там кое-что было, что могло быть использовано «врагами» против меня. Какие-то машинописные вещи — сейчас я уже не помню. Но все-таки я б не хотел, чтобы они там были. Ничего по-настоящему криминального там не было, но... К тому еще — возьмут и не отдадут. Кстати, они мне и не вернули ни иконы, ни эти выписки, ничего. Стал я гулять по церковному двору в раздумье. Гулял, гулял. Потом так задумался, что подошел, дернул дверь, сорвал эти все печати. «Ну, думаю, раз я уже их сорвал, так я должен почистить». Я там почистил, кое-что унес, а сам думаю: «Ну, что теперь будет?»

Вдруг идет мой брат[60]. Как-то мне стало веселей — мы с ним обдумали это дело. А они сказали, что приедут на другой день. И я решился: пошел к одному административному лицу нашей деревни, с которым я был в большой дружбе, и говорю: «Так и так, такая картина». Он говорит: «Они были у нас, допрашивали, мы сказали о вас самое хорошее, что никакой у вас антисоветчины нет и не было, и вообще они не имеют права [так вас оставлять] — они должны были закончить обыск». — «Тогда я сейчас к ним поеду!»

Сели мы на машину, и отправился я в их ГБ — Красноармейское, кажется. Приехали мы — никак не найдем. Я какого-то милиционера

---

[58] А.И. Клибанов.

[59] Третья книга из серии «В поисках Пути, Истины и Жизни», посвященная духовной истории Китая и Индии.

[60] Павел Мень (р. 1938).

спрашиваю: «Где тут ГБ?» Он на меня посмотрел, как на гадюку — оскорбился, но все-таки показал. Вошел я в ГБ. Там пусто. Сидит какой-то малый, пишет заявление. Я спрашиваю: «Где тут «эти»? — «Вон они, зарядкой занимаются». [В самом деле, за окошком] молодые парни бегают по кругу. Я говорю: «А вот такой-то мне нужен». — «Уехал куда-то... А я, — говорит, — сижу, пишу заявление, уходить хочу отсюда. Не нравится мне». — «Да что же не нравится?..» Так мы побеседовали, я оттуда ушел и написал перед этим записку и говорю: «Вы тогда ему передайте записку». И написал: «Я ждал вас два дня, приехала моя семья, прошу меня больше не беспокоить!». А что оказалось? Пока я ездил, он приехал туда, а на доме замки кругом — я их повесил. Они разъехались, а потом я узнал, что они вообще не имели права оставлять [комнату опечатанной] — в общем, они как-то поотстали.

Но что значит «поотстали»? Получил я повестку в прокуратуру: решили устроить грандиозный процесс. Самого Руденко[61] — генерального прокурора — на это дело пустили, он начал всем этим делом командовать. Открываю газету районную — «Ленинский путь» или как она называется — там статья: «Фальшивый крест»[62]. В карикатурном виде изображается и без того карикатурный Лебедев, а потом говорится, что он пригласил священников Эшлимана и Меня, которые приехали туда с девицами — это его жена считалась девицей! — и ограбили этот музей, и пели «Шумел камыш», и вообще Бог знает что. «Ну, — думаю, — дела. Что теперь будет...» И на допрос.

Допрос длился семь часов и, надо сказать, произвел на меня очень отрадное впечатление, потому что следователь был все-таки из прокуратуры, отнесся хорошо, составил все как надо. Затем пришел другой. А я — вообще не при чем. Я — ничего не брал. «Откуда, — говорю, — видно, что эти книги музейные?» Потом выяснилось, что при обыске они у меня стащили мою фотографию — тогда я уже стал на них поднимать голос и говорить: «Вы что, пришли как представители закона, а какое вы имеете право? где у вас в акте и в описи отмечено, что вы взяли мою фотографию?» Один следователь говорит другому: «Да отдай ты ему фото!» В общем, такая началась тут перепалка... Фотографию я забрал, — очевидно, они хотели использовать ее для фотомонтажа или для публикации в какой-нибудь газете.

---

[61] Роман Андреевич Руденко (1907—1981), с 1953 генеральный прокурор СССР.

[62] Малыгин Иван. Фальшивый крест. *Ленинское знамя.* 23 июля 1964, № 172 (13526), с. 3. В статье Клибанов ошибочно назван Колобыниным. Статья критиковала и директора музея Д.В. Петкова. «Отец Александр (в миру А.В. Мень) и отец Николай (в миру Н.Н. Эшлиман) сажали Лебедева в легковую машину (№ ВП39-01) и, прихватив с собой «святой» сорокаградусной и совсем не святых девиц, катились по дорогам Подмосковья». Статья обвиняла священников в краже из музея свитков Торы.

В общем, когда второй раз я прихожу на допрос, мне следователь уже намекает, что можно не беспокоиться. Что оказалось? Хотели раздуть грандиозное кадило, и тут просто Бог спас: передали экспертам высшего класса, и эксперт сказал, что все эти книги и вообще все, что там есть, учитывая, [что] на них нет никаких опознавательных знаков, — что они в сумме представляют ценность 10 или 15 рублей. Они выглядели все очень торжественно, эти книги в кожаных переплетах были, а на самом деле они были пустяковыми. Тут они как-то сразу пообмякли. Однажды, когда я приходил, открыл дверь — смотрю: Лебедева допрашивают. Потом устроили обыск у Эшлимана... Воротили как следует. Но Эшлиман, как говорится, вышел здесь благополучно. Он только этой газетной статьей отделался. А у меня дело было похуже.

Перед этим у меня было еще одно приключение. Приходит некто Лясунов, заведующий охраной памятников, и говорит: «Вот у вас тут сломаны колонны кое-где, заделано известкой, теперь вы должны все это вынуть, достать белый камень и заделать белым камнем». Во время войны, когда шли бои, осколки попадали в белокаменные колонны — а у нас их много было, этих колонн, вся колокольня была ими обделана, и довольно большие, по 15 метров высоты, причем заделали их известкой, штукатуркой. [Он же потребовал сделать] нечто совершенно невозможное, причем за короткий срок. Я говорю: «Мы же на этом погорим». А потом я вижу его выразительное лицо, смотрю и говорю: «Сколько?» Он говорит: «Три» — я ему выкладываю. А его приятель, который с ним приехал, тоже из этого общества охраны, сидит в стороне и читает Достоевского. Я пожал им ручки и отправил.

Оказывается, он объехал восемь или десять церквей, проделал эту операцию, а на одиннадцатой — не помню — батя, с которого он заломил больше всех (у него все возрастали аппетиты) сказал, что принесет ему, заметил номера денег и стукнул в ОБХСС или куда там следует — на Петровку. И его взяли с поличным, с этими деньгами. Начался процесс. Нас всех стали таскать, и адвокат его говорит, что надо нас всех посадить, поскольку мы давали взятки. Тут все и наложилось одно на одно.

5

Что будет дальше — я уже не знаю. Наступает отпуск, и я чувствую, что надо посмотреть мир, пока тебе не дадут смотреть через маленькое окошко. И мы с женой отправились по Волге на пароходе. Я был уже спокоен, потому что «У врат молчания» было закончено, и я уже обдумывал, как мы начнем греков[63] и самое главное — где мы их начнем.

---

[63] Имеется в виду четвертая книга Меня по истории религии: «Дионис, Логос, Судьба: Греческая религия и философия от эпохи колонизации до Александра».

Приезжаю я, по-моему, в Астрахань или в еще какой-то город — телеграмма от Сережи[64], от моего сослужителя: «Приезжал Трушин[65] (это уполномоченный по делам Церкви) срочно выезжай». Пока я ехал по Волге, я в каждом городе находил отчаянные телеграммы: «Приезжай срочно». Оставив Наташу и мешок с книгами, которые я брал с собой, я в Саратове сел на самолет и прилетаю сюда.

А тут полный разгром. Приехал Трушин и говорит: «Где он, этот злодей, которого в газете [обличили], который уголовник и так далее?!» «В отпуске», — отвечает отец Сергий. — «Никаких отпусков не полагается!» — [сказал и] уехал. Я прихожу к нему. Он сидит. «Ну, что с вами делать». Он работает с сорок пятого года, большой чин в ГБ имеет — не знаю, полковник или кто. Человек не из приятных, хотя, впрочем, я, как говорится, чай с ним не пил. «Что с вами делать?» Я говорю: «Ничего». — «Вот, написано: «Шумел камыш» и прочее». — «Знаете, — говорю, — я столько не пью, в чужих домах тем более. «Шумел камыш» я даже текста не знаю». — «Что с вами делать!» Наверное, раз пятьдесят повторил: «Ну, пока не служите, пока не служите». Потом звонят ему. Я чувствую, что звонят из «какого-то» учреждения. Он говорит: «Все отрицает он, все отрицает. Он мне сказал, что все это выдумка чистой воды». Потом [обращается ко мне]: «А какие-то там девицы?..». — «Знаете, — говорю, — вы же понимаете, как все это пишется...»

Понимаете — это шестьдесят четвертый год, Хрущев у власти, гонение идет полным ходом, каждый номер «Науки и религии» выходит с рубрикой «Факты обличают», и там поносят всех и вся, кого попало. Все местные — районные и областные — газеты полны клеветы, инсинуаций и всякий поношений, и каждый ищет вот такой новый факт. «Ну, — думаю, — все». — «Ну, не служите пока...» «Все, — думаю, — рухнуло наше аббатство».

Приезжают ко мне Женя Барабанов[66], Саша Юликов[67], юноши, которые тогда только что кончили школу, я им говорю: «Накрыли нас хорошо. Но будем надеяться на милость Божию, что будет дальше — посмотрим».

И действительно — произошло чудо: я еще не пропустил ни одной службы, как состоялся съезд уполномоченных. Какие им дали инструкции — кто их знает! Но вызывает меня секретарь епархии и говорит: «Ну что, вас там сняли? Ну, погуляйте месяц-другой, мы вам найдем местечко, не беспокойтесь, все будет в порядке — Трушин хороший человек». Я говорю: «Через три дня Успение, что ж мне делать, не служить?» — «Ну,

---

[64] Свящ. Сергий Хохлов.

[65] Алексей Алексеевич Трушин, в 1960-е гг. уполномоченный по делам религии при исполкоме Мособлсовета.

[66] Евгений Викторович Барабанов (р. 1943). В 1970-е гг. участник правозащитного движения, в настоящее время проживает в Германии.

[67] Александр Михайлович Юликов, художник, оформлявший книги Меня.

позвоните, — говорит, — уполномоченному». Я ему звоню и говорю: «Алексей Алексеич, вы говорили не служить, но я пока в воздухе, а ведь Успение, как же служба пройдет без меня?» Он отвечает: «Ну послужите на Успение, а потом ищите другой приход». То есть, вся схема изменилась.

Я на Успение послужил и сразу после службы, сев на машину, приезжаю в Тарасовку[68] (мне секретарь сказал, что в Тарасовке освобождается место). Приехал туда, посмотрел: церковь грандиозная, все нормально. Хотя, конечно, там все оказалось значительно хуже, но в этот момент мне выбирать было нельзя: либо пан, либо пропал. И на другой же день после Успения — или на третий? — я заключил договор. А в Алабино продолжался разгром: сняли старосту, в общем, всех разогнали. «Аббатство» было все разрушено.

А Лев Лебедев периодически появлялся — его отпустили — со своей женой и спрашивал, что ему делать дальше. Потом он пристроился при архиепископе Питириме и стал писать ему статьи в ЖМП. Но однажды, когда он пришел к Питириму, напившись до совершенного зверства, тот испугался и от места отказал. И тогда он поехал на Волгу к владыке Пимену[69] Хмелевскому (Саратовскому), сумел его обворожить, как обворожил меня, и тот его рукоположил. Но потом стал опять валяться по разным подворотням, и владыка Пимен его из своей епархии изгнал. Затем поступил в семинарию — его приняли заочно, потом очно. Я сейчас уже не помню наверное. То есть, сначала он был фанатичный приверженец официальной иерархии, Николая и Глеба он поносил, а теперь впал, наоборот, в оппозицию и старообрядствование. Недавно я встретил его в Лавре с длиннющими волосами, длинной жидкой бороденкой и огромной скуфьей — он шествовал как протопоп Аввакум рядом с дьяконом Хайбуллиным[70] (тоже оригинальный человек!) и говорил мне о том, что все негодяи. Когда я подошел под благословение к Никодиму, он сказал, что Никодим антихрист и вообще... Потом Рожков вдруг сказал мне со странной ухмылкой, что теперь Лев Лебедев духовник его жены, которая уже шесть раз лежала в психиатрической больнице. Я диву дался — пришел, смотрю: лежит все тот же пьяненький Лева. Открывает он один глаз — и все воскресло в моей памяти... Не знаю, что с ним будет происходить, сейчас он очень интересуется ролью масонов и сионистов в губительных последствиях... и так далее. [...]

Перехожу я в Тарасовку, а тут мне приходит вызов на Петровку. Туда вызвали и несчастную старосту нашу, потому что же ведь она должна была— якобы — давать эти деньги, взятку. Я знаю, что она там погибнет,

---

[68] Покровская церковь с. Черкизова на р. Клязьме, где Мень служил под началом о. Серафима Голубцова.

[69] Архиеп. Пимен (Хмелевский) (р. 1923). Хиротонисан во еп. Саратовского и Вологодского 10.01.1965 и пребывает по сей день на этой кафедре.

[70] Диакон Варсонофий Хайбуллин вместе с о. Глебом Якуниным входил в Комитет защиты прав верующих в СССР.

вообще понимаю, что с ней будет, и я решил все это принять на себя. Это было менее приятно, конечно, чем допрос [предыдущий]. Вертели-вертели — в общем, мы едва все не угодили за решетку. Процесс длился долго, без конца мы ходили и только говорили одно: что нас он шантажировал, что мы эту взятку дали не просто из любви к искусству, а потому что у нас не было другого выхода. Тут получилась маленькая такая взаимная услуга: товарищ, который приезжал с Лясуновым, очень боялся, что и его втравят — он ведь с ним, конечно, делил деньги. Но я сказал, что он к этому никакого отношения не имел и что деньги он не получал. Тогда, когда его спросили, действительно ли предложенные работы были невыполнимы, он сказал четко, что невыполнимы, так что это был шантаж. Лясунову дали восемь лет. Оказалось, что он набрал колоссальную сумму. Прокурор в своей речи рассказал, что Лясунов без конца писал доносы на свою любовницу — продолжая с ней жить! — и это «присяжных», очевидно, окончательно ухайдакало, и они уже не выдержали. Тяжелое это было все дело, причем шло все одно за другим. Я чувствовал, что тут никак не оклемаешься.

Отец Николай Эшлиман и другие, однако, продолжали обдумывать проблему создания какого-нибудь письма. Мы встретились у меня в Семхозе [71]: приехал Анатолий Эммануилович, отец Дмитрий и они оба — Эшлиман и Глеб. Причем Анатолий Эммануилович привез маленький — страниц на десять — проект письма к Патриарху на тему о том, что все происшедшее незаконно, и вообще сказал, что надо действовать «против». Но мы с отцом Дмитрием Дудко образовали правую фракцию и сказали, что без епископа мы не будем действовать. А Николай и Глеб остались в неопределенности, и тогда я предложил обсудить это дело соборно. Мы решили созвать более расширенный «собор».

И вот у Эшлимана на даче собирается десять человек для этого обсуждения. Тут надо сделать маленькое отступление. Прихожане собрали Эшлиману деньги, чтобы он купил дачу в Химках и переехал туда совсем. Я сказал тогда жене: «Здесь у нас дружба врозь — кончится». Я знал, что Николай был человек малоподъемный, с трудом куда-либо ездил, я знал, что он там погрязнет и уже мы с ним не сможем больше общаться, а я к нему ездить в Химки, конечно, не буду. Так все и произошло. Это очень важный момент в его жизни. В эти «Химки» была заложена масса злого для него. Там, в Химках, мы и собрались для обсуждения этого вопроса.

Всем было предложено высказать свое мнение, и какие-то мнения произносились, но кончилось это собрание тем, что было предложено пригласить кого-нибудь из людей старших (мы были все молодые) — в частности, Анатолия Васильевича Ведерникова. Некоторые не соглашались с его кандидатурой, другие были за — но, в общем, решили пригласить его и владыку Ермогена.

---

[71] Семхоз (Семенное хозяйство) — станция по Ярославской железной дороге (последняя перед Сергиевым Посадом), где с 1964 г. жил А. Мень.

После этого собора мы пришли к какому выводу? Надо все-таки выработать проект послания — Анатолий Васильевич даже предлагал, чтобы текст до отправления был зачитан лично Патриарху в Елоховском соборе во время службы. Кое-кто выйдет и — «Ваше святейшество!..» — и зачтет. Владыка Ермоген это одобрил. И стали думать, какой же должен быть текст. Тогда я написал три страницы, где смысл был такой: [реформа 1961 года] противоречит не только церковной практике, но и государственным законам, потому что священник теперь не лишенец. Если в церковную общину он не может быть принят, то получается парадокс: он может быть избран членом местного совета, но не может быть избран членом церковного совета. В основном, мой документ состоял из вопросов — в большинстве своем риторических: как вообще совместить с церковной практикой нынешнее положение...

Тогда отец Глеб сказал: «Нет, это слишком для них непробойно. Их надо долбить! Долбить так, чтобы до них дошло». — «Ну, — ответил я, — если это вам не нравится, то пишите сами». Я знал, что Глеб никогда ни одной строчки не напишет, а Николай вообще-то пишет, но очень медленно — страшно медленно, сверхмедленно! — и никогда не доводит до конца. Поэтому я был не особенно взволнован. Тем более, тут опять произошло очередное ЧП.

6

Мне было не до этого, потому что в это время стали искать роман Солженицына — то ли «В круге первом»[72], то ли «Раковый корпус». А у Солженицина был приятель, некий Теуш[73] — Царство ему небесное, он уже умер, — и от него стало почему-то известно, что он передал мне какие-то материалы, связанные с этим романом. Он действительно передал свои очерки по поводу Исаича. Я их почитал — это мило было, — и отдал их почитать Толе Ракузину[74]. И вот, сижу себе в Семхозе[75] и смотрю: идет целая вереница мужиков в пиджаках и галстуках. Я спускаюсь вниз — они так вежливо говорят: «Мы из Комитета Государственной безопасности. Есть ли оружие?» — «Нет, конечно нет!» — «Антисоветской литературы?» — «Нет, ничего не держим!» — «Хорошо...» Восемь часов они копырялись у меня тут, и я говорю: «Я вас тут оставляю, вы продолжайте это дело, я вам доверяю, вы официальные люди, найти у меня вы ничего не найдете из того, что вы ищете». Они сказали: «Мы ищем роман Солженицына». — «А я его в глаза не видал никогда, ищите, а я поеду с несколькими из вас в церковь».

---

[72] Видимо, искали роман «В круге первом», так как повесть «Раковый корпус» была окончена лишь в 1967 г.

[73] Теуш Вениамин Львович.

[74] Ракузин Анатолий, художник, в настоящее время живет в Израиле.

[75] Обыски состоялись 13 сентября 1965 г., как любезно сообщила нам М.А. Рашковская.

Приехали в Тарасовку, пришлось мне открывать сторожку. Но они вели себя корректно и даже сказали: «Чтобы вам не делать неприятности, мы остановимся вдали и придем пешком — вы можете назвать нас кем угодно». Поэтому мне пришлось плести какую-то ерунду, что вот, пришли что-то посмотреть. Пришлось их пустить всюду, даже попросились в алтарь. Я говорю: «Ну, кто крещеный?» — «Вот, один.» — «Пойдемте, я вас провожу». А у меня в алтаре был ящик, где я держал свои рукописи и книги. Я говорю: «Вот, пожалуйста.» — Он говорит: «Это богословие меня не интересует.» Тогда еще богословие их не интересовало... Они искали целенаправленно Исаича.

Поехали обратно, как-то я с ними разговорился, и даже посмеялись мы, и вообще ехали непринужденно. Я говорю: «А что вы пристали к старику-то, он уже на ладан дышит, если он писал что-то такое про лагеря, так теперь все пишут про лагеря...» И произошел забавный эпизод. Мне один человек дал стихотворение дурацкое — против Хрущева, — а как раз Хрущева сняли: «Тут вдруг Брежнев говорит: а тебе народ простит?» — в таком вот духе... Они [бумажку с этим шедевром] раз — у меня [прямо] из карманы рясы [вынули], я еще даже не прочел. Дýмаю: «Что там такое написано?..» Они сразу переглянулись и все — в эту бумагу. Я думаю: «Ну, сейчас...» Они: «Александр Владимирович, что же вы такие вещи держите?» А я говорю: «Что ж тут такого — конечно, с точки зрения поэтической слабо, но идейно там все выдержано». Они: «Вот, Брежнев», — увидели имя! — «Смотрите, что он говорит? — указываю я. — Он говорит то, что надо! нескладно написано, но от души!» Все! Замолкли, поняли, что дело кончено, тут не попался.

Один очень был вредный — и так копался, и так копался — ну ничего... Ковырялись они там, ковырялись, Наташа и говорит им: «В помойке поищите!» — Он говорит: «Вы не иронизируйте, это вам может все плохо кончиться». Мы вернулись — тут они уже, вижу, опали, поняли, что — нет... А я говорю: «Нет, я ничего не знаю — не видел, не слышал...» Ничего они не взяли. Один, правда, нашел у меня дневничок. У меня не было никогда привычки писать дневник, и вот однажды бес меня попутал написать что-такое незаконченное. Но он тоже оказался вежливым: взял его — я вижу, он читает его с большими глазами, — потом спрятал и не взял.

Они уехали с совершенно пустыми руками. Причем, когда уезжали, сказали: «А ведь мы могли бы посмотреть и нижний этаж, но видите, какие мы гуманные — не смотрели». А у меня там лежало! Накануне — это было тринадцатое число сентября — были мои именины, приехали все, и мне Женька Барабанов говорит: «Людей берут, вообще стало тревожно». Я думаю: «А, от греха...» Собрал какую-то там ерунду всякую, целый ворох, и на террасе спрятал, внизу. Накануне! Собственно, ничего не произошло [конкретного], а просто атмосфера такая была. И вот они как раз — не смотрели. Я говорю: «Да нет, ничего нет... Теперь даже приятно, что вы побывали, потому что, во-первых, я теперь уборочку сделаю, а во-вторых,

я теперь знаю, что у меня наверняка ничего антисоветского нет — у меня вот ваш документ, что вы тут все смотрели».

На фоне этих бесконечных приключений мне было уже не особенно до того, чтобы сочинять какое-нибудь письмо. Поэтому [я не расстроился], когда пришло вдруг сообщение от Анатолия Васильевича (по непонятным причинам я не мог с ним встретиться): надо это дело сейчас прикрыть, прекратить, письмо не надо сейчас писать, сейчас несвоевременно. На самом деле, смысл [этого сообщения] был тот, что Хрущев умер, началась перемена какая-то, письмо могло [только раздразнить власти]. Так он рассчитывал. Он обсудил это со Шкировым, и решили, что это будет сейчас [не вовремя]... Это при Хрущеве был смысл, а сейчас, наоборот, речь идет о том, чтобы как-то завоевать хоть какую-то минимальную стабильность.

То же самое решил владыка Ермоген. Глеб его встретил, и потом [...] они все равно начали писать. У меня не было никакого страха за дело, потому что они служили оба, и все служили, и Дудко служил, и каждый из нас делал свое дело, все мы общались, встречались, а эта улита — она могла ползти до сих пор, вот как мы с вами сидим здесь, пятнадцать-семнадцать лет спустя. Они бы и до сих пор его писали. Но тут произошло роковое стечение обстоятельств и пересечение судеб. [К составлению письма подключился Феликс Карелин[76].]

Феликс был удивительным человеком, безумно темпераментным, страстным (могущим красиво «складывать», как в народе говорят, «по книжке говорить» много часов), человек со схематическим строем ума, который мог бы принести много пользы и для Церкви и для дела, если бы не его безудержная натура. Он впервые появился еще в 1958 или 1959 году — после того как вышел из тюрьмы по окончании срока (не реабилитированный) и женился на девушке, которая получила распределение в Иркутск. Он женился на этой актрисе и отправился с нею работать в театр в Иркутск. Там он узнал обо мне — я в это время жил в Иркутске, пытался меня найти. По рассказам он составил представление превратное, воображал, что я какой-то визионер или мечтательно настроенный человек. В конце концов, Глеб его разыскал и привел уже на приход. [При знакомстве] Карелин отвел меня в отдельную комнатку и стал рассказывать сразу, как он сидел в одиночке, как там — тоскуя, разумеется, в этом малоприятном месте — он начертил на стене почему-то шестиконечную звезду и стал над ней размышлять, медитировать. И оттуда у него возникли целые системы мироздания, системы искупления — в общем, многое. Я на него смотрел с такой скорбью, как смотрят на умалишенных, так что он стал быстро все это дело смекать и уже больше мне этой всей крутистики не говорил.

Но Глеб был безумно им прельщен, и в Москве проходила целая волна восторгов вокруг Феликса. Он устраивал рассказы с толкованиями книги

[76] Феликс Карелин (1929—1992).

Даниила и Апокалипсиса, все ходили в полном упоении, а через месяц ему отказывали от дома. Так происходило и с Анатолием Васильевичем Ведерниковым, и с многими другими. То есть, он сначала производил исключительно хорошее впечатление, потом столь же исключительно отвратительное. У него была идея рукоположиться. Он объехал много городов, поскольку в Москве он жить не мог, он не был реабилитирован. Долго жил в Ташкенте... Все архиереи встречали его с распростертыми объятиями, но потом прогоняли.

Однажды Феликс привел парня по имени Лева (Натансон, кажется, была его фамилия), который с ним сидел. Этот Лева хотел креститься. Я с этим Левой познакомился, и в другой день — через неделю, когда он приехал ко мне один — мы с ним пошли гулять в лес, недалеко от храма — он мне рассказал историю своей жизни. И он тогда мне рассказал о Феликсе удивительную вещь: что Феликс был штатным провокатором, заслан был в компанию молодежи, которая после войны собиралась, чтобы поговорить на религиозно-философские темы — богоискатели, в основном, они все были. Во главе их стоял парень Кузьма, который сейчас уже умер. Один из них был Илья Шлаин, ныне уехавший в Израиль. Феликс Карелин (сын известного чекиста, который был расстрелян) попал в армию в конце войны и там был взят в СМЕРШ. Для того, чтобы искупить грехи своего отца, он должен был работать в качестве агента. Его заслали в эту группу Кузьмы. Но как человек очень страстный, темпераментный, он, конечно, не годился ни для какого СМЕРШа, он быстро увлекся религиозно-философскими идеями, которые ребята там изучали. Надо учесть, что в послевоенный период ни книг, ничего не было, а все так — сами придумывали. У него произошло какое-то религиозное обращение — и он ребятам рассказал, что он попал к ним просто по заданию «партии и правительства». Были объятия, слезы и так далее, и потом посадили всех: и ребят посадили, и его тоже.

В лагере в то время — это были те лагеря, которые описаны в «Моих воспоминаниях» — он прошел довольно большую школу. Он рассказывал мне о длительных подробных беседах с католическими прелатами, с бывшими эсэсовцами, с еврейскими и латышскими националистами, с профессорами русской литературы. Как человек очень способный и быстро схватывающий, он много усвоил и был человеком, я бы даже сказал, довольно образованным. По возрасту он лет на шесть меня старше — примерно с 29 года. Одно время он там возглавлял чуть ли не полуфашистскую организацию, заявлял, что он немец, — у него, действительно, мать наполовину немка, остальное в нем еврейское. А потом он там пережил уже обращение в христианство, в православие и был крещен.

Но до крещения с ним произошла довольно неприятная история. Он без конца читал какие-то лекции, о чем-то говорил, без конца делился своими идеями. Это делать он умел, в лагере он поднаторел. Но многие считали его провокатором. И когда лагерники нашли подлинного провокатора, то было постановлено, что убить его должен Феликс — тогда он

докажет, что сам не стукач. Убить должен ножом. Это ужасно, потому что человека ножом убить довольно трудно неспециалисту, а топором гораздо легче. И вот — он должен был убить его ножом. Это был очень жестокий приговор, и Феликсу, как рассказывал Натансон, выхода не было: либо он порешит этого человека, либо его порешат. Он убил этого провокатора — ему дали второй срок. После этого он крестился, крестил его карловацкий, кажется, не помню точно какой, священник. Мало того, потом он образовал какую-то группу — группа была раскрыта. Как уверяет Натансон (я этого не знаю ничего), Феликс давал какие-то показания... В общем, Натансон изображал его в виде некоего Ставрогина или еще кого-то... который всех их совращал, молодежь зеленую, и всех их губил. Он представил человека страшного, демонического, виновного тысячу и один раз.

У меня сразу возникает проблема: если Феликс пришел ко мне как провокатор, зачем же он привел ко мне потом этого Левку Натансона, который мне все это рассказал? Очевидно, здесь была полная искренность — или он думал, что Левка не проговорится? На каком основании, он его даже не предупреждал? И через некоторое время я Феликсу прямо сказал: «Лева рассказывал о вашем таком... богатом прошлом...» Он сказал: «Ну, вы сами понимаете, что я не мог вам всего этого рассказать сразу, потому что подумайте: я бы пришел и сказал: «Я бывший стукач и убийца». Тут мне крыть было нечем. Действительно, он был прав с ног до головы: если бы человек пришел и так отрекомендовался, то при всем моем «либерализме» я бы, конечно, как-то... я бы, конечно, его принял, но с величайшим трудом, признаться. Мне бы это стоило больших усилий, и мне было бы трудно погасить в себе шевелящиеся сомнения. Так что здесь он меня убедил. И в общем я, в конце концов, так и думал.

Впоследствии я о Карелине много слышал от людей, сидевших с ним в лагере, рассказывали о его пророчествах. Он высчитывал по книге Даниила конец света; человек был талантливый, и для людей малоосведомленных это было потрясающе. Я помню, как ко мне приехал один из моих бывших студентов, с которым я учился, и просил, чтоб Феликс при мне рассказал всю эту историю. Друг мой был поражен [выкладками Карелина]: рот у него прямо открылся. Я-то, признаться, ни во что это не верил, потому что я знал, что книга Даниила — это совсем другое, и Апокалипсис — это совсем другое, и вся эта библейская алхимия, которая преподносилась, была мне нипочем. Но Глеб был просто в стопроцентном восторге. Некоторые дамы записывали за ним, но как-то потом ничего не получилось. Эшлиман его терпеть не мог, признаться. И вот роль Феликса оказалась роковой: они задумали письмо писать, но ни Эшлиман, ни Якунин не могли тянуть, и они попросили Феликса. Впоследствии я полностью убедился, что все подозрения относительно его нечестности были напрасными — он был совершенно честен[77].

---

[77] В фонозаписи воспоминаний следует пропуск и, видимо, значительный: не сохранилось ничего о собственно сочинении письма. Однако из

7

Письмо они принесли владыке Алексею Таллинскому[78], который был управделами. По их свидетельству, глаза его потеплели, когда он принимал от них этот документ. Почему-то им казалось, что письмо произведет какое-то благоприятное впечатление, хотя и подозревали, что будут репрессии. Я думал, что их запретят немедленно по прочтении этого документа, и высказал им такое предположение. В день подачи встретил я Карелина, и он сказал мне торжественно: «Началось!» Я был мрачен и сказал ему, что очень жалко, когда такие два человека выпадают из наших рядов. На что он сказал, как Каиафа: «Что стоят два человека в сравнении с великим делом!» Письмо было подано в официальном порядке. Второе письмо — более удачное, на мой взгляд — было отправлено правительству[79].

Какое это произвело впечатление в высших церковных кругах, я сказать не могу. Старенький Патриарх реагировал противоречиво. Сначала он сказал: «Вот все-таки нашлись порядочные люди!» А один видный церковный деятель, в то время находившийся в заграничной командировке, прочтя эту публикацию, сказал: «Ну теперь стоит жить!». Но с другой стороны, Патриарх сказал: «Они хотят поссорить меня с властями». Однако, он не поинтересовался ими. Познакомиться, что это за священники, вызвать даже их к себе для разговора, — это ни одному архиерею в голову не пришло. И Эшлиман с Якуниным продолжали жить и действовать. А документ читался где-то в верхах, печатался за границей, передавался по Би-би-си. Так прошло три месяца.

Вскоре после подачи этого документа Карелин вместе с отцами явился к Анатолию Васильевичу Ведерникову домой читать это письмо. Дело в том, что они читали его с упоением все время вслух своим друзьям. Не

контекста видно, что отец Александр считал Карелина фактическим автором письма. Вот что писал сам Карелин об истории письма 1965 г. в 1988 г. в самиздатском журнале, критикуя о. Глеба Якунина за призыв к Патриарху Пимену подать в отставку: «Священник Глеб Якунин «Открытое письмо» не писал. Он торопился подписать бумагу, наскоро состряпанную А.Э. Левитиным. С этим и пришел к о. Николаю. Однако, когда о. Николай прочел левитинский «документ», он категорически заявил: «Эту цидульку я подписывать не буду». После этого началась серьезная и продолжительная работа над составлением «Открытого письма». В этой работе мне пришлось принять самое активное участие. Однако мое участие сводилось в основном к работе литературной. Что же касается духа «Открытого письма», то он почти всецело определялся личностью о. Николая. — Ф. Карелин. Рубикон перейден. — *«Слово»*, № 1, 1988, с. 68. [Журнал «Слово» выходил на ротапринте, издавался по инициативе КГБ С.В. Маркусом.]

[78] Ныне Патриарх Алексий II (Ридигер). Письмо было подано 15 декабря 1965 г.

[79] В виде заявлений на имя председателя президиума ВС СССР Н.В. Подгорного, председателя Совмина А.П. Косыгина, генпрокурора Р.А. Руденко.

будучи людьми, привычными к собственной письменной продукции, они были очень довольны не собственно фактом, а самой формой. Надеюсь, меня слушатели простят за изображение ситуации в несколько комичном виде, ведь здесь назревали трагедии, но комичность заключалась в том, что они читали все время вслух, — а там семьдесят страниц на машинке. И я для упражнения в терпении присутствовал, и слушал это без конца, и уже знал письмо наизусть.

Самая была забавная история, когда мы с отцом Сергием Желудковым пришли к отцу Николаю Эшлиману, и он стал опять зачитывать ему вслух весь текст, как будто тот неграмотный. А Желудков сидел и не слушал его — как отец Сергий впоследствии мне признался, он в это время решал другую задачу: подписывать или не подписывать. Он вообразил, что ему сейчас предложат этот документ подписать, и так он пропустил все мимо ушей, находясь во внутреннем борении под удавьим взглядом сенбернара, который там сидел... Эти чтения, конечно, были невероятны.

Потом устроили такое же у Анатолия Васильевича. Я думаю, что Анатолий Васильевич был несколько оскорблен, что ему вслух читают документ такой длинноты, и к концу чтения я почувствовал, что все уже накалились до предела. Я знал, что сейчас будет взрыв. Но было поздно, мне надо было ехать за город домой, я сказал всем «Ариведерчи» и уехал. Как мне рассказывали, потом, когда кончилось это чтение, позеленевшие слушатели вскочили, и началось побоище. Карелин выкрикивал. Ему говорили: «Что вы тут написали, гордыня!» А он кричал: «Федор Студит[80] тоже так говорил!» И так далее. Было бурное препирательство — малоизящное и, в общем, бессмысленное.

В среде рядового духовенства это вызвало большой отклик. В частности, я в то время учился на заочном, и приезжали священники из самых разных краев страны, многие из которых слышали об этом по радио, собирали для них деньги и вообще были страшно вдохновлены их действием. [Это отношение изменилось] потом, когда выяснилась их диссидентская позиция — я тогда уже употреблял это слово, хотя в политике еще оно не присутствовало. Я употреблял его на более законном основании, потому что диссиденты — это церковные раскольники, оппозиционеры именно церковные, а вовсе не политические.

Я им говорил, что диссидентская позиция не поведет, куда нужно. Но они пока все-таки еще считали меня своим и на торжественные молебны в честь месяца или еще какого-то юбилея этого дела меня приглашали. Но, конечно, Феликс там был заводилой. Это были бесконечные пророчества, без конца говорили, что вот-вот-вот поднимется все православие и что Патриарх Кирилл Болгарский[81] на каком-то званом обеде сказал

---

[80] Преп. Феодор Студит (759—826) выступал против высших иерархов Византийской церкви, опираясь только на поддержку Римских пап и уверенность в себе.

[81] Патр. Кирилл Болгарский (Константинов) (1901—1971).

нашему Куроедову[82]: «У вас непорядки, раз вам такие письма пишут». Впрочем, этим и кончилось все. Приходили к ним сочувственные письма из-за границы от отдельных частных лиц, присылали им деньги, помогали. Но, бесспорно, позиция была занята ими крайняя.

Поддержки на самом деле потом никакой не оказалось. Все схлынуло и погасло. Наступил решительный момент. Я думал, что очень важно было им сохраниться. Я их умолял сделать все, чтобы сохранить себя на приходах. Да — письмо-письмом, они войдут в историю, они совершили акт своей гражданской и церковной честности. [Но главное, чтобы] они продолжали служить Церкви. Только диссидентство начинало в них играть. Тут причины были разные. Феликс Карелин просто был экстремист, фантастический человек — его несло. А Глеб — человек искренний и горячий. Что касается Николай Николаевича, то он человек безапелляционный, и, заняв какую-то позицию, [отступить от нее не может]. В тот момент это его страшно подвело. Он всегда говорил: «Вот так, так, так». Авторитарный был человек, и признать свою какую-то ошибку он не мог. Это уж я сейчас говорю не в осуждение, дело все давно минувших дней, — просто для истории.

Вызвал их Пимен — нынешний Патриарх — и предложил им написать объяснительную записку с тремя пунктами. Первый пункт, если не ошибаюсь, — не изменили ли они своих взглядов; второй пункт: что они собираются дальше делать, и третий пункт: не собираются ли они извиняться перед епископатом за нанесенное оскорбление, или что-то в этом роде. Мне стало [совершенно ясно], что надо сесть, написать вежливое письмо: мы-де никого не собирались оскорблять, мы написали это с церковных позиций и с гражданских, и что, в общем, это скорее наше вопрошание, нежели обличение (хотя [на деле] текст был очень обличительный, чуть ли не полторы страницы или целая страница цитат из пророка Иезекииля; причем начиналось «нижайшие сыновья святейшего Патриарха, пишем», а потом они ему сообщали, что пишется в Писании, и так далее). Но они не стали этого писать, а пошли к Феликсу, который им, я полагаю, надиктовал или вдохновил их на резкий ответ: взгляды наши не переменились, все у нас точно. Даже как-то обвинительно [было написано]. На другой день они были временно запрещены.

Они ответили обличением Патриархии в том, что их незаконно запретили. И тогда уже не лично Патриарх, а Синод весь собрался и синодальным постановлением [их запретили]. Причем члены Синода, которые подписались — я потом выяснял, мои друзья спрашивали — никогда их не видели, ни отца Эшлимана, ни... и вообще в этом деле не разобрались и даже как-то, по-моему, не интересовались. Один из этих архиереев (по-моему, ныне покойный), ехал с моим другом в машине, когда ему кто-то сказал: «Что ж вы подписали, погубили ребят двоих, они все-таки

[82] Владимир Алексеевич Куроедов — председатель совета по делам РПЦ при Совмине СССР.

молодые, горячие, надо было с ними как-то поговорить». — «Да, да, — ответил он, — ну вот вы знаете...» В общем, никто, кроме Пимена, даже в глаза их не видел. Пимен, когда вызвал Эшлимана впервые, первое, что ему сказал: «Так-то вы меня отблагодарили, Николай Николаевич!» Ведь он очень многое сделал для его рукоположения — буквально протащил его в Москву всеми правдами и неправдами. А Николай сказал: «Я ничего Вам лично сделать [плохого не хотел], но я должен был засвидетельствовать...» На что Пимен сказал словами, смысл которых я могу передать приблизительно: плетью обуха не перешибешь, что тут сделаешь — и так далее. Так они и расстались.

Когда уже прошло длительное время, я вижу, что западная пропаганда забывает о них, церковные круги здесь постепенно от них отходят и, в общем, не получилось ничего. Мне было очень жалко, что они потеряны для Церкви:.. Поэтому я на свой страх и риск пошел к митрополиту Никодиму, зная, что это единственный человек, который способен вести диалог, и сказал ему: «Владыка, я этих людей знаю, это люди хорошие, выступали честно и искренно. Я считаю, в ваших интересах, как председателя иностранного отдела, этот инцидент ликвидировать, но думаю, что ликвидировать это иначе, как личными контактами, невозможно. Политика показывает, что личные контакты делают больше, чем любые взаимные проклятья и тексты. Не согласились бы Вы встретиться?» Он говорит: «Я с удовольствием встречусь!» Я сказал: «[Ваше преосвященство,] я им не сказал, что я к Вам пошел, пошел я к Вам на свой страх и риск, потому что если бы я им сказал, то, может быть, они бы начали протестовать, а так я явочным порядком им скажу».

И отправился я с одним священником, своим знакомым, к ним. А там было у них сборище — у них непрерывно было заседание кворума, в который входили Капитончук[83], Регельсон и другие. Я докладываю: «Отцы, Патриархия в лице митрополита Никодима хотела бы с вами поговорить. Я был там» — и так далее. Они говорят: «Ну зачем ты был! Вообще незачем с ними разговаривать, мы не желаем с этими типами иметь дело и вообще разговаривать с ними». Я говорю: «Вас не убудет, ну пойдите поговорите, ни разу вы ни с кем не вступили в диалог, нельзя же так... ну пускай они злодеи-негодяи, но вы-то тоже люди, пойдите и...» — «Нет! Ни за что, ни за что, ляжем костьми и вообще... даже говорить с ними не будем. Это же мразь и мелочь какая-то!»

Я, конечно, оказался в дурацком положении — пришел и говорю: «Владыка, они не хотят. Мое желание было, конечно, но не хотят. Ничего не поделаешь...» — «Ну, нет — нет. Я, говорит, сам...» Начал мне говорить разные вещи: «Я, — говорит, — хочу быть Патриархом, потому что пока я единственный, кто способен на это дело, а они... напрасно они думают,

---

[83] ВикторКапитончук. Художник и реставратор икон, участник правозащитного движения, секретарь Христианского комитета защиты прав верующих в СССР.

что они одни идейные, я тоже был... из неверующей семьи, из партийной, и вот я обратился, я пришел в Церковь, но мы же не можем, чтобы государство, его законы и Церковь противоречили друг другу?» Я говорю: «Конечно, не можем, да никто этого и не требует вовсе, и вообще речь идет о том, чтобы как раз соблюдали законы государственные и церковные». В общем, он это пропустил мимо ушей. В основном он говорил, что должно быть полное согласие. Ну, я, в общем, не отрицал этого — я и сейчас не отрицаю! Раз уж есть государство, есть у него законы, какие ни есть, надо с ними считаться, это бесспорно.

Впоследствии, когда мне говорили разные официальные лица: какие злодеи у вас эти Эшлиман и Якунин, — я им отвечал, что злодеи те, кто вызвал, спровоцировал их на это письмо. Те лица на местах, те частные персонажи обкомов и еще каких-то учреждений, которые создавали эти закрытия, или... хрущевские инструкции — они создали эту ситуацию, которая породила это письмо. Вот кто и виновник. Виноваты не те, кто протестует против нарушений, а нарушители.

Дальше начался некоторый застой, потому что они начали отрицать нашу Церковь все больше и больше. Патриарха называли только по фамилии — Симанский, и на основании теории, что митрополит Сергий был незаконный, они говорили, что и Патриарх Алексий незаконный. Хотя все это совершенно не связано с понятием законности. Законность одного Патриарха не связана с законностью другого. Был Собор — и все. И вообще не существует общепризнанных канонов, как избирать Патриарха, никто не может претендовать на законность или неканоничность. Мы признавали Патриарха, а они ездили все время в Грузинскую Церковь, общались с грузинским Патриархом[84], и тот к ним относился очень хорошо, давал им деньги. Ему все равно было, старику, там ведь вообще, по-моему, нет законов ни церковных, ни гражданских. Полный произвол. Им понравилось, они в Новый Афон без конца ездили, облюбовали несколько мест и жили там.

И все время у них были радения: разговоры за сухим или мокрым, воспламеняющие друг друга, когда все приходили в состояние накала: «Вот поднимется, вот начнется». В такой среде быстро развиваются апокалиптические веяния, и Карелин, который всегда жил этими апокалиптическими веяниями, тут же во все это вонзался, начинались размышления над книгой Даниила, над Апокалипсисом — то, с чем Феликс уже и раньше в Москву явился; накаленная, нездоровая атмосфера. Я ждал, что вот-вот они просто душевно сорвутся. Тогда я, чтобы как-то занять их и к тому же занять некоторых наших ребят-прихожан, предложил им: «Вы все равно собираетесь, выпиваете. Зачем вся эта говорильня, ведь у нас огромный изъян у всех: все толкуют про богословие, но богословски невежественны ужасно — все, в том числе и вы. Давайте начнем хотя бы —

[84] Ефрем II (Сидамонидзе) (1896—1972). Патриарх всей Грузии с 1960 г.

изучим богословие». Меня всегда невежество угнетает — всякое. Когда начинают говорить, а сами вообще не знают, о чем идет речь.

Хорошо! Прекрасно! Было встречено бурно. В комнатке около Хамовнического храма собрались все. Были мои там прихожане, ребята, и отцы, и Карелин... Он произнес тут же торжественную речь, от которой меня стошнило: открывается Духовная академия частная, и я ректор Академии. Я еле перенес всю эту ситуацию и больше ни разу не переступал порог этой комнаты — ни разу, сославшись на занятость. Не мог я просто больше всего этого выносить — душа не принимала. Мне был представлен на утверждение план их занятий. По названиям все вроде было похоже на богословие. Стали они изучать, и читать, и прочее.

Феликс — человек очень способный, талантливый, быстро схватывал все. Он из обрывков того, что он читал, строил какое-то свое, очень своеобразное, схематическое, параноическое, апокалиптическое богословие. Там были интересные ходы, но в основном это были синтезы, схемочки — схемочки, которые накладывались на одну, на другую цифру. Что-то было в этом тягостное и неприятное. И вдруг я чувствую по своим прихожанам, что они дуреют. Начинаю слышать от ребят какие-то мракобесные заявления. Я говорю: «Где это вы нахватались такого?» — «А вот, мы там...» — и так далее. Я не буду сейчас называть имен, кто там присутствовал, потому что все хорошие люди... Пускай они сами расскажут.

А дело все хуже — и тогда я уже начинал сопротивляться. Я говорил, что все это совершенная чепуха. Меня задело следующее: перепечатали какую-то религиозную книгу, я уже не помню, какую, но совершенно невинную, и вдруг мне заявляет кто-то из мальчиков: «Цензура ее отклонила». Я говорю: «Что это за новости такие? кто там цензура?» Оказалось, что эта Академия уже быстро породила цензуру. Карелин сказал, что это уже — нельзя. И настала пора инквизиции — с таким смаком. Все катилось в сторону патологического фанатизма. Сейчас у меня все это так сгладилось в памяти, но...

8

Я больше к ним никогда не ходил. Сам я был целиком занят в новом, очень многолюдном приходе. В это время — в 1964, 1965, 1966 году — у меня получился первый демографический взрыв. А поскольку у меня не было никакого пристанища, где я мог бы поговорить с человеком, я должен был ходить, гулять, я разговаривал на дорогах, разговаривал на хорах с людьми. И было это страшно тяжелое дело, а народу все прибывало и прибывало, я еще даже барьеров никаких даже не ставил. Причем появлялись люди разные: нужные и ненужные, хорошие и... странные. Тогда, по-моему, появился Агурский[85], который был приведен непонят-

[85] Мелик Самуилович Агурский (1933—1991). Кибернетик, правозащитник, литератор.

ным Карелиным... Шиманов Геннадий пришел ко мне в сопровождении семи девиц и что-то спрашивал меня — не католик ли я... и вообще... Сказал, что я человек недоверчивый. Но я с ним говорил только шутками и ничего не ответил, потому что он произвел на меня странное впечатление. В это время было очень много интересных встреч.

Тогда впервые я познакомился с Марией Вениаминовной Юдиной [86]. Была выставка работ человека, который был мне дорог с детских лет — Василия Алексеевича Ватагина, скульптора-анималиста, мистика, правда, с немножко теософским уклоном. Выставка его произведений была на Кузнецком мосту, и я, получив пригласительный билет с трогательной надписью: «Отцу Александру иже и скоты милующему...», — пришел. И вдруг подошла ко мне странная женщина, похожая на композитора Листа в старости или что-то в этом роде, — беззубая, с горящими глазами, огромная, и говорит: «Мне сказали, что вы очень хорошо обращаете людей; мне нужно обратить такого-то человека». Я посмотрел на нее с полным изумлением — потом оказалось, что это Мария Вениаминовна Юдина, знаменитая пианистка. После этого мы с ней подружились.

Она была, несмотря на свои причуды, исключительно умна — я уж не говорю о том, что это была женщина огромного музыкального таланта, это не мне судить, но ее игра поражала даже профанов. Она приезжала ко мне в Тарасовку, и мы часами гуляли вокруг церкви, и на требы она меня сопровождала в своем черном балахоне, похожая на выходца из какого-то другого века. С ней можно было говорить, как с молодым человеком, потому что мысль ее была живой, ясной, полной искр.

Я все больше отходил от группы Карелина... Было много интересных и замечательных людей в то время. А сам я был целиком занят писанием книжки «Дионис, Логос, Судьба», а также переделкой книги «Магизм» [87]. Это занимало у меня все оставшееся время, а по средам у меня собирался народ. Чтобы избежать большого наплыва, я сделал среду как бы открытым днем, и ко мне домой приходило по двадцать пять, тридцать человек. Я чувствовал, что я гибну, что поговорить уже ни с кем нельзя, и люди приходили, какие попало. Правда, это было интересно, потому что благодаря этому приходили многие нужные люди — то есть, которым было нужно. Но иногда приходили праздные совопросники, иногда приходили вообще совершенно посторонние, кто-то приводил... Я с содроганием смотрел, как из-за занавески — у меня кабинета не было, я был в «аппендиксе» — появлялись какие-то личности совершенно неведомо откуда, садились, спрашивали меня Бог знает что. Мне было легко ответить на эти вопросы.

Потом — довольно скоро, через пару лет — я не выдержал и это дело пресек. Впоследствии я получил за «среды» возмездие, потому что один

---

[86] Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970), знаменитая пианистка, не скрывавшая веры в Христа.

[87] Второй том истории религии — «Магизм и единобожие».

эмигрант написал статью «Отец Александр Мень», где описал «журфиксы». Журфиксов не было, а просто, чтобы не приходили каждый день, я сказал, что я один день только дома. А потом я просто поднял мосты все над замком, и все. Конечно, жизнь была страшно насыщена, до предела, и, конечно, многие события сейчас из памяти ускользнули...

В это время я познакомился с «Костей» [А.И.Солженицыным]. Мне довелось прочесть рукопись его книги, которая меня очень удовлетворила. Мы с одним священником, отдыхая на острове летом, прочли ее и решили с ним повидаться. Один наш коллега знал его и обещал встречу. Переговоры шли через [отца Димитрия] Дудко. И вот мы сели на машину и поехали — тот коллега, Дудко и я. Приехали. [За дверью кто-то] трепещет: «Кто там?», — а наш коллега кричит: «То, что надо, то, что надо!» Тот совсем растерялся, но в конце концов нас впустил, и как-то мы потихонечку оклемались, с удивлением и недоверием глядя друг на друга. Потом появился «Костя». Я ожидал по фотографиям увидеть мрачного объеденного волка, а увидел очень веселого, энергичного, холерического, очень умного норвежского шкипера с [огромными] зубами, хохочущего человека, излучающего психическую энергию и ум.

Мне приходилось встречаться с разными писателями — с Дудинцевым и другими; но они не производили впечатления умных людей. Многие из них интереснее были в том, что они писали. А этот был интереснее сам, как человек. Он быстро схватывал, понимал, в нем было что-то мальчишеское, он любил строить какие-то фантастические планы. У него была очаровательная примитивность некоторых суждений, она происходила от того, что он сразу брал какую-то схему и в нее как топором врубал [обсуждаемый момент]. У нас был очень живой разговор, в котором я подметил, что он очень здорово зациклен на своих темах. Я это не осуждаю, а приветствую: он мог все равнодушно пропускать мимо ушей, но едва только раздавались слова, бывшие ему как позывные сигналы, — он сразу вставал, сразу оживал. Когда Дудко сказал, что сидел в таком-то лагере, так он сразу поднялся: что, как, и тут же в записную книжечку, тут же записывать.

Впоследствии по Москве ходили слухи, что он был моим прихожанином, чуть ли не духовным сыном, мне даже вчера кто-то так говорил. Это совершенно ложное представление. Дело в том, что когда я с ним познакомился, он даже христианином не мог называться. Это был 1966 или 1967 год. Он был скорее всего толстовцем, и христианство для него было некоей этической системой. Это можно видеть по некоторым его... «продукциям»[88]. Он читал тогда некоторые мои книжки — в частности, «Откуда явилось все это»[89] (она была сделана в виде фотографий, фото-

---

88 Толстовские взгляды Солженицын высказывал в повести «Раковый корпус», написанный в эти годы.

89 Издана под псевдонимом: Павлов А. «Откуда явилось все это?» — Napoli: Edizioni Dehoniane, 1972. — 132 с.

книжки). Она ему понравилась, а когда речь шла о «Небе на земле»[90], то он говорил: «Ну, это все крылышки, невозможно, какие-то ангелы...» Все церковное было от него еще очень далеко, мне приходилось с ним говорить о символике и подобных вещах...

Потом уже у него возникла идея построить храм: он должен был получить деньги за какие-то свои работы и сказал, что завещает построить храм, напишет на меня завещание. Я только посмеивался в усы и говорил, что какие уж тут храмы, тут старое надо [суметь сберечь]... А он говорит: «Нет, поедем!» Приехали ко мне, сели на машину с его первой женой — и мы объездили область, выбрали под Звенигородом очень красивое место: вот, здесь будет стоять — «здесь будет город заложен назло надменному соседу»... Меня это очаровало — очаровала такая уверенность в том, что будет по воле моей. В общем-то, люди, устремленные так к своим целям, всегда достигают их. И когда-нибудь, я думаю, на этом месте будет что-нибудь стоять. Он просто, как пророк, видел все это очень близко, ему казалось, что завтра — уже «с вещами». Мы уже измеряли место. Я был готов: ну что ж...

Он просил найти ему архитектора — я нашел человека[91], который стал делать ужасные, фантастические вещи. Но я это сделал, чтобы поддержать этого человека морально — потом он стал эмигрантом и очень печально кончил. Проект храма он сделал совершенно шизофренический, какой-то кошмар и говорил мне, суя под нос: «Это гениально, это сердце всего мира, это боль всего мира!» Я чувствовал себя великомучеником и думал, что часть моих грехов мне уже прощена.

Потом, когда «Костя» сделал первый свой «церковный акт»[92], я ему написал, умоляя его этого ничего не делать. Я говорил ему, что он вовсе не разбирается в церковной ситуации и только наделает ляпсусов. У него есть одна особенность, которую он разделяет со многими выдающимися людьми. Там, где он может и знает, он находится на гениальной высоте, но там, где нет, сразу дает петуха. Петуха давал и Лев Николаевич — ничего удивительного в этом нет. Я понимаю бурную натуру, которая не ставит себе таких барьеров, которая идет и там, где она дает петуха, идет спокойно, не оглядываясь.

Помню период, когда он боялся, прятался — держался в общем достаточно мужественно. Помню начало его романа — второго. Очень легко могу понять, как все это получилось. Было отчуждение от первой жены; вторая — умная, хорошая женщина, которая беззаветно была ему предана. Все это получилось как-то очень естественно. А в это время я находился в Тарасовке. «Костя» приезжал иногда к нам в храм. Он в это

---

[90] «Небо на земле» — Брюссель: ЖСБ, 1969. — 236 с.

[91] Юрий Титов, архитектор, в 1972 г. эмигрировал во Францию.

[92] Имеется в виду так называемое «великопостное письмо» Солженицына Патриарху Пимену с критикой Патриархии. *«Вестник Русского студенческого христианского движения»*, № 103, I, 1972, с. 145—149.

время был очень мало известен, только в весьма узких кругах. Книги его даже еще не вышли, за ними охотились, как я уже рассказывал, и сам я попал в эту историю (хотя, надо сказать, я не читал и не держал их в то время). Я помню один случай, когда мы вышли с ним из храма и пошли по полю. Так остановился какой-то человек и стоял — стоял и провожал нас взглядом до самого конца. И это не был «агент». Я все время думал: кто этот человек, который, по-видимому, его знал? Это было очень странно... Кто мог узнать его, человека, фотографии которого еще нигде не печатались в то время, — человека, никому не известного. Он тогда сильно изменился, отпустил бороду. Причем этот человек находился от нас на большом расстоянии, метров четыреста. Пока мы не проделали всего пути от церкви до ворот, он стоял и смотрел на нас. А может, он смотрел на меня, тоже не исключено, я ведь был в рясе...

9

Как раз в это время снимали фильм о спорте, который потом зарезали, и о любви, и меня снимали. Режиссер Калик[93], который теперь уехал, делал фильм, который назывался «Любить», — о любви. Там в промежутках между сценами шли диалоги, снятые прямо на улицах, в домах: что думают о любви разные люди. Были засняты молодые люди на танцплощадках, журналисты за водкой, профессора, студенты, рабочие у станка. И Калику пришло в голову снять священника. Бригада явилась ко мне в церковь как раз в те же дни, когда «Костя» был, и сказали: так и так, мы снимаем, но мы сделаем исключение — мы всех снимаем скрытой камерой, а вы будете говорить, видя камеру. «Конечно, — сказал я, — с удовольствием вам скажу все, что нужно, но, разумеется, не надейтесь, что эти кадры пройдут». А сам подумал: «Пускай орлы послушают что-нибудь». Так мы и договорились.

Они пришли через несколько дней, провели эти бесконечные провода, опутали ими весь наш огромный храм, раскокали лампу. Сорок пять минут я им докладывал и отвечал на их вопросы. Они, конечно, про любовь забыли и спрашивали обо всем на свете, я это предвидел и воспользовался — и не зря, потому что все это было отснято и много раз пускалось на студии Горького крупным планом.

Я потом на студию Горького был приглашен и посмотрел: мне было интересно, как это у меня получилось, я заметил все дефекты речи. Куски были врезаны в фильм, все было нормально. А потом Калику сказали: «У тебя, что же, поп получился лучше всех — поэтому надо его вырезать». Впрочем, фильм этот так на широкий экран и не дошел, но узким экраном его пускали. В частности, на работе у моего брата показывали этот фильм, и Калик выступал перед ними и сказал: «В Москве есть семь священни-

[93] Михаил Калик. Фильм «Любить» (Молдова-фильм, 1968).

ков-бунтарей (где-то он набрал это священное число — какая-то чушь), и я взял одного из них (почему я бунтарь, тоже непонятно), и он говорит».

Спрашивали не только о любви. Я сказал: «Никаких вопросов заранее, все сразу, с ходу, чтобы не было ничего надуманного мною, придуманного, а прямо так». В частности, они меня спрашивали: «Почему сейчас упадок нравов?» Я говорю: «А вы считаете, что раньше было лучше? Я до революции не жил, поэтому не знаю. Но если вы считаете, что раньше было лучше, то я вам отвечу: если это так, то, с моей точки зрения, это упадок духовный...» И дальше я объяснил, в чем он заключается. Вообще, они всякие мне задавали вопросы и даже такие — «провокационные», но было видно, что это делается без всякого злого умысла, а просто им очень хотелось узнать. Я на все это отвечал. Фильм зарезали.

Когда это дело лопнуло, другие стали снимать про спорт. Это уже был цветной фильм, широкоэкранный. Они тоже приехали ко мне, и я уже в другой позиции — во весь рост на фоне храма — говорил о спорте. Мне сказали, что я там получился еще удачнее, и поэтому убрали все — совсем. Это даже и не вошло в фильм — было сожжено, наверное...[94]

В этот период я усиленно учил иврит, усиленно переводил куски из пророков, усиленно готовился к писанию книги о пророках[95] и параллельно занимался всякими другими вещами, которых было много. С 1967 года впервые стали меня печатать — то есть, вернее, с 1968[96]. Правда, в 1958 году вышла книга Франциска Сальского[97], история которой была такова. В 1955 году в Сибири я нашел книжку 1818 года Франциска де Саль. Она мне очень понравилась, я решил обязательно сделать ее достоянием читающей публики. Вернувшись в Москву, я нашел французский подлинник, моя тетка[98] сделала перевод. Мы его пустили среди людей, и он впоследствии дошел до издательства «Жизнь с Богом», где она и вышла с предисловием одного из наших московских людей. А в 1968 году я впервые держал в руках книжку «Сын Человеческий», не веря своим глазам... и ушам. Она шла анонимно, под псевдонимом «Андрей Боголюбов», который, как я говорил, издатели придумали сами. И как раз в это самое время у меня наступает два кризисных момента. Момент номер один — это доносы, которые на меня пишет настоятель, доносы чудовищные по своей убойной силе. А второе — полный кризис в группе

---

[94] Элем Климов снимал А. Меня для кинофильма «Спорт, спорт, спорт». Запись оказалась размагниченной.

[95] Пятая книга истории религий: «Вестники Царства Божия: Библейские пророки от Амоса до Реставрации». Первое издание: Брюссель: Жизнь с Богом, 1972.

[96] Первая книга А. Меня «Сын Человеческий» вышла в Брюсселе в 1969 г.

[97] Св. Франциск де Саль (1567—1622), с 1602 епископ Женевы. Речь идет о его книге «Руководство к благочестивой жизни».

[98] Вера Яковлевна Василевская (1902—1975), двоюродная сестра матери А. Меня, дефектолог.

Эшлимана, Феликса и других. Тут я и убедился, что [со стороны Карелина] здесь действует одна искренность.

В общем, я чувствовал, что разрыв [с этой группой] неизбежен — разрыв с людьми, которые просто уводят наших ребят куда-то в сторону. Было Рождество 1965 или 1966 года, когда мы были приглашены к ним. Там присутствовали Регельсон, Капитончук, они нас принимали с торжественностью, спрашивали, как нравится убранство: они навешали всяких символов. Все это была детская дурацкая игра. И потом за столом Феликс произнес проповедь — именно проповедь — на моральную тему, причем это совпало с его собственными жизненными ситуациями совершенно противоположными, так что все это выглядело как-то не только искусственно, но и фальшиво. На всех надели короны картонные, и у меня была такая мысль: сидят люди околпаченные. Я, разумеется, отказался, но бедного моего друга, который со мною был, тоже духовное лицо, на него все-таки умудрились насунуть это дело. Я потом просто ушел оттуда.

Через несколько дней у нас с Регельсоном произошел разговор... «Мы в разных Церквах», — сказал он. Я ответил, что Церковь только одна и что вообще Феликс их губит, и вообще его подослал либо ГБ, либо сатана — только до сих пор я не могу решить конкретно, кто. Ну, Регельсон, конечно, совсем разъярился. К тому же одна женщина сказала, что она якобы где-то видела Карелина... в тех местах, где не следует видеть — в какой-то приемной на Лубянке или в этом роде... Это был миф, как потом оказалось. Я это и воспринял как миф, но сказал об этом, что вот такие вещи говорят, потому что видно — либо это сатана, либо это сатана через руки врагов. Иначе не могло быть, такая дикая, абсурдная ситуация создавалась.

В другой раз Феликс явился ко мне, чтобы выяснять отношения, и мы ночью ходили вокруг храма после всенощной, а я его поддразнивал — вокруг нас бегала кругами собака, и я ему говорил, что это Мефистофель, который некогда пуделем ходил вокруг Фауста. Он быстро, лихорадочно крестился и оглядывался по сторонам. Я ему сказал, что он принес нам огромное зло, разрушил частично наш приход, замутил голову нашим ребятам. А он сказал, что я не доверяю ему и что он ходил ко мне на исповедь, а теперь я все это предал, потому что я ему перестал доверять. Я промолчал, я не хотел ему говорить, что человек, который работал агентом в течение ряда лет, человек, который был убийцей и провокатором, не может претендовать на прозрачность стеклышка. Разумеется, у нас были основания всегда подозревать его в чем-то. Хотя вообще я никогда не подозревал его в неискренности.

10

В искренности Карелина я убедился при следующих обстоятельствах. Полный разрыв с ним произошел в шестидесятые годы. Я ребят поставил перед выбором: либо вы с ним, либо вы в нашем приходе. С ним остается

двое: Капитончук и Лев Регельсон. Остальные все примыкают к нашему приходу — в общем, от Карелина отходят. Естественно, с ним остаются Глеб и Николай Эшлиман, хотя с ними я продолжаю поддерживать отношения. [...] Году в 1967 Николай приезжает ко мне — точнее, мы разговариваем с ним то ли на свадьбе Глеба, то ли на еще каком торжестве — и он говорит: «Феликс — человек Божий, посланный свыше». А через три месяца он приехал ко мне и сказал: «Это сатана, и вообще я с ними порвал».

Произошло там следующее. В 1967 или 1968 году — по-моему, в 1968 — я окончательно убедился, что это все искренне. Группа, состоявшая из Николая, [...] Феликса, Капитончука, Льва Регельсона и еще кого-то, не помню, без конца заседала у Николая в саду, в домике. Обсуждали, горячились, выпивали, мечтали... Жили мифами, жили совершенно, полностью оторвавшись от действительности. Отсюда как раз и происходили все промахи в связи с Письмом. Оперировали вымышленными ситуациями, слушали западное радио, которое еще больше подогревало фантастические картины: все поднимется, все перевернется — раскол, все православие, и так далее [...] Именно в то время я пытался вывести их на переговоры с Патриархией в лице Никодима, но ничего не удалось, как я уже говорил; отчуждение было полное; я был полностью занят работой, и приходской, и литературной [...]

Вдруг — в дороге где-то — на них сошло озарение, что скоро приближается конец света и что в этом году будут те знамения, которые описаны в Апокалипсисе: будут землетрясения и так далее. Они собрали массу людей и стали их уговаривать. Лев Регельсон ходил под домам знакомых и всем упорно говорил, что скоро будет конец света или, по крайней мере, Москва погибнет. Я не придал этому значения и уехал к себе на озеро Селигер. А в это время здесь наши сходили с ума, он подействовал на многих. Только Шпиллер успел их уберечь. На эту провокацию поддались три священника и двадцать мирян.

Все кинулись из Москвы, продавая свое имущество, и уехали на Новый Афон. Вокруг Нового Афона был создан миф, что это место святое и вне нечестия... Место, может, и святое, но не в этом суть, а в том, что я понял: теперь Феликс разоблачил себя окончательно. Эшлиман на этой почве от них откололся. Когда я вернулся в Москву, то с ужасом узнал, что тут такое было смятение в наших рядах. Тогда я убедился, как я говорил, что это все искренне, потому что Феликс тем самым себя изобличил совершенно. Один священник, который туда поехал, бросил без всякого объяснения свой приход, его сняли со службы. Были тяжелые переживания всех этих людей, но ничего не состоялось. [...]

Потом они говорили, что не указывали точного времени, но мне передавали, что указывали не только время, но и число, ждали грандиозных событий, которые подвигнут к крещению массы. Они взяли с собой мешочки с крестиками, чтобы крестить толпы паникующих людей, — хотя чего стоит такое, со страхом, крещение. Сейчас это продолжается: некто Зайцев продолжает терроризировать людей по той же модели и многих

людей побуждает креститься из страха, что приближаются грозные события, кто не будет крещен — погибнет. Причем кто будет крещен не в евангельском духе, а в чисто механическом — только отметиться, что ты был крещен, и это уже тебе что-то гарантирует.

Эшлиман полностью от этого отошел. Но! Катастрофа была для него слишком великой, он не пережил ее. Я пытался его как-то поддержать, но с ним начались какие-то удивительные трансформации. Он душевно настолько изменился, что стал человеком совершенно другим. Я никогда в жизни не встречался с подобного рода метаморфозой личности. Весь слой его духовности — очень значительный, насыщенный мистицизмом — смыло начисто, и обнаружился изначальный слой, весьма [примитивный]. Мы с ним оказались сразу — будучи перед этим довольно близкими, по-настоящему близкими друзьями — людьми чужими совершенно, которые не только не понимали друг друга, но которым не о чем было говорить друг с другом.

Я сейчас вспомнил момент, когда я это понял. Я приехал на этот же самый Афон — по следам робинзонов — разобраться что к чему. И его туда пригласил — он поехал раньше, встретил нас радостный. Я думаю: «Может быть, мы сейчас найдем [общий язык, произойдет] возвращение...» Но он только пил непрерывно — Кавказ, сухое вино... Сидел, начинал о чем-то рассуждать, без конца был на людях, в общем, что-то очень тяжелое. И мы сидели однажды на берегу, и он молчал, а я понял, что мы разделены непроходимой бездной.

У него были депрессии, самые настоящие тяжелые депрессии, которые он разгонял, только выпив. По некоторым соображениям — я его к врачам устраивал после этого — врачи говорили, что у него какая-то интоксикация туберкулезного типа, которая поражает и нервную систему, но это была только гипотеза. В больницу он попадал неоднократно.

После этого он сказал мне, что все его представления о Феликсе как о божьем человеке никуда не годятся — но он не был той открытой русской душой, которая способна покаяться! Он человек аристократичный, ему было страшно, мучительно, не хотелось встречаться ни со мной, ни с кем из своих церковных друзей. Ему не позволял этого его... характер. Он мог быть только или на коне, или ни на чем. И это было самое тяжелое крушение человеческой судьбы, которое я когда-либо видел в жизни. Я его звал, я ему писал неоднократно. Когда я узнал, что он странствует где-то — нашел себе другую семью и ушел из дома, — я ему написал: «Может быть, это тебя останавливает? Так твои личные дела ничего не могут изменить в наших отношениях». Но — нет!

Потом, спустя много лет, на проводах Анатолия Эммануиловича Краснова[99], мы встретились. Я его сильно обругал: «Что ж ты так!» Он сказал: обязательно, обязательно я к тебе приеду. Сколько уж лет, как Краснов уехал... Так, до меня доходят слухи, что он то в больнице, то...

[99] А.Э. Краснов-Левитин эмигрировал в сентябре 1974 г.

Ему неприятно и тяжело видеть своих церковных друзей. Церковные темы сами его коробят. Необычайной одаренности пастырь получил здесь непоправимый удар, который сшиб его с ног — совершенно. Я считаю, что в этом повинен в значительной степени Феликс, который создал им эту истерическую атмосферу, а Николай был склонен к такой экзальтации. Я знал, что он не выдержит. Нельзя было ежедневно жить в ожидании конца света, ждать знамений и знаков. Это все было... Они там сидели в домике, и это было... Николай выпал.

Феликс остался рядом с Капитанчуком и Регельсоном. Затем Феликс по очереди с ними со всеми разругался, остался один и сейчас, как мне известно, примкнул к неославянофилам, и теперь он истинно русский человек. Но никто его не видел; впрочем, он иногда появляется в Церкви Ильи Обыденного. Отпустил длинную седую бороду. Регельсон, которого он от себя отставил, приехал ко мне в церковь. Я ему не стал напоминать наш разговор о том, что мы в разных Церквах находимся, я ему сказал, что храм наш — открыт. Конечно, я не хотел, чтобы он возвращался в наш приход, поэтому я не дал ему никаких намеков в этом направлении. Не хотел почему: я видел, что это бесполезно, я это знал. Бесполезно было с самого начала, когда я только крестил его — потому что он сразу стал мудрить свое, пошел со своими идеями. А это плохо! Человек не успел дослушать, не успел дочитать, как уже что-то выдал. Так ничему никогда не научишься. Безнадежно [...]

11

Из всей этой истории, из попытки создать некую церковную оппозицию можно сделать несколько выводов. Вывод номер один заключается вот в чем. Оппозиция возможна, только когда есть на что опираться. Во-вторых, для нее должны быть условия. Здесь же не было сил, на которые можно было опираться, не было условий. Мне казалось, что надо было непрерывно и терпеливо работать по выработке этих условий, хотя бы [лишь] внутренних. Пленка была слишком тонкая — пленка из этих активных мирян, активных священников. Активных священников на пальцах можно было пересчитать тогда — теперь их стало еще меньше. Десяток был. Надо было увеличить это число и работать на совесть. Я вовсе не хочу сказать, что я в принципе был против такого рода деятельности — нет. Просто я считал, что она преждевременна. Считал, что ничего еще не сделано для того, чтобы можно было уже выступить. И хотя я всегда ценил мужество в людях, но у меня всегда вызывает какую-то тревогу курица, которая кудахчет, но снесла еще только одно маленькое яичко. На самом деле, рано — рано, рано... Для истории каких-нибудь десять-пятнадцать лет — это ничтожно. После того, как в течение десятилетий церковная жизнь была разрушена и сломлена, после того, как в течение столетий в нее вносились очень искажающие ее разные вещи, — для того, чтобы возродить ее, нужна была совместная, сотрудническая,

упорная и терпеливая, спокойная работа на местах, работа в приходах, работа с людьми, — христианский труд.

Если уж обязательно нужно было выступить с каким-то заявлением, то надо было выступать при Хрущеве — после Хрущева это было уже ненужно. Если включаться в борьбу, то здесь скорее должны были действовать какие-то подставные лица. В каком смысле «подставные» — не фиктивные, а лица, которые ни на что другое не годились бы. Если бы подписал письмо не священник Эшлиман (фамилия эта мало украсила письмо), а некто Иванов, который бы просто дал свою подпись и согласие отвечать за все это дело, который бы просто соглашался с содержанием письма (все равно ведь не Эшлиман писал этот текст, а больше Феликс), то пускай бы эти люди и несли за это ответственность. Их бы не посадили за это письмо, они бы имели значительные неприятности — пускай бы это даже были священники. Но такой человек, как Эшлиман, который столько бы мог сделать для Церкви, был выбит из седла. И я все это воспринимал как сатанинскую акцию, которая разрушила начинающееся дело.

12

А после этого, пожалуй уже, мне трудно рассказывать о событиях, потому что событий-то на самом деле внешних не было. Глеб продолжал трудиться, Эшлиман — там, а я перешел в Новую Деревню[100]. Как я уже говорил, на меня был написан большой донос, но Патриарх Пимен — тогда он еще был только митрополитом нашим[101] — согласился меня перевести. Я написал, что донос этот — клевета чистой воды, и попросил меня оттуда перевести «ввиду сложившихся небратских отношений с настоятелем». А в объяснительной записке я написал, что никогда ничего не делал дурного настоятелю и не знаю, что его побудило это написать. Он же в своем доносе писал, что ко мне никаких претензий по службе не имеет и что все очень хорошо — только бы я не делал других вещей: ни с кем бы не разговаривал и так далее — не читал бы книг, не давал бы книг.

Кстати сказать, с этим настоятелем была очень интересная история. Его дети совершенно отошли от церкви — взрослые были ребята, замечательные, — и вот однажды Великим Постом он уговорил их все-таки придти поисповедоваться. И я ребят, а потом и племянника, стал «обрабатывать». Они начали ходить в церковь, относиться с уважением к профессии отца — у них произошла некоторая короткая перемена. Естественно, давал им книжки... Так отец так испугался, что запретил им общаться со мной и все вернул на своя круги.

Когда узнали в церкви, что я перехожу, народ собрал петицию, написали Пимену, что они этого не хотят, так что ему пришлось прислать

---

[100] Новая Деревня — пригород г. Пушкино Московской обл., где у Сретенской церкви похоронен о. Александр.

[101] То есть Крутицким и Коломенским, управляющим приходами Московской области.

телеграмму на приход, что он меня не переводит. Все успокоились. Я был в очень тяжелом состоянии, потому что мне было очень трудно служить с настоятелем за одним престолом. Мы даже с ним не разговаривали одно время — так, до Прощеного Воскресенья тянули. В общем, неприятно это было. Почти целый год мне пришлось с ним служить после этой истории.

А потом отец Григорий[102] захватил меня сюда, специально приехав в Семхоз. Я-то, на самом деле, мечтал перейти сюда. [...] Познакомился-то я с ним еще раньше, когда мы с ним служили у владыки Киприана[103] на его именины. Он всегда приезжал — приезжал архимандрит Ювеналий, ныне митрополит Крутицкий[104], Хохлов — отец Сергий, и аз, недостойный, и отец Григорий. [...] И он, [Григорий], захотел, чтобы я к нему перешел — потому что его священник страдал некоторой слабостью, и у нас просто обмен состоялся. Причем я никому не сказал, сделал это тайно, и мой настоятель страшно расстроился: он не хотел, чтобы я уходил, и был недоволен этим. Он просто хотел пресечь все мои недозволенные действия, а в остальном я его устраивал.[...]

Перешел я в Новую Деревню и уже целиком занялся работой: перестал бывать всюду, перестал ездить в Москву, стали гаснуть и обрываться все связи. Многие уехали — тут началась так называемая «алия». Уехал Меерсон[105]. Я не хотел, чтобы он уезжал, но у него сложилась такая личная ситуация, что он уехал. Уехал Глазов[106], уехали многие. А были хорошие дни, когда собирались все у Гриши Турчинова[107] (который тоже уехал), и он показывал свой кукольный спектакль с какой-то подоплекой... Мы с Померанцем[108] рассуждали о метафизике, триединстве по отношению к разным мистическим системам... Все это ушло в прошлое: ночные путешествия по Беляеву-Богородскому[109] и Калининскому проспекту, и апостольские рейды по Москве, в которых меня иногда сопровождал Желудков — он очень хорошо это все помнит. Все это ушло в прошлое, потому что я понял, что это ничего особенно не дает, кроме усталости, а людей, которые нужны, Бог сам пошлет, — тем более, что людей становилось все больше. Пожалуй, на этом мы можем и закончить, потому что с того времени ничего не изменилось.

---

[102] Прот. Григорий Александрович Крыжановский (1890—1977), до 1929 г. жил в Чехословакии, с 1950 в Албании, в 1962 вернулся в Россию.

[103] Архиеп. Киприан (Зернов) (1911—1987), последние годы жизни провел настоятелем Скорбященского храма на Б. Ордынке в Москве.

[104] Митр. Ювеналий (Поярков) (р. 1935), с 1972 г. доныне митр. Крутицкий и Коломенский.

[105] Св. Михаил Меерсон-Аксенов: в настоящее время настоятель православной церкви в Нью-Йорке.

[106] Юрий Глазов: филолог; на его квартире собирался философский семинар, ныне живет в Канаде.

[107] Григорий Турчин, писатель. ныне живет в Израиле.

[108] Григорий Соломонович Померанц (р.1920), культуролог и литератор.

[109] В Беляеве-Богородском жил, в частности, М. Агурский

Зоя МАСЛЕНИКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЕ РЕЧЕНИЯ ИИСУСА

Центром сегодняшнего христианства, как и две тысячи лет назад, остаётся Сам Христос. В поисках истины к Нему приходят всё новые и новые люди, духовый опыт вновь и вновь возвращает нас к Его слову и Его образу. И поэтому естественно, что книги, рассказывающие о Нём, получают совершенно особое значение, а газеты наряду с самыми горячими новостями передают любые известия (обычно, к сожалению, недостоверные), которые способны хотя бы чем-то дополнить наши знания о Христе. Даже не верующие в то, что Иисус был Сын Божий, что Он воскрес из мертвых, с настороженным интересом относятся, например, к сообщениям о том, что найдены некие письма Пилата (подделка довольно поздних времён) или что сохранились какие-то записи слов Христа, которых нет в канонических евангелиях.

Правда, у нас, в России, этот интерес носит на себе нередко весьма специфический характер, связанный с некоторыми особенностями нашего недавнего бытия. За долгие годы идеологического диктата мы слишком привыкли, что самое главное запретно и засекречено, а публикуется лишь нечто заведомо недостоверное. Этот выработавшийся в условиях коммунистической идеологии скепсис нередко воспроизводится и применительно к Церкви: если что-то публикуется миллионными тиражами, признается авторитетным миллионами людей, то многим это кажется слишком популярным, чтобы быть истинным. Напротив, самый большой

Зоя МАСЛЕНИКОВА — родилась в 1923 г. в Керчи. Во время войны служила в армии военным переводчиком. Окончила Московский институт иностранных языков. Скульптор, автор известного скульптурного портрета Б. Пастернака и ряда других работ, хранящихся в музеях Москвы, Петербурга, Красноярска, Чистополя. Автор книги «Портрет Бориса Пастернака» (два издания — 1990, 1995), а также воспоминаний и работ о Б. Пастернаке, А. Ахматовой, о. А. Мне. Автор сборника стихов «Как дышит дух» (1993), ряда стихотворных публикаций в антологиях и периодических изданиях. Живет в Москве.

интерес проявляется к «тайному», малоизвестному — во что посвящены лишь «избранные». Видимо, отчасти именно для того, чтобы как-то противодействовать этим искаженным ожиданиям, отец Александр Мень и поощрял мои занятия историей тех речений Иисуса, которые не входят в четыре Евангелия, — разумеется, наряду с изучением и самих Евангелий, истории их происхождения и текстов.

Но главное, конечно, было в том, чтобы сделать эти и в самом деле малоизвестные у нас тексты широко доступными всем, кому важна не только каждая новая историческая подробность о Христе, о которой можно предположить, что она достоверна, но и то, как Его образ воспринимался и жил в преданиях ранних христиан. Именно поэтому, помня о напутствиях отца Александра, я и предлагаю сегодня читателям «Континента» некоторые результаты моих занятий этой темой, связанные главным образом с переводами соответствующих публикаций и книг, появившихся на Западе.

Речь пойдет о так называемых *агpафах*, принадлежащих к текстам апокрифического характера, Но для того, чтобы читателю, специально с этой темой не знакомому, было легче понять, какое место занимают они в той обширной литературе, которая свидетельствует или претендует свидетельствовать о Христе, напомню сначала вкратце о том, как вообще складывалась эта литература — как формировалось устное Предание ранней Церкви, как закреплялось оно в письменной форме, как устанавливался новозаветный канон и в каком отношении к нему находится так называемая апокрифическая литература.

1

Мы знаем, что Иисус говорил, собирал учеников, проповедовал, исцелял, совершал чудеса и знамения, но ничего не писал. И мы знаем, что первое время после Его смерти и Воскресения и ученики Его поступали так же — они повторяли Его слова, рассказывали о Его деяниях, сообразуясь с теми или иными нуждами складывавшейся тогда Церкви. Так возникло устное Предание, сохранявшееся в проповеди, богослужении и катехизисе (научении основам веры готовящихся ко крещению) и передававшее исторические события и вероучение, содержащиеся в Евангелии. И подобно тому, как в храме в наши дни в проповеди не пересказывается Евангелие с начала до конца, а избираются те или иные аспекты вероучения, необходимые пастве сейчас и сегодня, — так обстояло дело в Церкви Христовой и в начальные дни. Обычно проповедник рассказывал одну какую-нибудь историю из жизни Христа или пересказывал Его притчу или какое-нибудь речение, а затем разъяснял их значение слушателям. Выбор зависел от сегодняшних нужд паствы. Если нужно было преподать ей урок добрососедства и активной любви к ближнему, то рассказывалась, например, притча о милосердном самарянине. Если возникали сомнения, нужно ли платить подати римским властям, то

проповедник описывал, как спрашивали об этом Господа (см. Мк 12, 13-17), и т.д.

Но шли годы, и надвигалась опасность, что со смертью апостолов Церковь останется без тех проповедников, которые были очевидцами и участниками евангельских событий. Тогда-то и возникла настоятельная необходимость в закреплении устного Предания в письменной форме.

Первым евангелистом церковное Предание называет апостола Матфея, хотя в настоящее время некоторые западные специалисты считают самым ранним Евангелие от Марка.

Свидетельство о происхождении Евангелий и об их авторах оставил нам ученик апостола Иоанна Папий, епископ Иерапольский. Он жил на рубеже I и II веков (род. около 70 г. по Р.Х.) и около 130 года написал комментарии к сборнику речений Спасителя «Логии», имевшему хождение среди христиан в апостольские времена. Папий расспрашивал очевидцев евангельских событий, апостолов и учеников Христовых, и поэтому его свидетельство имеет бесценное значение. Вот что сообщает Папий: «Матфей на еврейском языке записал речи (логии) Иисуса. А переводили их, кто как мог» (см. Евсевий, Церковная История III 39, св. Ириней, Против ересей). Таким образом, упоминаемый Папием труд не был еще в полной мере тем, что мы называем теперь Евангелием от Матфея, а представлял собой собрание речений, «логий», записанных на том самом арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос. Этот первоначальный вариант Евангелия от Матфея был написан до иудейской войны, то есть в 50-х годах, примерно в одно время с посланиями апостола Павла. Некоторые исследователи называют датой его написания 42 год. Греческий же вариант Евангелия от Матфея был создан, по-видимому, между 70—90 годами.

Древнейшие свидетельства приписывают составление второго Евангелия Марку, ученику Петра, который в своем Первом послании называет его сыном своим. Согласно древнему Преданию, он был епископом Александрийским и умер мученической смертью. Многие содержащиеся в этом Евангелии сведения могут исходить только от Петра. У этого текста есть и второй источник — устное, а, возможно, отчасти и письменное, Предание, бережно хранившееся Церковью. Наиболее распространено мнение, что Евангелие это было написано между 65 и 70 годами, хотя некоторые исследователи считают, что оно было создано до 63 года.

Автором третьего Евангелия (так же, как и Деяний апостолов), согласно преданию, был Лука, врач из сирийского города Антиохии и спутник апостола Павла в его путешествиях. Лука не знал лично Христа, но тщательно собирал сведения о Нем у Его учеников и очевидцев. Лука был прекрасным писателем, и обе его книги написаны на хорошем греческом языке. Встречающиеся в них семитизмы объясняются тщательным переводом на греческий еврейских оборотов, употреблявшихся свидетелями Евангельских событий.

Относительно даты составления Евангелия от Луки мнения исследователей расходятся. Одни относят его к 80—90 годам, другие называют

более ранние даты: 61—62 годы, когда Лука был учеником апостола Павла в Риме.

Напомню также, что при изучении Евангелий от Матфея, Марка и Луки между ними обнаруживается большое сходство и множество текстуальных совпадений. Поэтому они и получили название *синоптических* — от греческого слова «синопс», что означает «одновременный взгляд». Названы они были так после того, как в конце XVIII века появился труд, озаглавленный «Synopse», в котором (с целью облегчить их сравнение) тексты этих трех Евангелий были расположены в три колонки.

Евангелие же от Иоанна весьма отличается от Евангелий синоптических и стоит как бы особняком. Наряду с совпадениями ряда эпизодов в нем отсутствуют многие рассказы, описываемые синоптиками, но вместе с тем введены свидетельства, у них отсутствующие. Это брак в Кане Галилейской, беседа с Никодимом, разговор с самарянкой, воскрешение Лазаря, омовение ног. Значительно подробнее изложены речи и беседы Иисуса, объясняющие духовный смысл описываемых событий: такова, например, последняя речь Христа после Тайной Вечери (13, 31—17, 26). Все это свидетельствует о том, что автор четвертого Евангелия ставил перед собой задачу поведать верующим главным образом о том, что было по тем или иным причинам опущено у синоптиков. Главное же отличие Евангелия от Иоанна заключается в том, что по своему характеру оно в значительной мере богословское, и его иногда называют «духовным Евангелием». Евангелист не только сообщает о известных ему событиях, но и размышляет над ними, подробно останавливается на учении Христа о Себе Самом. Свое Евангелие Иоанн написал на склоне лет — приблизительно в 90 г. по Р.Х.

Всего до нас дошло около 5000 (точнее 4969) рукописей Нового Завета. Из них 53 содержат весь его текст, а остальные воспроизводят какую-либо его часть. Из всех этих манускриптов ни один не является подлинным: все они — только копии или списки копий утраченных оригиналов. В XIX веке, благодаря успехам археологии, стали известны евангельские списки IV и V веков. А начиная с 1931 года, начали обнаруживать целые собрания значительных текстов, относящихся к III веку, а затем отрывки разной длины, выполненные во II веке. В настоящее время мы располагаем текстами, представляющими собой отрывки из неизвестного нам Евангелия, очень близкого к нашим Евангелиям и датируемого 90—100 годами. В середине 1990-х годов появились сообщения о находке в Египте рукописей с евангельскими текстами 60-х годов I столетия, однако необходимо время для научной проверки этого известия.

Конечно, уцелевшие списки Нового Завета не идентичны, а в ряде случаев разночтения меняют смысл целых отрывков. Причина разночтений понятна: на протяжении столетий текст многократно переписывался писцами, и даже самые лучшие из них не были гарантированы от ошибок. А иногда переписчики сознательно исправляли те места, где, как им казалось, были неточности или богословские ошибки. Поэтому никогда

самый тщательный список полностью не повторяет оригинала. Наконец, тексты иногда переделывали для использования в богослужении, пытаясь сделать их «благозвучнее» и «красивее».

Все эти изменения, наслаиваясь на протяжении веков одно на другое, привели к тому, что в рукописных текстах накопилось множество самых разнообразных искажений. Разбираясь в этих тысячах манускриптов, текстологическая критика поставила поэтому своей целью восстановить текст, по возможности более близкий к оригиналу. И следует признать, что результаты, достигнутые за 150 лет существования текстологической критики, поистине замечательны. В ходе длительных кропотливых исследований удалось установить, какие тексты самые древние и наиболее распространенные, определить, какой именно первоначальный текст лежал в основе каждого искаженного текста. На основе трех крупнейших современных изданий, осуществленных Тишендорфом, Уэсткоттом и Хортом и Вейссом, был опубликован в XIX веке Нестле-Аландом научно выверенный греческий текст Нового Завета.

«Греческий Новый Завет», опубликованный в XX веке Библейскими обществами, представляет собой попытку еще улучшить этот текст, уточнить его.

Изучение евангельских текстов показало, что в целом древнее Евангельское Предание дошло до нас в замечательно хорошем состоянии, — гораздо лучшем, чем большинство более поздних преданий. Во многом это объясняется, видимо, именно тем, что между его возникновением и письменной фиксацией прошло немного времени: первые записи, как уже говорилось, были сделаны десять или двадцать лет спустя после евангельских событий, а окончательная редакция — через сорок—пятьдесят лет. Это, конечно, очень короткий промежуток по сравнению с тем, например, временем, которое отделяет устную форму Ветхого Завета или многих светских преданий от их ранних записей. Успехи научно-исторического и текстуального исследования Нового Завета за последние два века полностью подтвердили также его документальную подлинность и дали ряд новых доказательств достоверности Церковного Предания, переданного Евангелиями. Теперь уже нельзя предполагать, как это делали ещё сто лет назад, что в 4 столетии какие-то недобросовестные люди «отредактировали» Евангелие, исказив его подлинное звучание. Выявленные разночтения не носят принципиального характера и на удивление второстепенны.

2

Кроме четырех евангелистов о Христе писали, однако, и другие авторы. Четвероевангелие не претендует на исчерпывающий отчет о жизни Спасителя. Последнее Евангелие заканчивается такими словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин 21, 25). Поэтому воображение ранних христиан старалось восполнить пробелы. Кое-что

сохранила устная традиция, не вошедшая в Евангелия, однако в основном те многочисленные писания о Христе, которые дошли до нас, кроме Четвероевангелия, носят вымышленный, легендарный характер — потому они и называются *апокрифами* (от греч. apokryphos — «тайный», «подложный»). Авторы некоторых из них предаются самой необузданной фантазии, измышляя невероятные чудеса, якобы совершенные Христом. Известно (правда, часто только по названиям и по редким упоминаниям и цитатам у церковных писателей) 40 еретических евангелий. Так, евангелия от Василида и Маркиона написаны главами сект, подписавшими их своими собственными именами, чтобы заменить канонические Евангелия.

Понятно, что Церковь была вынуждена твердо оградить верующих от натиска измышлений и установить канон — то есть *право, порядок*. Это официально признанный Церковью список книг, считающихся нормативными для жизни и веры Церкви.

Хотя сам термин «канон» получил распространение в христианской литературе, лишь начиная с IV века, до нас дошел список канонических священных книг, составленный неизвестным автором, который был членом Римской Церкви еще одновременно с Иустином Мучеником. Канон этот был составлен около 170—180 гг. и перечисляет наши четыре Евангелия. По сути дела канон Четвероевангелия никогда не обсуждался, наличие его стало фактом, быстро получившим широкое признание в Церкви. Четвероевангелие приобрело авторитет, который с тех пор не подвергался сомнению. Обнаружил же этот канон в 1740 году в Миланской Амбросианской библиотеке ученый Муратории, и по его имени канон называется Мураториевым.

Однако в Мураториев канон входили и произведения, позднее не включенные Церковью в признанный Ею Новозаветный канон: Апокалипсис ап. Петра, «Пастырь» Гермы, Дидахе и ряд других. Окончательно, в его нынешнем виде, новозаветный канон был установлен на Лаодикийском соборе в 363 году, когда из него были исключены некоторые писания, относительно характера которых до того времени не было полного единогласия: два послания св.Игнатия, послание Варнавы и «Пастырь» Гермы. Их читали во многих церквах как книги назидательные. В некоторых читали также Историю св. Павла, Апокалипсис св. Петра и Постановления апостольские (Дидахе): в древних рукописях многие из этих писаний были соединены вместе с книгами Нового Завета, и это создавало ложное впечатление об их боговдохновенности. Лаодикийский собор запретил читать в церквах какие-либо книги, кроме канонических.

Для признания священных книг Нового Завета Церковь установила твердые основания: их боговдохновенность, апостольское происхождение, догматическую чистоту учения, историческую ценность. Апокрифы же отличаются от канонических писаний по всем этим признакам: Церковь не признает их боговдохновенными и догматически верными, критики сомневаются в их исторической ценности, все единогласно отрицают их апостольское происхождение, хотя в первые века христианства многие

апокрифические тексты приписывались апостолам или другим известным евангельским персонажам и ошибочно считались некоторыми писателями и даже Отцами Церкви боговдохновенными.

Общее число их очень велико. В списке только основных новозаветных апокрифов первых веков христианства содержится 47 апокрифов, касающихся Евангелий, 30 — Деяний, 12 — посланий и других фрагментов, 10 — апокалипсисов. Итого — 99 апокрифов, не включая 19 писаний, подлинность которых была предметом долгих споров критиков. В это число не входят 177 аграфов, причем их список еще значительно пополнился за счет обнаруженных за последний век в Египте древних рукописей.

Многие из этих апокрифов изданы И.С. Свенцицкой и М.К. Трофимовой («Апокрифы древних христиан» (Москва, 1989. — Ниже в перечне апокрифов указаны страницы этого издания)[1].

Назову хотя бы важнейшие из сохранившихся целиком новозаветных апокрифов:

На греческом и латинском языках:

Первоевангелие Иакова (с. 101—129) — сочинение II в. (о нём подробнее ниже).

Евангелие Фомы (с. 219—262), сохранившееся в рукописи 4 в. В этом апокрифе особенно много подлинных изречений Христа, вставленных в особый контекст: Иисус, беседуя с учениками, учит победе над смертью через познание (которое при этом фактически подменяет веру в самого Иисуса и Его воскресение).

Евангелие Никодима, состоящее из так называемых «Деяний Пилата» и рассказа «Сошествие Христа во ад» и рисующее обмен посланиями между Пилатом и императором Тиберием.

Первая и вторая книги «Пастыря» Гермы — сочинение середины II столетия, описывающее мистическое видение Церкви как башни, сооружаемой из живых камней — людей. Это сочинение вполне ортодоксально и не претендует заменять собой Евангелие.

На греческом языке:

Соборное послание Варнавы — текст конца I столетия, сам по себе ортодоксальный, но не могущий быть написанным именно Варнавой, учеником апостола Павла.

Первое и второе послания Климента — первое послание является вполне подлинным текстом конца I в., посланием одного из первых римских пап, второе же лишь приписано ему; оба, во всяком случае, вполне согласуются с духом канонических Евангелий.

---

[1] Разумеется, издание, организованное Институтом научного атеизма, не могло не иметь особенностей, мешающих подлинно научному осмыслению апокрифов. К тому же с этого издания делаются многочисленные перепечатки, уже вовсе не имеющие сколько-нибудь научного характера — своего рода «бульварная пресса» для жаждущих «тайного знания».

Евангелие Петра (с. 75—100), сочинение II в., в котором Иисус изображён обычным человеком, обладавшим некоей магической силой, но утерявшим её на кресте.

Апокалипсис Петра — сочинение не апостола Петра, но древнее. Св. Мефодий Олимпийский считал этот текст боговдохновенным, но Церковь в конце концов предпочла не включать его в канон Нового Завета. Ведь и Апокалипсис Иоанна вызывает слишком много недоумений и соблазнов у людей, плохо представляющих себе особенности жанра апокалиптической литературы, оперирующего сложной метафорической и символической системой образов.

На арабском и греческом языках:

Евангелие детства (с. 130—159), иначе называемое *Евангелием от Фомы*, но описывающее, в отличие от одноименного апокрифа, преимущественно невероятные чудеса, которыми якобы развлекался в детстве Иисус.

На греческом, эфиопском и коптском языках:

Апостольские постановления — сочинение IV—V вв., в котором соединены вместе очень древние церковные правила с позднейшими добавлениями.

Как уже говорилось, богословская и историческая ценность новозаветных апокрифов невелика, в них народное религиозное сознание нередко облекается в форму весьма примитивную. Огромный и продолжительный интерес к ним объясняется прежде всего их значительным влиянием — от Средних веков вплоть до нашего времени — на народную веру, на строй литургии, религиозное искусство и литературу. Так, например, вол и осел Рождественских вертепов, царские почести волхвов, праздник Введения во храм Богородицы и Приснодевы Марии (21 ноября по ст. стилю) и праздник в честь св. Феклы в Западной Церкви прямо ведут нас именно к апокрифам. Фра Анджелико и Микеланджело, так же как и скульпторы и художники, украшавшие средневековые соборы на Западе, обязаны им многими темами своих произведений.

Из всей этой огромной апокрифической литературы исследователи тщательно отбирали те писания, в которых могли сохраниться элементы подлинного предания раннехристианского времени. Такими произведениями могут оказаться прежде всего апокрифические Евангелия. Таково, например, так называемое *Протоевангелие от Иакова*, пожалуй, более других апокрифов близкое церковному Преданию. В него входят два документа. Первый (1—16) повествует о рождестве и детстве Марии, второй (17—21) описывает явления, сопровождавшие рождество Иисуса. Конец (22—23), связанный с убийством Захарии, отца Иоанна Крестителя, как будто бы не вписывается в общий ансамбль, но первые две примитивные повести вполне могли существовать уже в первой половине II века (хотя та их редакция, которая дошла до нас, относится только к IV или V векам). Евангелие рассказывает о том, как Иоаким и Анна, два неплодных старика, вдруг услышали от ангела весть о том, что они родят

Марию. Ее с самого рождения посвятили Богу и в трехлетнем возрасте привели в Храм. Как только Ей исполнилось двенадцать лет, первосвященник стал искать того, кто сохранил бы Ее чистоту. И вот голубь вырывается у него из посоха и садится на голову Иосифа, вдовца и отца многих детей. У колодца, а затем в Своей комнате Мария узнает от ангела, что Она должна стать Матерью Иисуса. Испытание некими горькими водами подтверждает, что Иосиф и Мария вне всякого греха и что беременность юной Девы — чудо. Затем чета направляется в Вифлеем для переписи, и Марии приходится рожать в пещере. Женщина по имени Саломия хотела к Ней прикоснуться, но рука ее тотчас засохла и выздоровела только после того, как она приняла на руки Младенца...

Как видим, все это говорит об исключительном значении образа Марии и Ее девства (и до, и после рождения Иисуса) уже для древней Церкви. Здесь перед нами важнейшее свидетельство христианской веры в непорочность Марии, относящееся к 120—125 годам.

Скажем еще несколько слов о датируемом VI веком *Евангелии лже-Матфея*. Именно здесь мы читаем о встрече Иоакима и Анны у Златых Врат — сцене, которая вдохновила многих художников. Евангелие подробно описывает каждодневные занятия Марии в Храме и утверждает, что Ее кормил ангел. Именно этому апокрифу мы обязаны ослом и волом у ясель Младенца, которые введены тут во исполнение пророчества Исаии (1, 3). Здесь описывается и все детство Иисуса Христа, а бегство в Египет дает повод для картин такого рода: дикие животные сопровождают Святое Семейство, львы охраняют его; деревья протягивают к беглецам свои ветви с плодами, у подножия пальм появляется источник, а когда Иосиф, Мария и Младенец Иисус добираются до Египта, все идолы в храмах падают перед ними ниц...

Все эти тексты представляют собою, конечно, всего лишь своеобразные благоговейно-поучительные «романы». Некоторые чудеса совсем примитивны, но вместе с тем умилительны, хотя в ряде эпизодов — таких, как случай с ребенком, наказанным смертью за оскорбление Христа, или в сцене, где Иисус превращает Своих товарищей в козлов, — совсем ничего не остается от любви и божественного достоинства Спасителя. Такие сочинения граничат уже с кощунством.

Особое место в апокрифической литературе занимают так называемые *аграфы*. Греческое слово agrapha буквально означает «неписанные слова». Так называются речения Христовы, не находящиеся ни в одном из четырех Евангелий. Существует большое число таких апокрифических речений.

В 1889 году немецкий исследователь Альфред Реш опубликовал собрание апокрифических «логий» под названием «Аграфа. Внеканонические фрагменты Евангелий». В этом сборнике содержится 177 аграфов, из которых 74 Реш отнес к подлинным. Если не считать новых аграфов, обнаруженных в результате открытия древних рукописей в Египте, то число аграфов, установленное Решем, с тех пор не подвергалось измене-

ниям. Большая их часть содержится в новозаветных апокрифах и у Отцов Церкви, в также в литургических текстах и в церковных установлениях. Часть — их представляет собой добавления и варианты в рукописях Евангелий, некоторые встречаются в гностических писаниях, в Талмуде, в магометанской литературе. Наконец, сюда следует добавить манускрипты, обнаруженные в Египте в конце прошлого века — прежде всего четыре самых древних папируса из Оксиринха (1, 654, 655 и 840).

Изучение этих документов обнаруживает, что часть их является тенденциозным измышлением речений Господних или их преднамеренным изменением. Среди них встречаются искажения слов Господних, извлеченных из канонических Евангелий, евангельские рассказы, изложенные в виде речений Христовых, аграфы, использовавшиеся как литературный прием.

Однако среди множества логий, ложно приписываемых Христу, изредка попадаются перлы, заслуживающие самого пристального внимания и изучения.

Крупнейшим исследователем аграфов во второй половине нашего века был немецкий ученый Иоахим Иеремиас, который в 1963 году издал свой труд «Неизвестные слова Иисуса» («Unbekannte Jesusworte»), переведенный на многие языки. Иеремиас самым тщательным образом изучил проблему не записанных в Евангелии речений Христа, изложил историю их поисков и открытий, кропотливо исследовал источники аграфов и подверг эти документы строгому научному анализу. Он аргументированно разделил аграфы на следующие группы: а) тенденциозные измышления речений Иисуса; б) тенденциозные изменения речений Иисуса; в) легендарные измышления; г) ошибочные приписывания; д) преднамеренные приписывания; е) изменения речений Господних, взятых из Евангелий; ж) превращение евангельских рассказов в речения Христа; з) аграфы, используемые как средства композиции. Затем методом исключения Иеремиас получил группу «и», состоящую из 21 речения, свидетельство и содержание которых не вызывало у него веских возражений. Ученый счел, что они вполне совместимы с синоптическим преданием и их историческая подлинность может представлять предмет серьезных исследований [1].

До Иеремиаса изучение аграфов сосредоточивалось исключительно на проблеме их подлинности. Он первым предпринял *толкование* аграфов, отнесенных им к группе «и».

В журнальной статье невозможно привести аргументацию Иеремиаса в пользу каждого из 21 текста группы «и», специальный экзегетический

[1] Источники речений, включенные Иеремиасом в группу «и», следующие: послание апостола Павла Фессалоникийцам; Codex Bezae Cantabrigiensis; папирусы Оксиринх 655, 840 и 1224; коптское Евангелие от Фомы; Евангелие от Назареев; Евангелие от Евреев; Иустин-Мученик; Апеллес (ученик Маркиона); Феодот (египетский гностик); два Отца Церкви: Тертуллиан и Климент Александрийский и, наконец, Деяния Петра.

анализ этих текстов. Упомяну только, что мною сделан полный перевод труда Иоахима Иеремиаса, который еще ждет своего издателя. Здесь же я постараюсь кратко изложить лишь то, что относится к самому содержанию аграфов группы «и» — тех аграфов, которые с точки зрения их содержания, формы и засвидетельствования в Предании могут быть поставлены рядом с речениями Иисуса, содержащимися в синоптических Евангелиях и для сомнения в подлинности которых нет серьезных причин.

3

1. Эпизод с богатым юношей

В Евангелии от Назареев эпизод с богатым юношей представлен в форме, отличающейся от трех синоптических версий (Мк 10, 17 и сл; Мф 19, 16 и сл.; Лк 18,18 и сл.). Начало, правда, очень близко к евангельскому рассказу: «Второй из двух богатых людей сказал ему: «Учитель, что должен я сделать доброго, чтобы жить?» Он сказал ему: «Человек, делай то, что написано в Законе и пророках». Он отвечал Ему: «Я это делал». Он отвечал ему: «Тогда пойди, продай все, что имеешь, отдай это бедным и приди, следуй за Мною!»

До этих пор, как видим, история нам знакома. Но вот продолжение: «Но богач начал почесывать голову, это его не устраивало. И Господь сказал ему: Как можешь ты говорить: я исполнил Закон и пророков? Ведь в Законе написано: люби ближнего, как самого себя! И вот множество твоих братьев, детей Авраама, одеваются в мерзкие лохмотья и умирают с голоду, а твой дом ломится от богатств и оттуда совсем ничего не выходит для них».

Заключение снова возвращается к евангельскому рассказу: «И обратившись к Симону, Своему ученику, сидевшему рядом с Ним, Он сказал: Симон, сын Ионин, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие».

Есть основания считать, что перед нами древняя версия эпизода с богатым юношей, параллельная и независимая по отношению к версии, использованной Марком. Именно тут Христос становится действительно очень строгим: самые суровые слова Он произносит не тогда, когда имеет дело с общепризнанными грешниками, а сталкиваясь с людьми, считающими себя благочестивыми, праведными и почтенными, исполняющими волю Божию.

2. Спор Иисуса с первосвященником-фарисеем на паперти Храма

Уже упоминалось о папирусе Оксиринх 840 , найденном в 1905 году. В нем содержится конец речи Христа, произнесенной в Иерусалиме, и последующий рассказ, нигде более не встречающийся, который относится к Иисусу:

«И взяв их (учеников) с Собой,
Он ввел их в само священное преддверие

и прогуливался по площади Храма.
А фарисей, священноначальник по имени Левий,
вышел вперед, приблизился к ним и сказал
Спасителю: «Кто позволил Тебе
ходить в этом священном преддверии
и смотреть на эти священные сосуды, не совершив омовения
и без того, чтобы Твои ученики хотя бы омыли ноги?
Более того, Ты осквернил площадь Храма;
Ты попирал ее, тогда как никто,
не совершив сначала омовения и
не сменив одежды,
не имеет права сюда войти и не смеет
видеть эти священные сосуды!» Господь, остановившись
тотчас со Своими учениками, ответил ему:
«А ты, находящийся здесь, на площади Храма, чист?»
Он отвечал Ему: «Я чист, ибо я омылся
в Давидовой купели, и спустился по одной лестнице,
и взошел по другой, и я надел
одежды белые и чистые и затем (лишь)
пришел и смотрел на эти священные сосуды».
Тогда Господь отвечал ему:
«Горе вам, слепцы незрячие!
Ты омылся в этих сточных водах,
где ночью и днем собаки и свиньи,
а затем, омывшись,
ты очищал наружную кожу — кожу,
которую блудницы и флейтистки также
умащивают, моют, очищают и украшают,
чтобы вызвать вожделение у мужчин,
тогда как внутри они полны
скорпионов и всякой скверны.
А Я (и Мои ученики), о ком ты говоришь, что мы не омыты,
мы омылись в воде живой (и чистой),
которая исходит (от Отца, который на небе (?)). Но горе тем...»

Когда этот текст был опубликован в 1907 году, издатели сочли его плодом воображения под тем предлогом, что автор не имел никакого представления об еврейских обычаях времен Христа, в частности относительно Храма и его обрядов. Тем самым для большинства вопрос был решен. И — напрасно, ибо возражения, выдвигавшиеся тогда и позднее, оказались неправомочными. Начальник священников фарисей Левий, который очевидно несет дежурство, охраняя порядок во дворе израильтян, полностью осознает свои права и обязанности, когда спрашивает Иисуса, почему Он со Своими учениками нарушил храмовый обряд. Ученики даже не омыли ног, прежде чем войти в святое место! Упрек обращен прежде

всего к Иисусу, так как Он отвечает за Своих учеников. В построении фраз неведомый евангелист сумел передать возмущение священноначальника пренебрежением к святым местам.

В тексте нет никакого объяснения такого поведения Иисуса. Не презирает ли Он святилище? Ни в коей мере. Объяснение следует искать в Мк 7,6-8: предписание, согласно которому уже чистый человек должен омыться, перед тем как войти во двор израильтян, не имело никакого обоснования в Торе, но — подобно предписанию мирянам мыть руки перед едой (Мк 7,1 и сл) — было раввинистическим распоряжением и к тому же еще оспаривалось в начале II века. А Иисус решительно отклонял раввинистические предписания как «заповеди человеческие» (Мк 7,8) и намеренно отказывался им подчиняться. Иисус говорит сурово и выразительно, открывая священноначальнику, чего на деле стоит его чистота. Он ставит Себя в один ряд с учениками — «мы», кого ты упрекаешь в том, что мы не омылись, мы омыты в воде Жизни; мы пребываем во времени спасения Божия, мы принадлежим миру Божию, миру новому и чистому. Вот проблема совести, которую Иисус ставит перед фарисеем, считающим себя чистым. Он может слыть чистым в глазах людей, но он не чист в глазах Божиих. Горе тем, кто в своем ослеплении имеет слишком хорошее о себе мнение! Истинная чистота не есть дело рук человеческих, это дар эры спасения.

3. Человек, трудившийся в субботний день

В одной из древних рукописей Евангелия, хранящихся в библиотеке Кембриджского университета, в заключении рассказа о колосьях, сорванных в субботний день, вместо обычного заключения (Лк 6,5), следует короткий рассказ:

«В тот день Он увидел человека, работавшего в субботний день, Он сказал ему:

«Человек, если ты знаешь, что делаешь, ты блажен.

Но если ты не знаешь, ты проклят и ты нарушитель Закона».

На первый взгляд может показаться, будто этот рассказ учит нарушать субботу — то, чего Иисус никогда не делал. Но действительно ли таково содержание рассказа?

Как указывает обращение, Иисус не знает этого работающего человека, но считается с возможностью того, что он один из тех, кто примкнул к Нему; это могло бы означать, что они столь многочисленны, что Иисус не может знать каждого. Он ставит Своего безымянного последователя перед альтернативой: если ты нарушаешь субботу для того, чтобы прийти на помощь к кому-нибудь, если ты знаешь, что для детей Божиих любовь выше всех других предписаний — ты блажен! Но, «если ты этого не знаешь», если ты думаешь, что Я позволяю Своим ученикам беспричинно пренебрегать праздничным днем и посягать на священное повеление, если ты действуешь по легкомыслию и дерзости, — тогда «ты проклят и ты — нарушитель закона!» Оказывается, есть два вида свободы по отношению

к Божественному предписанию и священным обычаям: первый — это славная свобода детей Божиих, свобода тех, кто не поражен злом в своем сознании, вторая — презренная свобода безразличия и греха. Все зависит от мотива твоего поступка. Свободен ли ты в твоем сознании — или ты поражен злом в своем сознании?

Этот рассказ о профанации священного дня имеет исключительное значение. Он показывает нам отношение Христа к субботе в ином аспекте, чем евангельские рассказы о субботе. Первоначальная Церковь, которой приходилось бороться с иудаизмом и фарисейством, передала нам главным образом рассказы о субботе, всякий раз изображающие Иисуса в одной и той же боевой позиции: в борьбе против казуистических манипуляций — полностью лишенных любви — с субботним покоем. Наш рассказ показывает, какая основная позиция Христа по отношению к священному дню стоит за всеми этими субботними конфликтами. Он хотел, чтобы священный день был действительно свят. Иисус говорит: может представиться такой случай, когда кто-нибудь, связанный в своем сознании с Богом живым, нарушит субботу, потому что Бог требует от него дела милосердия. Блажен тот, кто именно таким образом нарушает священный день! Но горе тому, кто нарушает его по легкомыслию и небрежению, он — проклят! Вот разительно острая мысль Христа о святости посвященного Богу дня.

Существует целый ряд апокрифических речений Господних о неминуемых эсхатологических событиях. Эти речения должны подготовить учеников Господа к предстоящему.

4. Ответственность положения ученика

Логия 32 коптского Евангелия от Фомы содержит следующий аграф: «Иисус сказал:

Тот, кто вблизи Меня,
вблизи огня;
и кто вдали от Меня,
вдали от Царства».

Самым древним свидетельством о нашем аграфе можно считать один намек, сделанный епископом-мучеником Игнатием Антиохийским (ок.110 года). В своем послании к христианам Смирны он пишет: «Почему я так предал самого себя огню, мечу, диким зверям? Но близ меча — это близ Бога; с дикими зверями — это с Богом, лишь бы это было во имя Иисуса Христа! Ради того, чтобы страдать с Ним, выношу я все, и это Он дает мне силу». Этот текст настолько созвучен нашему аграфу (буквально — в первой части, но и по сути, и в целом), что трудно было бы отрицать зависимость. Игнатий должен был знать Иисусову логию об огне страдания и применил ее к своему собственному мучительному положению. Об этом свидетельствует упоминание «огня» в вводном вопросе

Игнатий писал по пути в Рим, ожидая боя с дикими зверями. К этой ситуации и приспособил он свою формулировку.

То обстоятельство, что агpаф этот был известен уже Игнатию, показывает, что перед нами очень древнее предание. К тому же содержание его не вызывает никаких возражений. Он созвучен Лк 9, 50 и по своей форме звучит как подлинное речение Христово. Ибо Иисус любит выражать свои мысли сильными антитезами такого рода — обилие антитетических параллелизмов весьма характерно для Его проповеди.

Есть еще один аргумент в пользу подлинности агpафа: при обратном переводе его на арамейский получаются два четверостишия с выраженным особым ритмом и даже с рифмами. Современные исследования показали, что этот ритм был одной из характерных особенностей наставлений Иисуса Своим ученикам и что Иисус охотно пользовался аллитерациями и ассонансами, а возможно и рифмами.

Но особенно придает речению характер подлинности то, что оно производит впечатление удара (Мф 8, 19 и сл. и пар.; 16, 24 и сл. и пар.). Мы не знаем, какие обстоятельства побудили Иисуса произнести это речение о важности и величии сочетания с Ним. Но его содержание позволяет составить об этом мнение: оно было явно адресовано кому-то, кто предложил следовать за Ним. Исполненный молодого энтузиазма, захваченный Благой Вестью (мы вправе это предположить), он приходит к Иисусу. Но Иисус ведет Себя очень сдержанно. Ты подумал о том, что делаешь? Быть близ Меня — значит быть близ огня!

Что понимает Он под огнем? Параллелизм ясно показывает, что речь идет об эсхатологическом огне, о котором Иисус говорит: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12, 49). Это огонь испытания, скорби, страдания (1 Петр. 1, 7; Откр. 3, 18), возвещающий грядущее Царство: огонь, через который должен пройти всякий ученик Христов: «Ибо всякий огнем осолится» (Мк 9, 49). Каждый присоединяющийся ко Христу должен хорошо осознать: быть близко ко Христу — опасно. Он не обещает ни благополучия, ни радости, но огонь скорбей, горнило страданий. «Тот, кто близ Меня, близ огня». Боишься ли ты того, продолжает Иисус, что следование за Мной приводит так близко к огню? Не предпочитаешь ли повернуть назад? Тогда знай также и это: «Кто далек от Меня, тот далек от Царства». Отказывающийся следовать за Христом отвергает сам себя от Царства Божия. Огонь — всего лишь переход, приводящий к Славе Божией!

5. Все должны пройти через искушения

В своем трактате о крещении в 20-й главе Тертуллиан пишет: «Бодрствуйте и молитесь, говорит Он, чтобы не впасть в искушение» (Мф 26, 41; Мк 14, 38; Лк 22, 40). Я думаю, что они впали в искушение, потому что заснули и даже покинули Господа, когда Он был схвачен, и даже тот, кто остался с Ним и пустил в ход меч, трижды отрекся от Него. Ибо было прежде это слово:

«Никто не может прийти в Царство Небесное,
если не пройдет через искушение».

Цитата Тертуллиана имеет совсем особое значение, так как — в отличие от обычной практики — он дает нам самый контекст Евангелия, в котором почерпнул это речение: рассказ о Страстях, как раз перед сценой в Гефсимании.

Действительно, согласно рассказу синоптических евангелистов, Иисус именно в этом случае говорил об искушениях, которым подвергнутся из-за Него ученики (Лк 22, 28); в частности — об угрожавшем Петру искушении (22, 31 и сл.), о соблазне, который испытают в связи с Ним все ученики (Мк 14, 27, и Мф 26, 31), и о неминуемом отречении Петра (Мк 14, 30 и пар.). Наше речение отлично вписывается в этот контекст. То обстоятельство, что Тертуллиан упоминает, в каком именно месте он нашел это речение, представляется достаточно важным, чтобы признать за ним древнее предание. Однако утверждать это с полной определенностью нельзя: остается открытой возможность того, что Тертуллиан по ошибке памяти принял слова, приводимые в Иак 1, 13, за слова Христа, произнесенные Им во время Страстей.

Речь идет не только об испытании, которому подвергнется вера учеников из-за страданий и смерти Иисуса, но прежде всего о великом космическом искушении, наступлении эсхатологических бедствий, о нападении Сатаны на Божиих святых. Все это у порога: страсти и смерть Иисуса послужат сигналом, за которым последует мученичество близких Ему людей, появление Сатаны в святом месте и все ужасы конечного испытания. И вот для учеников наступает уже время бодрствовать и молиться для того, чтобы не впасть в искушение. Ударение ставится на «никто». Нет никаких исключений: каждый должен пройти через искушение, это непременное условие для того, чтобы войти в Царство Божие. Пусть никто не думает, что испытание его минует. Ибо такова воля Божия, чтобы Его Царство пришло через страдание и чтобы дорога к Царству вела через искушения. Это «никто» должно внутренне укрепить учеников, дрожавших от страха перед лицом грядущего. Они должны знать, что нет другой дороги к Царству, кроме той, которая ведет через огонь. Обетование принадлежит только победе.

6. Провозвестие о разделениях

В 35-й главе своего Диалога с иудеем Трифоном Иустин Мученик пишет: «Ибо Он (Христос) сказал: «Многие придут под именем Моим (Мф 24, 5) в овечьей одежде; а внутри они волки хищные» (Мф 7, 15)». И далее: «Будут разделения и ереси».

Как следует понимать это возвещение распрей и разделений? «Разделения» знаменуют разрыв с общиной учеников, «ереси» означают распри и конфликты внутри ее. Эти два предсказания не содержат в себе ничего специфически христианского, тем не менее с этим речением дело обстоит так же, как и с другими многочисленными апокалиптическими речениями

из Нового Завета относительно знамений, предшествующих концу: то, что на первый взгляд кажется общим местом апокалиптики, обнаруживает при ближайшем рассмотрении свой специфически христианский характер. Это же относится и к нашему речению, стоит лишь задаться вопросом о причине этих распрей и разделений. Они вызваны появлением лже-пророков (Мк 13,5 и сл.; 22 и сл.). Лже-пророки завоевывают доверие в общине последователей Христа! Вот что ужасно! Испытание конца времен приобретает разные формы: от грубого насилия до духовного соблазна.

7. Вопль перед лицом крайней опасности

Феодот, египетский гностик II века, ученик Валентина, передал нам следующее речение: «Вот почему Господь говорит: «Спасайся и спасай свою жизнь».

Это речение тесно связано с Быт. 19, 17, где Лоту делается предостережение: «Спасайся, речь идет о твоей жизни!» (буквально: спасайся ради твоей жизни). То, что перед нами древнее предание, подтверждается тем явным интересом, который, согласно синоптическим евангелистам (Мф 10,15 и пар.; Лк 10,12; Мф 11, 23 и сл.; Лк 17, 28-32), Иисус питает к рассказу о разрушении Содома и Гоморры (Быт. 19). Согласно Лк 17, 31 и сл., Иисус определенно ссылается на бегство Лота и его семьи от огненного дождя. Следовательно, наш аграф хорошо вписывается в рамки тех представлений, что связаны с преданиями об эсхатологических речениях Иисуса.

Краткое повеление: «Спасайся и спасай свою жизнь!» вызывает в памяти слушателей рассказ о бегстве Лота из Содома, обреченного на разрушение. «С руками на голове» (то есть, оставив все свое имущество) Лот и его близкие вынуждены были бежать, чтобы спасти свою жизнь. «Так будет — говорит Лк (17, 30—32) и в тот день, когда Сын Человеческий явится — то есть когда разразится конечная катастрофа: в тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Это означает, что Иисус видел в бегстве Лота и его семьи из Содома архетип эсхатологического бегства. В тексте нет никаких подробностей описаний этих ужасов. Иисус все время неутомимо повторяет лишь одно: бегите, бегите, не раздумывая, не задерживайтесь в пути, не теряйте времени! Сатана воссел на престол Божий, присвоил себе Божественную славу, это столь непостижимый ужас, что ничего другого не остается, кроме как бежать.

Почему так? Когда Лот бежал из Содома, ему было сказано: «Спасайся, чтобы тебе не погибнуть» (Быт. 19, 17). Во время эсхатологического бегства речь также идет о жизни. Полчища Сатаны преследуют верных, отказавшихся воздать ему почести. Но на этот раз речь идет не только об этой земной жизни, речь идет о Жизни в самом полном смысле этого слова. Поэтому важно только одно: бежать от всего, что хоть сколько-нибудь может повести к вероотступничеству.

Последнее слово, однако, не принадлежит ни бедствиям, ни заблуждению, ни Сатане; последнее слово имеет Господь по Своем возвращении. Таков предмет самого древнего из тех речений Господних, которые были нам переданы, минуя Четвероевангелие: 1 Фес 4, 15-17а. В 49-м году, то есть задолго до составления наших Евангелий, апостол Павел ссылался на следующее речение Господне:

«...говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших;

«Потому что Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе».

Чтобы избавить фессалоникийцев от терзающей их тревоги, Павел дает им небольшой апокалипсис. Эта совсем еще молодая Церковь, основанная лишь несколькими неделями раньше, уже очень тревожилась по поводу смерти одного или нескольких из своих членов: она опасалась, что умершие члены общины не будут иметь доли в царственном Христовом Пришествии. Павел пытается рассеять их страх, приводя это речение, согласно которому, «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших».

Нужно задать вопрос, мог ли Иисус дать в этой форме аграфа описание Своего возвращения. Ответ будет положительным. То, что Иисус произносил апокалиптические речи, не подлежит сомнению. Ближайшей параллелью является описание второго пришествия в Мф 24, 30 и сл. (несколько развивающее Мк 13, 26). Подобно нашей логии, этот текст, соотносящийся с Дан 7, 13, говорит о Сыне Человеческом, грядущем с неба, о небесной свите, об ангелах, о великой трубе, об облаках и судьбе избранных. Таким образом, в описании второго пришествия в 1 Фес 4, 15 и сл. нет таких черт, которые не могли бы принадлежать самому Иисусу.

В сильной трехчастной форме аграф описывает второе Христово пришествие. Здесь использован образ, заимствованный из царского ритуала древнего Востока: церемонии интронизации. Три сцены быстро сменяют одна другую. Сначала идет военная картина: Сын Человеческий (Дн 7, 13) является на небе в сопровождении более двенадцати легионов ангелов, ожидающих Его повелений. Затем следует вторая картина — Иисус отдает повеление архангелу, который трубит в большую божественную трубу, призывая мертвых встать из могил. В позднем иудаизме было распространено верование, согласно которому мертвые во время воскресения приходят группа за группой, — это объясняет, почему в 1 Кор 15, 23 умершие христиане изображаются как первая группа воскресших. Наконец, третья и самая важная картина — принадлежащие Христу, воскресшие и живые, будут подняты вместе на воздух на облаках, чтобы составить почетную свиту Царю, сходящему с небес.

9. Готовьтесь

Чая второго пришествия Христова, Церковь призывается готовиться к нему. Вот что говорится в аграфе из сирийской Книги Степеней:

«В том состоянии, в каком вы будете застигнуты,
вас уведут».

При изучении аграфов на это речение никогда не обращали внимания. У этого аграфа есть параллель в другой логии, приводимой Иустином Мучеником (165 г.). В «Диалоге с Трифоном» для того, чтобы показать, что Бог считает грешником человека, который из страха перед Богом и правосудием впал в неправедность и нечестие, Иустин пишет:

«Вот почему Господь наш Иисус Христос сказал:
«В том состоянии, в котором Я вас застигну,
Я буду вас судить».

В синоптических Евангелиях мы имеем две разных формы апокалиптической речи. Наиболее древняя (Лк 17, 20-37) делает ударение на внезапности грядущего кризиса, в более поздней (Мк 13 и пар.) подробно описываются предваряющие его знамения. Наше речение принадлежит к первому виду. На заднем плане несомненно присутствует та мысль, что последний день настанет внезапно. Подобно притче о десяти девах (25, 1-12), это изречение есть призыв быть готовыми. Конец может прийти в любой момент, и в любой момент нужно считаться с возможностью пришествия Сына Человеческого. К этой цели должен направлять верующий всю свою жизнь.

10. Притча о большой рыбе

Вот что читаем в коптском Евангелии от Фомы, логия 8:

«И Он (Иисус) сказал:

Человек подобен разумному рыбаку, который забросил сеть в море и тотчас вытащил ее: (она была) наполнена малыми рыбами. Среди них разумный рыбак увидел хорошую и большую рыбу. Тогда он бросил все малые рыбы в море и выбрал, не колеблясь, большую рыбу. Имеющий уши да слышит!»

Как и в притче о сети (Мф. 13, 47), мы переносимся на берега Генисаретского озера. Но тогда как Матфей описывает рыбную ловлю в открытых водах на лодках, тянущих сети, в Евангелии от Фомы говорится о скромном рыбаке, ловящем рыбу и забрасывающем свой невод на мелком месте. Он опоясался рыбацким кошелем и бросил в воду камень, чтобы привлечь рыб. И тут он забрасывает круглую сеть. Эта сеть имеет 4 метра в диаметре, по краям она снабжена грузилами. Она забрасывается в воду в форме колокола и быстро погружается. При помощи целой системы бичевок и блоков, укрепленных в центре, ее подымают и тут же освобождают от улова; мелкую и несъедобную рыбу выбрасывают на берег или в воду.

Притча о большой рыбе тесно связана с двумя притчами: о сокровище в поле (Мф. 13, 44) и о драгоценной жемчужине (Мф. 13, 45). Все три

притчи имеют нечто общее. Перед радостью находки все остальное отходит на второй план. В нашей притче рыбак называется разумным человеком. Точно так же тот, кто захвачен Благой Вестью, считает все остальное не имеющим цены перед лицом этой бесценной находки. Состояние чада Божия становится центром его жизни. И великая радость, переходящая всякую меру, руководит отныне его поступками.

11. Они не поняли

В апокрифических деяниях Петра сообщается история римского сенатора по имени Марцеллус, который, после того как был влиятельным членом христианской общины, позволил соблазнить себя магу Симону и отступил от веры. Затем Петр убеждает его в ошибке, и он просит апостола ходатайствовать за него перед Христом. В этой связи Марцеллус приводит слова Христа о вере величиной с горчичное семечко (Мф 17, 20) и признает, что не крепок в вере. Но ведь в конце концов сам Петр не обладал этой верой, когда, идя по морю, стал тонуть из-за сомнения (Мф 14, 28 и сл.)! И Петру приходится вспомнить о словах, которые он однажды слышал от Господа Иисуса:

«Те, кто со Мной, Меня не поняли».

Если, продолжает Марцеллус, сами апостолы не избежали сомнения, то он тоже смеет надеяться, что Христос простит ему отступничество.

Этот апокрифический рассказ содержит в себе текстуальную цитату из Матфея, намек на рассказ Петра о хождении по водам и, наконец, аграф неизвестного происхождения, позволяющий предположить его подлинность. Ведь даже со стороны самых близких учеников Иисус, как мы знаем, встречал непонимание, малодушие в вере, сомнения. Его окружение почти постоянно приносило Ему разочарование. Его крестный путь начался не в Гефсимании, а гораздо раньше, с маловерия и непонимания Его близких.

12. Истинное братство

В своем комментарии на Послание к Ефесянам (5,3,4) Иероним Стридонский сообщает нам, что обнаружил в Евангелии от Евреев следующую логию, обращенную к ученикам:

«Et nunquam (inquit) lacti sitis,
nisi cum fratrem vestrum videritis in caritate»

По мнению Иеремиаса, этот латинский текст следует понимать так: «И веселитесь только тогда, когда будете смотреть (смотрите) на вашего брата с любовью».

Наша логия точно соответствует тому, чему Иисус учит в Евангелиях о братском отношении к соотечественникам, которого Он ждет от Своих учеников. Поскольку всякое злое слово к брату навлекает гнев Божий (Мф. 5, 22) и всякая ссора с братом отделяет ученика от Бога, то не может быть радости для ученика Христова, пока он не очистится (Мф 5, 23 и

сл.; Мк 11, 25) и пока он не в состоянии «смотреть на брата своего с любовью» — то есть пока его сердце полно эгоистическими чувствами или даже ненавистью.

14. Будьте милостивы!

В Евангелии от Назареев Иероним Стридонский нашел следующий параграф:

«Если (сказал Он) твой брат согрешил (против тебя) словом и принес тебе публичное покаяние, принимай его семижды в день». Симон, ученик Его, сказал Ему: «Семижды в день?» Господь ответил и сказал ему: «Да, говорю тебе, даже до семижды семидесяти семи раз! Ибо даже у пророков, после того как они были помазаны Святым Духом, случалось согрешение словом».

Эта версия беседы Иисуса с Петром, сообщаемой в Мф 18, 21, о неограниченной обязанности прощать, имеет в себе ряд новых черт. Из устного предания, использованного также Лукой, взято раскаяние обидчика (Лк 17, 3, 4) и формула «в день». Оригинальность версии Евангелия от Назареев заключается в двух пунктах: 1) грех, о котором идет речь, четко ограничивается согрешением словом; 2) увещание прощать семижды семьдесят семь раз находит замечательное оправдание в согрешениях словом, совершенных пророками.

Можно считать вторичным ограничение согрешением языком и спорить о мотивации этого предписания. «То обстоятельство, что даже от самых превосходных людей нельзя ожидать большего, не является, собственно, основанием для того, чтобы без конца прощать своего брата», — возражали некоторые исследователи (Роупс и Шелпс). Но, отвечает Иеремиас, с тем же успехом можно перевернуть этот аргумент. Разве не естественно предположить, что вопрос Петра, спрашивавшего, сколько раз следует прощать своему брату, имел в виду вообще повторяющиеся словесные оскорбления? На эту мысль наводит частое повторение того же греха в один день. Кроме того готовность пустить в ход ругань, оскорбление и т.д. является характерной чертой восточного человека. И действительно ли недостойна Христа заключительная фраза? Она не претендует на обоснование прощения, она стремится лишь помочь ученикам быть снисходительными. Если ты гневаешься на своего брата, который тебя снова обидел, то подумай, насколько легко согрешить словом. Если сами святые пророки Божии, помазанные Его Духом, впадали в этот грех, как можешь ты принимать без снисхождения то, что это же самое случилось с твоим братом?

15. Исполнитесь уверенности!

Сильно поврежденный папирус Оксиринх 1224 содержит в числе других фрагмент о врагах и тех, кто держится поодаль. Он состоит из трех фраз:

«И молитесь за ваших/вра/гов (ср. Мф 5, 44). Ибо тот, кто не /против ва/с, тот за вас (ср. Лк 9, 50).

/Тот, кто/в отдалении/сегодня/, будет завтра/близок к вам/».

Трудно было бы найти какие-нибудь возражения против подлинности этого краткого речения.

Этот отточенный, легко запоминающийся афоризм, весь исполнен веры. Эта вера господствовала в Иисусе: она — в самом сердце возвещаемой Им Благой Вести, как о том свидетельствуют четыре контрастные притчи: о горчичном семени (Мк 4, 30-32), о закваске (Мф 13, 33), о семени, которое само растет (Мк 4, 26-29), и о сеятеле (Мк 4, 3-9). У всех этих притч то общее, что они являют разительный контраст между грядущим Царством Божиим и настоящим моментом. Из пустяка (горчичное семя, закваска), без малейшего участия человека (зерно, само растущее), несмотря на неудачи (посевы), Бог хочет воздвигнуть Свое Царство. То же мирное доверие внушает наша логия: «Тот, кто сегодня держится вдали, будет завтра близок к вам». Иисус полагается на Своего Отца. Он полагается на Божественное обетование Ис 57, 19: «Я вызываю хвалу на их устах: мир! Мир дальнему и ближнему, говорит Ягве».

16. Об этом заботится Отец

В папирусе Оксиринх 655 приводится известное поучение Иисуса «(Не заботьтесь) с утра до вечера о вашей пище, о том, что будете есть, ни об одежде, во что оденетесь». После примера с лилиями, которые растут, хотя не ткут, это поучение заканчивается таким речением:

«Он сам даст вам одежду».

В этом речении нет ничего сверх того, что есть в Мф 6, 25-34 (пар. Лк 12, 22-31). Действительно, в Евангелии от Матфея, показав нам сначала птицу, которая не пашет, не сеет, не жнет, и цветок, который не прядет кудель и не ткет на станке и которых Бог кормит и одевает, Иисус заключает этими словами: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (Мф. 6, 30; и пар. Лк. 12, 28). Здесь мы имеем то же обетование, что и в нашей логии.

17. Слово о молитве

Клемент Александрийский приводит следующую логию (которую он, возможно, берет из сборника речений Христовых):

«Просите великого, и Бог вам даст сверх того и малое». Она тесно связана с формулой Нагорной проповеди: «Ищите прежде Царства (Божия) и правды его, и остальное приложится вам». (Мф. 6, 33; Лк 12, 31). Возможно перед нами сентенция, прибавленная общиной к молитве, может быть, в целях катехизации? В таком случае это сделано очень удачно, совершенно в духе Иисуса. Но тем не менее нельзя исключить, что здесь мы имеем дело с независимой логией. Что касается содержания,

она представляет собой ясное и точное резюме главного учения Христова о молитве. Тут можно видеть, как появляются расширения, вызванные, несомненно, чтением в общине версии того же речения, которая дошла до нас дважды — от Оригена и Амвросия: «Просите небесного, и Бог даст вам сверх того земного».

18. Призыв к духовной трезвости

«Будьте искусными менялами».

Это краткое образное речение было очень популярно в первоначальной Церкви; его чаще всех остальных неканонических речений Господних без конца цитировали ранние христианские авторы. Неутомимый Реш собрал не менее 37 цитат и 20 намеков на эту сентенцию.

Если это речение, несмотря на свою популярность, позже было предано забвению, то это объясняется тем, что речь идет о ремесле, неизвестном в этой форме на Востоке.

Как понимала древняя Церковь это речение? Об этом мы можем судить по развернутой формулировке, которая встречается у Клемента Александрийского: «Будьте разумными менялами, которые отбрасывают многое, но хранят хорошее». Следовательно, речь тут идет об умении отличать подлинные и котирующиеся монеты от монет фальшивых и уже более не котирующихся. Каждый меняла сидел за столиком, на котором была стеклянная дощечка; в случае сомнения меняла стучал монетой по стеклу, что позволяло ему отличить настоящую монету от фальшивой. Всякий нумизмат знает, как трудно определить ходовые античные монеты. В ходу они часто становились неузнаваемыми. Но с первого взгляда на монету опытный меняла определяет, что она не котируется или фальшива. Он отклоняет фальшивую монету. Он не дает обмануть себя.

Иеремиас высказывает догадку о том, в каких обстоятельствах Иисус произнес это речение — в том случае, если оно действительно восходит к Нему. Иисус настойчиво предупреждает Своих учеников: появятся лжепророки, которые будут ссылаться на Него. Они станут совершать великие знамения и удивительные дела; толпа будет приветствовать их, и лишь немногие их раскусят (Мк 13, 5 и сл. пар., 21 и сл., пар., Мф 7, 15 и сл., 24, 11). Когда придет час этого искушения, трезвитесь духом. Не давайте соблазнять себя, отвергайте все, что не исходит от Моего Духа. Учитесь у менял остроте взгляда для того, чтобы различать ложное! «Будьте искусными менялами».

19. Будьте настороже!

Папирус Оксиринх 840, которому мы обязаны рассказом о встрече со священноначальником (см. выше), содержит в первых семи строках заключение речи, с которой Иисус обратился к Своим ученикам в Иерусалиме перед тем, как вступить с ними на площадь Храма. К

несчастью, из трех фраз этой речи только вторую можно перевести с уверенностью.

«Прежде чем совершить несправедливость (?), он все устраивает с хитростью. Но остерегайтесь (таких людей) из боязни, чтобы не случилось с вами того, что с ними! Ибо не только между живыми те, кто творит зло среди людей, получают свое наказание, им надо еще понести кару и великое мучение».

То, что злодеи замышляют свои дурные дела с хитростью (первая фраза), и то, что их временное наказание лишь предваряет страшное возмездие, ожидающее их после смерти (третья фраза), — это были идеи, знакомые ученикам.

Новым в этом тексте является лишь предостережение Иисуса ученикам быть настороже, чтобы не подвергнуться той же участи, что и злодеи (вторая фраза). Иисусовы ученики тоже находятся под угрозой. Пусть не считают себя в безопасности. Ибо вся хитрость, с которой, подобно закоренелым преступникам, они могут обманывать людей относительно своих истинных намерений, не поможет им перед Богом живым. Суд Божий приближается, и он начнется с Дома Божия.

20. Присутствие Господа

В папирусе, содержащем греческий текст Евангелия от Фомы, находится следующий аграф, который (как и следующий) вряд ли восходит к самому Иисусу, но несомненно имеет отношение к очень древней христианской традиции:

«Иисус сказал: Повсюду, где их (двое), они (не) без Бога,
и там, где кто-нибудь один, говорю Я: Я — рядом с ним.
Подыми камень,
и там ты найдешь Меня;
разруби дерево,
Я и там».

Толкование, по мнению Иеремиаса, должно исходить из того, что в нем приводятся два примера тяжелых работ: подымание тяжелых камней и колка дров. Возможно, что сочетание этих двух видов работ было подсказано следующим местом из Ветхого Завета, Еккл 10, 9:

«Кто передвигает камни, тот может надсадить себя;
и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них».

Это огорчительные слова. Екклезиаст был человеком, склонным к пессимизму, он критически смотрел на все, что люди делают в жизни. Ничто не ускользало от его пессимизма: все преходяще, все тщетно и напрасно — его мрачное настроение распространяется и на труд: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (Еккл. 1, 3). Кроме того с работой связаны опасность и страдание. Того, кто разрушает ограду, может укусить змея, тот, кто подымает камни, может ушибиться, а колющий дрова — пораниться (10, 9).

Нет, отвечает наша логия, дело обстоит не так. «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28, 20) — вот что обещал воскресший Господь, и это относится также и к труду. Для ученика Христова труд есть не опасность, бремя, страдание, а присутствие Господа: Это Меня ты найдешь, когда дробишь камень. Я тут, когда ты колешь дрова! В Мф 18, 20 Иисус обещает Свое присутствие тем, кто молится во имя Его; здесь Он обещает это тем, кто делает тяжелую работу.

21. «Мир есть мост»

В 1900 году в одном английском журнале появилось сообщение об арабской надписи, найденной в развалинах городка Фатпур Сикри на севере Индии. Фатпур Сикри находится в 175 км к югу от Дели. Великий Могол Акбар повелел в 1601 году сделать надпись на портале большой мечети Фатпур Сикри. В тексте указывается повод этой надписи, дата и далее говорится:

«Иисус — мир будет на Нем — сказал:
Мир есть мост.
Проходи по нему,
но не устраивайся на нем жить».

Нет ничего невозможного в том, что Иисус произнес это краткое изречение: Будьте прохожими, живите как путники. Но это не слишком правдоподобно, ибо тут отсутствует эсхатологический акцент. Одно несомненно: этот аграф выражает идею, близкую первым христианам. В Послании Евреям и Первом послании Петра о верующих говорится как о пришельцах и странниках на этой земле (Евр 11, 13; 1 Петр 2, 11), истинная родина которых не в этом мире. Они образуют народ Божий в пути к граду, созидаемому Богом (Евр 11, 9-10). По-видимому, перед нами плод пророческой деятельности общины.

Образ моста, который более поздняя христианская традиция использовала для того, чтобы разъяснить образ странника, был удачной и точной иллюстрацией. «Мир сей есть мост» — мост, ведущий от века сего в вечность. Он не есть последняя реальность, а лишь переход. Поэтому «проходи по мосту, но не устраивайся на нем жить». Этот выразительный образ с силой передает то убеждение, которое автор Послания к Евреям выразил в таких словах: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (13, 14).

* * *

Что же даёт нам изучение апокрифов вообще и аграфов в частности?

Канонические книги Нового Завета не были изолированным явлением. Существовала обширная христианская письменность, границы канона на протяжении первых трех веков истории Церкви четко определены не были. Теоретически можно было бы ожидать, что, сравнивая привычный

нам текст Евангелия с этой древней письменностью, мы наткнемся на какие-то сенсационные находки. Но нет, именно в таком сравнении обнаруживаются непревзойденные достоинства канонических новозаветных писаний. Тот текст Евангелия, который теперь, к счастью, можно купить в любом магазине или даже в газетном киоске, является и самым подлинным, и самым интересным.

Но изучение новозаветных апокрифов интересно с точки зрения истории позднейшей христианской мысли и церковного предания. Ведь церковное предание не изолировано вовсе от своего истока — Христа. Неизвестные изречения Христа, сохранившиеся в апокрифах или в сочинениях древних отцов Церкви, не переворачивают наших представлений об Иисусе, а лишь дополняют их. Однако, даже крошечное дополнение, рисующее оттенок, на первый взгляд, второстепенный, имеет небывалую ценность, когда речь идёт не об одном из многих героев мировой истории, а о Том, Кого миллионы людей считали и считают Смыслом и Целью этой истории.

Сара КОФМАН

УЛИЦА ОРДЕНЭ, УЛИЦА ЛАБА́

Филиппу Кросу

Между двумя парижскими улочками, между двумя философскими отцами

(О повести Сары Кофман)

Повесть, с которой сейчас познакомится русский читатель, вышла весной 1994 года. 15 октября Сара Кофман покончила с собой у себя дома, в Париже.

Казалось бы, книга — сдержанная, но Сара вернулась в ней к тому, что сама назвала когда-то «подавленным», «придушенным». Она прожила напряженную жизнь философа, непрестанно исследуя экзистенциальную растерянность и те «романы», которые насоздавали философия, позитивизм, поэзия с живописью (особенно Жерар де Нерваль и Леонардо да Винчи), а больше всего — психоанализ и основатель его, — исследуя и созидая заслоны и преграды тому, что Фрейд назвал «Unheimlichkeit» — тревожной отчужденности, неприкаянности, словно ты живешь в чужом доме.

15 октября 1994 года положило конец Unheimlichkeit, от которой страдала Сара Кофман. Маленькой повести, с виду суховатой, в сущности — напряженной, выпало заполнить брешь. 16 июля 1942 года исчез Сарин отец, раввин, польский еврей, не прижившийся во Франции за недолгое время эмиграции. Французская полиция увела его и передала немцам. «От папы [...] осталось только вечное перо». Эта первая фраза вмещает все остальное. Еврейская девочка из Парижа видит, как сгинул ее отец — и страстно, упорно, даже как-то лихо борется за то, чтобы выжить, остаться еврейкой, освободившись, однако, от того «еврейского хаоса», с которым боролся молодой Мандельштам; ведь именно этот хаос, да еще при желтой звезде, вел на верную смерть. И Сара выживает, живет, глотая книги, какие попадутся, покоряя учительниц, штудируя философию, а позже — преподавая в Тулузском лицее (где в 1963 году мы подружились с ней навсегда), наконец — в Сорбонне.

«От него осталось только перо» — вот она и пишет, строчит, словно кот Мурр, чтобы выписать и снять невыносимую тревогу, множит «авто-

© Издательство Galilée.

биокаракули», как назвала она свой труд о коте-плагиаторе, вышедший в 1976 году. Она пишет и пишет, за двадцать четыре года — книг тридцать, но вечное перо, ведущее ее рукою, наследство из того мира, который «подавляет», только в последней книге написало о том, о чем не говорят.

Две улочки убогого Парижа — две матери, два материнских лона, доброе и дурное. Два образа — Мадонна и блудница. Через Фрейда, Ницше, Конта, Жерара де Нерваля вопрошает Сара о «женской загадке» и о том, как философия, поэзия, живопись пытаются заткнуть дыру мужского страха перед женщиной.

Вот и здесь — две матери: родная, вдова раввина, сгинувшего в Холокосте, и названная — парижская мещаночка, набожная, вроде бы склонная к антисемитизму, но такая добрая, что она, с опасностью для жизни, спасает еврейку, которую терпеть не может, и ее дочь, которую полюбила от всей души. В тот день, когда Сара поняла, что вторая мать ей дороже первой, душа ее снова порвалась, как тогда, из-за отца.

Многое правдиво и четко описано в маленькой повести: Париж под немцами, попытки спасти еврейских детей, незнакомая прежде жизнь крестьян, французская светская школа. Неуемная, а то и взрывчатая женщина, на редкость живая и привлекательная (отчасти потому, что она надолго сохранила уменье говорить чепуху и звонко хохотать), рассказывает о мятежной девочке, вступившей в схватку с той тоской, из которой соткан мир.

Маленькая Сара выросла и, как философ, бросила вызов философиям, прежде всего — двум великим обличителям, Фрейду и Ницше. Фрейду посвящена ее первая книга о «детстве искусств» и о том, что навыдумывал он сам, чтобы разрушить искусство, показывая, что в его основе лежит либидо и истерическое самообнажение, а главное — доказывая, что ему все равно не заделать дыру смерти. Она непрестанно возвращается к Фрейду, превосходно его знает, остро посмеивается над ним, ибо психоанализ, в конце концов, уподобляет женщину трупу. О Ницше она пишет впервые в 1972, а завершает единоборство двухтомным «Взрывом», толкованием на «Ессе Homo», где автор, еще не впавший в безумие, толкует свои труды, называя себя «взрывчаткой, угрожающей миру».

Весь текст у Ницше, всплошную, пронизан метафорами (об этом — ее вторая книга 1972 года), сам Ницше отдален, отделен и от матери, и от детей (то есть — книг, «Заратустры»), но напряженно стремится воссоздать свою «фантастическую генеалогию»; а Сара Кофман заново поверяет и разбирает все это. Во «Взрыве», в конце второго тома, она делает важное признание: Ницше измыслил себе фантастических и знатных предков. Она же сама, из текста в текст исследуя двух «отцов», его и Фрейда, зорко следит за тем, чтобы ни тот, ни другой не одолел своего соперника. Фрейда она слышит «третьим, ницшеанским ухом», Ницше — «четвертым, фрейдистским». Пылко и пытливо читая «отцов», с трудом отдаляясь от них и отделяясь, Сара Кофман доказывает нам, что для нее — писателя, женщины, несущей в самой себе страшную рану Холокоста и дилемму двух матерей — текст тоже был тканью, прикрывающей тьму, пустоту, скорбную загадку.

Университетские философы ее не любили, долго не давали ей ходу. Сражаясь бок о бок с Деррида (которому посвятила книгу) и другими маргинальными мыслителями, она вместе с ними основала НИОФ (научно-исследовательское общество философского обучения) и выпустила серию книг о «настоящей философии» в издательстве «Галилей».

Она была среди тех, кто замыслил Международный философский институт, основанный Жаком Деррида в 1981 году, но так туда и не попала. Она нигде не могла пристроиться, хотя сорбоннские студенты ее очень любили. Можно сказать, что всю свою жизнь, философствуя, Сара пыталась найти место, где нет «правильных». Но тем, кто открыл «Улицу Орденэ, улицу Лаба» совсем не обязательно читать перед этим тридцать тонких, печальных, забавных книг, где она хочет уместиться между «романами» Фрейда и поэмами Ницше, между иудаизмом и омерзительным христианством, между родной, нелюбимой матерью и названной, хорошей, нося при этом в душе нерастворимую «отделенность». Ее ведь и впрямь отделили, оторвали от отца в июльский день сорок четвертого года. Эта небольшая повесть, в сущности, — тоже «роман», роман о девочке, у которой осталось только вечное перо, да яростная, прекрасная, беззащитная жажда жизни.

Жорж НИВА

Эзри, апрель 1996 г.

P.S. В мае 1995 года Уоривчский университет (Англия) созвал первый международный коллоквиум, посвященный трудам Сары Кофман.

Прибавим, что ее тоска выражалась еще в одном: она рисовала мелками и плела кружево. Одну из своих книг, написанную по-немецки («Руссо и женщины»), она иллюстрировала. Одна из картинок, очень странная, названа «Смерть или аутизм». Но на ней — пустая маска, утыканная мелкими стрелами.

Последняя книга Сары Кофман вышла после ее смерти, в 1995 году. Называется она «Обман красоты».

I

От папы мне осталось только вечное перо. Я взяла его из сумки, где мама хранила всякие памятки. Таких перьев больше не делают, их заправляли чернилами. Пока я училась в школе, я им писала, потом оно меня бросило (сама бы я не решилась с ним расстаться). Хотя вообще-то оно со мной, я скрепила его скочем и держу на столе, а оно говорит: пиши, пиши. Очень может быть, что все мои книги — обходные пути к этому рассказу.

II

16 июля 1942 года отец уже знал, что его возьмут — прошел слух, что именно в этот день будет большая облава. Он был раввином в маленькой синагоге на улице Дюк, XVII округ, и ушел пораньше из дому, чтобы разбудить побольше народу, и они успели спрятаться.

Потом он вернулся и стал ждать. Он думал, что если спрячется сам, возьмут жену и шестерых детей (три девочки, три мальчика, от двух до двенадцати лет).

Он ждал и молился, чтобы за ним пришли, а мы уцелели. Я притаилась в углу (его комната — самая большая, самая красивая — лепной потолок, обои, да еще и ореол таинственности, чего-то священного, ведь он совершал там разные обряды — женил, разводил, обрезал), притаилась и, как зачарованная, смотрела, что он делает. Жертвоприношение Авраама на картинке в Библии, которую я училась читать по-еврейски, всегда пугало меня, сейчас же — вспомнилось.

Четыре часа дня. Стучат. Мама открывает. Полицейский, криво улыбаясь, спрашивает:

— Здесь живет раввин Берек Кофман?

— Его нет, — говорит мама, — он в синагоге.

Полицейский не настаивает, он собирается уйти. Тогда выходит отец и говорит:

— Я дома, можете меня взять.

— Нет! — кричит мама, толкая вперед Исаака. — У меня ребенок, ему полтора года! — И прибавляет, выпячивая живот: — А другого я жду.

Мама сказала неправду! Брату позавчера исполнилось два года. Никого она не ждет, во всяком случае, я ничего не знаю. Тут я не так уверена, но все равно мне очень стыдно. Я не слыхала о «лжи во спасение» (тогда еще не брали отцов, если у них есть ребенок меньше двух лет, — и будь полицейский подоверчивей, отец уцелел бы), не слыхала и вообще не понимала, что творится, просто стыдилась, что мама врет, и убеждала себя, что у меня будет новый братик.

Смутился и полицейский. Чтобы избежать ответственности, он просит маму пройти с ними в полицию.

Они уходят. Мы, все шестеро, стоим на улице, прижавшись друг к другу, и плачем навзрыд.

Читая в греческой трагедии жалобы и вопли: «О попои, попои, попои!», я непременно вспоминаю, как дети, лишившиеся отца, кричат, не веря в новую встречу: «Папа, папа, папа!»

III

Он и впрямь не вернулся, больше я его не видела, от него не было вестей, кроме открытки из Дранси (на марке— Петэн), лиловыми чернилами, чужой рукой, по-французски. Значит, ему запретили писать на идиш или по-польски, хотя на этих языках мы обычно говорили. (Родители уехали во Францию после 1929 года и не «ассимилировались» — мы, «французы по рождению», усвоили язык в школе.) В этой последней весточке он сообщал, что его «депортируют» и просил, чтобы в посылку (два кило) положили побольше сигарет. Маме он писал, чтобы она занималась нашим младшим братом.

Когда мама умерла, мы открытки не нашли, а я ее часто перечитывала и хотела сохранить. Так и вышло, что я еще раз потеряла отца. Больше не осталось ничего, даже этих строк, написанных чужой рукой.

После войны пришло из Освенцима свидетельство о смерти. Кое-кто вернулся. В судный день, в синагоге, один человек сказал мне, что знал отца по лагерю. Если верить его словам, отец прожил еще год. Еврей, который был мясником, а стал надзирателем (потом он снова открыл лавку на улице Розье), избил его киркой и зарыл живым, когда он отказался работать. Была суббота, и отец сказал, что ничего плохого не делает, только молится за всех — и за жертв, и за палачей.

Его, вместе со многими другими, убили в Освенциме, где не соблюдали субботнего покоя.

IV

«Главное, пришлите сигарет, голубых или зеленых «Голуаз». Без курения обойтись он не мог. Дома, как только кончалась суббота, он закуривал. Ему было особенно трудно, что в субботу не курят. Когда день подходил к концу, мы пели с ним еврейские песни, и еще какие-то, слова сочинял он сам. Одну из них я узнала в симфонии Густава Малера.

Взявшись за руки, мы ходили по темнеющей комнате, дожидаясь трех первых звезд, которые положат конец отцовским мукам. Увидев их, он зажигал витую красную свечу, читал молитву «киддуш», заливал водой пламя — и закуривал.

Во время войны, когда табак был по карточкам, я собирала для него окурки на улице и охотно ходила за папиросной бумагой «Зигзаг».

V

В доме нашем царило благочестие, святость. Отец был раввином, и мы очень строго соблюдали запреты, вечно страшась ошибиться тарелкой или включить в субботу свет. Зимой приходила служанка, «гой», чтобы зажечь плиту и разогреть то, что приготовили накануне; а я удивлялась, почему ей можно, нам — нельзя.

Отец почти все время был в синагоге, мы ходили к нему по субботам и праздникам, далеко, на Жюль Жофрен, на метро это две остановки, а мы шли пешком туда и обратно.

На обратном пути я почти всегда держала отца за руку, и он — чуть насмешливо, очень нежно — говорил мне на идиш, чтобы я не волочила ноги. Когда мы подходили к огромным вокзальным часам, я всех удивляла, точно угадывая время примерно за минуту.

На Новый год (мой день рождения) мы слушали, как отец трубит в шофар. Мама очень этим гордилась, уверяя, что папе нет равных. Упражнялся он дома. Я часто видела, как он берет шофар, а потом опять кладет в ящик, где хранились талес, тфилин и бритва, которой он резал кур, как

положено. Каждую пятницу, вечером, у нас сидели женщины с курами в корзинках. Швыряя мячик о стену, я смотрела, как отец ходит туда-сюда, между комнатой и прихожей. Все было таинственно и страшновато. Бритва напоминала о ноже Авраама, гортанный звук трубы — о криках гибнущих кур.

На праздник Йом Кипур мы проводили весь день в синагоге на улице Дюк, где отец служил во время поста, а я с двумя сестрами и трое мальчиков Аллер играли во дворе. Родители дружили с этой семьей, она жила на улице Симар. Мать, отец, одна из дочерей погибли в лагере. Позже, в Сорбонне, я встретила одного из братьев, моего ровесника Оскара; он тоже изучал философию. Потом я еще раз увиделась с ним в издательстве Обье, оба растрогались.

Пасху и приготовления к ней я очень любила. Мать тщательно очищала посуду, и я просто вижу, как она лезет с лампой под кровать — нет ли там крошек хлеба. Когда она открывала дверь, чтобы мог войти пророк Илия (для него стоял прибор), я страшно пугалась. Зато я любила петь по-еврейски праздничные песни и слушать, как перечисляют казни египетские и как объясняет папа, почему мы должны есть в этот вечер горькие травы. Особенно же волновалась я и гордилась, отвечая на ритуальные вопросы, которые задают детям во время седера. Любила я Пурим (хотя мама пугала нас жуткими масками), и Симход-Тора (отец плясал в синагоге с другими хасидами, поднимая ввысь свиток Торы, а мы этот свиток целовали), и праздник Кущей, когда мы несколько дней ели в шатрах из веток, сооруженных в нашей прихожей.

VI

После 16 июля 1942 облав стало больше, уже не щадили никого — ни женщин, ни детей, ни стариков, ни родившихся во Франции. Мы не ходили в школу, чтобы нас там не взяли. Взять могли каждого, кто носил звезду. Когда-то отец пошел в комиссариат за этими знаками позора, а мама пришила их к нашей одежде. Нас, жидов, узнавали теперь не по носу; со звездами, в последних вагонах метро (третий класс) нас было легко схватить.

В школе на улице Дудевиль меня называли на перемене «пархатой жидовкой». Однажды, к моему удивлению, Жанна Ле Савоа́ — ей тоже было лет семь — дала моему обидчику по морде. После войны мы встретились в лицее (она занималась естественными науками, я — философией, обе уже кончали), поговорили немного, прошлого я касаться не стала — я заплакала бы. Только недавно, снова ее встретив, я вспомнила ее «подвиг»; она забыла о нем начисто!

Зато она помнила, как растерялись мы и расстроились, когда осенью 1943, придя в школу, узнали, что нет Элен Гольденберг, лучшей нашей ученицы. Она была из Румынии, жила на Эмиля Дюплуа, попала в страшную облаву на стадионе Вель-д'Ив — и больше не вернулась. Кроме

того умерла Матильда Клаперман; когда взяли отца, мать не выдержала и ночью открыла газ.

Мы были во втором классе начальной школы. Учительница, мадам Фаньяр, рассказала нам об этой беде и, при тогдашнем антисемитизме, повела на похороны.

Я обожала почти всех учительниц — мадмуазель Шеврен, с которой мы пели во дворе «По воскресеньям птички лесные, птички лесные...», а после войны, когда я вернулась в школу, — мадмуазель Бордо. Но мадам Фаньяр я почитала. Она была не просто хорошей учительницей, она была хорошей женщиной, сострадательной к чужому горю.

Заслышав сирену, мы спускались в убежище и забывали о «тревоге», когда она пела с нами или рассказывала истории, даже такую жуткую, как «Гаммельнский крысолов», чтобы отвлечь нас от опасностей. Она давала уроки музыки у себя дома; и зная, как мы бедны, с меня денег не брала. Иногда она приносила мне игрушки и книжки, подарила совсем нестрашную куклу с полным набором одежд, в коричневом чемоданчике вроде бы из змеиной кожи. Квартиру опечатали, все осталось там, зато «туда, на Лаба» со мной отправились «Злоключения Жан-Поля» из Розовой библиотеки, подарок мадам Фаньяр. (Помню, я прискакала к ней, на улицу Шапель 75, то ли 77, и заорала с порога: «У меня день рождения!», а она пошла за книжкой. Она знала, как я люблю читать, я брала одну за другой книги в библиотеке и, наверное, рассказала ей, что, зачитавшись Мерлином, качалась-качалась на стуле, упала в камин, но ничего не заметила.)

Иногда она водила меня и сестер по городу и за город. Из последнего похода, в зоологический сад, мы принесли открытки, сами выбрали, Рахиль — со слоном, Аннет — с обезьяной, я — с медведем.

Когда ввели карточки, она попросила учениц приносить морковку и картошку для стариков из разрушенных кварталов.

Распределяя в школьном дворе снятое молоко и пирожные на казеине, она всегда давала мне больше, чем положено. Как-то, еще приготовишкой, я перепила молока и в классе меня вырвало, а потом пришлось постоять в углу, на коленях. Особенно я страдала от того, что мне запрещали стоять на коленях, как эти, христиане..

Когда евреи-коммунисты уговорили маму спрятаться в деревне и достали нам фальшивые карточки, мы назвались фамилией моей учительницы.

VII

Между июлем 42-го и февралем 43-го мама нас как-то прятала. Исаак («по крещению» — Жако) и маленький Иосиф были в яслях, на севере. Аннет перенесла операцию на обоих ушах, еще не окрепла, и ее увезла в Нонанкур одна еврейка, у которой был муж француз. Ей удалось найти крестьян, которые брали голодающих парижских детей (официальная версия). Рахиль, превратившаяся в Жаклин, Аарон (Анри) и я прятались под Нонанкуром, в Мервиле.

Тогда я открыла для себя деревню, домашний скот, другую еду. В школу я ходила пешком, тащилась пять километров в грубых сабо на отмороженных ногах. Преподавала нам мадам Морен. Я «с выражением» читала «Петушка», «Кошку и мышку», а дети смеялись — и жалели меня. Только в школе мне было «по себе», только там я хоть как-то справлялась с тоской о маме; все остальное время — плакала, отказывалась от еды, особенно от свинины, которую дома есть запрещали. Наверное, сама того не сознавая, я хотела добиться возвращения. И правда, Рахиль написала маме, что меня надо забрать, а то все поймут, кто мы такие. Сестра приютившей нас еврейки, Эдит, отвезла меня в Париж. Ехали ночью.

Приехали в три часа утра. Эдит боялась идти к маме — чего доброго, за нами следят. Она спросила у меня, куда можно придти без звонка ночью. Я никого не могла припомнить, кроме мадам Фаньяр. Она открыла нам; я увидела удивленное, тревожное лицо. Не упрекая меня, она попросила только не разбудить ее больную мать. Поставила чай, принесла белье, и от усталости я сразу заснула в мягком кресле.

VIII

Боялась я одного — разлуки с мамой. Года в два-три, у фонтана Сакр-Кёр, я потеряла ее из вида на несколько секунд и заревела. В три с половиной нас с семилетней Рахилью послали на лето в Берк-Плаж. Я ходила за сестрой хвостом, даже в уборную, ей приходилось играть и купаться с «маленькими». Как-то мы гонялись друг за другом в лесу. Убегать выпало ей. Я решила, что она совсем убежит, и кинулась следом. Воспитательница с перепугу схватила меня и унесла в сторонку, хотя я жутко вопила. Я потеряла сознание, очнулась в палате, прохворала до самого отъезда.

Помню Северный вокзал. Я прижалась к оконному стеклу — где же папа с мамой? Вот! Папа улыбается, я спасена. После этих событий я очень изменилась, стала плаксой, вечно сосала палец.

Приехав из Мервиля, я жила дома, в школу не ходила, зато учила маму читать и писать по-французски, у меня был букварь «Антуан и Антуанет». Кроме того мы вязали из плохой шерсти. Я заболела свинкой, сорок дней пролежала, мама была со мной целые дни.

Иногда нас навещали мамины подруги, у которых увезли мужей. Одна узнала от гадалки, что́ с ее мужем. Мы тоже пошли на улицу Шарбонье, и провидица сообщила нам, что папа в опасности. Она увидела его в пламени, среди дымящихся труб. Безрадостно возвращаясь по бульвару Орнано, мы решили для себя, что оккультные науки не так уж много открывают о тех, кто исчез без вести.

IX

Облавы участились, мама боялась держать меня при себе и снова попробовала спрятать, на сей раз — в деревне, у Соммы. Там я провела

два дня, отказываясь от еды. Мама забрала меня и решила спрятать в Париже, все же можно навещать. Приняли меня вполне милые люди. Жили они на Департеман, у них была куча книг, но продержалась я неделю. Тогда меня сунули в больницу Клода Бернара, в инфекционное отделение, да еще и в изолятор с диагнозом «скарлатина». Сиделки дали мне шерсти, чтобы я катала клубки (вместо мячика), принесли мне книг («Шалунишка Буби», «Никелированная ножка») — и я выдержала три дня. Потом меня сунули в пансион на улице Пти-Меланж. Спала я там в дортуаре, ела брюкву, поджидала маму, которая приносила мне домашние пряники на виноградном сахаре. Я мечтала, чтобы она меня забрала — и отказывалась есть свинину.

Пришлось устроить меня в детский дом для еврейских детей, там давали кошерное. Мы отправились на улицу Ламарк. Заполнив бумаги, мама ушла, но услышала на лестнице мой рев, вернулась и увела меня.

Ночью в детский дом пришло гестапо, всех детей увезли. Мама поверила в чудо и решила: что бы ни случилось, держать меня при себе.

«Случилось» скоро.

9 (?) февраля, 8 часов вечера. Мы едим на кухне овощной суп. Стучат. Входит какой-то человек. «Прячьтесь со всеми детьми, сегодня за вами придут». Больше я его не видела.

Когда возникали слухи о грядущей облаве, мы ночевали, где удастся. Помню, как-то нас приютила женщина, продававшая сухое молоко, и к нам с мамой в постель, громко мурлыча, залезла большая черная кошка. Другой раз я одна, без мамы, пряталась внизу, у аптекаря. Я его любила, он дарил нам большие яркие рекламы, таинственные и красивые. Утром мы пили с ним чай из прелестных чашечек, и он преподнес мне «Гулливера». Но чаще всего мы уходили «на улицу Лаба» к одной женщине, которая когда-то жила рядом с родителями. Однажды она увидела маму на извозчике «с очаровательными беленькими детками» и потом постоянно справлялась о нас. «Вот кто любит детей! — говорила мама. — Она-то нас пустит».

Не доев супа, толком не разобрав, что сказал незнакомец, мы поспешили к ней. От Орденэ до Лаба — одна остановка. Если идти, то по Маркадэ. Меня рвало, улица никак не кончалась.

«Знакомая» наша была дома, при сестре, больной раком желудка. Нас она оставила на ночь, угостила снежками. На ней был пеньюар: я подумала, какая она красивая, милая, нежная — и почти забыла о том, что к ней привело.

X

Туда, домой, за нами явились в полночь, шесть гестаповцев, по одному на ребенка. Увидев, что нас нет, они (рассказывала консьержка) так разъярились, что побросали мебель в окно, буквально всю. Кресла, папин диван — все было сломано.

Жили мы в бельэтаже, у нас был балкон. Сосед снизу, державший ресторанчик, помог нам в последний раз побывать «дома», войдя через балконную дверь. С тех пор я видела нашу квартиру только во сне. После войны мы не могли туда въехать, ее заняли, и пришлось, как всем «потерпевшим», ютиться в комнатках без удобств (сперва — без света, без воды, клозет во дворе и очень грязный). Район был плохой, переулок Лонглуа у Ла Шапель. Дом облюбовали бродяги и цыгане, но мы протянули там до 57-го, когда маме дали квартиру в новом районе, неподалеку от Бют-Шомон.

Итак, мы вошли с балкона и побыстрее собрались. Мама взяла несколько фотографий, серебряную посуду, какие-то мелочи. Бездомные, «в розыске», мы не знали, куда идти. Показаться с желтой звездой и то было опасно.

XI

Мы пошли на Лаба. Хозяйка приняла нас — без денег, без карточек — «пока не устроимся». Того, кто нас приютит, могли посадить и расстрелять.

Соседи любили ее, никто не настучал. В том районе было много евреев. Почти каждую ночь нас будили полицейские машины. Ну, это за нами, — думали мы. К довершению бед, Париж бомбили, ночью приходилось идти в метро или убежище, любой сосед-«коллабо» мог нас узнать и выдать.

Особенно больно мне вспоминать, как бомбили Ла Шапель. Накануне мне вырезали гланды, амбулаторно, на улице Леон. Проснувшись от взрывов, мама закутала меня в одеяло. Сидели мы в убежище всю ночь, а утром, выбравшись наружу, увидели сколько всего разрушено, почти ни одной целой квартиры! Больше всего меня напугали уцелевшие куски стен.

Мы собирались жить на Лаба недолго: прожили — всю войну. Сперва меня пытались спрятать понадежней. Хозяйка припомнила одного священника на улице Нотр-Дам-дю-Шан. Конечно, пришлось бы креститься, но ведь потом и отказаться можно. Словом, маму она убедила, и однажды, с утра, мы отправились к нему в монастырскую школу,

Хозяйка недавно потеряла сестру, была в полном трауре, и я дивилась, как светлы ее волосы, как нежны и печальны голубые глаза.

Чтобы меня подбодрить, она купила мне книжку Бернека «Друг детей». Когда они с мамой зашли к священнику, я — одна, в приемной — пыталась заинтересоваться похождениями Левретки. Тут появился священник, отец Дево — рыжебородый, грузный, в сутане, и я перепугалась, смутно чувствуя, что это уже не просто разлука с мамой.

Дверь открыта. Я кидаюсь на улицу, одна, девяти лет — бегу к метро. Говорю контролерше: «Я маму потеряла». Она пускает без билета. Доезжаю до нашей станции; никто ничего не спросил. Дрожа, взбираюсь на

пятый этаж, сажусь на ступеньку — придут же они в конце концов! Они приходят, хотя и нескоро, по меньшей мере — испуганные.

XII

Квартира была трехкомнатная, с кухонькой, без ванной, уборная — на площадке. Топили плиту дровами или углем (добывать их было все труднее), а уж она грела квартиру. Там мы и жили всю войну, а точнее — ютились. Самую лучшую комнату, где раньше жил хозяйкин сын, отдали маме. Я спала рядом, в столовой, на диване. Дальше жила Бабуля, так я ее называла, а она меня — Сюзан, потому что это имя стояло в календаре рядом с ее именем, Клер. Сперва я, вообще-то, жила у мамы, играла, читала детские книжки из застекленного шкафика, крутила глобус (абажур настольной лампы). Мама готовила мне кошерное и ходила за продуктами, несмотря на опасность.

Но Бабуля сказала, что это есть нельзя, я — зеленая, чахлая, надо менять рацион; и занялась мною. Маме опасно выходить, мне — нужно, должна же я «дышать воздухом». У детей редко спрашивали документы, а в случае чего она могла выдать меня за свою дочь.

Бабуля вдовела, сын женился, сестра умерла. В той, в иной ли мере — она «страдала нервами». Когда-то она собиралась стать певицей, но здоровье не позволило, и теперь у нее была небольшая типография. К ней ходил «друг», некий Поль, владелец книжной лавки на улице Фланар. Примерно раз в неделю он обедал у нас и оставался на ночь.

В эти дни она тщательно мазалась и одевалась. Я стелила камчатую скатерть, ставила лучший прибор и уходила к маме до утра.

Мама огорчалась, чем дальше, тем больше осуждала Бабулю, но сказать ничего не могла. Особенно мучало ее, что та «сюсюкает» со мной. Да, конечно, Бабуля обожает детей (одно время к нам ходила еще одна девочка, Жанин, а я — ревновала), подбирает и кормит кошек, и все-таки, все-таки... Зачем меня так часто обнимать? Зачем целовать и с утра, и на ночь, и при каждом удобном случае? Там, дома, у нас не было принято целовать друг друга, вообще — нежничать.

Понемногу, под влиянием Бабули, я совершенно изменилась. Она причесала меня по-новому. Обе мои сестры, к моей вящей зависти, носили длинные, распущенные волосы, да еще подвивали их на английский манер. Меня мама остригла «под мальчика», я подхватила в школе вшей. Помню, она мыла мне голову керосином, вычесывала частым гребнем. Чтобы меня развлечь, она заводила паяца, но я его пугалась, как глаз от куклы или страшных масок.

Волосы отрасли, но не вились. Бабуля закрутила мне «рожки», повязала черную бархатную ленту. Раньше я одевалась плохо, все было дареное, благотворительное, а теперь она шила мне «по мерке». Я научилась распарывать бритвой швы, и из старых вещей она сооружала кофточки с мережкой, юбочки в складку, даже пальтецо.

Привыкала я и к новой еде. Раньше я не ела мяса с кровью; дома, на Орденэ, мама часами спускала кровь, а мясо варила. Здесь, на Лаба, меня здоровья ради кормили полусырой кониной. Кормили и свининой, жарили все на лярде.

Меня часто рвало. Даже таблетки «для желудка», и те не шли. Тело боролось по мере сил с непривычным «рационом». Стряпала Бабуля прекрасно. Несмотря на карточки, она ухитрялась готовить изысканные блюда. Правда, она покупала на черном рынке, да и кузина из Сэн-Ло присылала ей масло и яйца. Я никогда так хорошо не питалась. Мы даже пекли к завтраку белые булочки — сквозь старый шелковый чулок я просеивала жуткую муку, «от которой чесоткой захвораешь».

Когда союзники высадились в Нормандии, посылки прекратились, и последние месяцы войны жилось похуже. Пришлось ходить в столовую, есть пайковый мармелад и абрикосы.

Едой и «желудком» Бабуля занималась неустанно, подмечая малейшую хворь и у себя, и у меня. От нее я узнала, почему урчит в животе, и многое другое. Медицинский словарь лежал под рукой, на особом столике в столовой, мне разрешалось его смотреть, и я с ужасом листала изображения болезней и уродств. Особенно пугали меня сиамские сестры.

Когда я хворала, Бабуля, в отличие от мамы, не теряла головы. Помню, меня усыпили хлороформом, а очнулась я на кушетке, гланды вырезали, мама с Бабулей стоят у изголовья. Я плачу от боли. Мама причитает на идиш, хочет позвать врача. Бабуля улыбается: «Ничего, будешь лед сосать». Я уже не плачу.

Мне не совсем приятно вспоминать этот день. Я все больше привязывалась к чужой женщине.

XIII

День Матери. Я беру из копилки деньги, иду на улицу Кюстин за подарками. Кажется, купила я гребень и сетку для волос; купила и две открытки — сияющее женское лицо и мать с маленьким сыном. Поколебавшись секунду, решаю подарить Бабуле лучшую, первую. Мне стыдно, я краснею прямо у прилавка. Выбрав открытку, я как бы выбрала иерархию любви.

За несколько лет до этого маршал Петэн устроил в школах конкурс на лучшее сочинение о Дне, который он только что ввел в календарь. Я оказалась в числе победителей, получила «Стрекозу и Муравья» с картинками. Сочинение я читала в каждом классе, демонстрируя приз, которым обязана человеку, восстановившему почтение к родине, труду и семье.

XIV

Нарочно ли, нечаянно, Бабуля ухитрялась отлучать меня от мамы — при маме. И от иудаизма. Она спасла нас, но у нее были свои предрассудки. От нее я узнала, что у меня еврейский нос, и щупала злосчастную

горбинку. От нее слышала: «Еврейская еда вредна здоровью»; «евреи Христа распяли»; «евреи жадные, только денежку (sic!) и любят. Правда, они умные, ни у кого нет столько великих музыкантов и мыслителей». Она называла Спинозу, Бергсона, Маркса, Эйнштейна. Именно в этом контексте услышала я впервые привычные теперь имена.

Она твердила, что я плохо воспитана — дурацких запретов слушаюсь, а правил у меня нет. «Это — нельзя», «то — можно и нужно», «то — хорошо», «это — дурно». Она взялась перевоспитать меня, переделать с головы до пят. Я писала диктовки, учила наизусть «Кота, Ласочку и Кролика». Она сердилась, что я не в ладах с десятичными дробями — это я, такая умница! Она отправлялась гулять с Жанин, прекрасно зная, что больше всего на свете я люблю наши прогулки, когда она в магазинах выдает меня за дочь. Я сидела в углу, хныкала, сосала палец; и могла просидеть так очень долго без единого слова, без еды.

Она любила кроссворды и, пользуясь толковым словарем, я быстро угналась за ней. Слушали мы и «хорошую музыку», она знакомила меня с Бетховеном, которого просто обожала. Приемник был всегда включен. Так и вижу, она стучит по дереву, чтобы спугнуть тараканов. Мы сидели допоздна, ловили «англичан». Она переводила, как могла, их сообщения. «Расцвели георгины...» — повторяю я, а она кричит: «Вот увидишь, будет бомбежка!» Я не знала, чем восхищаться, прозорливостью ее или юмором. Она часто смеялась, рассказывала анекдоты, любила «песенки».

Я просто не успевала ни скучать, ни думать толком о маме, а та сидела у себя, в нашей жизни не участвовала. Меня она обретала на то время, когда у Бабули ночевал Поль. Ужинать я с ними стала очень скоро и смущалась, не узнавая себя, стараясь получше держаться за столом.

Над буфетом повесили большую фотографию де Голля. Этот великий человек должен был спасти Францию. Когда высадились союзники, Бабуля купила карту и втыкала флажки. Когда освободили Париж, мы дошли пешком до Елисейских полей, какой-то мужчина помог мне встать на раму велосипеда, чтобы разглядеть де Голля.

Раньше, чтобы подработать, Бабуля вязала сети для противовоздушной обороны, а я налаживала челнок.

XV

Я познакомилась с ее родными, хотя общаться могла не с каждым, кое-кто смотрел косо на евреек, из-за которых так рискует их родственница. Когда они являлись на Лаба, мы тихо сидели у мамы. Зато к племяннику и племяннице я «выходила». Племянник (он же крестный сын) был студент-естественник. Бабуля его очень любила, он часто завтракал у нас. Он и сестра его, учительница, были детьми Бабулиной сестры, тоже преподававшей в школе. Жили они в Ай-ле-Роз, в маленьком домике, напротив бабушки — очень старой, седовласой дамы с та-

ким же нежным, голубым взглядом, как у Бабули. По воскресеньям мы к ним ездили завтракать в семейном кругу. Бабулины братья, Р. и К., с женами, М. и С., тоже бывали там, но с ними я почти не общалась. Я вообще робела, помалкивала, а после завтрака сидела одна в большой комнате, где было много книг. Помню, я жадно прочитала там «Рауля Добри».

Возвращались мы поздно, везли с собой розы, ирисы, георгины и варенье в баночках. Крыжовник, смородина, клубника — из бабушкиного сада.

Именно там, в Аи́, я открыла то, что называют «семейным уютом». Я удивлялась, что можно соединить столько поколений. Своих теток, дядей, кузенов, бабушек я видела только на фотографиях. Все они (или почти все) погибли в Варшавском гетто. Однажды папино письмо вернулось с пометкой: «Дом сгорел»... Из десяти папиных братьев и сестер уцелел поначалу один брат, он жил в Югославии, но потом и его расстреляли. Родные отвергли его, когда он женился на христианке, только папа остался с ним, даже жил у него два года, кажется от 16 до 18, еще до Франции. На письмах из Парижа папа обрисовывал наши маленькие ручки. Потрясенная войной и смертью мужа, тетя приняла иудаизм и с двумя детьми, Ханной и Аароном, уехала в Израиль, а там организовала «Мошав».

Рахиль, моя сестра, ездила к ней и нашла папины фото, которых у нас не осталось, увидела письма на идиш, очертания детских ручек. Мы уже забыли этот папин обычай, но тут я вспомнила, что всю войну напролет обводила свою руку.

От папиной холостой жизни осталось бурое, испорченное фото. Да́же сейчас, когда я смотрю на него, у меня сжимается сердце. Папа скрестил руки, одна хорошо видна и кажется огромной, как у Оскара Кокошки. Узнаю я папу по тому, как он улыбается и щурит глаза за очками. У него еще нет ни бороды, ни кипы. Он не знает, что его ждет.

XVI

Однажды, в воскресенье, мы, позже чем всегда, ехали из Аи́ с охапками ирисов. На последний автобус мы успели, а на метро — нет.

Пришлось идти пешком. У Гоблен я совсем устала, уже не дошла бы до Маркаде-Пуассоньер, и Бабуля решила переночевать в гостинице. Я обрадовалась, но почему-то и встревожилась.

Спали мы в одной постели. Бабуля раздевалась за большой красного дерева ширмой, а я с любопытством ждала, когда она выйдет. Дома, к удивлению и возмущению мамы, она ходила в незастегнутой пижамной кофте и мне очень нравилась ее голая грудь.

Наутро мы уехали первым метро. Мама ждала и волновалась, думая, что мы попали в полицию, а туда она, ясное дело, пойти не могла.

Я совершенно о ней забыла. Я просто радовалась.

XVII

Мама страдала молча. От папы не было ничего, поехать к детям она не могла, даже не могла помешать тому, что меня переделывают, отрывают от нее и от иудаизма. Кажется, я совсем похоронила прошлые привычки, даже полюбила кровавые бифштексы с петрушкой. Я не думала о папе, не могла сказать ни слова на идиш, хотя прекрасно понимала язык моего детства. Мало того, я боялась, что война кончится!

Однажды зазвонили хором все парижские колокола. На следующий день, чтобы посмотреть парад, мы дошли пешком до Елисейских полей. Снова появился белый хлеб, больше не надо было просеивать муку через чулок и покупать из-под полы. У нескольких наших соседок оказалась обрита голова и мы с удивлением увидели, что одна жилица, еще накануне сотрудничавшая с немцами, надела повязку с буквами Ф.В.С.[1]

Словом, Париж освободили.

Освободили и маму. Она могла, наконец, выйти, собрать детей, увидеть мужа! Она свободна, но уже нет ни денег, ни жилья. Нашу квартиру, после той ночи, занял врач, работавший с немцами; чтобы туда вернуться, пришлось бы немало хлопотать. У мамы же было чем заняться. И прежде всего — вырвать дочку из рук благодетельницы, пока ребенка не «украли» под предлогом, что маме хватит и пяти детей, а в моих интересах воспитываться здесь, на Лаба.Ту, которая спасла нам жизнь, мама ненавидела и презирала. Ни секунды под ее крышей! Лучше жить в гостинице. Разрыв, полный разрыв. Со дня на день ждала я разлуки с Бабулей, которую любила теперь больше, чем маму.

Мы поселились на улице Соль, в жалком номере, спали вместе, грели на газовой плитке еду из колбасной. Я плакала и не ела, пока мама, наконец, не согласилась отпускать меня к Бабуле «на час в день». Чтобы привыкнуть к разлуке, на час, не больше. Если я задерживалась хоть немножко, мама била меня. Удивительно, но она надеялась пронести с собой тот день, когда мы вошли в нашу квартиру с балкона...

Вскоре я вся покрылась синяками, а маму возненавидела. Жить с ней в гостинице я уже просто не могла. Мы переехали на время к маминой подруге, еврейке, которая жила далеко от улицы Лаба. Мама не разрешала мне ездить одной в метро и не пускала больше к Бабуле.

Тогда я решила убежать. Бабуля только того и хотела! Правда, по закону я должна была жить у мамы, и мама это знала. Она подала в суд Ф.В.С. (собрался он на школьном дворе). Бабулю обвиняли в том, что она пыталась «злоупотребить моим доверием», а маму обижала. Про доверие я не поняла, хотя знала, что это ложь. Я была просто оскорблена: мама клевещет на ту, которая спасла нас от смерти! И обвинила маму — показала синяки, всех разжалобила. Приютившая нас женщина, предпо-

[1] Французские Внутренние Силы (Сопротивления).

лагавшая самое худшее о жизни на Лаба, переметнулась на мою сторону и подтвердила, что мама бьет меня хлыстом.

Суд постановил отдать меня Бабуле. Через несколько минут мы с ней в маленьком кафе; она держит меня за руку, улыбается, звонит Полю: «Ну вот! Малышку отдали мне».

А мне как-то плохо, почему-то я не торжествую, не радуюсь, чувствую неуверенность.

Когда мы вышли из кафе, у меня сосало под ложечкой, было страшно. На улице я оглядывалась, словно совершила преступление, словно я опять «в розыске».

Так оно и было. На пятом этаже, у дверей стояла мама с двумя мужчинами. Они вырвали меня у Бабули, унесли на руках вниз. Мама лупила меня, вопя на идиш: «Я тебе мать, не она! Плевала я на этот суд! Ты моя!»

Я билась, орала, ревела. Но вообще-то мне стало легче.

XVIII

На обложку моей первой книги «Детство искусств» я поместила репродукцию Леонардо да Винчи, его знаменитый «лондонский холст». Две женщины, Дева Мария и святая Анна, склонились рядом над младенцем Христом, который играет с Иоанном Крестителем. Обе они улыбаются блаженной улыбкой.

Фрейд пишет: «Картина эта обобщает историю его детства; детали ее объясняются личными впечатлениями. В отцовском доме он видел только добрую мачеху, донну Альбицию, но жила там и бабушка по отцу, мона Лючия, которая, вероятно, была с ним ласкова, как почти все бабушки. Именно это породило в нем мысль о том, что ребенка охраняют мать и бабушка. [...] Детство Леонардо необычно, как эта картина. У него было две матери — родная, Катерина, у которой его забрали на четвертом году, и нежная мачеха, жена отца. Прибавив к этому то, что в отцовском доме жили и мать, и бабушка, он замыслил свою святую Анну. Материнская фигура, которая дальше от ребенка, соответствует первой, истинной матери, Катерине. Блаженной улыбкой святой Анны художник выражает ту скорбь и зависть, которую испытала эта бедная женщина, уступив сына благородной сопернице. [...] Когда на пятом году Леонардо перевезли в дом предков, молодая мачеха, Альбиция, без сомнения заняла в его сердце место Катерины».

XIX

Я очень люблю фильм Хичкока «The Lady Vanishes»[1], смотрела его много раз, и у меня живот подводит от страха, когда старенькая мисс Фрой, сидевшая в поезде напротив уснувшей героини (молодой англичанки по имени Айрис), внезапно исчезает; а уж особенно — когда на ее

[1] В русском прокате — «Леди исчезает».

месте оказывается другая женщина, которая и выдает себя за нее. Особенно жутко становится мне тогда, когда Айрис, поискав по вагонам свою спутницу, возвращается в купе, уже наполовину поверив тому, что сказал мнимый врач из Праги: у нее галлюцинации, ведь когда она садилась в поезд, она ударилась головой. Мисс Фрой, милой старушки, в поезде вообще не было, перед ней все время сидела вот эта, другая дама (которую на самом деле посадили в купе заговорщики). На мой взгляд, невозможно вынести, когда вместо доброго, материнского лица (все наводит на мысль о добром, материнском облике: горы на маленькой станции она называет «детскими чепчиками»; она всегда готова накормить — то в гостинице, где еды не хватило, угощает всех сыром, то в поезде приглашает Айрис выпить «особого» чаю в вагоне-ресторане; вообще печется об Айрис, называет себя гувернанткой, учительницей музыки), вместо материнского лица появляется другое, «заместительница» в одежде милой старушки (та же — агент Интеллинджент Сервис — лежит с кляпом во рту в другом купе, ее связали шпионы), жесткое, лживое, жуткое лицо — в тот самый миг, когда англичанка думала увидеть добрую улыбку.

Злая мать вместо доброй. Одна отслоилась от другой, одна превратилась в другую.

XX

После суда и всех этих происшествий мы с мамой снова стали жить в гостинице. К Бабуле ходить мне запретили. Но вскоре мама уехала в Нонанкур за другими детьми. Вызвали ее срочно, надо было что-то уладить, она не знала, что делать со мной, и отослала к Бабуле!

Новая наша встреча была идиллической. Мы знали, что недолго будем вместе, и горевали, но на этом фоне расцвела небывалая радость. Все это время, без малого месяц, мы спали в одной постели, чтобы не разлучаться ни днем, ни ночью. Особенно помню я первую ночь, когда я уж очень умилялась и волновалась от того, что я рядом с «ней» — мне было жарко, мне хотелось пить, я все время краснела; в общем, творилось что-то странное. Мне было бы трудно объяснить, в чем дело, я не понимала сама...

Война кончилась, я могла вернуться в школу на улице Дудевиль — и тоже радовалась. Хотя я просидела взаперти два года, я оказалась в том же классе, что мои прежние товарки — Ольга Трокачева, Симона Видаль, Женевьева Лабланш. Отметки были самые лучшие по всем предметам. Новую учительницу, мадмуазель Бордо, я просто обожала.

Школа была довольно далеко, Бабуля за мной приходила. Мы возвращались пешком, разглядывали витрины, серьезно обсуждали то и се. Никогда еще не жила я такой счастливой, полной жизнью.

Бабуля купила мне краски, гуашь, о которой я давно мечтала; у ее друга Поля мы приобрели Малый словарь Ларусса и «Рассказы» Диккенса. Она обещала купить мне куклу, или лучше пупса (я еще боялась куколь-

ных глаз, которыми нас пугала мама, когда мы не ели), но я никак не могла выбрать, так ничего и не решила.

Половина пятого. Кончились уроки. Я бегу к выходу, к Бабуле. Но ждет меня не она, ждет мама, она за мной приехала. У меня страшно бьется сердце. Ужас какой! Я даже не могу пойти на Лаба проститься.

На следующий день мы уехали в Нонанкур.

XXI

Мама рассчитывала получить от муниципалитета квартирку и какую-нибудь мебель; а пока что мы, всемером, ютились в больнице, в которой была и богодельня. Еда безвкусная, кормили там по-больничному, рано утром и рано вечером. Жили мы рядом с больными, со стариками, с карликами (помню, одного звали Карла); словом — жуть.

К счастью, была школа, а там — друзья и учительница, мадам Морен, я ее знала по прошлому приезду. И все-таки очень скоро я стала страдать. Связаться с Бабулей я никак не могла. Мама запретила писать ей, в общем — все.

А я *должна* увидеть ее любой ценой. И вот однажды после уроков я решаю не идти в больницу, а ехать автостопом до Парижа, до улицы Лаба, к Бабуле.

Мне девять с половиной лет, у меня нет денег. Машины проходят мимо. Я очень волнуюсь. Останавливается грузовик. В нем много народу.

— Что ты тут делаешь? — спрашивает кто-то.

— Я маму потеряла. Она живет в Париже. Вы меня не подвезете?

И я называю адрес Бабули, ее фамилию.

— Садись!

Меня сажают сзади на какое-то тряпье, и мы едем дальше.

Итак, я «спасена». Я и не думала, что это так просто! Просто — врать, просто — врать убедительно! До Парижа сто километров. Я спокойна, я как бы приехала.

Через шесть километров грузовик останавливается. Что такое? Сэн-Реми-сюр-Эр; жандармы! Люди из грузовика не так просты, чтобы проглотить мою «историю». На всякий пожарный случай вернее сдать меня жандармам.

Я долго жду в большой комнате. Сердце страшно бьется. Что им говорить? Что мне сделают?

Говорю я правду, два жандарма отвозят меня в больницу. Мама кричит, бьет хлыстом. И на несколько часов (или дней?) запирает в какой-то комнатке.

(На улице Орденэ, когда мы уж очень орали, ревели или спорили, она запирала нас в темной каморке[1], кладовке, угрожая, что придет «Маге-

[1] Я написала маленькую книжку и назвала ее «Камера обскура».

dewitchale»[1]. Это призрачное пугало моего детства я представляла дряхлой старушкой, которая накажет меня, увезет подальше от дома.)

XXII

Вскоре мы переехали в две комнатки (дала их мэрия) и теснились там всемером буквально друг на друге. Спали мы в одной комнате, по двое. Я подхватила краснуху и перезаразила всех, кроме Аннет, она уже болела. Помню, мы лежали в постели, мама поила нас отваром. Вообще в это время жить мне стало полегче (да и хлыст я закопала).

Болела я без перерыва. После краснухи было воспаление легких с осложнением, температура выше сорока. Я опять попала в больницу, на сей раз как больная. Положили в общую палату со старухами, которых очень раздражало, что я день и ночь плюю и кашляю. Лежала я два с половиной месяца. Бредила в жару, к тому же донимали платяные вши. Потом два месяца температура держалась 36°, и от слабости я не могла встать. Антибиотиков еще не кололи; мне давали эвкалипт, ставили банки, обертывали в простыни, и еще я пила очень много «стерилизованного» молока.

Страдала я не слишком сильно — все ж не с мамой. Женщина, прятавшая Аннет, разобралась в ситуации и помогала мне переписываться с Бабулей, которая посылала книги и марки для ответа. Кроме того меня посещали и девочки из класса, и Жаннет, она приносила книжки из библиотеки (серия «Нельсон»).

Я читала запоем все, что получала, от альманаха «Вермо» до метерлинковской «Жизни муравьев». Непонятные слова я выписывала в блокнот, потом искала в словаре. Кое-что я заучила наизусть. Помню, я написала «Hase» — «самка зайца».

Кастелянша, мадам Обо, привязалась ко мне, и, чуть оправившись, я уходила читать к ней в прачечную. У нее был сын, мой ровесник, звали его Клод. Позже я навещала ее по воскресеньям, завтракала, потом играла с Клодом в саду.

В день выписки из больницы был сельский праздник, ярмарка. Едва держась на ногах, я ходила среди тиров и лотерей, весов, автодромов, каруселей. Какой-то пожарник заметил меня и пригласил прокатиться на «повозочке».

Вернувшись к нашим, я снова пошла в школу, но ненадолго — в апреле опять свалилась. Я как раз получала аттестат и на выпускном играла главную роль в водевиле «Мадам Канюле и мадам Пикар». Кастелянша распорядилась, чтобы мне выдали старушечью одежду. Успех был полный,

---

[1] В книге «Как же выйти? (кошмар)» я ссылаюсь на этот персонаж еврейского фольклора, чье имя восходит к индоевропейскому корню «mer», связанному со смертью, особенно медленной, скажем — от удушья или в пасти людоеда.

все смеялись моим ужимкам. Гордая мама кричала: «Это моя дочь! Моя дочь!», а мне было стыдно. (Когда я кончала лицей Жюля Ферри, на выпускной пригласили родителей, у которых сын или дочь получили «с отличием». Мама уже забыла, что удерживала меня, не пуская учиться, чтобы я «трудилась», как мои братья и сестры, «носила деньги в дом», — и повторила эту сцену, а я, перед залом, хотела провалиться сквозь землю.)

Видимо, больница пошла мне на пользу. Выписавшись, я словно бы примирилась с семьей, забыла Бабулю. Через год маме надоела деревня, мы вернулись в Париж. Мэрия XVIII округа предоставила нам жилье как «пострадавшим».

XXII

Я снова ходила к Бабуле, обычно с Аннет, которая мне сочувствовала. Мама вроде бы смирилась и не вмешивалась, но вскоре снова разлучила меня с улицей Лаба, отправив с Аннет в Андэ, в профилакторий для детей, лечившихся в парижских больницах (я несколько дней лежала в детской больнице). Я исправно писала Бабуле, очень привязалась к одной сестре, мадам Навай. Когда я уезжала, мне опять было трудно расставаться.

Чтобы заново приобщить нас к иудаизму, мама послала нас в Муассак, в детский дом для тех, у кого депортировали родителей. Уклон был технический и спортивный, скауты. Там пробыла я пять лет. Целый год я уклонялась от «общественной жизни» и от религиозных служб. Потом, под влиянием Пьера В.Р., командира скаутов (я его очень любила, а он — великая честь! — пригласил меня за свой стол), я понемногу втянулась: постигла «радости» скаутской и лагерной жизни, пела в хоре, играла на флейте, пока не уронила ее из окна прямо в реку. Я снова выучила идиш, исправно молилась, соблюдала все три поста, вообще подчинялась всем запретам, как в детстве. Однако через учительниц переписывалась с Бабулей.

Довольно скоро я стала не такой, как другие: кончив среднюю школу, занялась не техникой, а словесностью, поступив в классический лицей. Он был в городе, учились там вместе мальчики и девочки. По субботам я тоже ездила туда — готовить уроки.

Библиотекарша, мадам Кон, женщина замечательная[1], оставляла мне ключ, чтобы я работала в библиотеке. Там я хоть грелась, включив электрический камин, дортуары наши не топили. Мне все больше нравилось учиться, и учителей я любила (они были молодые, только готовились к защите). Классика, мсье Барду, и математиков, Артига и Батмаля, я

[1] Позже, когда я читала «переписку» Вальтера Беньямина с Гершоном Шолемом, выяснилось, что она была близким другом Беньямина. Вот как удивительно сомкнулись две эпохи моей жизни, вроде бы ничем не связанные!

просто обожала. Училась серьезно, жадно, но и шутила. Поближе к выпуску стала сочинять такие загадки: «В чем высшая радость для математика? Как, не знаете?! Есть квадратные корни в Пифагоровых штанах». Класс хохотал.

Тогда же я подружилась с девочкой, особенно ценившей эту мою игривость. Чтобы учиться вместе с ней, я даже перепрыгнула через класс, хотя поотстала за войну и была старше других — так, спортом занималась со следующим классом. На баскетбольной площадке и познакомилась я с Моник Делрие. Мы ездили играть в соседние городишки и скоро стали неразлучны. Мне очень приятно вспоминать маленькую школу, пальмы во дворе, баскетбол — там провела я самые счастливые минуты той поры, когда жила в Мулен.

Моник давала мне учебники, я их затверживала наизусть — купить не могла, денег не было. Помню, я получила высший балл за работу по географии на тему «Ветры Эгейского моря», хотя не знала ничего — нужная страница сама собой всплыла у меня в памяти.

Дом в Мулен муассакский муниципалитет предоставил нам на десять лет, и в конце моего второго класса мы перебрались в Лаверсин, в замок Ротшильда. В тамошней школе греческого не было, пришлось вернуться на Ланглуа. Я не понимала, какой кошмар меня ожидает, как я буду жить в нищете, день за днем отстаивая право учиться. Днем я ела в лицее, но вечером, дома, осознавала, почем мой бифштекс. За столом мы страшно ссорились с мамой, я объявляла голодовки и таскала сахар.

Мама очень рано выключала у меня свет. Помню, как с фонариком, под одеялом я читаю сартровы «Пути свободы».

За два года я потеряла семь кило. К религии же совсем охладела.

Потом я получила стипендию и смогла учиться на университетских подготовительных курсах для словесников. Поселилась в общежитии, на Доктер-Бланш. Впервые в жизни была у меня своя, отдельная комната.

Бабуля уехала в Сабль-д'Олон. Летом, в каникулы, я проводила у нее целый месяц. Мы гуляли у моря, я подолгу рассказывала о новых друзьях, об Изор, которая платит за билеты в кино и в Комеди Франсэз (раек), о наших с ней спорах (есть Бог или нет) на ступеньках Люксембургского сада, с бутербродом в руке.

Поступив в Сорбонну, я жила в университетском городке. Началась совсем другая жизнь. Несколько лет я с Бабулей не общалась — я не вынесла бы бесконечных напоминаний о прошлом, всех этих «заинек» и «птичек».

Потом я навещала ее, обычно — не одна.

Умерла она не так давно, в доме престарелых. Совсем беспомощная, полуслепая, она слушала «хорошую музыку» и напевала мне по телефону отрывки из Бетховена.

На похороны я пойти не смогла; но знаю, что священник вспомнил над ее могилой, как во время войны она спасла еврейскую девочку.

Марк ХАРИТОНОВ

УЧАСТЬ*

В 1995 году Илье Янкелевичу Габаю (1935—1973) — поэту, правозащитнику, педагогу, исполнилось бы 60 лет. В 1969 году он был осужден за правозащитную деятельность на три года заключения и вскоре после освобождения из лагеря, 20 октября 1973 г., покончил с собой, выбросившись с одиннадцатого этажа.

В кругу правозащитников — и не только в нем — Габай пользовался совершенно особым авторитетом. Для многих он был — и остается до сих пор — своего рода нравственным эталоном. В каком-то смысле сама его судьба оказалась олицетворением и высочайшего взлета, и драмы правозащитного движения, а может быть, вообще драмы своего времени.

Поэт Давид Самойлов когда-то назвал Илью Габая «праведником» — то есть, в его понимании, человеком, который (в отличие от «правдолюбцев» и «правдоискателей») собственной жизнью утверждает представление о высших ценностях. Скульптор Вадим Сидур, поставивший памятник на могиле Габая в Баку, в своих дневниковых записях поминает «святого Илью». Конечно, многое, что тогда осмысливалось каждым из нас впервые, теперь стало общим достоянием; но, думается, и в наши непростые дни рассказ о жизни и творчестве этого незаурядного человека способен многое сказать читателю.

Творчество Ильи Габая до самых последних лет оставалось почти неизвестным. При жизни он не печатался. После его смерти были изданы три книги: «Посох» (М., 1990), «Стихи. Публицистика. Письма. Воспоминания» (Иерусалим, 1990), «Выбранные места» (М., 1994). Некоторые стихи совсем недавно вошли в известную антологию «Строфы века».

Марк ХАРИТОНОВ — родился в 1937 году в г.Житомире (Украина). Окончил историко-филологический факультет Московского государственного пединститута. Романы, повести, рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Знамя». Автор нескольких книг. Лауреат Букеровской премии 1992 года за роман «Линии судьбы, или Сундучок Миклашевича». Живет в Москве.

---

* Журнальный вариант. Из неопубликованной книги «Способ существования».

В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи — и заново открывшегося слуха впервые коснулась пророческая их пронзительность.

Я ощутил до богооткровенья,
Что я погиб. Что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут.

Это написано за пять с лишним лет до гибели, но лишь после нее прозвучало вдруг во всей подлинности, в обнаженности души — исповедь и объяснение, горестное и скорбное. «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят правеж безжалостность и жадность, ложь и вошь», — слова, многими произносимые в худую минуту искренне и все же риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.

О.Мандельштам говорит о смерти художника как о «телеологической причине», высшем акте его творчества, как о последнем, заключительном звене в цепи его творческих достижений.

Не знаю, ко всем ли можно отнести эти слова, но я вспоминаю их, когда думаю о судьбе и творчестве Габая.

Как немыслим был для него разрыв, зазор между стихами и жизнью, так не оказалось его между стихами и смертью.

В марте 1971 года он писал мне из Кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов».

Стихи всегда о главном для него, а по сути — единственном: о трагическом самоощущении человека, обнаженная душа которого воспринимает, как свои, все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в разорванном, невоссоединимом мире.

Значит, должен я выискать место
В этом крошеве местей и свар?
По какому наитью? Родства?
Но, сударыня, что за родство
С задохнувшейся речью пророка
У ублюдка, не пасшего стад?
Значит, должен я выискать место?
По какому наитию? Чести?
Но откуда ж мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Однако именно потому, что стихи всегда о главном и единственном, Габай как личность не сполна выражается и уж во всяком случае не исчерпывается в них. Стихи для него могли быть лишь этапом душевного поиска, событием и возникали редко. Его складу предельно чужд был принцип «Ни дня без строчки», чужда фиксация впечатлений, мыслей и

состояний. Дневников он никогда не вел, хотя на моей памяти несколько раз, казалось, загорался этой идеей.

И все же в стихах, в прозаических отрывках читаются не только события внутренней жизни, но и пунктир внешних обстоятельств, отзвуки биографии: сиротское детство, армия, студенческая пора, казахстанская целина, учительство в алтайской деревне, тюрьма, лагерь — судьба [...]

* * *

Мы одно время наведывались в мастерскую замечательного, еще не оцененного до сих пор художника Бориса Петровича Чернышева. Это был удивительно красивый старик, мало, казалось, тяготившийся внешними обстоятельствами жизни. В своем трепаном пальтишке, ободранной ушанке, с неотмываемо-черными, красневшими без рукавиц на морозе пальцами он напоминал бы деревенского нищего — если бы не одухотворенное, исполненное значительности лицо с невыцветшей голубизной глаз. Я написал о нем в другом месте; встречи с ним вызывали у меня, среди прочего, мысль, что все-таки есть на свете высшая справедливость, и по какому-то закону, не в пример обрюзгшей, бесплодной старости официальных знаменитостей, этот человек с годами становился лишь просветленней, до последних месяцев наращивая творческую силу. Во всяком случае, мне казалось, что старик достоин скорей восхищения, чем жалости — чувства, которое прежде всего пронзило Илью при встрече с ним.

— Это не жалость, а горечь, как ты не понимаешь, — с горячностью возражал он. — Меня просто резануло вот тут, у горла, когда мы принесли колбасу, а он сказал: очень кстати, я сегодня с утра ничего не ел. А был уже вечер. Это величайшая несправедливость, когда такой старичок весь день ничего не ест, а в мастерской у него сокровища на сотни тысяч. Это социальная несправедливость. То, что ты говоришь, — абстрактные, ницшеанские штучки. Прости меня, но ты в этом отношении всегда был немного толстокож. А я знаю, что значит целый день не есть... Да пусть даже и жалость, это самое естественное чувство. Что за глупые горьковские штучки: не унижать человека жалостью. Когда я вижу этого старика, который тоненькими ручками ворочает такие тяжести и целый день ничего не ест, мне стыдно за себя, за то, что я после шашлычной отрыжки пишу стихи о правдоискательстве. Поэтому я и не пишу последнее время. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Нужно моральное право писать некоторые вещи [...]

Была ли толика сентиментальности в его сердечной незащищенности и доброте? Он сам признавал за собой такую слабость. «Я, конечно же, не чужд, как тебе известно, некоторых сентиментальных черт» (письмо 12.10.1970). Может, точней было бы здесь русское слово «чувствительность» — способность ощущать ком у горла от жалости и сострадания.

Этим свойством был наделен глубоко чтимый им Радищев — с душой, уязвленной «страданием человечества».

Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью —

писал он в юношеском стихотворении «Чужое горе» (1957); и в этих строках — нравственная основа всей его дальнейшей жизни, всей общественной его активности. Здесь словно заклинание от душевной глухоты и слепоты. Для него незаживающим укором совести была память о том, что совершалось рядом с ним и на что у него открылись глаза непозволительно, не по возрасту запоздало.

Своей беды нам ворон не накличет,
Беда других — ничтожна и мала...
Наверно, от такого безразличья
И повелись преступные дела.

В нашей действительности, в общем-то, можно устроиться обособленно, находя свое достоинство в позиции неучастия, уклонения, даже гордясь способностью поступиться известными выгодами; не всем, но некоторым, «счастливцам праздным», доступно даже свести до минимума столкновение с подлыми сторонами жизни, ограничить общение избранным кругом и не слишком жаловаться на свой опыт.

«*Ваши* права когда-нибудь нарушались?» — уличал меня как-то следователь в Лефортове, изображая возмущение моей подписью под текстом, где говорилось о нарушении гражданских прав; и, представьте, в первый момент мысль заработала в подсказанном направлении, я с неловкостью стал припоминать: вроде бы нет... зачем же я так?

Да хоть бы и нарушались! Мало ли приходится переносить самых разных обид и невзгод! Ты можешь относиться к жизни стоически и философски, принять неизбежность всех противоречивых ее элементов, горечь, поражение, боль, смерть, признать разумность действительного и найти опору в самом трудном и даже трагическом знании.

Но вот страдаешь не ты, а некто близкий тебе, не всегда склонный и способный к возвышенному философствованию; он страдает и хочет вырваться из своей боли. Ты скажешь ему, что заранее уверен в своем бессилии помочь? что сам страдаешь от своего бессилия? что этим возвысишься?..

Как много складных этических систем рушится, когда нужно перенести добытое знание с себя на другого. Чужие жизни и судьбы зависят от нас больше и иначе, чем нам хотелось бы знать. Быть может, самое трудное даже в самопожертвовании — сознание, каким горем это обернется для твоих близких.

Габай всегда настаивал, что каждый вправе рисковать только собой; на всех допросах его первым правилом было говорить только о себе, но других имен не касаться. Как непросто это было в реальности, как часто

сказанное о себе было уже сказанным о других! профессиональные ловцы душ знали это по роду службы. Слишком все переплетено. Даже в самых, казалось бы, обыденных житейских обстоятельствах не все определялось твоими добрыми намерениями. Забота о страдающих дальних, увы, бывала за счет ближних, семьи, например — уж в этой сфере отношений куда как много тупиковых закоулков...

Сам Габай был слишком сложен и неоднозначен, чтобы укладываться даже в собственные свои представления. Он слишком навидался изнанки жизни, чтобы быть благостным: в колонии для несовершеннолетних, где работал воспитателем, в армии, в глухой деревне, на целине; о позднем тюремном и лагерном опыте не говорю. Он не был домашним сентиментальным мечтателем. Это был сильный человек; я бы не назвал его и физически слабым, хотя он был начисто чужд спортивных добродетелей [...]

– В феврале 1971 года он писал из лагеря, отвечая на какое-то мое размышление о теме «маленьких людей»: «Быть может, во всей мешанине современных литературных перипетий это самая надежная, если не единственная пристань гуманизма — при скомпрометированности героической симфонии... Все-таки возвращаются на круги своя болевые ощущения XIX века. Рад, что мы с тобой оказались в конце концов при одном истоке. Ежели это даже и разбитое корыто — ну и пусть; стало быть, все прочие дары государыни-рыбки следует почтительно вернуть людям с иной кожей: не про нас».

* * *

Летом 1964 года Габай рассказывал мне, как ввязался в спор с Эренбургом на каком-то вечере в ЦДЛ. Его разозлили пренебрежительные рассуждения Эренбурга об инфантилизме современной литературной молодежи по сравнению с прежней.

Я усмехался. Сам-то я, конечно, казался себе достаточно зрелым. Еще два года, год назад — неловко вспомнить, каким был дураком, но сейчас, в каждый данный момент — отнюдь. Пока не взбирался на следующую ступеньку.

Давние записи выдают меня с головой мне же самому. По многим статьям уровень наш бывал постыдным для не столь уж невинного возраста. Да вот вопрос: не скажу ли я чего-нибудь сходного через год-другой и об этих вот, нынешних своих откровениях? По опыту не станешь зарекаться. Всякое понимание, знание с годами углубляется — должно углубляться; в каком-то смысле зрелость, может, вообще недостижима. Но это знание и незнание, зрелость и незрелость вместе образуют некоторую целостность, существуют внутри нее, мы чувствуем ее всегда; отсюда в каждом возрасте оправданное ощущение полноты бытия. Юность вообще можно воспринять как недоразвитость — но какая тут правда? Мне бы хотелось саму незрелость нашу увидеть внутри этой целостности.

Что — уровень! Откуда ему было взяться у школьников зябкой, с приморозками, поры? Школьная теплица сквозь пыльные стекла пропускала свет убогий; стоит удивляться скорей, что все-таки росли — с задержками, с искажениями, но и с какими-то свойствами, не предусмотренными селекционерами. Бывало по-разному, и стоит, наверно, ограничить это «мы» тем общим, что сближало внутри поколения нас, мальчиков из семей, интеллигентных настолько, чтобы заложить в детях понятия, дающие прививку от хамства (не всегда ее хватает на всю жизнь — всякая прививка нуждается в подкреплении), чтобы подчас нелегкой ценой позаботиться об их образовании, передав в наследство собственные, чаще всего неосуществленные мечты — но редко присовокупляя к этому наследству не то что библиотеку — книжный шкаф; наши первые этажерки заполняли мы сами в меру своих возможностей и разумения, постепенно и не без вреда для здоровья учась отплевывать шелуху от зерен, но сперва заглатывая все: благородную классику вместе с наползавшим чтивом, газетами, радиопередачами, ждановскими докладами, внутри которых только и существовала для нас, например, Ахматова. А скольких не существовало!

И все же абстрактные, общие основы, формировавшиеся в нас неравноценной и неполноценной духовной пищей, содержали в себе зерно благородное и доброкачественное. Проблема состояла в том, как соотнести эти основы со все более открывавшейся нам реальностью.

— Я помню, — рассказывал однажды Илья, — когда мне было семнадцать лет, я шел по улице и думал: как хорошо, что я живу в Советском Союзе, а не в Америке, где линчуют, что я могу в этом году поступить в институт, если захочу. Вообще было чувство такой уверенности. А ведь прошло уже дело врачей, и семнадцать лет, что ни говори — возраст [...]

Несовпадение внушенных абстракций с реальностью могло порождать, конечно, и лицемерие, и цинизм; бывало по-разному. Наверное, тут можно говорить о некой предрасположенности: она определяется, среди прочего, душевной организацией, той самой совестливой чувствительностью, болевой обнаженностью и не в последнюю очередь — глубиной, требовательностью ума, не склонного удовлетвориться полуправдой, подделкой. Эта глубина неотделима от честности (как и мужества); она ее мера. Основу жизненной цельности дает способность к душевному поиску; потребность же в нем для нас особенно была задана временем.

Обозначенная 1956 годом ломка была ломкой не столько понятий, сколько понимания, сменой ориентиров, но не критериев. Сколько представлений сдвигалось, сколько репутаций переворачивалось, сколько рушилось кумиров, сколько имен всплывало из небытия! Эпоха наделяла нас новым сознанием вместе с чувством соучастия в ужасах, о которых былые века не слыхивали. Для поколения тогдашних 16—22-летних это особенно много определило в будущей жизни. Более старшие успели сформироваться другим опытом, более младшие не знали столь крутой

ломки. Во всем есть своя сила и слабость; блажен обеспеченный наследством от рождения; но есть свое достоинство и в том, что добыто с духовным напряжением — прежде всего, повторяю, само это напряжение.

Жизнь Габая представляется мне историей некоего сквозного поиска, запечатленного в стихах, и суть этого поиска важней, чем любой обособленный промежуточный вывод. Я не случайно ставлю даты, цитируя его высказывания и стихи. Мысли, которые сейчас кажутся нам привычными, естественными, даже тривиальными, далеко не всегда были такими; надо воздать должное тем, кто пробивал ступеньки.

Когда, не видевшись несколько месяцев, мы, бывало, встречались и заводили долгие разговоры, удивительно было ощущение, как параллельно развивались наши мысли. Параллельность не означала, конечно, совпадения: иные его фразы мне казалось не обязательно дослушивать до конца, я уже понимал с полуслова и мог бы закончить за него. Но он продолжал, и конец фразы оказывался не совсем таким, как я предполагал. Ощущение сходства, может, возникало отчасти от не дослушанных до конца фраз. И все-таки в существенном сходство было. Наша близость порождалась не только личными свойствами — слишком много в характерах, в проблемах, в направлении умов было задано временем. Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько мы участники потока — как не чувствуем, что несемся вместе с Землей сквозь Вселенную.

Общность порождалась в чтении одновременно доходивших книг, в обсуждениях и спорах, от которых Габай никогда не уклонялся, ввязывался горячо, всерьез, часто один против многих — они ему непросто давались. Иногда потом, уже поздней ночью, он отправлялся бродить один по улицам, чтобы придти в себя. Эти встречи, обсуждения и споры вспоминаются как первая примета той поры...

Мы выходим вместе на улицу, мокрую от дождя. Немного навеселе, запеваем «Гренадеров». Впереди, приплясывая с гитарой, Юлик Ким. Заглянули к кому-то еще, соблазненные возможностью выпить, читаем стихи, и я, помнится, как-то подумал, что нас вот таких можно заснять для фильма о современной молодежи... Да, мы как раз зашли к артисту, исполнявшему заглавную роль в фильме «Застава Ильича». Примерно то же почувствовал, видимо, Ким:

— Ну, что, похожи мы сейчас на современную молодежь, которую показывают у вас в кино? — спросил он.

Фильма мы тогда еще не видели.

Но, как уже говорилось, время определяло далеко не все, и речь о «нашем» поколении следует, видно, ограничить сравнительно небольшим кругом близких по типу людей. Слишком далеко расходились пути моих сверстников. Дожив до некоторого возраста, успеваешь увидеть разные метаморфозы. Для притчевой наглядности упомяну, как на одном из позднейших допросов собеседником Габая оказался его бывший сосед по студенческому общежитию. Я знал не его одного, облюбовавшего эту стезю. Два бывших однокашника по разные стороны следовательского

стола — картинка, впрочем, не новая для нашей истории. Тут можно бы подробней порассуждать о внешних обстоятельствах и внутренних причинах, которые определяли пути; но и эти рассуждения вряд ли будут новы. Скажу лишь об одном: на многих жизненных поворотах меня поддерживала и остерегала близость с Ильей, всегдашняя оглядка на него в работе, мыслях, решениях: «Что бы он сказал об этом?» Я думаю так и сейчас, когда пишу эти страницы.

* * *

Недавно я очередной раз услышал знакомое застольное рассуждение о том, что политикой надо заниматься профессионально. Когда художники ввязываются в политику, это выходит непрофессионально.

А можно ли жить профессионально? Политикой ли занимался Габай?

Но откуда мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Он мыслил не политически — для этого слишком мало в его действиях было заботы о победном результате.

— Мы чистоплюи, — усмехнулся он как-то в разговоре, — мы не согласимся ни на какой политический пост — чтобы не пачкать рук.

И в своем последнем слове на суде в 1970 году, ярком, страстном, умном слове, которое, надеюсь, когда-нибудь войдет в хрестоматии по истории нашей общественной мысли, по праву мог заявить: «Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие».

Исходным мотивом его действий, как уже говорилось, всегда был непосредственный нравственный импульс:

Ах, слава богу, мы не Робеспьеры,
Но почему должны терпеть мы стыд?
(1968)

Как-то осенью 1963 года в кругу друзей зашел разговор о слабости любой положительной программы.

— Это вредная теория, — вспылил Габай. — Из нее следует, что ничего не нужно делать, что если мы сволочи, то не потому, что мы сволочи, а потому что мир такой. Какая положительная программа была у Радищева?.. Можно и нужно бороться не только за что-то, но и против чего-то. Если мы чего-то не делаем, то потому, что мы трусы. И ты трус, и я трус. Потому что мы больше всего заботимся, как бы не потерять стул из-под задницы. Из всех вас я, пожалуй, наиболее способен наделать глупостей. Вся беда в том, что мы слишком себя любим, слишком себя уважаем. Мы боимся даже показаться смешными...

Он действительно способен был натворить глупостей, мальчишеских, не по возрасту нелепых. Например, швырнуть камень в окно дома на Лубянке. Потребность действия не находила еще адекватного выхода, и

если что останавливало, удерживало от многих небезобидных выходок, которые могли плохо кончиться, так это та самая боязнь оказаться смешным — существенный элемент его мироощущения.

Любимым героем Габая всю жизнь был Дон Кихот. Он говорил мне об этом в первый год нашего знакомства и верность «священному донкихотству» сохранил до конца.

— Чем больше перечитываю эту книгу, тем лучше вижу ее слабости как романа и тем сильней чувствую величие образа.

Помнится, в ходе одного из споров о смысле и бессмысленности отчаянного порыва, единственным результатом которого может быть тюрьма, Илья воскликнул с искренней тоской:

— Да поймите, нам, может, очень надо за что-нибудь посидеть в тюрьме!

— Ты не знаешь, что это такое, — усмехнулся в ответ Петр Якир. — Тюрьма ломает. Мне-то ничего, я привычный. Я попаду в тюрьму, возьму свою пайку и песни стану петь (запись 20.10.1963). Увы, он ошибся лишь отчасти.

Сделай меня смелым,
Чтоб не бояться смеха,
Смелости дай, Всевышний,
Смелости быть нищим! —

писал Габай в отрывке, впоследствии исключенном из «Книги Иова».

Его тяготило чувство неполноценно текущего времени. «И что самое обидное, с ума от такого образа жизни отнюдь не сойдешь»,— писал он мне с Алтая 7.11.1962, посылая стихи, где предъявлялся горький счет самому себе — «за то, что так бесславно жил, что жил — не рвал, не знал сожженья». Он тосковал о подлинности, вспоминая в «Книге Иова» очередной ушедший год —

год не невзгод — когда б невзгод!
год ощущенья: загостился...
Он даже шел на срыв, на слом,
но это было той же ложью,
как смелость тени — под подошвой,
как стойкость радуг — под веслом.

Прекрасный образ иллюзорной жизни, мнимой смелости. Не умышленный поиск невзгод, а требование неподдельной судьбы.

В 1963 году мы затеяли сочинять с ним совместный роман; каждый в рамках общего сюжета должен был вести свою «партию», своих героев. В этом незаконченном, а верней сказать, ненаписанном романе есть «малоназидательная сказочка», принадлежащая перу Габая.

«Человек некий вообразил себя богоборцем, предстал он перед светлыя очи и сказал: «Бог, тебя нет, и я тебя знать не знаю». — «Недосуг мне, — сказал Господь, — некогда мне с тобой валандаться, и, вообще,

время у нас сейчас такое, умеренное. Валяй, богоборствуй». И пошел Человек, и стал кричать: «Бога нет, он мне сам об этом сказал»... Так витийствовал он некоторое время, и с платы за собрания построил себе рай не рай, но уютную-таки жизнь. И очень эта уютная жизнь тяготила Человека... Чем пуще он гневил Бога, тем лучше ему жилось на земле. И взмолился он: «Накажи меня, покарай, а то люди на меня пальцами показывают, что я со своего богоборчества, со своей богоненависти себе жизнь хорошую устроил». — «Вот уж это — хрен тебе, — так сказал Бог, — это уж ты у меня не проси. Я вас, блудных, хорошо знаю... Все вы блудите с твердым расчетом на тельца, всем вам, блудным, для успокоения совести вашей, суетной и тщеславной, страдания нужны и испытания, в рубище походить хочется... А ты у меня не страданием, а жиром помучаешься, не жертвой, а жратвой будешь обставлять свои исступления... Шиш тебя в конце ожидает вот такой, и, кроме шиша, нечего тебе будет вспомнить»...

Нет, он не принадлежал к прирожденным, умелым бойцам, уверенно, хоть и с риском нацеленным на победу; у них своя честь. И своя — у тех, кто предчувствует, что для людей, не претендующих на власть, в столкновении с властью нет победы, кроме моральной. Возможно, что это не более трагично, чем жить, заведомо предвидя смерть. Но рождаться нам или нет, мы не выбираем. Впрочем, может, и нравственный императив, а с ним и жизненный выбор, определен человеческим устройством больше, чем мы думаем — когда человек чувствует, что просто не может иначе:

Но ты отмечен свыше: ты помечен
Обязанностью к действиям вотще.

Чем были бы мы без таких людей?

Я не верю в любовь к мятежам: так создается зло —

писал Габай в лагерной поэме, —

и не верю в право уклоняться от мятежа: так допускается зло,
я не верю в возможность ответить на вопросы души
и в право души не задавать их.

Это — как бы отрицательный синтез темы: речь о непозволительном, о невозможности однозначного решения. Есть ли синтез положительный? Во что верит автор? «На что я надеюсь?» — спрашивает себя Габай — и отвечает:

...что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой. Участь.

* * *

Я пишу о личности и судьбе Ильи Габая, следуя за его стихами, и чувствую, как поневоле складывается образ человека, жившего в силовом

поле одной думы, одного комплекса проблем. В его поэзии нет гармонической широты, но есть напряженность и глубина страсти. Вдохновение всегда выше поэта, но и человек не укладывается весь в свои создания. Я уже говорил, что по многим причинам к Габаю это относится особенно.

Возможно ли по стихам составить представление о его остроумии, живости, обаянии? [...] В последние годы, особенно после лагеря, веселость все больше оставляла его. Он способен был, как прежде, шутить и дурачиться — но именно, как прежде; была в этом инерция, воспоминание, отголосок, уже чуть дребезжащий, словно лопнул на струне волосок или сама струна ослабла. Легкие минуты, литературные разговоры становились все менее обязательными — мысль и душа его схвачены были другим.[...]

Стихи Габая — вечное самоопровержение, за и против, вечное «ясно — не ясно», словно две половинки собственного существа не в ладах одна с другой. Случалось, я запоминал иные его понравившиеся мне суждения и время спустя повторял их в разговоре. Габай почти всегда опровергал их, забыв, что опровергает собственную недавнюю мысль.

Он был слишком глубок, чтобы всякий раз не видеть другой стороны истины, слишком честен, чтобы удовлетвориться компромиссом. Ни одна мысль или тезис не становятся у него окончательными, не выражают сполна того, что он хочет сказать. Отсюда всегдашнее тяготение к большим поэмам с бесконечным, открытым варьированием мотивов; в кратком стихе не всегда удавалось быть цельным. В ноябре 1970 года он впервые писал мне из лагеря о замысле «Выбранных мест» — опять, по его словам, «попытки углубления вечных (для меня) тем, спора с самим собой, но боюсь, что каждый раз и теза, и антитеза будет слишком категорична — и потому схематична» (29.11.1970). Некоторые главки поэмы он присылал в письмах — и следом жалел об этом, боялся, что фрагмент будет неверно понят: «без контекста, без оспаривания и опровержения чего-то высказанного (так у меня построено) буду понят неполно и превратно» (25.1.1971).

Это относится ко всему, что он писал. Как бы выразительны, порой афористичны ни были отдельные его строки, как бы содержательны и интересны ни были отдельные его мысли — цитированные отдельно, вне контекста всего его творчества, его жизни и смерти, они могут создать неточное, иной раз даже превратное представление о его целостной сути. В какой-то мере это верно для всех, но для Габая с его противоречивым и напряженным миром — особо. Я никогда не мог воспринимать его стихи отдельно от всего, что знал о нем, что неразрывно связано не только с его, но и с моей жизнью. Мне бы хотелось, чтобы так же перечли их и другие.

Стихи его — своего рода свод противоречивых раздумий, вопросов, которые на разный лад задает себе в наше время и в наших условиях душа совестливого и мыслящего человека. Но ответа они не дают. Меньше всего его поэзия способна дать уверенность и основу для самоутверждения. И

все же она служит уверенности, показывая читателю, что он не один в своих сомнениях и поисках. Она расшатывает самодовольство, половинчатую мудрость.

Счет его к самому себе труден — соразмерял ли он посильность своей ноши?

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,
Издерганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Бог — любить такого бога.
И быть, как он, — не приведи вас Бог...

Но божьего величия — карать
Не пожелаю ближнему: не смею
Желать ему таких шахсей-вахсеев.
Не дай вам Бог — как Бог себя карать.

Чтобы быть нетрагичным в трагической действительности, надо либо обладать известной степенью толстокожести и поверхностности, либо возвыситься до некоего надличного представления о мире, как о вечном и неизбежном круговороте жизни и смерти, радости и страданий — представления, не знающего ни страха перед миром, ни отрицания, ни оправдания его. Крушение отдельной человеческой судьбы выглядит тогда частной дисгармонией внутри гармонического целого; ценность ее относительна, все происходящее имеет свой смысл, и даже предательство Иуды служит вящей славе Христа. Такая мудрая примиренность с судьбой тоже не дается без потерь. Страсть, любовь порождены напряжением, которое говорит об утрате целостности; не всякому дано прорваться к гармонии через напряжение и разрыв, можно считать целостностью и отсутствие страсти, неспособность к истовому жизненному поиску. Возможно самодовольство, самолюбование в трагизме; искусство нередко служит зеркалом такого самолюбования. Это мироощущение заведомо отказывается от поисков выхода, считая его иллюзорным, зато находит нравственно сомнительное утешение в чувстве превосходства над другими, не способными к столь героической позиции. Этот аристократический эстетизм высокомерен и лишен любви; он знает лишь о своем страдании.

У Габая нет примирения с жизненным трагизмом, приятия его, столь близкого равнодушию. Терпя в своем поиске поражение за поражением, он не отказывается от него — он не верит в право души не искать выхода из противоречий:

Свести — но воедино как свести?
Ищи рубеж — но где его найти?..

Он так и не сумел свести воедино своего трагически-разорванного мира. Тот, кто считает, что ему это удалось, пусть спросит себя: какой ценой? [...]

* * *

Мне казалось, что его отношение к поэзии связано с определенной духовной традицией пророков, людей, которые не занимались «литературным трудом», а жили неотделимо от своих слов, и слова эти были самовыражением, но не самореализацией профессионалов:

Не светлые и робкие стихи,
А боговдохновенные призывы.

Они жгли сердца — разжигая от своего собственного. Они размышляли, предостерегали, звали, обличали, скорбели, переливая душу в дымящиеся строки:

Но потому что смысла в слове нет,
А правда только в стоне, крике, кличе.

Такую душевную слитность со своим словом-стоном нельзя долго вынести безболезненно. Профессиональное самосохранение требует некоторой отчужденности от материала; искусство всегда немного игра, полагающаяся на мастерство и технику — не может же актер умирать вместе со своим героем. Речь пророков была не игра и не работа с поэтическим материалом, а смертельно серьезная жизнь людей великой страсти.

Оченью 1971 года я писал ему в лагерь о некоторых мыслях на эту тему, вызванных одной появившейся в ту пору статьей С.Аверинцева. Мне казалось применимым к стихам Габая проведенное этим филологом последовательное сопоставление «литературы» в классически-греческом понимании и ближневосточной, прежде всего библейской традиции. Литература, «связанная с жизнью», самим этим сочетанием противопоставлялась жизни как самозаконная и самоценная форма человеческой деятельности. Она допускала и требовала рефлексии над своими специфическими результатами в виде поэтики, теории литературы, критики. Библейская поэзия была чужда профессиональной самооценке. Она пребывала внутри жизни и создавалась людьми, которые по своему общественному самоопределению не были литераторами и не заботились сознательно о создании литературного шедевра, о том, чтобы запечатлеть мир и себя со стороны, объективно, для будущего. Здесь нет дистанции между «я» и «не я», стихия боли захватывает и автора, и читателя, превращая их не в слушателей или зрителей, но в соучастников. [...]

В противопоставлении этом нет оценки: что выше, что ниже; условность термина «литература» применительно именно к греческой традиции вовсе не отлучает традицию иную от литературы в более широком понимании. Мне казалось даже, что это близко подходу самого Габая к своим стихам. Не помню, в каких выражениях я высказал все это в тогдашнем письме; вероятно, неточность слов или разная настроенность мысли вызвали непонимание — в письмах, где нет возможности, как в

разговоре, тотчас уточнить сказанное, это случалось нередко; но я был изрядно озадачен суровой отповедью, которую получил в ответ. Видимо, сопоставление мое задело его за живое больше и иначе, нежели я мог предполагать. «Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос рассерженного человека» (3.10.1971), — полушутливой цитатой смягчал он впоследствии свои слова; но в первый момент ему все-таки почудилась в моих (по Аверинцеву) размышлениях попытка объявить «не литературой» кровно близкое ему.

«В самом деле, почему речи Демосфена или Цицерона — литература, а речи Исайи или Иеремии — нет? Потому что Исайя не набирал камней в рот?.. Наиболее убедительное место у Аверинцева — о дилетантах, пропускающих у Гомера описательную часть. Я, конечно, меньше, чем дилетант; может быть, в оригинале это действительно перлы поэзии, но мне кажется описание щита или хозяйства малолитературным: так, метафорическим, окололитературным источником по истории материальной культуры. И наоборот, событийный ряд, об интересе к которому Аверинцев отзывается пренебрежительно, глубоко интересен, так как он содержит исконный намек на «почву и судьбу» и на характеры. Гекуба, Пенелопа, Гектор, Парис, Аякс — это все-таки, вопреки умному и парадоксальному утверждению Аверинцева, и есть главное (для дилетантов, конечно, для дилетантов; но мы все, действительно, в гимназиях не учились и в древнегреческом не сильны). Как и Юдифь, Самсон с Далилой, Иосиф, Моисей и Аарон и пр. ... Обращенность к духовному, внутренняя ассоциативность Библии куда современнее (и «литературнее») гомеровских поэм». Греческая традиция, утверждал он дальше, оказала больше влияния на живопись, скульптуру, архитектуру, чем на литературу. «Исключение — драматургия, самая сильная сторона греческой литературы», где звучит «исконное ощущение человеком своего трагического, потерянного существования. У иудеев не было поэтики; может, это их сила: известно, чем могут стать каноны Аристотеля—Буало — эстетических отношений к действительности... Словом, по-моему, ты неправильно понял «нелитературность» библейской традиции; я уверен, что вопреки изученному в школе, она куда сильнее, чем хрестоматийная греческая традиция: не случайно же Достоевского неплохо читать параллельно с Библией... Если... иудейскую «нелитературность» ты распространяешь на все, мною написанное, то это очень грустно — для моих стихов, разумеется» (15.9.1971) [...]

* * *

Живший в сиротстве, по сути без родных и дома, Илья всю теплоту свою обращал на друзей. Это было для него одной из главных ценностей. Он был всегда верен небольшой компании, сложившейся у нас году к 1960-му; состав ее видоизменялся, отстаивался, но сохранившиеся связи были особенно дороги.

Мы, помнится, любили шутя заглядывать в будущее: что станет с нами, с нашими детьми, которых тогда мало кто имел. Так же шутя обсуждали проект поселиться всем в одном доме, вести общее хозяйство, самим учить детей — среди нас нашлись бы педагоги всех специальностей.

— А раз в год, — увлекался Илья, — мы бы освобождали одного из нас месяца на три работать, писать. Потом он бы отчитывался перед всеми, что сделал. Каждую неделю мы бы обсуждали друг друга. А посторонних бы никого не пускали.

Но доходило до житейских подробностей, и, пофантазировав, мы признавались, что долго совместной жизни не выдержим. И так намечалась уже какая-то ущербность в этой атмосфере знакомых шуток, намеков, с полуслова понятных лишь посвященным. Общение в слишком замкнутом и узком кругу всегда грозит выродиться, как вырождается потомство от повторяющихся близких браков. Были и иные причины выявлявшихся трещин.

Среди прочих легкомысленных острот на темы будущего Илья однажды изобразил, как нас вскоре посадят в одну камеру и мы будем раз в три года избирать старосту. Шутка, может, не Бог весть какая, но в духе времени, и потом не раз был повод ее вспомнить.

— Если хочешь, ищи себе другую компанию, где тебя не арестуют, — при мне обрушился он как-то на одного нашего давнего знакомого. И потом говорил мне: — Он хочет жить двойной жизнью: между светским раутом и нами. У нас он будет над всем этим иронизировать, потом опять возвращаться туда.

Он был терпим, но пристрастен в своих отношениях и глубоко переживал охлаждение, наметившиеся уже разрывы. Зимой 1963 года он писал мне в санаторий из Москвы, куда приехал в мое отсутствие, что чувствует «совершенную неясность... в том числе и относительно прочности и искренности товарищеских уз. Последнее — это то, что меня весьма держит на земле и что очень и очень может свалить меня с ног». И в другом письме: «Хорошо бы нам всем не потеряться, но так, поди, не бывает. Я же за тебя держусь — и крепко держусь».

Как-то еще в одном письме с Алтая проскользнула фраза: «Не очень приятельствуй там, Марик. Меня, признаться, немного ревность пробирает».

Я понимал его. Я сам ревновал его ко многим людям, которых все больше стало входить в его жизнь. Впрочем, не только в его — в нашу. Начинались времена, когда небольшие разбросанные по Москве компании вроде нашей какой-то неясной еще тягой находили друг друга, соприкасались, перемешивались — как ртутные пылинки и капли сливаются во что-то готовое растечься.

Тогда это еще не называлось демократическим или правозащитным движением, вообще никак не называлось. Встречались, знакомились, собирались люди самого разного опыта, возраста, специальности, судьбы, достоинств, даже взглядов — хотя взглядам еще лишь предстояло во

многом оформиться и уточниться, и все эти знакомства, обсуждения, споры немало тому способствовали. Объединяла этот переливчатый конгломерат людей разве что неудовлетворенность общественным состоянием, потребность прояснить его, что-то, может, изменить — это смутное поначалу брожение тоже со временем уплотнялось в различные формы протеста против замалчивания и искажения прошлого, против новых несправедливостей, о которых узнавалось теперь друг от друга, в терминологию заявлений о гражданских правах, в демонстрации и письма. Без этого незрелого движения не было бы многого позднейшего. Далеко не все тут были правдоискатели по натуре: могли же терпеть притеснения по службе, житейские несправедливости, обыденную ложь — и помалкивали, даже не чувствовали себя несвободными; а тут, где лично многих из них как будто еще не кололо, молчать и терпеть казалось вдруг постыдно и невыносимо. Ведь здесь-то явен был риск, еще непривычный, здесь требовалась самоотверженность, пусть даже относительная, и хотя у многих ее не хватало всерьез и надолго, свойство это тоже можно назвать единящим признаком группы; оно делало этим людям честь — впрочем, отнюдь не даря безусловного патента на благородство.

Взаимное сближение здесь было потребностью не только ради выработки мнений; оглядка друг на друга давала поддержку на все более рискованном пути. Эта близость делала конкретными и более сильными чувства: одно дело говорить о несправедливостях, арестах, обысках вообще, или в прошлом, или где-то в неизвестных краях, другое — переживать за человека, которого успел узнать воочию, оценить, полюбить, в достоинстве и благородстве которого убедился. Как же можно его? И уже по-новому видел других, своих сверстников и людей постарше, и юных совсем ребятишек, с которыми это происходило вот сейчас, пока мы в многолюдной прокуренной комнате по очереди читаем, беря друг у друга листки, о новых несправедливостях, арестах и обысках, а потом за разговором узнаем еще о многом, о чем пока не дошло книг и писем: цепная ли пошла реакция или просто росла осведомленность и понимание — мир вокруг был полон боли, исковерканных судеб, лжи, несвободы, и казалось невозможно, совестно жить чем-то другим...

Потом ты выходил на улицу, в электрическую зелень сквера, после дождя пахло весенними почками, мимо шли спокойные и даже веселые люди, для которых не существовало всего, что ты знал и чувствовал, им это было до фени — а неужели иначе? — и по странному закону психологического восприятия, когда от перестройки взгляда зависит, увидишь ты на рисунке выпуклый куб или полый ящик — можно было утверждать, что каждый взгляд имеет свое обоснование...

Илья Габай был в этом кругу явлением незаурядным; он неизбежно должен был стать одним из центров притяжения. К нему льнули. При всей неполноценности отношений, когда люди сцеплены все же не главными своими отросточками, для многих здесь была основная жизнь; она поневоле требовала самоотдачи — во всяком случае, большей, чем профессия

(которой многие и лишались возможности заниматься). А иногда складывалась и полновесная долгая дружба. Дни рождения Габая, всегда бывшие праздником для друзей, превратились в столпотворения: маленькую его квартиру наполняли сорок, пятьдесят человек — впрочем, кто их считал? Дверь попросту не закрывалась, люди выходили, входили новые; иных он сам не знал — пожимал плечами, когда я спрашивал: кто это?

Мне, правду сказать, бывало неуютно в таком расплывшемся многолюдье, невозможен был разговор, общение — банный шум в ушах. Не скажу, чтоб и его не тяготила стихийность этих не всегда управляемых отношений — была некоторая несвобода в такой зависимости от людей, дел, требований, часто случайных для него. Свобода — странная вещь; мы ищем ее вовне, опутанные сами тысячью внутренних зависимостей. Дано ли кому-нибудь освободиться полностью — и благом ли была бы такая несвязанность, неземное парение в пустоте?

— Не могу же я их прогнать, — разводил руками Илья. Как и все в его жизни, эти отношения были противоречивыми — но как много они для него значили!

В первую его лагерную осень я написал ему, как много людей в его отсутствие пришло к нему на день рождения — едва ли не больше, чем при нем. Он отвечал: «То, что ты пишешь об отношении ко мне людей, греет меня чрезвычайно и кстати. Тем ощутимее незаслуженность этого, которую не исчерпать жизнью» (12.10.1979).

Мысли о друзьях поддерживали его в лагере; в «Выбранных местах» он с нежностью и гордостью обращался «к товарищам по перьям и пирам»:

Я б навсегда укрылся, если б смог,
(Как в старину сказали бы: под сенью)
В такую малость, в сущности, в письмо
От друга, — кроме — в чем мое спасенье?
Там, под пятой воинственных систем,
В проверке человечности и мужеств
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:
Вы дружества не предали. Ничем.

Как об исполнении самых счастливых желаний он мечтал о воссоединении с друзьями:

Нам встретиться нужно. За нашим столом.
И вот мы собрались. Никто не увечен.
Никто не напуган, и *Нечто* увенчит
Шутливая дружба за нашим столом.

Что значило это невнятное *Нечто*? Долгожданную перемену в общей жизни?.. Ко времени выхода Габая из лагеря многое действительно переменилось в близком ему кругу, но перемены эти были нерадостны; то была пора кризиса и переоценок.

* * *

Среди близких Габаю людей, особенно много значивших в его жизни, нельзя не выделить Петра Якира. Писать о нем сложно, сам человек этот непрост, и за десяток с лишним лет, что я его знал, он не оставался одинаков. Всего, что могло бы дать о нем относительно полное, а значит, приближающееся к истине представление, здесь не скажешь, да и не мне писать — есть люди, знающие его больше. Но в разговоре о судьбе Габая совсем его не обойти.

Я познакомился с Якиром весной 1963 года, на несколько месяцев раньше Ильи, писал ему на Алтай об этом действительно ярком и незаурядном — во всем — человеке, и он несколько ревновал к моему увлечению. Когда он сам приехал в Москву и близко сошелся с Петром, пришел черед ревновать мне.

У Ильи было предубеждение против «именитых», это относилось и к наследственной именитости. Якир понравился ему не то что независимо, а вопреки ей. Открытый, приветливый, много испытавший и повидавший человек, любитель выпить и поесть (Илья находил в нем что-то фламандское), живо заинтересованный в людях, осведомленный и способный историк, наверстывавший в институте, а потом в аспирантуре незавершенность школьного образования, обладавший той особой лагерной эрудицией, которую дает человеку с цепкой памятью разнообразие встреч — он и вправду многих к себе привлекал. Но больше всего отозвалась в Илье судьба человека, четырнадцатилетним мальчиком попавшего в тюрьму, прошедшего через страшные лагеря, ссылку, испытания, через ту «непридуманную беду», к которой он был так восприимчив. Якиру посвящена глава в его «Книге Иова»:

У непридуманной беды
Есть все права — до слова злого,
До права учинять суды.
Прости — не мне судить Иова.

Он знает многое, что можно бы сказать иным из этих Иовов, жертвам-соучастникам, претерпевшим вовсе не за бунт против неправды и сейчас, после всего, вновь готовых к смирению. Но —

Ты вправе ль, зависть затая,
Искать улики для прошедших
Сквозь муки и покой обретших,
Вернувшись на круги своя?
Есть точность фактов бытия.
Есть факт беды. Факт крика. Крови.
А что да как — судить Иову,
И я Иову не судья.

Стихи о «покой обретших» не относятся прямо к тогдашнему Якиру, хотя можно было уловить понятную жажду столько испытавшего человека пожить, наконец, в свое удовольствие. После многих позднейших насло-

ений забылось, насколько сдержан и осторожен по сравнению с другими, не хлебнувшими лиха, был в ту пору этот сорокалетний, с обаятельно-плутовскими глазами, человек. Его общественная активность, составившая ему тогда имя, не выходила за рамки разоблачений Сталина, лояльных духу партийных съездов. Неудовлетворенность Габая «либеральными» разговорами, потребность и готовность «выйти на площадь» были ему чужды; он охолаживал его. Он был против резких действий и выступлений, убеждал делать свое неприметное, но порядочное дело и в подтверждение рассказывал истории своих бунтарских побегов из разных исправительных учреждений, которые заканчивались лишь жестокими побоями; после этого он понял, что так ничего не добьешься, только себя погубишь, и стал искать других путей; например, попав на должность хлебореза в лагере, он принес гораздо больше пользы, имея возможность помочь многим людям.

Я говорю об этом потому, что мне поздней приходилось слышать, будто Якир оказал решающее влияние на Габая. Влияние было скорей обратным. Во всяком случае, поведение и взгляды Якира менялись заметнее. Впрочем, на обоих влияло менявшееся время. События влекли Якира не совсем по его воле. Он, думаю, лучше других знал свои слабости и в душе опасался начинавшегося развития. Но он обладал качествами, чтобы в подъеме общественной активности не без основания оказаться на первых ролях, и это было ему по нраву. Габая, я помню, злили казенные упреки в честолюбии, в стремлении попасть на страницы западной прессы и стать мировой знаменитостью: хорошенькое честолюбие, за которое расплачиваешься тюрьмой, а то и жизнью. Но все же было тут и тщеславие, и моральная неразборчивость, и много чего еще; взвинченная напряженная жизнь выявляла то, что в нормальных условиях осталось бы приглушенной житейской слабостью.

Самые худшие и кризисные три года были годами отсутствия Габая; мне казалось, что это не просто совпадение, что будь Илья в Москве, что-то пошло бы иначе; его моральный авторитет и заинтересованность удержали бы Якира от многого. Я писал ему об этом в лагерь, по необходимости в окольных выражениях, он плохо понимал, что происходит, тревожился; это настроение выразилось в строках поэмы:

Я не судья вам — мне б один удел:
Строжайшей и пристрастнейшей охраной
Вас удержать от ссор и перебранок! —
Да вот беда: далек я и в узде.

Он призывал не спешить с суждениями; совсем по другому поводу, в ответ на замечание об одном из наших общих знакомых, он писал: «Система прямого и косвенного мучительства столь разветвлена, что может уловить и самых стойких и проницательных. Как будто бы человек приуготовляет себя для западни, для всегдаготовности к правильным словам и даже поступкам» (25.01.1971).

Я уже упоминал, что к году возвращения его из лагеря в близком ему кругу все сложилось тягостней, чем можно было предполагать, и становилось чем дальше, тем хуже. Мне приходилось слышать мнение, что история с Якиром доконала Габая. Не думаю, что она сыграла главную роль. Но свою роль сыграла.

* * *

[...] Прошли времена, когда потребность в действии не получала выхода. Пятилетие 1965 — 1969 годов, как вехами, отмечено активными выступлениями.

Впервые Габая задержали в КГБ «для беседы» в связи с намечавшейся демонстрацией 1966 года. Идея почтить в тот день память жертв сталинского террора обсуждалась у меня дома; записи сохранили неуверенные из-за новизны дела, нервные разговоры: «это не принесет никакой пользы, только вред», «распылит силы мыслящих людей, которых пока и так немного», «хорошо бы привлечь кого-нибудь именитого» — и т.п. Илья не спорил и никого ни в чем не убеждал; для него вопроса не было — он шел.

— Если рисковать — то можно только собой, — сказал он. — Никого не звать, не приглашать именитых. Разве что написать петицию, собрать подписи, а потом их огласить. Но подвергать опасности каждый имеет право только себя, потому что все может обернуться неудачей, фарсом — чем угодно.

Когда органы госбезопасности, узнавшие о замысле и изрядно встревоженные, позаботились ее предотвратить, Габай пошел на Красную площадь один.

Во время беседы с ним сотрудники КГБ впервые узнали, что он уже участвовал в другой демонстрации — 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади; до сих пор он просто не был в сфере их внимания. Случайно задали вопрос — и он сам об этом сказал. Еще не было опыта поведения на таких допросах и «беседах», правила вырабатывались на ходу, и Илья пытался объяснить, что оказался на площади ненароком, по пути в кино. Его легко поймали вопросом, какое в тот день шло кино. Потом уже утвердилось понимание, что, выступив открыто, странно прятаться. Но взгляды свои уже и тогда Габай умел утверждать с достоинством. Впрочем, разговор был пока сравнительно мирный, увещевательный.

В марте 1966 года Илья написал письмо в «Правду» об опасности возрождения сталинизма. Не знаю, сохранилось ли оно у кого-нибудь; я помню главный его смысл: «Мне, как учителю, было бы стыдно смотреть в глаза детям, если бы произошло возрождение сталинизма». Недели через две из «Правды» пришел ответ, где ему предлагали следить за материалами газеты и предстоящего съезда партии — там все узнаете. Наверху еще что-то не было до конца решено.

В январе следующего года он принял участие в еще одной демонстрации на Пушкинской площади против очередных арестов и введения новой

статьи Уголовного кодекса (наказание «за распространение клеветнических сведений» и т.д. — той самой, по которой его потом и осудили). После демонстрации его арестовали, потом на время отпустили, и он успел рассказать подробности состоявшегося разговора.

— А, старый знакомый! — встретил его генерал С., беседовавший с ним год назад. — Ну, долго вы будете выступать против Советской власти?

— А долго вы будете выступать против Советской власти? — сказал Илья.

— То есть как?! — немного опешил генерал.

— А так. Долго вы будете издавать и поддерживать законы, противоречащие Конституции, отменяющие свободу совести, слова, собраний?

— Этот закон принят Верховным Советом. Верховный Со-вет — это Советская власть? Значит, выступая против закона, принятого Верховным Советом, вы выступаете против Советской власти, — логично отпарировал тот.

— Тогда скажите: если бы в 1946 году я выступил против закона, по которому выселяли чеченцев и ингушей, я тоже был бы против Советской власти?

— В 1946 году — да, — ответил генерал.

Им бы жить в разных мирах или измерениях, каждому по своей логике и совести, не соприкасаясь! Нет, столкновение было неизбежно.

Через три дня, после обыска на квартире, где он тогда жил, его арестовали вновь. Трое суток мы ждали, что все и на этот раз обойдется. Сбывалось почти неизбежное, и толкотню мыслей, укоров совести, тревог о дальнейшем окрашивала горечь, лишенная уверенности, что так надо. Истекли 72 часа, допустимые для заключения предварительного, случившееся стало фактом — впервые захлопнулось так близко.

Следствие длилось меньше месяца: вызовы знакомых для дачи показаний, составление писем в защиту, поиски адвоката. От адвоката Илья отказался — не хотел обременять близких расходами, да и считал ненужным. Оказалось — действительно не нужен. 17 февраля Габая привезли на суд вместе с В.Хаустовым, но в самом начале заседания прокурор возбудил ходатайство: в связи с тем, что в деле Габая фигурируют более тяжкие преступления, совершенные ранее, передать его на доследование. Илья, державшийся до того бодро, улыбнулся сидевшим в зале друзьям немного вымученно и заметно сник.

Хаустова в тот же день осудили на три года заключения; Илья просидел под следствием еще до мая. Трудно сказать, какие умонастроения сменялись в инстанциях, причастных к его делу; по некоторым смутным, не предназначавшимся для уточнения намекам я мог судить о каких-то влиятельных ходатайствах. В середине мая возник слух, что Габай будет освобожден.

Его выпустили поздно вечером 22-го. Худой, нестриженный, смеется, притоптывая, как ребенок, вытворивший занятную проделку: ловко, мол, я! — но чувствовалось за этим смущение. На следующий день квартира

его, в которую он впервые вселился, была полна народу: пол-Москвы. Илья рассказывал о своих соседях по камере: валютчике и колымчанине, попавшемся на продаже золота, о том, как они не могли взять в толк, ради каких наслаждений и выгод он-то рисковал свободой; о молоденьких, после десятилетки, надзирателях, еще красневших на своей работе и охотно исполнявших просьбы; о том, какой отрадой бывало услышать музыку из радиоприемника машины, остановившейся под окнами...

Выпустили его под расписку; он продолжал числиться под следствием, но было ясно, что дело спускается на тормозах. 27 июля 1967 года его вызвали к следователю, дали прочесть последнюю страницу дела — только последнюю, остальное предупредили не читать. Суть этой страницы состояла в том, что Илья Габай действительно принимал участие в том-то и том-то, подтвердил то-то и то-то, но (тут начинался второй пункт), поскольку он не был при этом организатором и активным участником, дело решено прекратить.

Этот странный и, кажется, беспрецендентный тогда поворот внес, пожалуй, некоторую двусмысленность в его самоощущение. Вроде бы самое трудное решение было уже позади — но нет, вышвырнуло на прежнюю позицию, обдав холодком, обратив поступок в репетицию, которая бросала на все отсвет сомнительности: теперь он знал, чем все пахнет, чего стоит, должен был заново думать об оправданности, цене и результатах:

Совет покуртуазничать — и баста?
Совет покрасоваться — и уйти?

В августе, получив эту вольную — или отсрочку — он уезжал в археологическую экспедицию; на ближайшие два месяца это давало возможность не заботиться об устройстве и заработке.

— Как-то смешно все получилось, — сказал он, прощаясь. — Но я все равно сяду. Уж больно мы с советской властью не сходимся.

В январе 1968 года появилось ставшее скоро широко известным его вместе с Кимом и Якиром обращение к интеллигенции. Основа, насколько я знаю, была написана Габаем — его стиль угадывается. Некоторым, обсуждавшим текст до распространения, показалась излишней резкость отдельных выражений: например, «барабанные шкуры» — о тех, кто аплодировал приговорам на недавнем процессе Галанскова и других. Илья разволновался:

— Именно: барабанные шкуры. Надо бы еще резче. Надо называть их подлецами, мерзавцами. Когда откормленные рожи, получающие свои 250 или 180 рублей за то, что они сидят в зале суда и почитывают книжки, просыпаются лишь для того, чтобы крикнуть: «Мало!» — Лашковой, девочке, которая, говорят, так исхудала, что стала почти прозрачной — когда эти сытые мерзавцы кричат ей в спину: «Мало!» — я бы их расстреливал из пулемета.

Была памятная пора, когда впервые под письмами тревоги и протеста собиралось так много подписей — и каких подписей! — когда прояснялись позиции и что-то обещающее зрело в Чехословакии: казалось, еще немного последовательности, и что-то может сдвинуться. Нет, социальные чудеса не таким усилием даются; сдвинуться должно было что-то прежде в нас — накапливаясь, требуя цены посерьезней.

В августовские дни 1968 года Габай был в Молдавии, и я, что скрывать, чувствовал облегчение. Будь он в Москве, он наверняка стоял бы с другими на Лобном месте. (Потом не раз думалось, как все могло сложиться по-другому, если бы он прошел по этому, сравнительно мягкому процессу.) Но речь могла идти лишь об еще одной отсрочке — путь его был предопределен:

Я и впотьмах сыскал, как видно, тропку, —

напишет он потом в поэме.

Философы утверждают, что ситуация, в которой оказывается человек, не совсем для него случайна: она знак его личности, и судьба, может быть, заложена в душевной структуре, как в генетическом коде.

Я ощутил до богооткровенья,
Что я погиб. Что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут, —

это написано в ту самую молдавскую передышку. Он вернулся в Москву в начале сентября — вырвался, не дожидаясь конца экспедиции. Изменившийся, с отросшей рыжеватой бородой, перебинтованным торсом (у него было сломано ребро).

— А я-то думал: хорошо, что тебя нет, — усмехнулся я при встрече.

— Но ты, надеюсь, понимаешь, что я не мог не приехать, — ответил он без улыбки.

Это я понимал. Но, слабый человек, надеялся, что обойдет его жребий. А уже были пролистаны «страницы пророческих косноязычных книг», он уже сказал в знакомых мне стихах, —

что возвращенье к полубедам
заведомо таит в себе побег.
Что не сбежать. Что нет тебе побега.
Что просто ты нелепый человек.

Потом был суд над участниками демонстрации — об этом он рассказал сам в известном очерке («У закрытых дверей открытого суда»). Я перемолвился с ним несколькими словами у здания суда; он был угнетен, сказал мне:

— Скверное настроение от того, что мы играем не в свою игру.

В октябре он уехал в Ивановскую область, ему была обещана там работа в деревенской школе; в Москве он уже не мог устроиться. Но долго там не выдержал, кажется, уже зимой вернулся, с головой ушел в нарастающую правозащитную деятельность. Печатались с его участием «Хрони-

ки», составлялись письма и обращения, приезжали из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он занимался их делами.

19 мая 1969 года его арестовали последний раз, в январе 1970 года осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.

* * *

Лагерь обернулся для Габая испытанием страшней, чем для многих других. «Общий режим», считаясь легче особого, вынуждал жить не среди политических, где были возможны хоть какие-то отношения, солидарность, чувство общности, а среди уголовников, блатных; можно только представить, что это могло значить для еврея, не сильного физически, с обнаженными нервами — только вообразить в этих условиях органическую его бескорыстность, полнейшее нежелание и неспособность выгадывать житейские блага, простую невозможность для него хотя бы припрятать от жадных глаз доставшийся в передаче кусок — да много чего еще... Он признавался в лагерной поэме,

Что испытанье пагубой и порчей,
Проверка униженьем и стыдом
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.

Не так давно я читал созданную в заключении книгу талантливого писателя, где лагерь будто и не пропущен сквозь душу, воспринят со стороны, как фольклор. С первых умных, наблюдательных, расположенных хронологически записей и до последних страниц не чувствуешь, что пять лет «мертвого дома» хоть в чем-то изменили автора, как меняют человека пять лет и менее напряженной жизни. Он пришел сюда зрелым, со сложившимся духовным миром, и, толкая тачку, продолжал «думать о птице Сирин» — есть в этом свое достоинство. «Писателю и умирать полезно», — записывает автор афоризм одного из своих солагерников, знающего, видно, толк в накоплении писательского «жизненного опыта».

Этот афоризм мог бы служить основой для различения двух типов не только художнического отношения к жизни: жизни-сюжета, с коллекционированием, накоплением ощущений и замет — и жизни-сживания себя, где все невозвратимо и отдается болью.

В письмах из лагеря Илья был поразительно сдержан, и объяснялось это не просто всегдашней оглядкой на цензуру. Это была душевная собранность, не допускающая жалоб, перекладывания на других своих тягот. Лишь изредка, намеком прорывалось: «Есть, дорогой мой, и некоторые поводы для житейских огорчений, но в предвидении нового, високосного года это все побоку» (20.12.1971). «Я в последнее время в совершенной подавленности. На это есть причины юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенное, совершенно выбивающее из колеи — меня с моими нервишками особенно» (25.01.1971).

Да и вернувшись потом, рассказывал о пережитом предельно сдержанно, и лишь намеками проступали иногда страшные эпизоды блатных расправ, лагерного ужаса и унижений. Все главное с полной обнаженностью выплеснулось в стихах:

Я не сумею вам раскрыть воочью
В такой ночи — такое чувство ночи
Кромешной: это чувство нелюдей.
Что делать мне? Какая даль или близь
В каком краю предстанут мне защитой?
Так нету сил! (И где мой утешитель?)
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)

Отвечая на мои пожелания ко дню рождения, он писал: «Я желаю себе одного: морально сохраниться, то бишь не стать хуже. Постараюсь» (12.10.1970). Пожалуй, даже он не представлял вполне, каких трудов и испытаний это будет стоить. Написанная в лагере поэма дает лишь некоторое представление о совершавшейся в те годы душевной работе.

Первые отрывки, как уже упоминалось, он присылал в письмах мне. Это были стихи о «предвестии последнего ухода», о «внушенных надеждах»:

Какой же ветер кружит нас и мечет
И гонит нас — и некогда душе?

«А вот о чем я не жалею, но и не горжусь особенно, — приписал он, — так это что закружился и докружился до нынешнего своего местожительства: такой уж листочек своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что действительно в этом кружении упустил многие ценности, но и наоборот было бы, поди, тоже не без потерь. Еще и то, что в этом кружении как-то не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей» (25.01.1971).

Так он видел себя теперь новым, умудренным испытаниями взглядом: листочек своего времени. Не в утверждении правоты своих мыслей и поступков для него главное, не в сожалении и не в гордости:

Куда там, не до сути и не до правд: горю!
Но жизнь благодарю за сопричастность судьбам.

Он искал новой высоты, оглядываясь на события, закончившиеся последним словом на суде и приговором:

Тогда казалось: должно уберечь,
Как юношам из очерков — мозоли,
Победный знак еврея и масона:
Последнюю, возвышенную речь.

Теперь не доводы, не результат, не достигнутая или недостигнутая цель занимают его душу; он судит себя иной мерой:

пред лицом Содома,
В который каждый втянут, — пред судом мы
Куда тяжеле.

И возникает тема иного, *последнего,* предчувствующего нечто невыразимо важное, трагически возвышенного слова:

этот слом
Подвиг меня на истинное слово
Последнее — и пусть оно не ново:
ВИНОВЕН В ЧЕМ-ТО — ВИНОВАТ ВО ВСЕМ.

Несколько раз мне казалось, что я готов ухватить смысл этих действительно не новых строк, но каждый раз чувствовал, что могу предложить лишь свое, произвольное толкование — и даже не такое уж свое; ощущение изначальной вины звучит и у христианских философов, и у Кафки — да разве только у них?.. Габай не был религиозен в церковном смысле; в его стихах мне слышался новый уровень восприятия жизни, высота, с которой прежние счеты виделись несущественными, чувство, что, расплачиваясь за ужасы и беды времени, никто не вправе считать себя совсем неповинным в них — расплачиваются немногие за многих...

Однако ощущение это возникло позже; а тогда, читая строки, записанные, наконец, во время свидания с женой на вырванных из книг титульных листах (другой бумаги с чистым пространством для письма не оставалось), я еще не слышал всей страшной серьезности подчеркнутых, разбросанных по разным местам поэмы упоминаний о конце — «предвестиях *последнего ухода*», «почти у края бездны, почти у рубежей небытия»:

Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью:
Memento mori. Помни о конце.

Тягостное состояние усиливалось к концу срока. «Ослабел я маленько, брат, — писал он, — поверишь, дошел до того, что пару ночей назад взял подшивку прошлогодних «Огоньков» и стал решать кроссворд за кроссвордом» (31.01.1972). В следующем письме он спешит извиниться за сорвавшееся сетование: «Судя по тому, как ты меня постоянно успокаиваешь, я написал тебе, очевидно, неврастеническое и мизантропное письмо. Прости, дружище; что-то, стало быть, не ладилось с самоконтролем» (29.02.1972). В последнем письме, пришедшем из лагеря, все же вырвалось: «Я сильно устал, душевно особенно... Но это состояние привычное и, подозреваю, малопонятное» (21.02.1972). Примерно в те же дни, в конце февраля состоялось его последнее свидание с женой. Он был нервен, не мог есть привезенных яств, боялся, не случится ли чего за неполных три месяца, оставшихся до конца срока — можно только вообразить, как он при тогдашних нервах считал эти дни и что значило для него, когда за два месяца до конца, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по новому делу.

Это был рассчитанный ход изощренных тюремных психологов.

* * *

Похоже на дурную притчу: во время одного из переездов — на следствие или со следствия — Габай услышал разговор крымского татарина, своего подельника: о том, что вообще-то русских и евреев надо бить, что мир спасет ислам и что арабам надо скорей покончить с Израилем... Илья потом рассказывал про это с усмешкой, спокойно — он мог предполагать нечто подобное.

А знали же, знали, что преданность наша без прока,
Что мы предавались стихами, главой и крестом
Не очень-то нашей, но прожитой нами эпохе.

Новое, высокое понимание, созревшее за мучительные годы лагеря, не отменяло прежнего. Он пробивался к нему, сохраняя противоречивую цельность, с постоянной оглядкой: не означает ли это понимание «предательства вчерашнему себе», от которого он остерегал себя еще в «Книге Иова». Собственные стихи стояли на страже: стихи-обет, стихи-напоминание, стихи-укор; из строк глядел на него требовательный, полный последней надежды взгляд самого Бога, обращающего свою горестную мольбу к Иову:

Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных льстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!

Эти стихи, на мой взгляд, одни из самых сильных у Габая. Они всегда вызывали у меня в памяти знаменитое двустишие Ангелуса Силезиуса:

Ich weiss, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werde ich zunicht, er muss von Not den Geist aufgeben.
(Я знаю, Богу не прожить без меня и мгновения,
Сгинь я — и он неизбежно испустит дух).

Этот уязвимый Бог предъявляет свои требования к чести; само существование его возможно лишь благодаря человеческой истовости в поисках — здесь звучит поистине библейское ощущение взаимозависимости с могучей духовной силой, создавшей тебя и созданной тобою, когда твоя гибель или отступничество приводит к краху целый мир ценностей, живущих в тебе и благодаря тебе:

Я обессилел от чудес.
В минуту слабости всесильной
Я, обессилев от чудес,
Готов идти дорогой пыльной,
Готов принять земную плоть

И на юдоль земного люда
Сменить бессмертие небес...
Но Бог и раб бесстрастных слов,
И я не вправе измениться;
Мне остается лишь молиться:
Не предавай меня, Иов!

Не эти ли давние свои стихи вспоминал он, когда писал в «Выбранных местах»: «Как объяснить что понимание не означает измены своим поступкам ни даже что мы откажемся повторить эти поступки, хотя знаем теперь и знали прежде их подоплеку»?

В этом новом понимании была новая сила, но и новая слабость — «ибо во многой мудрости много печали, и, умножая познания, умножаешь скорбь».

* * *

За два месяца до конца срока для Ильи Габая начался новый тур допросов, изощренного давления и угроз. От него требовали теперь новых показаний; угрозы касались теперь не только его, но его близких и друзей; ему заявили, что многие из них уже арестованы. С особым нажимом указывали на несоответствия и неточные утверждения в документах и «Хрониках», написанных при его участии или без него (Бог весть, какими путями и от кого попадали иной раз сведения в этих искаженных условиях; наверно, допрашивавшим Габая порой было это лучше знать). Честность заставляла Габая признать ошибку или неточность формулировки. Стоит ли говорить, какой оттенок приобретала эта честность в сопряжении с их нечестностью? Не из такого материала делаются политики.

От него, ослабленного нервным ожиданием, неизвестностью о судьбе близких, угрозами, собственными раздумьями, ждали, видно, формального раскаянья и отречения; для этого сделано было, казалось, все. Добиться удалось гораздо меньшего: обязательства воздерживаться впредь от общественной активности. С тем его пока и выпустили [...]

Потянулись месяцы неустроенности, поисков работы, безденежья, домашних трудностей и допросов. Удалось устроить ему путевку в дом отдыха на Каспийском море; тогда-то он впервые за много лет побывал в Баку и навестил могилы родителей. Жить приходилось на зарплату жены, кое-что подкидывали друзья; иногда удавалось достать работу, чаще оформленную на чужое имя. Положение было нервным, неопределенным. Уже начинала поторапливать с трудоустройством милиция. Нигде его не брали. Сотрудники КГБ, одно время обещавшие ему помочь, разводили руками, удивляясь трусости отделов кадров (как им было не удивляться!); наконец, подыскали место корректора в редакции газеты. Утомительное механическое чтение мелкого шрифта при его зрении и нервах сказывалось болезненно, он приходил с работы разбитый, и это вплеталось в общую подавленность и бесперспективность.

То, что было прежде жизненной опорой, поколебалось и утратило былую прочность; новая еще не окрепла. Сразу же в день освобождения, в первые же часы встречи с друзьями он подчеркнуто без недомолвок сообщил о подписанном перед выходом обязательстве. Не было и речи о том, чтобы его упрекнуть, но самоутверждения, что говорить, ему это не прибавляло. Летом, после ареста Якира, я был свидетелем его разговора с В.Красиным. Речь шла о письме в защиту арестованного. Илья, связанный обязательством, под коллективной петицией не подписался, но отослал свое, личное письмо. Красин прочел свой текст; он не понравился мне преувеличенным пафосом некролога, расписывающего заслуги покойника. Илье не понравилось другое: перечень этих заслуг звучал как непрошенные показания для КГБ. Красин усмехнулся такой опасливости:

— Это и есть тот самый стронций в костях.

— Я не понимаю, о каком стронции ты говоришь, — ответил Илья спокойно; на самом деле, не сомневаюсь, он понял намек: только что речь шла о стронции страха, засевшего в подсознании, определявшем независимо от воли поступки.

Тем же летом он рассказал мне, какую резкую отповедь получил от В.Г., которому написал в психиатрическую больницу, советуя не отказываться от допустимого компромисса, если это поможет выйти на свободу. «Психушка не тюрьма, тут можно оставаться бессрочно». Судить о таких вещах вольно по-разному; но надо услышать в этом письме тревогу не за себя...

Могу предположить, что немало сходных эпизодов остались мне не известными. Он знал то, что знал, но удары и уколы накапливались, и попадали они уже в больного, измученного человека.

Он пожаловался на странную болезнь уже на другой день после освобождения: ноги словно отнялись, он не мог ходить. Это была явно нервная реакция — скоро отошло. Но были испытания посерьезней. Он обрадовался, встретив людей, которых уже не чаял встретить на воле; однако обстановка на этой воле быстро открылась ему своими неприглядней-шими сторонами. Уже через день после освобождения, оказавшись свидетелем очередной пьяной выходки Якира, он признался мне, что был близок к мысли о самоубийстве.

— Такая взяла тоска — было совершенно серьезное желание выброситься из окна. Еще так раз-другой, и я не удержусь...

Конечно же, я был встревожен, но не услышал в этом первого звонка, как не услышал еще в стихах — не предвестия, а случившейся уже трагедии.

В июне арестовали Якира, вскоре за ним — Красина; где-то осенью мы услышали об их показаниях. Илья узнал про это одним из первых, но не говорил другим, за что потом его упрекали: надо было многих предупредить об опасности.

— Я просто подумал, как сразу станут плясать на их костях разные чистоплюи, — объяснил он.

— Да это они пляшут на костях, ... твою мать! — взорвался Тоша Якобсон, и увы, он был прав.

И снова вызовы, допросы. Илье предъявляли новые показания, требовали новых показаний и от него. Как всегда, он подтверждал лишь то, что было связано с ним лично, отказываясь говорить о других.

— Вы ведете себя неумно, — сказали ему. (В другой раз выразились: неискренне.) — Мы и так все знаем, от вас нам нужно только формальное подтверждение. — (Классическая полицейская уловка на сей раз была, увы, близка к истине.) — Вы только делаете себе хуже. Одно дело сесть за убеждения, другое — за дачу ложных показаний.

— Что ж вы хотите, — отвечал он, — если они показывают на меня, я должен отвечать тем же? У меня свои понятия о чести.

Мне кажется, для него не было абсолютной неожиданностью поведение Якира; еще летом, сразу после его ареста, он намекал мне на такую возможность. Но он был заметно уязвлен безоглядностью, с какой тот сыпал показаниями именно на него.

— Неужели я для Петра настолько безразличный человек? — вырвалось у него однажды...

Зимой Габай был уже тяжело болен; грипп вызвал серьезные нервные осложнения. Бессоница, депрессия, усталость, порой резкие приступы того, что называют ипохондрией: когда подозреваешь у себя несуществующие болезни. Уже потом я узнал, что в январе он пытался вскрыть себе вены — этого звонка тоже не услышали всерьез. Знакомый врач объяснял впоследствии, что надо было сразу поместить его в стационар; но кто бы нашел в себе уверенность заговорить о психиатрической больнице? Пока он глотал таблетки, прописанные другим знакомым. Вроде бы помогало; все могло бы еще поправиться, дай ему хоть немного покоя.

Между тем его дожимали. Вызовы и допросы становились все чаще, все суровее и жестче: требовали фамилий, полной «откровенности» в показаниях, формального раскаяния по уже опробованному образцу.

Однажды спросили:

— Вы не собираетесь уехать за границу?

Он ответил:

— Мне бы не хотелось. Но здесь я не вижу никаких возможностей.

— Держать вас не будем, — намекнули ему.

У него давно уже лежал вызов от мнимых израильских родственников, он продлевал срок его действия, но пользоваться им не хотел.

Этот некровожадный способ избавляться от неудобных людей был опробован и по-настоящему пущен в ход, когда Илья был еще в лагере. Я писал ему о нашем общем знакомом, который одним из первых использовал этот путь. Илья отвечал: «Трудно поверить, чтобы он мог когда-нибудь кровно воспринимать сионские боли. Я тоже наверно не смог бы — а без этого как же жить там?» (16.11.1971).

В том-то и дело. Уехав, можно было скорей избавиться от здешних проблем, чем проникнуться тамошними, скорей обрести безмятежность,

чем подлинность — для такого, как Габай, это означало зависнуть в пустоте.

Он не хотел уезжать, но, казалось, не было другого выхода. В августе 1973 года мы провожали Толю Якобсона.

— Может, и меня скоро придется провожать, — сказал вдруг Илья.

— Ты что, все-таки об этом думаешь?

— Маричек, ну нельзя же так жить, — тихо и горько проговорил он.

Потом мы вместе с друзьями шли по ночной улице. Илья усмехнулся:

— Государство Израиль, допустим, не вызывает желания туда уехать. Но дело в том, что наша страна очень вызывает желание отсюда уехать. И оставляет для этого единственное отверстие... анальное отверстие... Если бы три года назад мне дали выбор: туда или в тюрьму, — я предпочел бы в тюрьму. А сейчас предпочел бы все-таки погулять на вольном воздухе, где-нибудь в Вене или Брюсселе...

За день до смерти он сказал жене, что все-таки решился уехать. Порой мне кажется, что отъезд оказался бы вариантом отсрочки. Он метался, он был болен и слаб, воля его была подточена. Летом у него родилась дочь; казалось, и это событие он воспринял сквозь туманную пелену. Прибавилось забот, усилилось сознание вины перед семьей; детский плач по ночам усугублял бессоницу. Таблетки не помогали. Как-то он пожаловался мне на кошмары и галлюцинации.

Между тем, в доме его по-прежнему не закрывались двери, постоянно кто-то приходил к нему со своими заботами, сидел вечерами на кухне, ночевал. К нему тянулись по-прежнему, хотя он уже был не прежним, порой не удерживался от резкости. Разговоры продолжались скорей по инерции, он чаще молчал — казалось, вынашивает что-то.

Однажды обрадовал меня, сказав, что пробует писать, конспектирует библейскую «Книгу Иова» для продолжения своей поэмы. Потом я видел эти выписки; очень жаль, что сейчас ими не располагаю — их характер мог бы много сказать о тогдашнем его умонастроении. О, теперь-то, после пережитого — как мог бы он написать Иова! Если бы дело было только за душевным опытом! Дальше выписок дело не пошло. В последний день августа 1973 года я провожал его от себя, спросил, пишется ли ему. Он усмехнулся:

— Я, может, скорей напишу последнее письмо.

И я все еще не слышал? Слышал, как же нет! «Боюсь, это плохо кончится», — записано осенью. Мы говорили об этом с друзьями, гадали, что бы придумать — и не могли придумать больше, чем помочь деньгами, поискать работу; надеялись на таблетки, на то, что обойдется, — а он уже падал, падал со смертельной высоты, медленно, как в страшном сне — и как во сне, мы не умели шевельнуться, чтобы удержать его...

Последние месяцы его вызывали на допросы еженедельно, по четвергам — надо было его дожать. Раскаяние Якира и Красина не дало рассчитанного эффекта; требовался успех более впечатляющий. Возвращаясь, он неизменно рассказывал об этих беседах; дело касалось многих

людей, и им надо было об этом знать. Но есть основания думать, что, щадя близких, он кое-что утаивал; угрозы наверняка относились не только к нему, но прежде всего к его жене — опасность была вполне реальной. Рождение дочери заставило гэбистов выждать срок — но время у них было. Они нашли уязвимое место.

В последний перед смертью четверг его не вызывали: можно предположить, что ему был дан срок на какое-то неведомое нам решение. Они все же перестарались; есть свидетельства, как они были всполошены его самоубийством — боялись, что нагорит за брак в работе? Робот в запрограммированной игре не соразмерил хватки с уязвимостью живого человека.

Незадолго перед тем окончательно решилось дело Якира и Красина. Илья смотрел их покаянную пресс-концеренцию по телевидению. Кто-то сказал: может, мы не знаем, какими средствами от них этого добились?

— Какие средства! — усмехнулся Илья. — Был чистый торг: вы нам, мы вам.

Он эту механику испытал. За день до смерти он порывался поехать к Якиру в Рязань, куда тот как раз прибыл. Жена не позволила ему этого сделать.

— Лежачего не бьют, — пробовал объяснить он. — Я не чувствую к нему ненависти.

Потом уступил, решил ограничиться письмом, но, кажется, не сделал и этого. Вдруг сказал жене, что решился уехать.

Слишком много узлов требовалось ему разрубить в своей слабости. Судьба его совершалась — он уже падал, падал.

* * *

В предсмертной записке он просил друзей и близких простить все его вины: «У меня не осталось ни сил, ни надежды». Сам почерк записки и то, как он позаботился положить рядом с ней очки, подтверждает, что все совершалось в ясном разумении.

Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви (что возле Преображенского кладбища), в Иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети: не только крымские татары убедили муллу забыть о недозволенности отпевать самоубийцу.

Он погиб тридцати восьми лет, и праздное дело гадать, чем могла бы еще стать эта жизнь; она имеет свою завершенную цену. Он трагически доказал подлинность своей человеческой и поэтической последовательности. Возможно ли на таком напряжении спроса к себе не надорвать силы жить? Не знаю. Жизнь заботится о самосохранении, и в этом есть своя мудрость.

Иногда я вижу его во сне и объясняю ему в этом сне, как еще все хорошо устроится, и он со мной соглашается — такой милый, такой

добрый, что я испытываю облегчение. И там же, во сне, я просыпаюсь и вспоминаю, что его больше нет — и во сне это меня так потрясает, что я заливаюсь слезами. Потом просыпаюсь по-настоящему, и глаза мои сухи.

Через два года после его смерти я сравнялся с ним возрастом и теперь становлюсь старше. Я лишь начинаю постигать требования, которые предъявляет ко мне эта смерть, память о нем, его стихи — «строжайшая и пристрастнейшая охрана», остерегающая от поверхностности, самодовольства, подделки под жизнь.

А время каменеет, и у фраз
Нет свойства передать из дальней дали,
Что люди жили, мучились, страдали,
А не свершали действа напоказ.

Когда-нибудь, при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал
Ничем.
Друзья, молитесь за меня!

Я счастлив, что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой. Участь.

Январь-март 1976

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических

выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

Журнальная проза первой четверти 1996 года представляет собой довольно занимательное и разнообразное зрелище, пришедшее на смену еще недавнему унылому однообразию заполонивших журналы постмодернистских текстов. Игры в литературу продолжаются, но в значительно меньшем объеме и более скромным образом — без назойливых претензий на единственно верное отражение духа и шума времени и без саморекламных авторских сервировок, хотя есть, конечно, и рецидивы. Активно продолжаются жанровые и стилистические эксперименты, но они уже свидетельствуют не об исчерпанности, а наоборот — о неисчерпаемости ресурсов русской литературной традиции. Заметно возросло и число произведений, в том числе исторических, резонирующих в беспокойном воздухе сегодняшнего дня.

Тем не менее **историческая** тема, хотя и не так вызывающе, как прежде (см. наши предыдущие обзоры), остается ведущей на журнальных страницах. И прежде всего это сюжеты из *советской* истории, как вымышленные, так и имеющие автобиографическую или мемуарную подоплеку. Однако можно заметить некоторое возрастание интереса и к *дореволюционной* истории, причем интереса самоценного, а не только как к источнику сюжетов для игрового конструирования.

В этом отношении характерна **повесть Юрия Волкова «Ольга»** («Новый мир», №2) — монолог жены киевского князя Игоря Старого княгини Ольги, итожащий опыт житейских побед и поражений. Главным событием ее жизни становится духовный перелом, вызвавший уход от язычества к христианству. Языческий мир описан мрачными красками. Ольга, сильная и властная женщина, правит страной, где не слышали о милосердии и не знают цены человеческой жизни. С огромной энергией и решительностью она приобщается к новой вере, но на закате дней сознает, что ей не удалось приблизить русскую жизнь к христианскому идеалу. Автор чужд намеренной архаизации слога, рассказ ведется «простыми» словами, лаконично и экспрессивно.

В романе Виталия Сердюка «Без креста» («Наш современник», №№1, 2), посвященном «нечаевской истории», два равноправных героя — Сергей Нечаев и Автор, стремящийся увидеть «главного беса» из сегодняшнего дня. Жизнеописание Нечаева, его отношения с Герценом, Огаревым и особенно с Бакуниным, обстоятельства ареста в Цюрихе, Петропавловская крепость, срыв побега — вся эта известная историческая фактура, изложенная в художественных набросках, очерках, диалогах, сценах и картинах, выигрывает в драматизме, обрастая сомнениями, размышлениями, версиями и будучи погруженной во внутренний мир Автора, для которого Нечаев — не исторический персонаж с черной репутацией, а живой, преследующий во сне и наяву и истерзавший его двойник. Писатель видит в Нечаеве роковую фигуру русской истории, явленное России грозное предупреждение, которое, несмотря на усилия Достоевского, осталось невоспринятым, и сегодня «мы видим миллионы нечаевых».

Геннадий Головин в рассказе «Наденька и Чемоданов» («Юность», №1) из планируемого цикла «Приключения шестиствольного американца» изображает два вида разврата. Первому — старинно-барскому, усадебному, с пьянкой-гулянкой предается ярославский помещик Щепкин со своими гостями где-то в 70-е годы XIX века. Второй же разврат — революционно-демократический, с жилкой глумливо-циничного экспериментаторства. Сначала от первого, а затем от второго страдает в глуши наивная помещичья дочка Наденька. Автор пользуется средствами сказа, изящно орнаментируя его и подпуская к бытовизмам и сантиментам обиняковую дозу суперсовременной сквозной иронии.

К *советской* истории обращено **«Царство земное и небесное» Григория Петрова** («Новый мир», №2) — большой рассказ о

мальчике, который в 1918 году на Урале стал свидетелем бессудной расправы коммунистов над царской семьей. События увидены детским взглядом. Название рассказа отсылает к его фабульной основе — поиску героем непреходящего небесного царства среди бренного, погибающего земного. Автор — один из лучших современных рассказчиков. Его обычная манера — простодушный сказ, таящий неочевидные стилистические изыски. Бытовая, квазиреалистическая ткань часто разрывается мистическими вторжениями. В быт входит то, что христианин назовет чудом, а агностик — фантастикой. Петров по обыкновению балансирует на грани полной искренности — и постмодернистского стеба, вроде бы предоставляя читателю возможность самостоятельно выбрать способ отношения к предмету и средствам повествования. Во всяком случае, преподнесение мистических явлений как наидостовернейшей, чуть ли не обыденной реальности и стремление при этом остаться в рамках христианских представлений о высших силах, избежать нарочитого фантазерства составляют характеристические черты прозы Петрова, восходящей в своем генезисе к фольклорным маргиналиям и являющей род современной былички, сочиненной, однако, от начала до конца автором-единоличником.

Рассказ Юрия Чернякова «Последний сеанс» («Новый мир», №1) — пикантная историко-эротическая новелла, повествующая о том, как в 30-е годы стриптиз используется для повышения производительности труда лагерников. Борьба же с этой аморалкой приводит к развалу производства.

В **рассказе Юрия Дружникова «Квартира №1»** («Дружба народов», №3), присланном из-за границы, американский музыкант, давний эмигрант из СССР, приезжает на один день в город детства. На этой ностальгической побывке он вспоминает родителей и те испытания, которые выпали на долю его семьи в 30—40-е годы.

«Пессимистическая трагедия» «Иаков Сталин» Е. Радова («Комментарии», №8) — история несостоявшегося искупления. Герои пьесы для чтения, помещенные в неопределенное трансцендентное пространство («мрак без стен, без пустот, без названия», как следует из ремарки), имеют двойственную природу — библейскую («немецко-фашистский палач» Вольф — дьявол-искуситель, Сталин — Отец, Иаков — Сын, хор солдат-страдальцев, молящих об искуплении) и историческую. Вольф-палач, прежде чем погубить отринутого Отцом Иакова, пытается пробудить в нем душу, что ему так и не удается. В выборе определенных

исторических фигур, в сниженном характере изображения обнаруживает себя авторская ирония, указание на тоталитарность высших сил, на отсутствие благодати. «Пессимистическую трагедию» дополняет фарс, хотя и «вполне зловещий», — сценка-анекдот **Д. Самойлова и Ю. Дикова «Возвращение»** о явлении Сталина с того света.

«За землю, за волю...» Георгия Владимова («Знамя», №2) — новая глава романа «Генерал и его армия», дописанная при подготовке книжного издания. Во врезке «от автора» сказано, что писатель учел отзывы критики, письма читателей и советы друзей, пожелав развить важную сюжетную линию и уточнить позицию главного героя. В новой главе дается срез сознания генерала Кобрисова, возвращающегося мыслями к уроку судьбы генерала Власова и размышляющего о возможности борьбы с советским режимом. Открывается, что Кобрисов — тайный антисоветчик, но бороться со Сталиным и его присными не умеет, не может, а к Власову относится весьма непросто и критически. В целом глава конкретизирует и поясняет основную тенденцию романа, жестко фиксирует его болевую точку: соучастие хорошего человека в злодеяниях советской власти делает его несчастным. Обнажается проблемная связь романа с незабвенным «Верным Русланом».

Мемуары Наума Коржавина «В соблазнах кровавой эпохи. Часть вторая» («Новый мир», №№1,2; первая часть — «Новый мир», 1992, №№7, 8) обращены к военным годам. Обстановка первых дней и месяцев войны, эвакуация на Урал, жизнь эвакуированных, оттенки настроений и политических взглядов, освобожденная Москва, студенческий быт увидены сегодняшними глазами, умудренными, но не теряющими из вида тогдашнего жадного до впечатлений и размышлений подростка, «революционного лопуха» с потребностью в истине и культуре. Это пронизанный благодарными чувствами «опыт ослеплений и прозрений, опыт освобождения подневольной мысли».

«Единственная моя жизнь...» Алеся Адамовича («Дружба народов», №3) — отрывок из незаконченных мемуаров покойного писателя. Рассказ о молодости, которая пришлась на войну, и о первой любви. Страдая от неуверенности и робости, рассказчик учится чувствам, находит в своей душе нежность и печаль.

Мемуарное эссе Марка Харитонова «Способ существования» («Дружба народов», №2) — «главы из книги», автобиографическая повесть о родителях и родственниках (обломках еврейских родов), о детстве на окраине Москвы 40-х годов, о

скудости и ужасах тогдашней жизни, а также размышления о своем поколении, довольно строгий и требовательный к себе ретросамоанализ («Я помню, как с удовольствием принял известие об аресте врачей»). Эссе сложилось из записей разных лет.

«Точка, точка, запятая...» Надежды Поляковой («Нева», №3) — мемуарная повесть. Молодая, простодушная фронтовичка после войны учится на филолога сначала в Риге, а потом в Ленинграде. Речь идет, в основном, о перипетиях личной жизни, но ощутим и исторический фон (пир победителей в еще не утратившей буржуазного лоска Риге, учрежденческая казенщина в Ленинграде, полунищенское существование простых людей и наличие ошеломительного контраста между бедностью многих и богатством избранных, истерия политических чисток). Правдолюбие рассказчицы граничит с идеологической безграмотностью, отчего она постоянно попадает в переделки, о коих приятно вспоминать полвека спустя. В повести бегло охарактеризованы университетские корифеи 40-х годов (Гуковский, Орлов, Евгеньев-Максимов).

Другая вчерашняя фронтовичка, а теперь поселковая учительница из **рассказа Александра Малышева «Он один у меня»** («Наш современник», №1) с честью выходит из затруднительной ситуации, не дав ход доносу своего малолетнего ученика, который, поддавшись антирелигиозным соблазнам, наябедничал в школе на свою заезженную жизнью мать, что она дома тайно молится перед иконой, а сама партийная.

В **рассказе Бернгарда Рубена «Мать»** («Нева», №3) продолжена известная тема М.Горького. Сумасшествию героини способствует постоянный страх перед непредсказуемо-свирепой советской властью, вечные опасения за мужа и сына. Когда сын-офицер навещает ее в психушке, она долго не хочет его узнавать, чтобы спасти от возможных репрессий. Эта сентиментальная история из советского быта датирована 1973 годом, когда еще и слыхом не слыхивали о римейках, но зато отлично знали про главный роман основоположника метода соцреализма.

Повесть Исаака Фридберга «Здесь я!» («Дружба народов», №1) — жизнеописание литовского еврея, родившегося в начале 40-х годов нашего века. Попав, как кур в ощип, в эпоху великих злодейств, герой, кажется, от рождения обречен на фатально-хроническую зависимость от обстоятельств. Его жизнь, в основном, течет как бы помимо его воли, под воздействием нищеты, бытового и государственного антисемитизма, козней КГБ. После отъезда родственников за границу Мойше становится жертвой

политической игры. Арест и лагерь, очевидно, окончательно ломают человека; состоящая из унижений жизнь иссушает душу. Однако в финале герой находит в себе силы противустать обстоятельствам, парадоксально, помимо банальной логики, распорядившись собой. В повести остро поставлен вопрос об уделе человека в XX веке. В бытовую ткань повествования вплетается нить притчи. Рассказ ведется с сентиментальным юмором и незлой иронией, есть в нем и нота тихой стоической гордости.

«Три рассказа» Александра Плоткина («Постскриптум», №1) из разных времен советской истории объединены мотивом моментального «истекания» жизни, заставляющим вспомнить Чехова. Ощущение, свойственное юности, что жизнь идет «как будто в галерее, где была еще и еще одна комната... и в каждой что-то особенное», исчезает «как сон, как утренний туман», и жизненная перспектива начинает сужаться и «сворачиваться» стремительно, как экзотическая кувшинка «Виктория Регия» (ключевой образ и название одного из рассказов), расцветающая раз в год и цветущая один день. Автор имеет обыкновение поместить историю длинной и сложной жизни в рамки небольшого рассказа, отчего судьбы героев, рассмотренные на фоне калечащей или подавляюще скудной советской действительности, выглядят лишь случаями, в которых трудно разглядеть «общую идею». Однако автор не вовсе лишает читателя надежды, что она все-таки существует.

В незабвенные застойные годы возвращает **роман Натальи Галкиной «Сказка для сумасшедших»** («Нева», №1), действие которого происходит в стенах Художественно-промышленного училища имени Мухиной в Ленинграде. Студенты живут богемно, творят и развлекаются. Огромный старинный дом понемногу открывает главным героям свои тайны, приобщая их к жутковатой и притягательной красоте, сохранившейся с досоветских времен в малодоступном подземелье. Этими тайнами заинтересовался и КГБ. Вторжение чекистов драматизирует жизнь обитателей художественного ковчега. Беллетристика Галкиной имеет эстетский и мистический оттенок, она явно восходит к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, представляя собой довольно занятный перепев этого романа, точнее — его московской части.

«Орфический реквием. Тема и вариации в шести масках» писательницы из США **Ирины Грэм** («Нева», №3) — обширный лирический этюд с подтекстом, как сказано во врезке, «роман с ключом»: «за персонажами стоят реальные фигуры... Из них центральная — Андре, Орфей, в котором, конечно же, узнается

Артур Лурье. Упоминается не раз Долороза — это Анна Ахматова... Жан — французский религиозный философ-неотомист Жан Маритэн». Приводятся подлинные заметки композитора Артура Лурье.

А в «Знамени» (№3) публикуется журнальный вариант **романа Дмитрия Савицкого «Тема без вариаций (Passe Decompose, Future Simple)»**. Это характерное для автора лирико-исповедальное сочинение о двух московских приятелях богемного типа, об их непростых контактах с властью, с КГБ. Оказавшись во Франции, они отдаются любовным играм, полным драматических перипетий. Свой шедевр «Ниоткуда с любовью» Савицкий в новой вещи явно не превзошел. На смену московским любовным романам пришли менее интересные романы парижские.

Фридрих Горенштейн в повести 1982 года **«Куча»** («Октябрь», №1) рассказывает о неудачной командировке математика Сорокопута, который, не попав на место назначения, застрял в пути ввиду разгула природных стихий, упал ночью в яму и сломал ногу. Попутно изложена история рода Сорокопутов — трех поколений интеллигентов, а также даны картинки захолустно-повсеместного русского быта. Отчетливость бытового рисунка у Горенштейна, как обычно, сочетается с рассудочным конструированием, умозрительной идеологизацией сюжета. Автор пространно рассуждает об интеллигенции и о народе, в котором его страшат безличность, анонимная массообразность и бессмысленность (отсюда и заглавный образ «кучи»).

«Рассказ-воспоминание» Ларисы Миллер «Роман с английским» («Дружба народов», №3) — история о взаимоотношениях автора с английским языком на фоне 50—80-х годов. Подробнее всего повествуется о контактах с КГБ, неизбежных в советское время для того, кто хотел пообщаться с «носителями языка» — иностранцами.

«Колымские истории» Лилии Стрельцовой («Новый мир», №1) — дебют молодой писательницы, которая провела на Колыме школьные годы. Это бытописательные заметки о жизни в поселке на Колыме в 70—80-е годы, незамысловатая хроника простонародной жизни.

Рассказы Анатолия Гребнева из цикла «Венок сюжетов» («Дружба народов», №2) посвящены московскому интеллигентскому быту застойных времен. Это забавные, анекдотические истории о людях, которые нетяжко живут в заповеднике относительного благополучия, в целом успешно сосуществуют с властью, в меру фрондируют, не переступая за край. Любовь,

адюльтер, либеральные начальники, необычные повороты судеб героев в постсоветское время — и полное отсутствие определенно выраженного авторского пафоса.

Иван Алексеев в рассказе «Любовь к живым цветам» («Знамя», №3) делится воспоминаниями о благословенных молодых временах, когда для мальчишки с московской окраины счастье было так близко и возможно, материализуясь в подаренных джинсах «Супер-Райфл» и битловской «сорокопятке», в возможности беспечно тусоваться «на Пушке», полюбить здесь такую же юную джинсовую тусовщицу и заручиться знаками ее взаимности. Ностальгическая поэма в прозе.

Нонна Мордюкова в «Записках актрисы» («Октябрь», №2) рассказывает истории из собственной жизни, повествует о муже и сыне, о Махмуде Эсамбаеве и чеченцах, о замечательной актрисе Саше Пироговой, которую загубили гэбисты. Рассказ ведется просто, с чувством, подчас с дидактическим нажимом.

И закончим обзор исторической темы несколькими писательскими *историями мемуарного характера.*

Среди **рассказов Даниила Гранина** («Нева», №1) анекдот о турпоездке в Японию и о покупке там пилюль, повышающих потенцию; рассказ о коллекционере-маньяке, детском приятеле писателя; воспоминания о взаимоотношениях Хрущева и Солженицына, об общении с Хрущевым.

«Записки недотепы» Юлиу Эдлиса («Нева», №1) — воспоминания и размышления о пути писателя в литературе, о цензуре и злой партийной критике, характеристики деятелей культуры (среди них А. Арбузов, А. Гончаров, А. Эфрос, О. Яковлева, Э. Ионеско).

«История одной влюбленности» Марка Харитонова («Знамя», №3) посвящена Д. Самойлову: история знакомства, застольное общение, стихи, разговоры о жизни, политике, литературе, общих знакомых, фрагменты переписки. «Влюбленность» не мешает мемуаристу трезво отмечать и оценивать свои с поэтом несовпадения и разногласия в жизненной и творческой позиции.

Среди журнальной прозы, обращенной к **сегодняшнему дню**, рассмотрим прежде всего опыты художественного освоения злободневных, *социально острых тем.*

Роман Сергея Дышева «До встречи в раю» («Октябрь», №№2, 3) повествует о том, как некий город в мусульманской республике бывшего СССР входит в полосу анархии. Всюду стреляют, повсеместно шуруют националистические боевики, из

тюрьмы выпускают бандитов, из психушки разбегаются сумасшедшие. Мало-помалу мир погружается в безумие. Автор скользит по поверхности жизни, фиксируя реалии, не раз описанные журналистами, побывавшими в горячих точках, — и широко употребляя расхожие беллетристические ходы. В романе много героев, огромное количество правдоподобных и не очень эпизодов. Рыхлость романа мотивирована, вероятно, хаотичностью жизни, которая становится предметом копирования.

Значительно интереснее **роман Александра Бородыни «Цепной щенок»** («Знамя», №1), который можно, пожалуй, считать удачей автора-постмодерниста. Юный герой здесь испытывает себя на крепость, давая себе разные задания (переспать с кем-нибудь, убить кого-нибудь и т.п.). Со своей матерью он приезжает в охваченную гражданской войной Абхазию. И здесь разворачивается картина насилий и пыток, убийств и вползающих в душу кошмаров. Смерть ходит по пятам, ее запах дразнит ноздри, придает жизни неслыханную, необычайную остроту и яркость, вызывая грешные желания и толкая мать и сына в сексуальные объятья. Автор не стремится внести смысл в это зрелище, полуживотное, инстинктивное существование получает от него карт-бланш. Вероятно, задачей Бородыни было создание очередной постмодернистской страшилки, отчасти в подражание В. Сорокину. Возможно, и автор, подобно герою, экспериментирует над читателем, нарочно глумится и кощунствует. Между тем со страниц романа встает страшный мир кавказской войны всех против всех, и описан этот мир рельефно и впечатляюще. Бородыне, наконец, удается, кажется, напугать читателя всерьез, разбудить в душе ужас перед самоистребительным хаосом гражданской брани. Такое ощущение, что фон в романе вышел на первый план, заслонив историю вымороченных забав молодого бездельника.

Роман «Клетка» Михаила Попова («Лепта», №28) начинается как детектив с социальной подоплекой. События, предстающие первоначально в восприятии главного героя — ветерана войны, полковника, который пытается вызволить своего ученика из рук маньяка-садиста, складываются в узнаваемую картину «жестоких нравов» современности (заброшенные и не чуждые криминальной среде молодые люди, неблагополучные семьи, милиция, отстранившаяся от своих обязанностей). Но с развитием действия детектив, разветвляясь многочисленными и замысловатыми сюжетами, превращается в социально-психологический роман, открывается изнанка отношений героев, столь же причудливых, сколь и мрачных. Полковник оказывается бывшим гэбис-

том, присвоившим документы, имя, биографию брата — героя войны. Ученик мнимого ветерана — бессмысленное, тупо жестокое существо, порождение старого негодяя. В целом племя «молодых троглодитов» демонстрирует унаследованные палаческие склонности «отечества отцов». В клетке, в пыточной камере (в метафорическом, а иногда и буквальном смысле) так или иначе оказываются все герои романа — и палачи, и их жертвы. В мире романа нет любви, и сколько угодно — лжи, истязаний и страданий.

Роман Анатолия Афанасьева «Московский душегуб» («Москва», №№1,2) — заключительная часть трилогии (первая часть — роман «Первый визит сатаны», вторая часть — роман «Грешная женщина»; см. наш обзор в №83), в которой автор с азартным увлечением продолжает разрабатывать тему «новых русских», вникая в механику отношений и разборок внутри тайной уголовно-мафиозной власти и живописуя лица новых хозяев Москвы, занятых черным переделом сфер влияния. В мире уголовных авторитетов, где свои законы, своя иерархия, свои морали, матерому пахану Елизару, тайному властелину Москвы, противостоят стремящийся сбросить его с трона молодой авторитет Алеша Крест, которому отданы двусмысленные авторские симпатии, и его правая рука Миша Губин с его роковой любовью к женщине-киллеру, натуральной ведьме с ангельским ликом и ледяной стужей в глазах. В романе копошится и более мелкий люд, вроде тихо спивающегося электронщика Вдовкина, развеселого главного героя предыдущего романа «Грешная женщина», а теперь мафиозного консультанта по компьютерным делам, а также милицейских и гэбэшных чинов разных рангов, холуев, телохранителей, содержателей и завсегдатаев игорных притонов, мелкой уголовной крутизны и напуганного, разбежавшегося по своим углам коренного московского народа. Писатель уверенно ведет повествование, подогревая читательский интерес остросюжетными переплетениями и развязками, бросая своих героев в рискованные схватки и смертельные поединки и стремясь при этом иронически от них дистанцироваться. Но спасительная ирония нередко изменяет автору, переходя в откровенное любование героями, наделенными демоническими чертами и изъятыми из той грязи, в которой они живут и совершают свои подвиги.

Эту же тему продолжает **Евгений Богданов в «романе-новелле» «Разборка»** («Москва», №3), но место действия уже не Москва, а подмосковный райцентр Дятлово. И главный герой уже не уголовный пахан, а светлый человек, водитель рейсового

автобуса Алеша Котов, вчерашний афганец. Он один вступает в схватку с творящим беспредел бывшим комсомольским функционером, который прибрал к рукам всю местную тяжелую и легкую индустрию, купил на корню прокуратуру и милицию и превратил Дятлово в свою вотчину. Попытки купить и афганца наталкиваются на его стойкое сопротивление. Но автор с таким захватывающим увлечением описывает хозяйские «крайслер-империалы» и «мерседесы», умопомрачительные закуски и напитки на хозяйском столе, приемы на загородной вилле, где гуляет дятловская городская знать — «респектабельные мужчины в смокингах и дамы в вечерних изысканных туалетах», — что становится ясно, какими высокими моральными качествами нужно было обладать герою-афганцу, чтобы устоять перед такими соблазнами.

Есть своя актуальная социальная острота и в обширном **романе Сергея Смирнова «Империя здоровья»** («Наш современник», №№2, 3). Молодой аспирант, в меру ироничный и аполитичный и никак не «качок» и не супермен, а вполне обычный интеллигентный городской юноша, любящий свою маму, на досуге подрабатывает книготорговлей в подземном переходе. А в рабочее время служит лаборантом в одном из прежде сильно засекреченных московских медицинских «ящиков» с космическим, видимо, уклоном, а теперь за жалкую валюту направо и налево распродающем уникальные секретные разработки и технологии. По случаю он узнает, что в его институте разместила свои давно вожделенные начальством заказы некая «Империя здоровья» и что за этой вывеской скрывается тайная и могущественная международная банда, собирающаяся откачивать из России кровь с крайне редкими и уникальными свойствами. Донорами становятся бесправные и беспомощные люди вроде бомжей и сирот из детских домов, что вызывает справедливое возмущение героя. С помощью юной и обаятельной американки, шпионки из ЦРУ, ставшей его верной подругой и напарницей, герой разгадывает замыслы агентов «Империи здоровья», путает им карты и, спасаясь от преследований, выходит победителем из неравной борьбы. Это отечественный триллер, предлагающий острый сюжет и свою версию героя нашего времени — с сострадательной душой и без «крутых» привычек.

В **повести Ирины Муравьевой «Филемон и Бавкида»** («Дружба народов», №3) именами благочестивой супружеской четы из греческого мифа названы современные старики-супруги, проживающие на подмосковной даче. Муж в прошлом — крупный гулаговский чин, ныне суровый, крепкий старикан. А его

престарелая подруга внезапно сходит с ума. В ее сознании пробуждаются таимый страх перед мужем и отвращение к нему. В повести чрезвычайно правдоподобно описано, как старуха неуклонно погружается в безумие. Традиционное для Муравьевой сентиментальное бытописание на сей раз сопровождается сатирическими аккордами и чуть ли не претендует на притчевое обобщение. Сумасшествие являет ту правду о внешне благопристойной жизни образцовых советских супругов, которая бумерангом возвращается к ним из их жуткого по сути прошлого. Гулаг мстит.

А в **повести Галины Щербаковой «У ног лежачих женщин»** («Новый мир», №1), в героях которой тоже отпечаталось их гнетущее прошлое, три соседа-старикана (бывший райкомовец, шахтер-работяга и отщепенец-интеллигент) верно и преданно любят своих жен, каждая из которых лежит в параличе. На фоне советского быта Щербакова тщательно прописывает романтическую историю каждой из трех пар, где были всевозможные сложности, подчас любовные треугольники, сексуальные проблемы и прочая забавная требуха. То, что эта любовь все-таки была где-то когда-то и с кем-то, едва ли не искупает в глазах писательницы все грехи персонажей и все мерзости совковой жизни. Трогательно симпатизируя своим простоватым героям, Щербакова про себя знает, что все ж таки есть и иное измерение бытия, к которому герои причастны лишь косвенно. Это авторское знание создает дистанцию трезвого наблюдения над жизнью. Но писательнице, кажется, не удается ввести в свою прозу ту глубину духовного опыта, на которую она намекает. В целом повесть не выходит все же из пределов высокопрофессиональной беллетристики.

«Соборный рассказ» Олега Павлова «Конец века» («Октябрь», №3), судя по названию, претендует на большие обобщения. Это история о том, как на Рождество в больницу привезли на «скорой» бомжа, вшивого, чесоточного и полумертвого от побоев, как никому не было до него дела и как долго его не хотели вообще принимать, как, наконец, приняли, а он возьми да и умри на санобработке — и даже труп его куда-то потом пропал из морга. Сюжет и детали дружно указывают на евангельскую родословную рассказанной Павловым истории, хотя автор здесь вовсе не претендует на откровенное тождество и весьма деликатно сопоставляет бомжа с Богочеловеком. В итоге у Павлова верх берут жалость к человеку и сентиментальная дидактика.

Повесть «Легкая тяжесть в легких» («Знамя», №2) подписана прозрачным псевдонимом: **А.В. Ерников** (за коим позволи-

тельно угадать уральского гения Верникова). Солдатик умеет печатать на машинке — и за это ему выпадают всякие льготы, которые он принимает как должное и лениво существует там, куда его бросает судьба. Герой полупрозрачен, автор самоустранился, и цель у сей затеи, сдается, отсутствует напрочь. Впрочем, можно искать и найти немало аллюзий.

На куда более глобальные обобщения претендует тот же псевдоним **Александр В. Ерников** в своем **«Заступничестве отца Сергия. Конспект Толстого Романа о Двух Причастиях с Эпилогом»** («Урал», №1), посвященном «Винценту Шаргунову (отцу Александру) и Лине Мкртчан». В «Конспекте» (сюжет, видимо, навеян Высоцким — «Песней прыгуна в высоту») излагается история молодого англичанина лорда Милтона, обнаружившего феноменальные способности к прыжкам в длину, но под влиянием русских впечатлений на Олимпиаде-80 ушедшего из спорта. Затем он бесследно исчезает и из жизни, чтобы обрестись в качестве православного монаха Сергия (в миру — электрика Сергея Рыбкина) в монастыре уральского города Верхотурье. Монаху, во всем прилежному, но отличавшемуся одной странностью — в порыве духовного восторга он прыгал, возносился и даже парил в воздухе, — было велено выступать на соревнованиях — чтобы, если уж он «не наскакался», пусть прыгает на виду у людей. Прыжки и полеты отца Сергия с воздетым над головой крестом и с подоткнутой рясой увидели на экранах миллионы людей, которые стали валом валить в религию, какая кому ближе. Обличая современное «сатанинство», автор намекает, что до Божьего гнева и мирового потопа уже рукой подать. Среди действующих и упоминаемых в малопривлекательном контексте лиц — митрополит Антоний Сурожский (Блум), «зверски убиенный отец Александр Мень», «еще живой» отец Георгий Кочетков и «кочетковцы», Владимир Высоцкий, Всеволод Новгородцев из Би-Би-Си.

Религиозной темой озадачена и **Евфросиния Покровская** (псевдоним Виктории Шек, как подсказывает журнальная врезка) в **повести «Ферапонтово лето»** («Москва», №1), собрании подневных записей с последующей обработкой. Повесть может представить интерес не своими литературными достоинствами или достоинством наблюдений и размышлений, в ней изложенных. Рассказывая о лете, проведенном в Ферапонтове — давнем месте паломничества московской и питерской интеллигенции, автор манифестирует тип сознания и поведения, широко распространенный сегодня среди недавно уверовавшей и крестившейся интеллигенции. Обретенная вера, даже и произведя, возможно,

глубинную душевную перенастройку, тем не менее встраивается, как правило, в привычно интеллигентский обиход, становясь новой — теперь уже околоцерковной — темой светского словоговорения, с демонстрацией причастности и сильной дозой скороспелого учительства.

«Беседы о прекрасном» Артема Рондарева («Знамя», №2) — это истории о милых молодых москвичах, которые живут себе легкомысленно и беззаботно, не перегружая себя общественной заботой и болью, не впадая в экстремы, избегая принимать решения, которые нельзя назавтра же перерешить. Совершенно прелестное племя кузнечиков и стрекоз порхает по страницам этого опуса, посвященного автором своим друзьям. Свободные от всякого ангажемента персонажи в чем-то весьма похожи на аксеновскую богему 60-х годов, но эти, из девяностых, — еще свободнее, еще раскованней — и эстетней. В повести много всяких ерундовых разговоров и мелких разборок, но «прекрасное» в исполнении Рондарева все-таки утомляет уже на 3—4-й странице текста. Эту апологию пустоты можно, пожалуй, считать симптомом вполне определившегося умостроя, хотя автор, понятно, вовсе не претендует на роль исследователя жизни.

Наталия Толстая в рассказе «Свободный день» («Звезда», №1) изобразила интеллигентную питерскую даму Катю, которая скучает и нехотя наблюдает разнообразное течение жизни, смакуя забавные черты городского быта. В другом рассказе, **«Деревня»**, похожая на Катю московская дама Оля, приехав к подруге на деревенскую дачу, старательно опрощается, опять же пробуя на пригляд быт и нравы грубых поселян («Посрет, поссыт и лягит»). Толстая — наблюдатель житейских мелочей, она пишет рассказы будто вышивает гладью или штопает носки: старательно и без сверхзадачи.

Герои новых **рассказов Бориса Екимова** («Новый мир», №2) проживают в той же южнорусской сельской глубинке, что и персонажи рассказов старых. Это современный Филиппок — рассудительный, хозяйственный мальчик Фетисыч, блюдущий порядок посреди всеобщего развала (**рассказ «Фетисыч»**). Это две старухи-соседки, одна из которых обезножела, а другая за нею ходит: тут и старые счеты, тут и старческие хитрости (**рассказ «Миколавна и «Милосердия»**). Екимов, по обыкновению, сочетает острое видение социальных проблем с сентиментальными коллизиями и открытостью чувств.

Вячеслав Пьецух в «Сценках из деревенской жизни» («Знамя», №3) сочиняет какую-то свою жизнь, имеющую черты

подобия с тем, как изображают деревню в газетах и телепрограммах. Анекдоты, которые изобретает Пьецух, прелестны тем, что узнаваемы.

В похожем на маленькую повесть сочинении **Николая Якушева «Ночной вопль кладбищенской обезьяны»** («Волга», №1) совместное бытование соседей по коммуналке — семейных и холостых, старых и малых, работяг и служилых интеллигентов, вываренных в одном коммунальном бульоне, сильно отдающем водочным перегаром, — ассоциируется автором-забавником с жизнью обезьяньего питомника, обитатели которого вернулись к исходному пункту эволюции без памяти о пройденном человечеством доисторическом пути.

В **рассказе Фазиля Искандера «Мимоза на севере»** («Новый мир», №3) энергичный, остроумный инженер-строитель оказывается готов к не совсем практичным поступкам. Вспоминая свою первую любовь и мучаясь угрызениями совести, он покидает Абхазию и уезжает на далекий север, бросает квартиру, оставляет руководящую должность, жену и все имущество. Автор ценит в герое именно способность к бескорыстным поступкам, благородную отвагу. В финале выясняется, что совесть мучила героя напрасно, — и это парадоксализирует коллизию.

Жанровыми стилизациями увлеченно занят **Алексей Слаповский**. Его сочинение **«Из цикла «Общедоступный песенник». 1. Кумир. Рок-баллада. 2. Крюк. Блатной романс»** («Дружба народов», №3) — еще два этюда из цикла, к которому принадлежит также «уличный романс» «Братья» («Знамя», №12, 1995). Всякий раз автор стилизует свой этюд в соответствии с метасюжетом и поэтикой того или иного жанра городской песни и городской жизни. **«Кумир»** выстроен как молодежная повесть, в центре действия которой — начинающий рок-певец и музыкант. Он изживает подростковые комплексы, ищет свой путь в искусстве и в сегодняшней жизни, блуждая между двумя женщинами, которые то заманивают, то отталкивают инфантильного красавчика. В финале паренька настигает слава, он становится звездой рока. **«Крюк»** — хроника жизни современного криминального дна. Это грубая, примитивная жизнь, убогие люди, легко убивающие и умирающие. Женщина здесь — то разменная монета, то предмет бешеных страстей... В целом цикл выглядит удачей плодовитого автора, в своей прозе превращающего эзотерику постмодерна в общедоступное и — чаще всего — увлекательное чтиво. Однако и на старуху бывает проруха. **Повесть** того же автора **«Гибель гитариста»** («Звезда», №1) — это довольно скучная

имитация детектива. В городе Саратове гибнет гитарист — и по ходу действия выясняется, что многие его знакомые, друзья и завсегдатаи сборищ в его доме имели повод не любить покойного.

Святочную историю стилизует **Виктор Ерофеев в рассказе «Кровотечение»** («Общая газета», №52). Злой ребенок пяти лет творит здесь всевозможное зло. Изобретательный автор эти подвиги описывает.

Комикс «Commando» А. Акишина («Комментарии», №8) — римейк фильма «Тимур и его команда», конфликт которого переосмыслен как столкновение двух банд и приправлен в духе современного американского кино сценами «секса и насилия».

В текущей прозе немало *любовных историй* с расставленными в них сегодняшними акцентами.

В **романе Виталия Познахирева «Александровская колонна»** («Нева», №2) нестарый питерец рассказывает о себе. Он сыплет остроумными репликами, совершает благородные поступки, выходит незапятнанным из разных житейских переплетов. Как человек бескорыстный и обладающий неопределенно-возвышенным строем души, герой не может найти себя в современной жизни с ее грубым норовом, он чужд миру чистогана и коррупции. В награду за это автор выдает ему прелестную учительницу-словесницу, красавицу-идеалистку; их любовное чувство взаимно. Наивный роман в традиции лирико-исповедальной прозы.

Рассказ Виктории Токаревой «Система собак» («Октябрь», №3) — монолог актрисы, вспоминающей о перипетиях своего романа с режиссером фильма, в котором она снималась. Экзотика закулисного киношного быта сочетается здесь с эстетикой адюльтера и ностальгическим дамским сантиментом.

В **рассказе Дмитрия Притулы «История любви»** («Нева», №3) жена продает неприбыльного, недобычливого мужа своей богатой двоюродной сестре. Бытовая коллизия между любовью и деньгами здесь обнажена до предела, но автор вносит в традиционную схему забавные новации. В **рассказе «Денис Ильин»** у молодого человека, живущего со зрелой женщиной, пробуждается отцовское чувство к ее сыну. Манера Притулы — сентиментально-бытовой сказ.

Роковой силы достигает страсть в **рассказе Евгения Константинова «Вериги родства»** («Юность», №1). В окрестностях Ново-Иерусалимского монастыря девушка-старообрядка из ночи в ночь отдается герою в бывшем скиту патриарха Никона, чтобы

осквернить это место, где обитал, по ее словам, «антихрист, гонитель, мучитель и убийца самых верных сынов отечества». Подстрекаемый фанатичкой на кражу из музея вериг Никона, герой попадает в тюрьму, а потом и вовсе пропадает куда-то, а на смену ему приходит племянник, которым овладевает страсть к дочери дядиной фатальной подруги.

В **рассказе Дмитрия Бакина «Стражник лжи»** («Знамя», №1) некто Кожухин никак не может поверить в то, что его бывшая жена умерла, и хочет ее вернуть во что бы то ни стало, для чего пытается разбогатеть, продает квартиру, копит деньги, живя черт-те где, идет на всевозможные лишения, лелея свой невозможный план. Это человек моноидеи, фанатик на грани патологии — но его можно, при желании, сопоставлять и с героями Фолкнера.

Анатолий Ким в рассказе «Венера Сеульская» («Дружба народов», №1) поведал о том, как огонь Венеры загорается в сердцах корейских женщин. Одна из них, сеульская студентка, сойдясь со своим профессором, выбросилась затем из окна. В **рассказе** же **«Над рекою чисто»** Ким сгущает атмосферу невнятного квазихристианского мистицизма. Врач-психотерапевт из дома престарелых, едва ли не сектант, учит здесь писателя постижению своей вины и осознанию загрязненности своей души. Его ученик, подросток Юра, воображая, что проходит крещение и освобождается от грехов, тонет в озере. Обо всем этом рассказано с надлежащей замысловатостью.

В журнальной прозе заметно возросло число *волшебных вымыслов* — современных сказок, историй с фантастическими допущениями и особенно историй мистического свойства. В прозу активно вторгаются как традиционные персонажи народной демонологии, так и местно чтимая нечисть.

В **повести** живущего в США **Феликса Розинера «Адамов ноготь»** («Нева», №2) библейские мотивы сплетены с колдовскими. Это история любви преуспевающего западного художника и галериста Адама, литовца по происхождению, и русской женщины Евы (Евдокии), получившей в наследство от бабушки-знахарки рецепты привораживания, которые она и пускает в ход. В результате Адам не только любовно прирастает к Еве, но и проходит через мучительную операцию совлечения «ветхого Адама». Обновившись душевно и физически, он отказывается от коммерческих соблазнов и обращается к истинному искусству. Своей сглаженной отстраненной стилистикой повесть напоминает добротно сделанный перевод с западного подлинника.

А в **повести Надежды Васильевой «Бесовы следки»** («Север», №2) в поселковый быт вписана современная ведьма, которая, будучи орудием нечистой силы, узнает об этом последней. Врач в местной поликлинике, она плохо переносит свои служебные занятия и обязанности, тоскуя по лесу, который ей дом родной и куда она отправляется при всякой возможности, оставляя в недоумении и беспокойстве мужа и малолетних детей.

В **рассказе Галины Корниловой «Кикимора»** («Знамя», №2) героиня в Петербурге встречает женщин с ужасным взором, в которых опознает кикимор, болотную нечисть.

Роман Владимира Орлова «Шеврикука, или Любовь к привидению» («Юность», №1) об останкинском домовом — похоже, вечный. Публикуется третья часть романа, главы с 44 по 52. «Продолжение — в одном из последующих номеров».

«Паромщиковы бредни» Таисии Пьянковой («Юность», №1) — колоритный сказ старого паромщика о разных диковинах, о встречах с нечистой силой. К сочинению приложен словарь употребленных в нем диалектных слов.

В **рассказе Гоара Маркосяна-Каспера «Невидимая сторона луны»** («Дружба народов», №1) ученая дама потеряла мужа, которым пренебрегала, — и только после его смерти почувствовала боль и скорбь утраты. Он начал приходить к ней в прекрасных снах, там они встречались и общались, — и в конце концов героиня решила остаться в этих снах, как будто навсегда.

В **романе Юрия Гальперина «Мост через Лету»** («Волга», №1) герой переживает суточный роман с героиней фильма «Колдунья», сошедшей с экрана в его объятья, чтобы к завтрашнему вечернему сеансу вернуться в свое кино. Герой — писатель, пребывающий в том плачевном состоянии, когда писание «не идет», сюжеты исчерпаны, жизнь не мила, возлюбленное одиночество обрыдло. Случайный поход в кино дарит целую серию острых жизненных переживаний — отъезд на лоно природы, купание в ночном озере, смерть героини в автокатастрофе, пустой гроб, обнаруженный на месте ее захоронения, и прочие страсти. Видимо, в этом сюжете что-то смущает автора — повествование постоянно перебивается то описаниями сновидений, то пространными отвлечениями и умственными отступлениями по поводу сюжета, развития действия, положения персонажей, а также трактующими проблемы «второй реальности» и обличающими «приверженцев кондового реализма».

Разные чудесные события происходят и с героем **повести Василия Царегородцева «Несимметричное пальто»** («Урал»,

№2), которая по ходу дела, пробуксовывая на многочисленных поворотах, разваливается на сюжеты, не раз бывшие в употреблении. Герой, который имел привычку «не совсем симметрично» застегивать пальто, сначала оказывается на облаке, где принимается обличать Всевышнего за несовершенство творения и пускается в пустоголовые рассуждения насчет «материи» и «что такое человек». Потом он едет в странном поезде, где общается с трубкой вождя, которая «курила сама себя», а затем и с самим вождем и, кажется, с его соратниками, среди которых один с раздвоенным копытом. Далее герой произведет и ряд других малоприятных знакомств, побывает в авиакатастрофе и на необитаемом острове. К чему весь этот сыр-бор, так и оставлено без внятного объяснения. Возможно, автор, уважающий симметрию, хотел убедить героя правильно застегивать пальто.

«Маленькая волшебница» Людмилы Петрушевской («Октябрь», №1) — «кукольный роман» о волшебной кукле Маше Барби и ее приключениях. Это сказочная история для детского чтения. Добрые чувства, любовь и дружба на фоне каверз и интриг.

Журнал «Постскриптум» (№1) под заголовком «Круг сказочников» публикует три сказки разных авторов.

«Гном Гильом и лунный котенок» Григория Кружкова — традиционная литературная сказка с волшебными персонажами, которые находятся в очевидном родстве с муми-троллями, ожившими игрушками и проч. Простодушные герои противостоят практицизму, грубой прозе, лицемерию и, как водится, побеждают. К сожалению, автору не удалось оживить придуманный им полудетский-полувзрослый мир, который получился сконструированным.

В названии опуса **Николая Калягина «Сказка»** прочитывается намерение закрепить за текстом принадлежность определенному жанру, поскольку собственно сказочных примет здесь немного (имена героев, некоторые особенности повествовательной манеры). В целом «Сказка» — вполне реальная (правда, схематично изложенная) история с современными социальными реалиями и социальным конфликтом, в которой выражено авторское неприятие сегодняшних примет жизненного успеха — «красивой жизни», больших денег и т.п.

В **сказке Михаила Лускатова «Пленэр»** волшебные события и явления соседствуют с изображением современной социальной действительности. Путешествие мужиков за вином (вызывающее в памяти «Кому на Руси...») позволяет увидеть скудную

и в то же время непредсказуемую русскую жизнь в натуралистических подробностях, нелепостях и странностях.

«Невеселая сказка для потерянных душ» А. Давыдова («Комментарий», №8) — блуждания в мире забытого «всеми вместе», «прежнего не к сейчас, а ко всем временам, что были и будут», в мире «ненаписанного», невоплощенного. Странствия в изменчивой «долине» предтворческих сновидений, герои которых, сливаясь, образуют причудливых кентавров, сопровождаются многочисленными явлениями и происшествиями, связанными с литературой реминисценциями из самых разных источников (от Библии до «Алисы в Зазеркалье»). Характерный ритм, создающийся благодаря настойчивому использованию инверсий и анафор, очень точно передает зыбкость, текучесть нарисованного автором мира, но в то же время делает повествование однообразным. Чрезмерная растянутость текста придает ему сходство с психоаналитической игрой в «свободные ассоциации».

В журнальной прозе можно отметить и ряд произведений, выполненных в *жанре путешествий.*

«Париж, который я выдумал» Генриха Сапгира («Знамя», №1) — очерк воображаемого визита в Париж. Сапгир играючи осваивает город, в котором он, нужно полагать, не бывал. На фантазии замешаны разные анекдотические истории.

Повесть Марии Арбатовой «Опыт социальной скульптуры...» («Звезда», №2) — это дневник путешествия из Москвы в Монголию в «караване культуры» с западноевропейскими богемой и антропософами. Автор путешествует трояко. Во-первых, это визит в душу европейцев с их наивной детсткостью, эгоизмом, рационализмом и прочими простительными «измами». Во-вторых, Арбатова попадает в российскую глубинку, являющую для москвички суперэкзотическое, то угнетающее, то вчуже радующее зрелище. В-третьих, Монголия: Азия, где природа первозданно прекрасна, а туземцы инопланетно странны. Обо всем этом рассказано в повести с развязной, полудикарской веселостью «столичной штучки», выехавшей из первопрестольной за впечатлениями и получившей их сполна.

В одном из **рассказов Александра Иванушкина** («Юность», №1) самоуверенный москвич Васечка поехал в Сибирь на заработки, добывать древесную смолу. В лесу он испытал жуткое чувство, заблудился, заплакал. Но «лесной бог его хранил», и Васечка в конце концов испытал в таежных дебрях чувство единения с мирозданием.

Андрей Лещинский в рассказе «Мелкий лавочник» («Нева», №3) путешествует по времени, в 2014 год. Это антиутопия о мире, где господствует мафия, где все продается и покупается. Некуда деваться — да никто в рассказе и не пытается бороться с таким порядком вещей. Слабые платят баксы, сильные их берут.

И в завершение обзора журнальной прозы рассмотрим несколько опытов в *жанре эссе.*

Публикация **эссе Ольги Шамборант «Характер момента»** («Постскриптум», №1) сопровождена комплиментарным послесловием редакции, из которого следует, что автору удалось выразить «мысль, еще не реализованную словесно», точно передать ее «речевыми пустяками». В самом деле, автор чурается внятного и последовательного изложения, предпочитая ему разговорную неполноту фраз, необязательные ассоциации, несвязное странствование от наблюдения к наблюдению, использование (для наглядности) образов, далеко не всегда удачных (перестройка, например, сравнивается с «переносом дачного сортира со старой ямы на новую»). Автор избирает интонацию «сермяжной правды», которая должна, видимо, свидетельствовать о трезвости взгляда, об отсутствии иллюзий и сентиментальности. Что же свойственно «характеру момента», по мнению автора? Прежде всего тоска обретения свободы, которая отменила легко прежде добываемую «лица необщим выраженьем» незаурядность, позволявшую выйти из общего потока и тем самым оказаться не объектом, но субъектом жизнетворчества; которая отняла «чувство юмора» (питавшееся, заметим, присутствием «фиги в кармане»); которая обнажила инфантилизм сознания, отсутствие «среднего возраста» в стране.

«Бессмертная иллюзия слов». Эскизы о поэзии» Александра Вяльцева («Постскриптум», №1) — эссе, передающее личностный опыт восприятия поэзии, в котором, однако, не оказывается ничего нового. То, что поэзия придает новые, интуитивно воспринимаемые смыслы чувствам и предметам, что стихи «угадывают», а не называют, что поэт несет ответственность только за слово, но не за причастность тому или иному земному пути, что в поэзии «важно не иметь слишком хорошую голову» и т.п. — вещи общеизвестные. За каждым утверждением угадывается или следует соответствующая цитата. Автор вообще склонен к обильному цитированию: может вопрошать словами Рассадина и отвечать словами Саррот. Эссе открывается рассуждениями о поэзии вообще, а заканчивается рядом отдельных (иногда в фор-

ме афоризмов) наблюдений над творчеством того или иного поэта в духе милых и остроумных очевидностей Вайля и Гениса.

В **эссе «Зрение, поезд»** («Комментарии», №8) **Вяч. Курицын** занят извлечением разнообразных значений и смыслов из феномена кинематографа и литературы. Характерный для автора прием — выстраивание ряда таких смыслов, перечисление того, что описываемое явление означает «во-первых», «во-вторых» и т.д. Концентрированное выражение кинематографического мышления, способного передавать и воспринимать собственно движение, не нагруженное мифологическим или идеологическим содержанием, автор видит в фильме «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота». Литературное, или «символическое», сознание, напротив, неизбежно предполагает соприкосновение с трансцендентным, на чем основана, в частности, «тактика отношения» к железной дороге как к воплощению таинственного, источнику «значительных знаков». В том же ключе обсуждается наличие слова «конец» в фильме и отсутствие его в книге. В целом, как считает автор, кинематографическое мышление может быть неконцептуальным, что принципиально невозможно в литературе. Занимательные и остроумные рассуждения автора, к сожалению, не всегда правдивы: противопоставляя литературу и кинематограф, Курицын подчас прибегает к натяжкам.

2. Литературная критика

Журнальная критика начала года также представляет собой достаточно насыщенную и разнообразную картину, в чем хочется видеть наметившуюся тенденцию к оживлению критического жанра. В разных журналах критическая рубрика, кажется, понемногу восстанавливается в своих прежних правах. Все меньше «междусобойной» критики, когда люди одной «тусовки» обмениваются критическими комплиментами, занимаются агрессивной апологией своего «изма» или под видом литературных полемик отстаивают поколенческие права и привилегии. Текущая литература все более становится для критики предметом, который замечателен и занимателен сам по себе и из которого можно извлечь достаточно острых и увлекательных сюжетов для профессиональной работы.

В нашем обзоре попробуем двигаться от общего к частному, от публикаций **теоретико-литературного** и **мировоззренческого** ха-

рактера, авторы которых стремятся определить ориентиры и спрогнозировать течение литературного процесса, — **к критике текущей литературы**, обсуждающей направления и тенденции, предлагающей тематические обзоры, литературные портреты, разборы и анализы конкретных произведений.

Михаил Эпштейн в обширной статье **«Прото-, или Конец постмодернизма»** («Знамя», №3) излагает свою концепцию новой литературной (и шире — культурфилософской) реальности, идущей на смену *постмодернизму*. Вместо понятия «пост-постмодернизма» и дальнейшего умножения этих «пост» автор предлагает приставкой «прото» обозначить «возвращение в начало», «которое ведет в открытое будущее, являя возможность продолжений и невозможность концов». Значительная часть статьи посвящена критике постмодернизма, но не как альтернативного или враждебного новой реальности, а как растворенной в ней, пройденной и исчерпавшей себя ступени. Постмодернизм был реакцией на утопизм авангарда — будущее преподносилось как неизбежный рай, мыслилось определенным, достижимым, воплотимым. Постмодернизм устремился к прошлому — но стал присваивать ему атрибуты будущего: неопределенность, непостижимость, многозначность, ироническую игру возможностей. Постмодернистская подмена будущего прошлым ничем не лучше авангардистской подмены прошлого будущим. Автор полагает, что эта игра в прошлое-будущее «сейчас завершается вничью», что предстоит «выйти за пределы утопий и резонирующих на них пародий». В статье фиксируются симптомы преодоления постмодернизма. «Нарастает чувство какой-то новой серьезности», в творчестве Вен. Ерофеева приоткрылась «новая сентиментальность», у его последователей (с конца 80-х годов «ерофеевское» направление — одно из господствующих в русской литературе) появилась «новая «мерцающая» серьезность-ирония», концептуалисты открыли «новую искренность». Для обозначения этого «нового» качества Эпштейн предлагает приставку «транс», устанавливающую преемственность будущего с прошлым. Например, «трансентиментальность» — это «сентиментальность после смерти сентиментальности, прошедшая через все круги карнавала, иронии и черного юмора, чтобы осознать собственную банальность — и принять ее как неизбежность, как источник нового лиризма». «Прото» и «транс» — это, в условном смысле, «культурные мистерии рождества и воскресения, и вместе они представляют собой альтернативу постмодернизму как некропоэтике прошлого, как имитации мертвых стилей...»

Те же *вопросы преемственности и будущего литературы*, но уже в традиционном ключе и привычных терминах, обсуждали участники дискуссии **«Русская литература XX века: взгляд из ситуации конца века»** («Лепта», №28). В исторических катастрофах XX века **С.Ф. Дмитренко** видит условие «длительного и могучего существования литературы». **В.Е. Ковский**, напротив, не находит никакого оправдания «истребляющим условиям жизни», приведшим к физическому уничтожению многих писателей XX в. **В.П. Смирнов** считает, что русские писатели закономерно разделили трагическую судьбу народа и не имеют большего права на сострадание, чем «рядовые» истории. Литература XX в. прошла через многие искушения (в том числе фрейдизмом), в ряде случаев оказалась не чужда политического конформизма, но в целом «решала более крупные задачи», опираясь на христианскую совестливость и свободу и невольно обнажая бесчеловечность режима — пример чему «Судьба человека» Шолохова (**Н.С. Буханцев, В.П. Смирнов**). В XX в. история литпроцесса и история литературы как дисциплины не совпадают в принципе (**С.Р. Федякин**), так как многократно переписываются в угоду тем или иным социально-политическим обстоятельствам. «Сегодня же гуманитарная мысль пребывает в жуткой гордыне, в одержимости поправить» литературу с точки зрения демократии или православия, или психоанализа, или постмодернизма, тогда как необходимы непредвзятость, освобождение от суетности, которые позволят увидеть целостнось истории как человеческой драмы и разглядеть реальные черты литературы (**Н.В. Корниенко, О.А. Коростылев**). Критики согласились, что сегодня литература переживает кризис (косвенная его примета — ориентация читательского интереса на научную или массовую литературу), связанный, возможно, с укреплением после 2-й мировой войны демократии, которая, являясь социальной энтропией, неблагоприятна для культуры. Но вместе с тем, как считает **С.В. Джимбинов**, «безотрадный постмодернизм», возможно, готовит почву для новой литературной тенденции, которую критик условно называет «магическим реализмом». **С.Ф. Дмитренко** связывает дальнейшее развитие и, вероятно, трансформацию литературы с вмешательством в творческий процесс компьютерных технологий. С точки зрения **С.Р. Федякина**, экспериментирование с компьютерными технологиями вовсе не обязательно рассматривать как предвестие существования литературы в немыслимых формах. Бесперспективен и бесплоден и постмодернизм — образование механическое, поскольку настоящая литература выраста-

ет из почвы жизни. Эту мысль разделили **Н.В. Корниенко**, указавший, что русской литературе еще есть, о чем говорить, ей незачем превращаться в «текст», и **В.Е. Ковский**, для которого будущее литературы — за социальным реализмом.

О роли и месте русской классики в сегодняшней и завтрашней российской жизни размышляет **Александр Архангельский** в статье **«Классика школьного ряда»** («Новый мир», №3). Классика имеет «жизнеобразующий смысл» — в ней «свернуты» представления нации о самой себе, это общенациональный культурный язык, «набор культурных кодов». Все россияне, независимо от места проживания, национальности, вероисповедания, «должны понимать друг друга не только в лингвистическом смысле». Последствия небрежения классикой, изымания ее из школьных программ (сегодняшние опыты такого рода демонстрируются критиком) будут весьма серьезными, ибо «жажда раскультуривания» всегда живет в русской душе. В результате может происходить «все большая изоляция различных «сегментов» нации, все большее взаимное непонимание при невозможности спокойно объясниться на общем языке нашей общей культуры». Эти последствия затронут и завтрашний день, потому что классика — «ее образы, ее сюжеты, ее пафос — ...может стать о д н о й из скреп будущего».

По-иному видит завтрашний день литературы и место в нем писателя **Виктор Ерофеев** в статье **«Разговор по душам о виртуальном будущем литературы»** («Общая газета», №11). Он полагает, что «от развития высокой технологии в условиях тотальной глупости» исходит угроза литературе. Она может выжить, только если автор, «который всем слишком намозолил глаза», исчезнет. Соревнование с видеоискусствами выдержит тот, кто «способен создать текст с бесконечным количеством **интерпретаций**». «Роли пророка и учителя жизни исчерпаны», отныне текст должен вступать «в интерактивную связь с читательским сознанием», чтобы читатель сам, без авторской указки, моделировал смысл текста. Так текст лишится, по Ерофееву, своей одномерности и выживет «за счет оплодотворения в читательском сознании». Литература в традиционном смысле «остывает», само слово «литература» «начинает звучать одиозно». «Конечно, писатели ни о чем не договорятся. Их прикончат по одному, и, в основном, за редким исключением, писатели — довольно противное зрелище, мне выпало счастье видеть их в большом количестве, я получал от них удовольствие, и мне их не особенно жалко [...] В бабушке-России процесс деградации литературы может затянуть-

ся. Наша бабушка не только медленно ходит, но и болеет медленно, она у нас беспомощная и с сюрпризом. С ней намучаешься, но не соскучишься; все равно, это — процесс агонии».

Ряд журнальных и газетных статей посвящен размышлениям о состоянии *литературной критики* и *внутрицеховым проблемам.*

Наталья Иванова в статье **«Между»** («Новый мир», №1) рассуждает «о месте критики в прессе и литературе», фиксируя конец литературоцентризма, расцвет журнализма и рыночности, появление новых амплуа — критического кутюрье и рекламиста. Подробно характеризуется в статье «новогазетная критика» («НГ», «Сегодня»); в этом разборе много общего с тем, что уже писалось о ней в прессе (в т.ч. и в «Континенте»), но есть и любопытные добавления. Иванова в целом согласна с тем, что «в критике «новой» заказ внешний сменился внутренним — самозаказом по обслуживанию своей референтной группы». Положительная же роль критики в «тонких» изданиях состоит в том, что стало ясно: «критика есть дело **веселое**».

В продолжение дискуссии на страницах «Литгазеты» о современной критике **Дмитрий Бак** в статье **«Письма не о любви, или Хроника растерянного поколения»** (№1/2) утверждает, что вдруг у всех из-под ног ушла твердая почва «направления», обессмыслились былые проклятые вопросы. «Все мы растерянно засуетились». Налицо ситуация напряженного ожидания каких-то перемен. Привлекая массу литературно-исторических параллелей, Бак сравнивает ее с ситуацией 80-х годов XIX века. С другой стороны подходит к теме **Вячеслав Курицын,** в статье **«Колбаса как лучшая рыба»** (№3) фиксирующий, что журналистика берет на себя роль литературы, банальный журнализм стремится превратиться в изящную словесность. Отдел критики газеты «Сегодня» оказался литературой, и именно поэтому вызывает бурные эмоции и эстетические переживания. Немзер — один из лучших писателей современной России.

В статье **«Толстяк: групповой портрет между инфарктом и инсультом» В. Топоров** («Постскриптум», №1) иронически обрисовал и раскрасил сегодняшний облик толстых журналов — традиционных, устоявшихся, существующих не одно десятилетие. Современный «толстяк» утратил связь с читателем, поскольку не имеет определенной концепции, а значит, и определенного адресата, утратил и цель существования. По мысли автора, «толстяк» не вынес испытания свободой — у него образовалось множество предрассудков: запретные темы (например, русско-еврейская), неприкосновенные имена (Аверинцев, Сахаров, Лихачев). Усред-

ненные требования к публикуемым текстам, репертуар которых формируется в соответствии с пристрастиями далеко не молодых членов редакционного совета, беззубость и вялость критики (почитаемые корректностью) невольно придают «толстякам» характер вчерашних изданий.

Журнал «Знамя» (№ 1) подводит *итоги литературного года-95.* **Наталья Иванова** в своем обзоре **«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»** полагает, что сложилось несколько параллельных литератур, между которыми нет никаких отношений, так что даже война невозможна. Критик все же пытается определить явные приметы года. Это повышенное внимание к запискам, дневникам, мемуарам, «историям». Кроме того, литература года запечатлела прощание с интеллигентом, потерю им занимаемого места в обществе, драматический исход его в небытие. «Все герои прозы-95 — **последние русские интеллигенты»**. В литературе мы находим как сочувственные реквиемы интеллигенту, так и произведения антиинтеллигентского пафоса (рассказы Солженицына). В метасюжете прозы года отрицается позитивная роль «капиталистического» в нашей жизни. Это проза катастрофы. В постмодернистском же отсеке произошел, по Ивановой, переход от соцарта к «руссарту», бурно осваивается Большой Стиль Русской Классики.

В том же номере в подведении итогов участвуют и писатели (**М. Бутов, Д. Быков, И. Меттер** и др.). Среди наиболее интересных суждений — резко критический отзыв **О. Павлова** о «Кавказском пленном» Маканина. Павлов считает, что Маканин пишет здесь по лжи. Ложна сама основа коллизии: женоподобие кавказского горца-воина. Сорокин, по Павлову, по крайней мере честнее: он, в отличие от Маканина, не подделывается под русский художественный реализм, а прямо ему перечит.

Кое в чем согласен с Н. Ивановой **Александр Архангельский** в заметке **«Пепел остывших полемик»** («Новый мир», №1): литераторы расползлись «по зимним квартирам», у каждого направления свой сегмент, своя самодостаточная ниша. Но, полагает Архангельский, это ненадолго. Формируется уже новое общее культурное пространство, нейтральные воды которого открыты для всех. Там уже оказались О. Ермаков, А. Дмитриев, П. Алешковский, Н. Садур, М. Кураев, О. Павлов, М. Палей, В. Пелевин. Причем «здесь каждый поплывет в одиночку».

Герои критика **В. Сердюченко** — в своем роде тоже «последние интеллигенты», и его статья **«Могикане. Заметки о прозе «отцов» в постсоветской литературной ситуации»** («Новый мир»,

№3) окрашена «прощанием» с ними. Критик констатирует, что «старая литературная гвардия» вновь возникла «на печатной поверхности» с крупными произведениями, которые и становятся предметом разбора. В «Тавро Кассандры» Айтматова хорош замах на роман о судьбах человечества, а плохо, что в нем довлеет логическая конструкция. В «Московской саге» Аксенова «московские римляне» не абсолютно праведны — и это дает писательский выигрыш. Автобиографическая проза Войновича «Замысел» менее драматична и значительна, чем судьба писателя. Довольно подробно критик анализирует «Пирамиду» Леонова. Это — «философский трактат», попытка оценить советскую эпоху в координатах Большого Исторического Времени, где Сталин, по Леонову, оказывается «неизбежен и, может быть, даже необходим». Сердюченко, похоже, озадачен таким рассуждением и ничего не возражает писателю. Наконец, у В. Быкова в «Стуже» происходит кристаллизация категорического императива, совсем как у Камю. В старой гвардии, итожит критик, творчески сохранили себя те, кто не подчинился злобе исторической минуты. «Их писательское время кончилось, завершено, но доверие читателей они не утратили, и любви этой надо по-прежнему соответствовать».

Андрей Арьев в статье **«Свидание после развода»** («Новый мир», №1) откликнулся на поэтическую антологию «Поздние петербуржцы» и изложил свое понимание того, что объединяет питерских поэтов 60—90-х годов. Они знают о неполноте земного человеческого бытия и берутся создать гения по образу и подобию «маленького человека». Причем питерский «маленький человек» — это, по своей сути, российский интеллигент. Это одиночка, для которого доблесть, оплот и прерогатива — частное существование. Источник его поэтических вдохновений — память об утраченном культурном рае. Он переживает бытие как исчезновение.

Владислав Кулаков в статье **«После катастрофы. Лирический стих «бронзового века»** («Знамя», №2) дает обзор развития поэзии после случившегося в советское время обрыва культурной традиции. Новые поэты вынуждены были либо вообще не принимать в расчет никакой традиции (так поступили Вс. Некрасов, Я. Сатуновский, Ст. Красовицкий, Л. Аронзон, Г. Айги, М. Еремин), либо искать способ воссоздания прерванной традиции «по-акмеистски» (здесь подробно анализируется метод С. Гандлевского, М. Айзенберга, В. Кривулина — в их преемстве Мандельштаму). Авторское «я» теперь — частное лицо, никому себя не навязывающее. «Поэт сосредоточивается на закономерности, рефлекторности своих языковых, культурных реакций».

Мнения о собрании стихов XX века **«Строфы века»** (составитель — Е. Евтушенко) публикует «Новый мир» (№2). **Е.Н. Лебедев** укоряет составителя за пристрастность, субъективизм, полагая, что Евтушенко создал «достойный себя монумент». **А. Пурин** считает, что в антологии самое ценное — собрание второсортной советской и антисоветской поэзии середины и второй половины века (а Ахматову, Кузмина, Мандельштама мы почитаем и без помощи Евтушенко). Составительский вкус Евтушенко поверхностен, феноменолюбив: ему нравится броское и сразу видимое. **В. Кулаков** утверждает, что в собрании нет концепции, это «куча мала». **М.Л. Гаспаров** видит здесь гигантоманию, идеологичность, эгоцентризм составителя, но в итоге считает, что такое собрание все же вещь хорошая.

Илья Фаликов в статье **«Связующая нота»** («Литгазета», №13) пишет о новых поэтических сборниках. Сергей Гандлевский — «лирик чистой пробы» в традиции, главным образом, Ходасевича и Набокова. Д.А. Пригов — «самопародическая личность». Дмитрий Быков лих и ловок, размах речеизъявления у него, может быть, равен кибировскому. «Поколение сторожей», обобщает критик, зашло в тупик, но из него есть выход, и это «традиционный путь».

«Утро наступит как всегда. Заметки о современной поэзии» молодого критика **Кирилла Анкудинова** («Москва», №2) посвящены проблемам самоопределения поэтов поколения 20—30-летних. Критик категорически не согласен с манифестациями С. Гандлевского, М. Айзенберга, Т. Кибирова, утверждающих, что их советское прошлое «сиротское» и «опозоренное» («Отношение к прошлому делит на поколения... питает энергией поэзию»). Рассуждая о «сильнейшем языковом кризисе», постигшем поэзию, автор видит выход из него не на путях «метафорической» поэзии, уже проделавшей «отрицательную эволюцию», а в обращении к фольклору («в недалеком будущем нас ожидает период «мифологической поэзии»). Заметки завершаются обращением к рок-поэзии, где, по мнению критика, проявились наиболее удачные попытки поэтов его поколения определить и обрести себя. Сочувственно цитируются А. Прахов, А. Корецкий, О. Нечаева.

Владимир Новиков в статье **«Нарциссы перед стужей. Журнальная проза о «себе любимом»** («Общая газета», №12) пишет о только что опубликованных вещах Арбатовой, Харитонова, Рондарева. Новиков полагает, что иные писатели склонны слишком сосредоточиваться на себе, на своем интересном «я». «Как

бы там ни повернулись исторические обстоятельства — людей творящих ждут новые холода. Нарциссы, судя по всему, их не выдержат».

К журнальной прозе и критике обращается и **Валентин Курбатов** в статье **«Помутившиеся зеркала»** («Москва», №2), размышляя над публикациями челябинского журнала «Уральская новь». Постмодернизм, настойчивые разговоры о котором до сих пор казались критику «делом сугубо столичным, забавой игроков, предпочитающих жить в умозрительной географии, где реальные пространство и судьба подменены пространством книжным», расширяет свою географию — вот уже и Урал «считает постмодернизм явлением родным, почти уж академическим». Критик рассматривает это как явление, прискорбное для отечественной культуры. Приводятся тексты Д. Бавильского, Б. Кончеева, Г. Донцова, С. Грибоедова, В. Ланина.

В текущей критике представлен ряд *проблемно-тематических* обзоров. **Евгений Ермолин** в статье **«Змей обольстил меня, и я ела»** («Литгазета», №12) рассуждает о мелодраме и мелодраматизме в литературе, об истоках жанра, связанных с мифом о грехопадении. Герой мелодрамы — слабый человек, не сознающий своей вины. В современной словесности мелодраматизм вступает в контакт с различными авторскими установками. Его можно ощутить и в продуваемой сквозняками абсурда прозе Петрушевской, и в идеологической беллетристике «Нашего современника», где повествуется о мытарствах невинного труженика в постсоветской «дерьмократии».

«Пепельная среда» Дмитрия Бавильского («Постскриптум», №1) — критический этюд, посвященный теме эмиграции в современном русском романе. В литературе об эмиграции автор видит два основных потока — «американский» и «европейский». Если «американцев» прежде всего волнует проблема адаптации социальной, то «европейцев» — экзистенциальной. Автор соотносит современный «евророман» (в статье рассмотрены тексты Б. Фалькова «Десант на Крит», С. Юрьенена «Беглый раб», Л. Гиршовича «Обмененные головы», З. Зиника «Русская служба») с романтической литературой прошлого века. Очевидная параллель возникает между «романтическим побегом энтузиаста в экзотические обстоятельства» и «самим моментом эмиграции» современной, осуществляемой не под давлением социально-политической ситуации, а по причинам внутренним. В рассуждениях критика о неотменимой «русскости» мятущихся рефлексирующих героев, безуспешно пытающихся уйти от самих себя и столь же

безуспешно — обрести пристанище, звучит обычное для современных размышлений о русском человеке почтение к национальной «ментальности».

Переводным эротическим романам посвящены критические зарисовки **Владимира Долинского «...когда поцелуй закончился»** («Знамя», №1). «Любовные романы из чужеземной жизни», состряпанные анонимными переводчиками, заполняют книжные лотки, являя резкий контраст «блестящих лоснящихся обложек» и серой занозистой бумаги». Язык этих романов — гибридный, «американо-советский пиджин», жаргон, «то канцелярски бездушный, с нищенски бледным словарем, то по-бухгалтерски подробный, то расхлябанный и косноязычный, то казенно-тоскливый до омерзения». Это тексты «русскоязычные по внешности и внекультурные по смыслу», они «разрушают русскую языковую среду».

О сегодняшней военной прозе размышляет **Петр Ткаченко** в статье **«Входите тесными вратами...» Военная литература в изменяющемся мире»** («Наш современник», №1). Военная литература «позволила вовлечь себя в антиармейский психоз, участвовала в разрушении армии», в результате «высокие понятия патриотизма, долга, чести оказались осмеянными». На смену «ортодоксальной» военно-патриотической литературе на заре перестройки пришла обличительная, «наделавшая много шума... не в литературе, а в обществе» (Ю. Поляков, С. Каледин, А. Терехов, С. Алексиевич). Ожидания, что на смену обличительной придет «литература «здравого консерватизма», свойственного армии по ее природе», не сбылись. Пришла «другая» литература, которая обращается к высоким истинам, клянется самыми высокими именами, но остается при этом «тонким ядом для подавления человеческого духа» («Знак зверя» О. Ермакова, «Осведомленный» М. Смоляницкого). В качестве альтернативы предлагается литература, опирающаяся на систему ценностей патриотических. В контексте этой системы рассматриваются повести В. Богомолова «В кригере», Ю. Козлова «Геополитический романс», А. Кердана «Телохранитель», С. Трахименока «Двенадцать апостолов», роман В. Мазницына «Камни не тонут». Много внимания уделено «странному психологическому надлому», случившемуся с В. Астафьевым и отразившемуся в романе «Прокляты и убиты».

В статье **Павла Басинского «... и его армия»** («Новый мир», №1) сопоставляются роман Г. Владимова «Генерал и его армия» (есть генерал, а армии нет; «написан изящно, даже с некоторой долей литературного щегольства») и повесть В. Аста-

фьева «Так хочется жить» («нет генерала»; в сторону не только генералов, но и всех чинов выше лейтенанта; взгляд на все эти чины, «наполненный такой лютой ненавистью, что не по себе становится»). Повесть Астафьева, местами сырая, литературно необработанная, может отвратить «избытком натурализма, обилием матерных выражений... сердитым и раздраженным голосом автора, проклинающим... все разом». «Коробят не факты, но избыток самой грязной и неприличной правды на квадратные сантиметры печатного текста». Критик приходит к выводу, что Астафьев долгие годы пристально наблюдал за той литературной и кинематографической мифологией, которая создавалась вокруг темы войны и которая была не только пошлой и бездарной, но и талантливой. Он написал повесть, «лишенную даже намека на мифологию; повесть о том, о чем пятьдесят лет м о л ч а л и ф р о н т о в и к и».

К той же повести Астафьева и к роману Г. Бакланова «И тогда приходят мародеры» обращается **Евгения Щеглова** в статье **«Два бойца — две правды»** («Нева», №1), отмечая, что появление этих вещей двух писателей-фронтовиков вызвано не столько желанием как-то переосмыслить минувшее, сколько реакцией на настоящее. «Реакция откровенно публицистическая» — у Бакланова, «яростно-кипящая, местами доходящая до библейских проклятий, до апокалиптических пророчеств, до отрицания всего и вся» — у Астафьева. Обоим «нынешний нравственный (а отсюда — и политический) разброд в стране внушает глубочайшую тревогу», каждый по-своему размышляет о причинах «сегодняшних неурядиц и всеобщего смятения духа», но оба «истоки всей этой мерзости... видят еще *там*».

Продолжаются *отклики на роман Г. Владимова* «Генерал и его армия». **Юрий Щеглов** в статье **«Страх, с которым нужно бороться»** («Независимая газета», 1 февраля) считает, что роман — произведение неудачное, слабое. Не удались образы Власова и Гудериана. Писатель не включил в их сознание некоторые ключевые исторических факты: геноцида в Бабьем Яру, зверского орловского расстрела, киевской катастрофы и павловского расстрела. Владимов не изучил досконально власовскую проблематику и боится быть обвиненным в антипатриотизме, отсюда все. Рецензент призывает безбоязненно разобраться в проблеме Власова.

Олег Давыдов в статье **«Между Предславлем и Мырятином. Стратегический дар Георгия Владимова»** (там же) предлагает психоаналитическое истолкование романа. Это произведение не ис-

торическое, а автобиографическое: отражение процессов, происходящих в душе автора. Ключевая ситуация — столкновение с самим собой, борьба между сознательным намерением писателя и его бессознательной установкой. Как можно понять из статьи Давыдова, получился роман об особенности творческой личности Владимова: человек не в состоянии выполнить то, к чему изначально предназначен.

Леонид Баткин в статье **«Вещь и пустота. Заметки читателя на полях стихов Бродского»** («Октябрь», №1) делится своими соображениями и впечатлениями, навеянными чтением *стихов Иосифа Бродского.* В основном, речь идет об отношении поэта к смерти и к Богу, на фоне поэтической традиции. Оказывается, здесь нет ясности. В поэзии Бродского, утверждает Баткин, находится место для Бога, но самого Бога нет. Так же есть там место и для Ничто. «Смысл, смеющий в отсутствие надмирного смысла — быть».

Стихам Бродского посвящен и **«Частный случай» Александра Гениса** («Знамя», №3) — отклик на выход в свет книги стихов поэта «В окрестностях Атлантиды». «...каждая жизнь — Атлантида, которая медленно и безвозвратно погружается в будущее», — расшифровывает критик. Пригласив в путешествие по ее «окрестностям», Бродский предлагает читателю взглянуть на сегодняшний день из будущего, «в котором нас уже нет». Он дает высказаться «потустороннему», переводя в ощущения «ту недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно называем «небытием». Поэтому координаты Атлантиды описывает не память, а забвение. «Чтоб «глаз приучить к утрате», Бродский... творит вычитанием».

Лиля Панн в статье **«На каменном ветру»** («Новый мир», №3) пишет о поэзии Алексея Цветкова: излагает его поэтическую биографию, характеризует время его зрелости. Техника Цветкова — минималистская пунктуация, чокнутый синтаксис — таким языком говорит с ним сама жизнь, и он отвечает ей тем же. Поэт движется к языку формул, к выпариванию воды стиха до одних кристаллов соли. Это результат колоссального жизненного потрясения, каким стала для поэта эмиграция, воспринятая как репетиция смерти; человек оказался в западне бесконечного возвращения жизни на круги своя, равносильного ее окаменению. Цветков — поэт вечности, ему дается ощущение нашего зависания в вечности. Поэт ужаса, жути бытия.

Инна Пруссакова в статье **«Блажен незлобивый поэт. Евгений Рейн. Портрет на фоне»** («Нева», №2) подробно характери-

зует известного стихотворца. Он «элегичен от природы и толерантен по формуле крови», не приписан к стае, жизнеутвердительно романтичен и полон ностальгии по 60-м годам («по юности, по раннему братству поэтов, по минувшей любви»). Вот настоящий поэт, а не «постмодернистская обманка».

Владимир Корнилов в статье **«В женщинах крепче заряд...»** («Дружба народов», №3) пишет о стихах Елены Крюковой и Ирины Кабыш — каждая из них одним стихом представлена в уже упоминавшейся антологии «Строфы века». Критик, видимо, видит в них прямых наследниц Ахматовой и Цветаевой, поскольку использует их в качестве эталонов при характеристике творчества Крюковой и Кабыш. От этой критической неловкости не столько выявляется своеобразие, сколько подчеркивается вторичность.

«Руки творца» Льва Аннинского («Дружба народов», №3) — полемический отклик на первый том «Публицистики» А. Солженицына. Критик фиксирует ряд несбывшихся предсказаний и неисполнившихся приговоров Солженицына, оспаривает целесообразность яростных нападок на «Идеологию» (в нее давно уже никто не верил, но она была нужна, «чтобы не стронуть лавину»), подвергает критической рефлексии призыв «Жить не по лжи!», возражает и против обличения интеллигенции («образованцев»).

Борис Аверин в статье **«История моего современника А.Г. Битова»** («Звезда», №1) дает очерк жизни и творчества Битова как живого классика. Битов, по Аверину, пришел к такой форме повествования, где его «я» множится и множится. «Я» невозможно определить, как невозможно определить Бога.

Борис Любимов в статье **«Нет пророка...»** («Литгазета», №10) пишет о христианских повестях Иона Друцэ, опубликованных в «Континенте». Писатель всматривается в плотную ткань бытия первых десятилетий нашей эры, чтобы «припавшие ко Христу» всмотрелись в эту Жизнь вместе с ним. Не всякий христианин это примет, иной и не хочет знать о Благовещении больше, чем знает: святость неизобразима, «удобнее молчание». С другой стороны, можно говорить о Христе, это волнует и читающего, и писавшего.

Обширный отклик на роман Чабуа Амирэджиби «Гора Мгорбали» содержит послание **Марлена Кораллова «Сесть на рельсу! (Ксива старому кирюхе)»** («Новый мир», №2). Автор на правах старого друга, участника и свидетеля событий, в романе описанных, дает ему критическую оценку — в «отвязанной» манере, подчеркивая мемуарными эпизодами свои права на фа-

мильярную дистанцию, на то, чтобы «резать правду-матку». Кораллов отмечает неясность жанра — и отсюда неопределенность художественного впечатления — из-за неорганичности сплава художественного вымысла и мемуарного документа; искусственность конструкции двух главных героев; менее удачное возвращение к сценарию, уже использованному в «романе-источнике» «Дата Туташхиа». Особому критическому вниманию подвергается фактография глав, посвященным карагандинским лагерям 50-х годов.

«Литгазета» печатает два мнения о прозе Людмилы Петрушевской. **Леонид Костюков** в статье **«Исключительная мера»** (№11) утверждает, что творческое высказывание Петрушевской зыбко и лишено серьезного смысла. «Люди погано живут в поганых условиях. Ну и что?» Герои Петрушевской духовно убоги, а «бездны» ее мелки. **Мария Ремизова** в статье **«Теория катастроф, или Несколько слов в защиту ночи»** (там же) соглашается: мир Петрушевской — изнаночный, болезненный, угрюмый, катастрофичный. «Она доводит до конца основополагающий принцип материального мира, где все обречено на разрушение и исчезновение». Ремизова считает, что писательница следует гуманистической традиции русской литературы, встает в достойный ряд вышедших из гоголевской «Шинели». Это история «маленького человека» — в XX веке. Петрушевская «берет человека в его слабости: хотите жалейте, хотите — пройдите мимо».

Вячеслав Курицын в статье **«Заветный вензель — «К» на «Е». Юбилейное»** («Октябрь», №3) пишет о Евгении Попове. Он находит у писателя тягу к необязательному письму, к говорению по пустякам. Поповым движет в его творчестве «чистое действие», «наслаждение самой возможностью писать и говорить», не задумываясь о последствиях. И критику это нравится.

Денис Горелов в статье **«Верещагин, уходи с баркаса»** («Сегодня», 23 марта) эссеизирует по поводу писателя Александра Кабакова, его героя и его романа «Последний Герой». Заодно с Кабаковым он отпевает романтического бунтаря и революционера, которому отданы их симпатии, но которому нет места в «политкорректном мире». Чуть ли не исповедально Горелов провозглашает: «Богемщик, болтун, бездельник и пустышка в шейном бандаже окажется единственным, кому дано [...] взорвать будущее стабильное русское общество». Горелов не очень доволен Кабаковым, у которого развилась «болезнь толстовства»: «Между Сциллой буржуазной синтетики и Харибдой революционного зверства видит он лишь крохотную тропинку самоистребления

путем пьянства пополам с безответной любовью». «Война скоротечна, а в мирной жизни герою места нет, и тут, увы, кабаковская правда», — заключает эссеист.

Близкие темы обсуждает сам **Александр Кабаков** в беседе с **Еленой Сеславиной «Я с государством не играю»** («Дружба народов», №3). Писатель отвечает на вопросы о модификациях романтизма и героизма в сегодняшней жизни и литературе, а также о сегодняшней литературной ситуации, о роли литературы в обществе, о своем отношении к писателям старшего и своего поколения, о соотношении в творчестве этики и эстетики, ума и глупости и о многом прочем.

Дмитрий Бавильский в статье **«Песнь песней»** («Независимая газета», 20 февраля) пишет о романе Владимира Шарова «Мне ли не пожалеть..». Писатель моделирует на широких российских просторах («благо — места много») альтернативную, параллельную историю XX века. И критик хвалит его за свободную игру воображения, умение «подмять под себя» «жанровые ожидания».

Валентин Курбатов в статье **«Где этот дом?»** («Москва», №1) разбирает «неороман» М. Шатуновского «Дискретная непрерывность любви» в качестве характерного примера «пошлой прозы»: сочинение вычурное и капризное; реальность и вымысел меняются местами через страницу, пока, наконец, не сливаются «в одну пошлую вечность»; литература наскучила автору и он «придумал выставить ее механизм наружу и показать, что она устроена ничуть не интереснее его непрерывно обнажающихся женщин»; текст ходит, в основном, «по низам» и «с подростковой нечистой любознательностью заглядывает во все скважины». Критик предлагает читателям лучше прочесть «светлую, уверенную... сияющую чистотой и любовью» книгу Нины Федоровой «Семья», выпущенную издательством «Логос».

Евгений Пономарев дебютирует в критике со статьей **«Психология подонка. Герои Э. Лимонова и низовая культура»** («Звезда», №3). Анализируя рассказы писателя, Пономарев приходит к выводу, что человек здесь сведен на животный уровень. Герой — гопник, хулиган, нагрянувший хам и мещанин. Для него единственный способ быть оригинальным — эксцентричность, цинизм и грубость. Мировая революция и тому подобные потрясения нужны герою, свободному от морали, для собственных целей — «выделиться, стать лучше всех». Пономарев предупреждает о социальной и культурной опасности, которую имеет подобный персонаж в условиях распада иерархий, и призывает

хранителей элитарной культуры принять меры, чтобы «поднять ее престиж» и возродить «профетическую идею».

Инна Пруссакова в статье **«Сколько правды в факте?»** («Звезда», №3) весьма критически отзывается о книгах Н. Муравиной «Встречи с Пастернаком» и М. Кралина «Артур и Анна». Критик не одобряет панибратство с великими, атмосферу сплетни, погоню за биографическими сенсациями и прочую конъюнктурщину.

Обзор подготовили
Е. Ермолин, М. Кармазинская, Н. Осьмакова

Художник *В. Лаврентьева*
Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 010184
Подписано в печать 24.06.96. Формат 84x108.32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84. Тираж 8 000 экз. Заказ № 88

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:
101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати
107005, Москва, Денисовский пер., 30

1996 год, № 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

впервые в книгоиздательской практике предпринимает масштабную культурную акцию по объединению в одной издательской серии всей русской литературы XX века, разделенной ранее по пресловутым идеологическим принципам на эмигрантскую и советскую литературу. Издательство приступает к выпуску «Русской библиотеки 1900—2000».

В этот крупный литературный материк войдут как произведения русских писателей зарубежья, не издававшихся в советское время, так и книги отечественных авторов, в той или иной мере испытавших на себе пресс тоталитарной системы. В библиотеке будут представлены также наиболее выдающиеся произведения современной литературы.

«РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА 1900—2000»

включает в себя:

Собрания сочинений И. Шмелева в 8 т., Д. Мережковского в 11 т., М. Осоргина в 4 т., М. Булгакова в 6 т., Е. Замятина в 4 т., Б. Зайцева в 6 т., А. Куприна в 5 т., В. Набокова в 6 т., А. Ремизова в 5 т., Ф. Сологуба в 4 т., И. Бунина в 8 т., А. Платонова в 6 т., М. Алданова в 6 т. ...

Двух- и трехтомные издания сочинений А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта, М. Цветаевой, С. Клычкова, Н. Гумилева, Г. Адамовича, Б. Пастернака, И. Бабеля, М. Шолохова...

Книги И. Анненского, А. Ахматовой, М. Волошина, Г. Газданова, С. Есенина, Н. Клюева, М. Зощенко, В. Ходасевича, И. Северянина, О. Мандельштама, Вяч. Иванова, М. Кузмина...

Мемуары С. Маковского, Ю. Терапиано, И. Одоевцевой, П. Бицилли, П. Струве, Н. Берберовой, В. Яновского...

Книги наших современников: А. Твардовского, В. Некрасова, К. Воробьева, Ю. Казакова, В. Шукшина, Ю. Трифонова...

В 1996—1997 гг. выходят в свет издания Г. Адамовича, С. Клычкова, М. Осоргина, И. Анненского, Д. Мережковского, И. Шмелева, К. Бальмонта, И. Бабеля, П. Бицилли, С. Маковского, К. Мочульского, Ю. Казакова, Ю. Трифонова. Восемь книг первых пяти авторов выйдут в свет в августе 1996 года.

Издания снабжены вступительными статьями, комментариями, приложениями, биохрониками, вклейками редких фотографий.

Программа рассчитана на пять лет. В ее составе более 200 томов. Каждый том — 30—40 печ. л., тираж 10—20 тысяч экз., формат 84x108/32, переплет, суперобложка с тиснением «золотой» фольгой.

Продажа по подписке и в розницу. Подписаться можно на всю серию, на отдельные собрания сочинений, на отдельные издания.

Тел.: 921-01-86, 921-35-05 • Факс: 924-42-33

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIK BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК «КОНТИНЕНТ»

Регистрационный №11
Основан 11 октября 1988 года

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
Россия, 423830, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 14

ПРЕЗИДЕНТ: ОНУШКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

Уставный капитал: 5,0 млрд. рублей
Акционерный капитал: более 30,0 млрд. рублей

ФИЛИАЛЫ:

Филиал №1 — г. Казань, Татария, ул. Чистопольская, д. 3
тел.: (8432) 43-99-94
Филиал №2 — г. Елабуга, Татария, ул. Марджани, д. 2
тел.: (84357) 3-69-89
Филиал №3 — г. Сафоново Смоленской обл., ул. Советская, д. 5
тел.: (08142) 4-44-44
Филиал №4 — г. Набережные Челны, Татария, ул. Пушкина, д. 14
тел.: (8552) 52-05-66
Филиал №5 — г. Владимир, ул. Луначарского, д. 14
тел.: (09222) 3-23-54
Филиал №6 — г. Лакинск Собинского р-на Владимирской обл., ул. Мира, д. 41
тел.: (242) 4-21-02
Филиал №7 — г. Менделеевск, Татария, ул. Пионерская, д. 7
тел.: (249) 3-18-56
Филиал №8 — г. Калининград (обл.), Литовский вал, д. 38/10
тел.: (0112) 46-62-30
Филиал №9 — г. Москва, Милютинский пер., д. 18а
тел.: (095) 924-15-06

CONTINENT

THE TRANSREGIONAL PUBLIK BANK Corp

МЫ ОБЕЩАЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО МОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ!

АО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК

«КОНТИНЕНТ»

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИМ, НО И УМНОЖИМ:

Расчеты в любую точку ближнего и дальнего зарубежья

Широкая гамма валютных операций

Отработанная система вексельного обращения

Надежные и высокодоходные вкладные операции

Вторичный рынок акций «КамАЗа», «Татнефти», «Алданслюды», других крупных акционерных обществ России и Поволжья, собственных акций 5-ти выпусков

Доверительное управление капиталом и вкладами

Инвестиционная поддержка высокорентабельных и быстроокупаемых проектов

Любые сложные многоступенчатые операции по заявке Клиента

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК

«КОНТИНЕНТ»

ФИНАНСИРУЕТ В 1996 ГОДУ

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»

ДЛЯ ДЕСЯТИ БИБЛИОТЕК ТАТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «КОНТИНЕНТ»

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

❄❄❄

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством «Книга-сервис» /тел.: (095) 129-29-09/

Жители Москвы и Московской области могут покупать выходящие номера журнала в редакции;

а также:
в «Доме книги» (Новый Арбат);
в книжном салоне «19 октября» (Казачий пер.);
в магазине «Эйдос» (Чистый пер.);
в магазине «Человек читающий» (Зубовский бульвар)
и в киосках «Роспечати» Киевского района

❄❄❄

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей и рекламных агентов

Продолжение с. 2 обложки

В разделе «ГНОЗИС»

Очерк **о.Иллариона Алфеева** о поездке в Тибет

В разделе «ПРОЧТЕНИЕ»

Статья **Анджея Лазари** «Достоевский в идеологической борьбе наших дней»
Статья **Вольфа Шмида** «Братья Карамазовы» — надрыв автора, или роман о двух концах»

В разделе «ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ»

Игорь Виноградов. «Литературные заметки 1. Третье возвращение Александра Солженицына. 2. Литературный дебют Сергея Бабаяна (еще один опыт «реальной критики»)»
Евгений Ермолин. Новая статья о современной ситуации в литературе

В разделе «ИСКУССТВО»

Статья **Лидии Польской** «ТВ вчера, сегодня, завтра»
Беседы о современном театре. Интервью с С. Юрским, А. Демидовой, С. Женовачем

Читайте также в нашем журнале постоянный раздел

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» —

подробный аннотационный обзор прозы, литературной критики, культурологической, философской и религиозной мысли в текущей российской прессе

ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?

Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"
тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа
тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА